

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят первый год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd;
G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; P.Tcherepnine; L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 312, сентябрь 2023

© 2023 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Игорь Гельбах</i> – Фотография Эммы	5
<i>Эдуард Хвиловский</i> – Стихи	27
<i>Анна Маркина</i> – Стихи	33
<i>Полина Брейтер</i> – Дороги	38
<i>Григорий Марк</i> – Стихи	68
<i>Евгений Чигрин</i> – «Знак четырех». Стихи	73
<i>Владимир Салимон</i> – Стихи	79
<i>Алла Дубровская</i> – Из цикла «На этюдах»	83
<i>Анна Аркатова</i> – Стихи	99
<i>Вячеслав Попов</i> – Стихи	102
<i>Иван Волосюк</i> – Стихи	105
<i>Сергей Шабалин</i> – Стихи	109
<i>Лиля Панн</i> – По римскому времени. <i>Un viaggio lento</i>	113
<i>Вадим Жук</i> – Стихи	179
<i>Игорь Померанцев</i> – Из цикла «Самоволка». Стихи	185
<i>Алла Ходос</i> – Стихи	188

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Игорь Горский</i> – Неизвестное письмо Максимилиана Волошина Алексею Толстому	192
Переписка Максимилиана Волошина и Алексея Толстого (Публ. – <i>И. Горский</i>)	194
<i>Лариса Вульфина</i> – Переписка М. Добужинского и А. Рязановской ...	200
Письма Мстислава Добужинского и Антонины Рязановской (Публ. – <i>Л. Вульфина</i>)	206

КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ

<i>Сергей Бычков</i> – Жизнь и труды Георгия Федотова. Часть 2	221
<i>О.А. Кравченко</i> – Оправдание методом. Из наследия Бориса Айхенвальда (1902–1938)	285

К 100-ЛЕТИЮ С.Л. ГОЛЛЕРБАХА

<i>Ренэ Герра</i> – Певец Бродвея	298
<i>Людмила Оболенская-Флам</i> – Сережа	303
<i>Иван Елагин</i> – Сергею Голлербаху. Стихотворение. 1967	308
<i>Кирилл Фотиев, прот.</i> – О книге С.Л. Голлербаха «Заметки художника». 1984	309

НА СТЫКЕ КУЛЬТУР

Валентина Синкевич: «Иностранный и странный великоросс»	
К проблеме перевода литературы диаспоры	314
<i>Елена Дубровина</i> – На перекрестке двух культур	315
<i>Валентина Синкевич</i> – Стихи и автопереводы	317

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

<i>Марк Уральский</i> – Пуа & Emilia Kabakov из окрестностей Нью-Йорка	322
<i>Сергей Манукян</i> – Очерки подлых времен. Очерк 2. Игры приближенных	347

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>Л. Оболенская-Флам</i> – На смерть О.П. Раевской-Хьюз	358
--	-----

ОБ АВТОРАХ	362
------------------	-----

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Игорь Гельбах

Фотография Эммы

1.

Вернувшись из армии домой, в Питер, я отнес документы на факультет искусствоведения в институт культуры, куда меня приняли на третий курс. Помимо этого я решил серьезно заняться фотографией, что, казалось, должно было обеспечить меня возможностью зарабатывать деньги. Фотографированием я увлекался давно, но следовало кое-чему подучиться, и я начал работать лаборантом в фотоателье на Литейном проспекте, где рядом с вешалкой у входа висели фотографии самых разных персон, связанных с миром театра. Был там и фотопортрет моей матери, были и фотографии актеров, которых я не знал и никогда прежде не видел.

Руководителем в располагавшейся в полуподвале фотостудии был известный в Питере фотограф, назовем его О.М. Раппапорт, который так же, как и его брат, театральный администратор, внешне чем-то напоминал гроссмейстера Бронштейна – человека невысокого, лобастого, с густыми бровями. Правда, О.М. был выше брата, крупнее и, пожалуй, породистей. Со временем я пришел к заключению, что к той же породе чрезвычайно одаренных, невысоких и плотных евреев принадлежали запечатленные Оскаром Моисеевичем актер С.М. Михоэлс и физик Я.Б. Зельдович, один из создателей водородной бомбы и эволюционной космологии. Их фотографии так же, как и фотографии известных генералов и маршалов, а позднее фотопортреты актеров и черно-белые фотографии сцен из спектаклей, вывешенные на обтянутой черным бархатом стене в фойе театра, где служила моя мать, были сделаны принадлежавшей ему довоенной камерой «Лейка». Во время войны О.М. делал фотографии для ТАСС и был фронтовым фотокорреспондентом. После войны он вернулся в Ленинград, потерял работу в газете во время гонений на «космополитов» и в конце концов стал заведовать большим фотоателье. Работать для прессы он перестал. Его архив фотографий был огромен. Помимо работы на заказ он делал немало снимков «для истории». «Если фотография хорошая, то она выживет хотя бы как документ», – не раз повторял он.

Вскоре я впервые увидел Эмму, дочь Оскара Моисеевича. Она

работала в ателье сменным фотографом. Это была высокая смуглая молодая женщина с карими, с зеленоватым проблеском, глазами, веснушчатым лбом и подрагивающими ресницами. У нее был чуть хрипловатый голос – она курила, легко передвигалась по студии, и, помимо спокойствия, в ее взгляде явственно читалось ожидание каких-то неизбежных событий. Но каких?

На работе она обычно накидывала темный сатиновый халат поверх серого брючного костюма и завязывала волосы в тугий пучок на затылке. Помню, как впервые увидел ее за работой, когда за мною закрылась полупрозрачная в верхней своей части, со старой надписью на стекле дверь. Эмма курила, наблюдая, как раздеваются и охорашиваются у зеркала пришедшие в ателье люди. Затем она перенесла в центр комнаты несколько стульев и начала усаживать клиентов перед объективом старой камеры-обскуры.

Три женщины средних лет, коротко стриженные, довольно бесцветные, без каких-либо следов косметики на лице были одеты в аккуратные серые кофты с красными значками на левой стороне груди, черные юбки, темные толстые чулки и черные, довольно уродливые туфли на низком толстом каблуке. Одинаковые белые блузки выглядывали из-под серых кофт. Их веснушчатые руки с толстыми короткими пальцами явно были знакомы с ежедневным физическим трудом. Четвертым участником группы был плотный, с румянцем, всё еще чернобровый мужчина не первой молодости, аккуратно и даже с элементом щегольства одетый и с тем же красным значком на лацкане пиджака. «Старший повар и три подчиненные ему поварахи из рабочей столовой крупного предприятия на Литейном проспекте пришли сфотографироваться для Доски почета», – объяснила Эмма позднее.

В то время я упоенно фотографировал гипсы – они почти преследовали меня. Считалось, что именно со съемок гипсовых слепков – шаров, цилиндров и кубов, носов, ушей, глаз и, наконец, гипсовых голов, – следует начинать работу над фотоэтюдами. Особенно увлекал меня процесс установки света. Это был своего рода театр – со сценой, темным бархатом занавеса, на фоне которого я устанавливал гипс или гипсы и отражавшие свет экраны. Далее мне надлежало перейти к фотографированию мрамора, колонн, кариатид и ваз, для того чтобы овладеть техникой передачи фактуры, тяжести, которая должна была предшествовать попытке передать более сложные и тонкие реалии: ускользающие движения воды, облаков, игру света и оттенки настроений в марширующих колоннах. «Людей, изображенных на фото, можно представить сделанными из чего угодно: мрамора, стали, ветра и света», – объяснил мне однажды Оскар Моисеевич.

В конце этого длинного, вымеренного и пройденного когда-то самим Оскаром Моисеевичем пути располагались пейзажи и человеческая натура, изменчивая, как питерское освещение.

Одним из главных и любимых объектов внимания Оскара Моисеевича был театр. Он любил театр и не раз приходил на уже виденные и отснятые им спектакли для того, чтобы сделать новые фотографии. Он полагал, что, зная развитие спектакля наперед, сумеет отыскать и нужный для съемки той или иной мизансцены угол, ее режим и свое положение в зале. Фотография, по его мнению, способна была при удаче передать дух и тот особый нерв, что присущ спектаклю, следовало только поработать так, чтобы заставить удачу служить себе. То было суждение глубоко театрального человека, не раз убеждавшегося в том, сколь нелепо выглядели на экране перенесенные на пленку театральные спектакли. То есть ни о каких попытках рабского, дежурного воссоздания образа речь тут не шла. Скорее, подразумевался некий момент встречи, запечатленный на черно-белой фотографии, когда драматичность обязана своим происхождением восприятию и эмоциям зрителя, вызванным происходящим на сцене.

Итак, я искал тишины, сосредоточенности и защиты в изучении искусства фотографии и возможностей сопутствующей техники – ФЭДа и «Лейки».

Возможно, всё это связано было со смертью убитого мной при попытке побега заключенного, – после призыва в армию меня направили во внутренние войска. История эта продолжала тяготить меня, хотя и по тем, да и по нынешним временам не была чем-то особенным. Люди совершали преступления, сидели в лагерях, сходили с ума и убивали друг друга – что же здесь необычного?

2.

Постепенно я осознал, что влюбился в Эмму; чувство это овладело мной постепенно, ведь мы долго дружили, и жизнь наша проходила друг у друга на глазах, я знал о ее поклонниках, романах, она – то же самое обо мне. Но всё изменилось, когда она оказалась моей первой настоящей обнаженной натурой. Она же, собственно, сама и предложила позировать мне, догадавшись о моем не высказанном напрямую пожелании.

– Ты так же одиночек, как и я, – обронила она однажды.

Мы пили кофе на Литейном, когда я сказал ей, что ищу модель.

– Но я не хочу снимать, кого попало, – признался я, – модель должна понимать, что, собственно, происходит.

– Ты хочешь, чтобы я тебе позировала? – спросила она, чуть наклонив голову. – Я готова.

– Когда и где? – спросил я.

– После работы, в ателье, – ответила она. – Я попрошу у папы ключи.

Фотографировал я ее вечерами, когда ателье закрывалось, там же занимался проявлением пленок и печатанием фотографий. Красная лампа в студии, растворители, проявители и закрепители, свет из-за шторы, вытягивание образа, ручная доводка, промывка готовых фотографий, сушка, вентиляторы, электрические радиаторы с нагревашимися докрасна спиралями, темно-красный диван, столик, за которым мы пили кофе, шторы и экраны, бархатные занавеси – вот детали сцены, на которой мы актерствовали и жили...

– Ты красивый, – сказала она мне в наш первый вечер.

Обнаженная Эмма, лежащая на диване, закинув руку под голову. Эмма, глядящая на себя в зеркале, сидящая на стуле у занавешенного окна. Обнаженная Эмма, лежащая на диване, повернувшись ко мне спиной; поясной портрет Эммы, ее портреты, фрагменты ее лица, ее руки, ноги, живот, ступни и лодыжки.

Одна из этих фотографий в рамке из светлого металла и под стеклом висит на стене моего кабинета и сегодня. Да, именно та, где обнаженная Эмма лежит на диване, повернувшись ко мне спиной.

Иногда мы уезжали на дачу в Сестрорецк. На даче я фотографировал ее в комнатах и на веранде, во дворе, на прогулке.

Связь наша тянулась несколько лет. Поначалу знакомых или друзей Эммы я не знал – думаю, из-за возраста, ведь она была старше меня на несколько лет; а может, дело было в чем-то ином. Да и она не спешила с новыми знакомствами. Мы бродили по городу, заходили в кафе, иногда кого-то встречали, кто-то окликал нас, но никакого сближения между кругами, в которых мы вращались, не наблюдалось. Мы были словно пара, попавшая в этот город из какого-то другого.

3.

Время от времени мы уезжали из Ленинграда. Ездили на север – в Кизи, на Соловки, в Архангельск и другие места.

Иногда я думал о том, что и нам бессознательно хотелось бежать, так же, как бежал когда-то застреленный мной заключенный. Позднее я вспоминал этот случай в одном ряду с эпизодом, свидетелем которому стал на Онежском озере, куда мы с Эммой попали в конце семидесятых годов.

Случилось это примерно через неделю после нашего приезда в Кизи, где мы остановились на пришвартованном к старому причалу дебаркадере, к которому подходили катера из Петрозаводска.

В сельпо на другом берегу озера, где продавались крупа, резино-

вые сапоги и малиновая настойка, и в плавучий, устроенный на другом дебаркадере ресторан, где можно было пообедать, добирались мы на лодке, а молоко покупали в деревне на берегу. Деревня, куда я по утрам отправлялся за молоком для каши, которую варила Эмма, состояла из беспорядочно разбросанных черных деревянных домов; запомнились мне и дети в ярких вязаных носках и свитерах под серыми куртками на взлетающих в небо деревянных качелях.

За селом лежало кладбище с крестами, чуть дальше от него простиралось поле, стояли черные старые сараи и домик, где располагались пожарные, охранявшие погост, куда ходили мы не раз. Подвыпившие пожарные приглядывали за возведенными из дерева церквями и колокольной на погосте, окруженной единой оградой. Пили они, наверное, еще и оттого, что заниматься им на дежурствах было абсолютно нечем.

У одного из них, бессемейного, была злая собака, сидевшая обычно в будке на цепи, в то время как хозяин ее уходил на дежурство. В иное же время она бегала по двору или грелась на солнце, устроившись на ступенях дома. Сосед его и сослуживец, собутыльник и такой же бобыль, как и хозяин собаки, заглянул однажды к нему, чтобы одолжить то ли топор, то ли рубанок. Хозяина не оказалось дома, и, уходя, сосед чертыхнулся в сторону собаки, а та подскочила к нему и сильно укусила за ногу. Отбившись от собаки, он сбегал за ружьем и, вернувшись, застрелил ее, после чего ушел домой.

На следующий день, после смены, сосед взял из дому бутылку водки и вареной картошки и отправился вместе с хозяином собаки на край погоста, чтобы похоронить собаку и помянуть ее. Могилу, как оказалось, хозяин собаки, возвратившийся в то утро из Петрозаводска, уже вырыл. После того, как они засыпали могилу и выпили водки, хозяин собаки встал и отошел до ветру. Вернулся он с ружьем, заранее припрятанным за кустом, застрелил собутыльника, допил водку, закусил и отправился на пожарную станцию звонить в милицию.

Часа через два прилетел из Петрозаводска самолет на водных лыжах, приводнившийся у церкви. Навстречу ему вышла моторка пожарной охраны. Прибывшие на берег милиционеры связали мужика и отвезли на моторке к самолету. Затем моторка вернулась к берегу, а самолет вскоре затрепетал, помчался по воде, взлетел и вскоре исчез из виду.

Происшедшее никак не изменило ни нашу, ни чью-либо еще жизнь на дебаркадере. То был тихий край, где люди говорили медленно и спокойно. Запомнил я и глаза людей в этом краю, где мы гуляли, ходили на другой край острова к старым церквям, ездили на близлежащие островки, иногда в жаркий день плавали или сидели, свесив ноги с борта дебаркадера.

4.

Затем мы уехали в Кондопогу, откуда добрались на поезде до Кеми, а из Кеми отплыли на Соловки, где я фотографировал огромные камни, из которых сложены были окружающие монастырь стены.

До этого мы несколько часов плыли по морю под довольно низким серым небом, но стоило нам оказаться на острове, как небо ушло куда-то вверх, растворяясь над монастырскими строениями и башнями, к которым подходили стены, сложенные из огромных валунов.

Помимо нас и еще нескольких туристов теплоход доставил на остров чью-то мебель и цистерну пива, в ожидании которой на берегу скопилась очередь. Пиво увозили в канистрах, кадках, кто-то умудрился увезти на телеге заполненную пивом эмалированную ванну. Мы спустились на причал, прошли мимо очереди и направились в сторону монастыря.

Жили мы в монастырских палатах, приспособленных под общежития, мужское и женское, каждое утро завтракали в столовой, а потом ездили по островам на автобусе и попутках.

Стояло лето, на холмах кудряво зеленел дикий виноград, в низинах голубели озера. На вершину довольно крутой Секирной горы, место массовых расстрелов и захоронений, вела земляная дорожка с утопленными в землю остатками деревянных брусков. Оттуда видны были зеленый лес, голубое пятно озера и синяя полоска моря.

По вечерам на монастырском дворе возникали группки из приехавших на остров молодых людей. Кто-то играл на гитаре, остальные выпивали и закусывали. Стояли длинные теплые вечера.

В Архангельск улетели мы на «кукурузнике», биплане; он стартовал с зеленого поля перед зданием школы, где находилась радиостанция. Полет длился недолго, внизу остались острова, церкви, колокольни и строения монастыря; затем мы пролетели над морем, а далее открылось ровное голубое, с отблесками света зеркало залива и широкое русло Северной Двины, после чего мы приземлились и, выйдя на летное поле, ощутили, что в Архангельске прохладней, чем на Соловках.

Из аэропорта мы направились в город, где отыскивали гостиницу. Свободных номеров не было, нашлось лишь одно место для Эммы, мне же предстояло провести ночь в кресле в вестибюле гостиницы. Я натянул на себя свитер, сверху накинул пиджак, а остальные вещи Эмма отнесла в номер, где познакомилась с соседкой и переделалась в теплую одежду. Затем мы вышли на улицу и отыскивали столовую. Выбор был не особенно богат, но жаловаться не приходилось, аппетит у нас был отменный. Был конец рабочего дня, люди расходились по домам, шли по деревянным тротуарам, покупали газеты и сигареты в лотках, соображали портвешок на троих у магазинов. Я купил

бутылку армянского вина, пачку болгарских сигарет «Вега», и мы направились в сторону набережной, где внезапно пришли мне на ум пушкинские строки...

Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.

5.

Вернувшись в Питер, тем же вечером на душном Загородном проспекте мы встретили одного моего знакомого поэта, как всегда полупьяного. В руке у него была бутылка итальянского вермута «Чинзано». Он приветствовал меня обычным своим восклицанием:

Дайте мне девушку синюю-синюю,
Так чтобы груди висели до пят,
Я проведу по ней красную линию,
Пусть ласкает мой взгляд.

Поэт позвал нас к себе – жил он у Пяти Углов. Всё начиналось заново, возвращалось на круги своя, и, как бы огромна ни была земля, где мы жили, мы всегда возвращались в Питер.

6.

Когда Эмма сообщила мне, что вместе со всей семьей уезжает за границу, вернее, собирается уезжать, я был поражен: Оскар Моисеевич, его фотографии, ателье, наконец, Эмма, казались мне естественной частью нашей жизни. Я этого не ожидал, хотя и знал, что довольно много людей уезжает или пытается уехать из страны.

Всё это никогда не кончится, убеждала она меня. Но жизнь меняется, говорил ей я. Правда, я не был уверен в том, что меняется она достаточно быстро, но после армии и службы в лагерной охране, после поездок по стране я не был уверен и в том, следует ли так уж спешить с переменами; иногда я думал о возможности каких-то изменений в Питере, но сама страна казалась мне совершенно иной по своей природе, да и жила она совсем по-другому.

Слушая Эмму и пытаюсь понять то, о чем она говорила, я не верил ей до конца. Она тоже ощущала всё это иначе – я бы сказал, гораздо драматичнее и даже с элементом пассивности. Она была одержима этой новой, поселившейся в ее сознании идеей, была у нее такая способность – загореться идеей, поверить в нее и идти до конца, и вот теперь она готова была бросить всё, чтобы уехать. Иногда мне казалось, Эмма просто искушает меня, зовет, манит, играет...

– А чем же ты будешь там заниматься? – спросил я у нее. Когда-

то она закончила пединститут, не захотела преподавать математику в школе и начала работать в фотоателье у отца.

– Попробую заниматься фотографией, – ответила она, – вместе с отцом.

Так я узнал, что Оскар Моисеевич собирается уехать в Америку вместе с семьей и фотоархивом. Позднее его архив приобрел Стэнфордский университет в Калифорнии.

– Ты не знаешь, что такое быть евреем, – сказала Эмма в другой раз. – Но ты можешь поехать с нами, если захочешь, – предложила она. – Мы доедем до Вены, а затем улетим в Штаты. Я хочу жить с любимым человеком и иметь от него детей. Может быть, у меня всё получится в новой стране. Здесь у нас с тобой нет будущего. Я старше тебя, да и еще много чего стоит между нами.

– Ну да, я ведь член партии, – сказал я ни к селу ни к городу.

– Когда ты успел? – спросила Эмма.

– Еще в армии, – сказал я.

– И что ты там делаешь?

– Плачу взносы, – честно ответил я.

– И всё? – усомнилась она.

– Всё.

– Ну а еще? – настаивала Эмма.

– Участвовал в заседаниях штаба народной дружины, – признался я чистосердечно. – Я ведь служил во внутренних войсках, отвертеться не удалось.

– В штабе заседал, – несколько загадочно протянула она, и я на мгновение почувствовал себя чем-то вроде *живого трупа*. Она усмехнулась и больше никогда не возвращалась к вопросу о моей партийной и общественной деятельности.

Ощущение, о котором я упомянул, возвращается ко мне время от времени и по сию пору. Связано оно обычно с тем, что я вдруг ощущаю себя *лишним*, ненужным и чуждым тому, что происходит вокруг. То есть в большей мере мертвым, чем живым, являя странный, но присутствующий в мире тип человека. Насколько это связано с оригинальным выражением Л.Н. Толстого, я не знаю. С одной стороны – никак, но с другой... Отчего услышанный в детстве по радио голос актера объединился в моем сознании с моим переживанием *живого трупа*? Просто ли в силу случайной ассоциации или оттого, что в пьесе сказано было и подразумевалось нечто невероятно существенное?

7.

Итак, они собирались уезжать. Я же, в конце концов, после непродолжительных раздумий отказался от этой идеи. В здешней

жизни, частью которой мы были, Эмму, как и меня, очень многое не устраивало. Ну а если я ничего не мог понять в происходящем вокруг, где уж мне было надеяться найти себя где-нибудь там, в чужих краях? Я не хотел начинать жизнь сначала. Не было у меня и страшной, настоящей причины, которая не позволяла бы мне оставаться здесь, которая требовала бы моего отъезда, не давала бы мне покоя, жгла и преследовала меня. Получалось, что здесь, в Питере, я был у себя дома; она же чувствовала себя как незваный или пересидевший за столом гость. Да, таким людям, как Эмма, приходится уезжать, думал я, уезжают и другие, ну а я, очевидно, принадлежу к тем, кто должен остаться и строить свою жизнь здесь.

В последний раз, почти перед самым отъездом Эммы из страны, мы направились с ней в Грузию – хотелось оказаться за пределами всего нам дотоле известного, к тому же с детства Эмма мечтала побывать в горах. В Тбилиси мы остановились в доме одной театральной, связанной с Питером, семьи, хорошо знакомой моей матери. Мать, по-моему, была рада нашему расставанию с Эммой, однако открыто не высказывалась по этому поводу, и, узнав о моем желании съездить в Грузию, лишь поинтересовалась, один ли я туда поеду.

– Так ли это важно, мама? – ответил я.

– Ну конечно, Коля, – ответила она, – я ведь должна предупредить моих друзей, что ты приедешь не один, а с девушкой. И чтобы вас приняли соответствующим образом.

Из Тбилиси ездили мы во Мцхета, провели несколько дней в Кахетии, побывали и в Гори с его старой крепостью и театром, где служил один из родственников принимавшей нас семьи, а затем уехали на море, в Сухуми, где жили на третьем этаже большой белой гостиницы, в номере с выходящими на море окнами и балконом. Был там и белый, почти новый холодильник, что в тогдашних условиях юга казалось роскошью. Разумеется, обо всем этом позаботились наши гостеприимные тбилисские хозяева.

Знакомясь с городом, мы побывали в местном историческом музее, погуляли в ботаническом саду, соседствовавшем с обезьяньим питомником, добрались и до высокогорного озера Рица. Большинство же дней наполнены были тем, что называется *dolce far niente*, сладостным ничегонеделанием. Привожу эти слова, оттого что итальянский был в те годы естественным символом иной, порой и всамделишной «сладкой жизни». «*La dolce vita*» было выражением всем хорошо известным, расхожим, при том что мало кто видел оригинальный фильм.

Итак, по утрам мы завтракали и пили турецкий кофе в кафе, выстроенном на развалинах старой турецкой приморской крепости. Там мы облюбовали столик в защищенном побегами винограда от солнца углу.

Затем мы шли по набережной к остановке катера, который доставлял нас на другую сторону залива, где под зеленой горой с дендропарком и голубым альпийским шале на одном из ее склонов тянулся вдоль берега песчаный пляж.

Город с его строениями лежал под горой Трапедия и под венчавшими соседнюю гору Баграта серо-зелеными стенами средневековой крепости, рядом с которыми росли четыре кипариса, – профили их четко читались в голубом, наполненном светом воздухе.

На пляже мы проводили время на азарии, где Эмма, время от времени заглядывая в словарь, дочитывала второй том рассказов Сомерсета Моэма, так она пыталась улучшить свой английский, а я в это время читал «Луну и грош», роман того же автора. Время от времени мы спускались к морю, при этом приходилось договариваться с соседями, которых мы просили присмотреть за оставленными на лежаках вещами. Карманников и воров в тех местах хватало.

Ближе к вечеру мы возвращались в город на катере и, выйдя на покачивавшийся настил причала, шли в сторону вечерней набережной с ее толпой, запахами и звуками музыки из самых разнообразных ресторанов и «гадюшников», так называли местные жители заведения, где народ закусывал и выпивал стоя. В этой «летней», иной, совсем не питерской жизни Эмму несколько раз принимали за уроженку юга, – правда, она была несколько выше ростом, чем местные женщины, но ни цветом волос, ни прической от них не отличалась, к тому же естественная бледность ее лица, как это часто бывает со смуглыми людьми, никак и ничему не противоречила: местные жительницы избегали солнца.

Эмме не нравились шумные места, не притягивали они и меня, и несколько раз мы пытались отыскать для ужина место потише. Нам удалось найти его за одним из столиков, вынесенных на песок между фрагментами стены старой турецкой крепости. В одной из сохранившихся башен ее был открыт ресторан, названный именем античной Диоскурии, основанной за две с половиной тысячи лет до нас участниками экспедиции за золотым руном. Античный же город погиб из-за гигантского оползня и лежал на дне сухумской бухты. Об этом рассказывали поднятые со дна амфоры и погребальная стела в местном музее.

Теперь на этих берегах шумела иная жизнь. Русские сменили здесь турок, турки когда-то пришли на смену византийцам и, ранее, римлянам, подчинявшим себе местные племена и царства.

Несколько вечеров играл в ресторане на дудуке Артур, невысокий, но очень уж ладный парень, недавно «откинувшийся», как доверительно сообщил нам официант. Иногда Артур пел, и ему аккомпанировали двое товарищей – один из них играл на флейте, другой на саксофоне. Отсидел он, как выяснилось, несколько лет за организа-

цию вывоза мандаринов из Абхазии в Россию. Одни его родственники в населенных армянами селениях выращивали мандарины, другие работали в милиции и автоинспекции, Артур же был естественным связующим звеном между ними. Продолжалось это несколько лет, и к тому времени, как его взяли, Артур уже успел возвести стены будущего дома вблизи маяка, на замыкающем бухту мысу. Вернувшись, наконец, из мест заключения в родные края, он снова играл на дудуке, извлекая из него томительно печальные мелодии, легко пролетавшие над столиками, фрагментами старой крепости и, казалось, засыпавшим во тьме морем.

С Артуром я как-то раз разговорился, подойдя к нему узнать, о чем, собственно, он пел, меня попросила об этом Эмма. Подошел я к нему с парой рюмок коньяка и для начала спросил, можно ли с ним выпить.

– Ты, брат, я вижу, правильный парень, – ответил он, – выкупаешь картину. Об Арарате пою. Откуда вся жизнь пошла, Библию читал, да? Арарат в Турции сейчас находится, понимаешь? Если бы русские один свой танк через границу пустили, мы бы за ним с ножами пошли, но понимаешь, брат... Ничего пока не получается. Но мы будем ждать, мы привыкли. Вот евреи ждали – и дождались своего государства. И мы подождем, – закончил он и выпил рюмку коньяка.

К концу недели, однако, шумно стало и за столиками на песке, и, сходяв на местный базар за вином, сыром и фруктами, мы несколько раз встретили наступление вечера на балконе.

Накануне нашего возвращения в Питер сложились у меня строки:

Мне лижет ухо
Тоска по морю,
Прощай, под крепостью
Уснувший Гори.

Зайду в кофейню,
А в чашке горечь,
И за столами
Синеет море.

А дальше горы
В ночном уборе.
Прощай, о Гори.
Прощай, о море.

Итак, мы провели несколько лет вместе, а затем расстались.

Наступил день, когда я приехал в аэропорт, чтобы увидеть ее, возможно, в последний раз. Аэропорт, таможня и пограничники – всё

это несколько напоминало лагерь, но я вместе с другими оставался внутри ограды, а Эмма и ее родители улетали куда-то за ее пределы. Последние объятия, поцелуи – и они исчезли за какой-то выкрашенной серой краской дверью, а вслед за ними прошли другие покидавшие страну люди.

Рейс этот в определенных кругах именовали «жидовозом».

Теперь, оглядываясь, я вижу, что отъезд ее предвещал то, что случилось позднее со многими близкими мне людьми, словно мор или поветрие прошло между нами.

8.

Вновь я встретился с Эммой через десять лет, в 1985 году.

Официальной целью моей поездки в Голландию было участие в научной конференции, посвященной четырехсотлетию со дня рождения Яна Порселлиса, на которой я выступил с небольшим докладом. Мой научный руководитель Илья Ильич Соيفер улетел в Питер сразу после окончания конференции, а я остался в Голландии еще на неделю, чтобы, как было написано в моем поданном в ОВИР заявлении, «посетить ряд голландских музеев и провести встречи с голландскими коллегами».

В последний год моей учебы в институте Илья Ильич читал нам спецкурс о взаимовлияниях в истории европейской живописи нового времени. Более всего интересовал его вопрос о миграции художников и художественных стилей в эпоху англо-голландских войн за господство на море, и всё сложилось так, что дипломная работа моя отталкивалась от истории основательно связанного с морем лейденского семейства ван де Вельде.

«Вам, Коля, за темой для дипломной работы далеко ходить не надо, – пошутил как-то Илья Ильич, – изучите для начала историю этого семейства, и вы лучше поймете, о чем, собственно, рассказывает картина в кабинете вашего деда.»

Речь, разумеется, шла о пейзаже работы ван де Вельде Младшего. В свое время Илья Ильич был знаком с моим дедом, А.А. Стэнном, и не раз обращался к нему по вопросам, связанным с переводом на голландский и с голландского его переписки с зарубежными коллегами.

Надо ли говорить о том, что идея изучения истории семейства, давшего *urbí et orbí* нескольких замечательных художников, впечатлила меня...

Прошло еще два года, и я снова оказался в кабинете профессора Соифера в Эрмитаже, из окон которого открывался вид на Неву. Когда-то, в период моей преддипломной практики, в этом кабинете он проводил занятия с небольшой группой студентов. Седые волосы профессора были очень коротко острижены, а румяное лицо покрыто

короткой седой щетиной, заменявшей ему бороду. Из-за стекол очков в тонкой золотой оправе смотрели живые карие глаза. Начиная фразу, он слегка наклонял голову и откидывал ее, завершая пассаж, с тем, чтобы увидеть выражение на лице собеседника. Он довольно часто бывал за границей на всякого рода конференциях и произносил чужие имена и названия городов без всякого придыхания. Илья Ильич принадлежал к той плеяде ученых, которые ценили удобные пиджаки, всегда были хорошо и со вкусом одеты, и это, как мне казалось, создавало у сиволопых чиновников ощущение собственной неполноценности. У него был широкий круг знакомств, он был дружен с моей теткой Агатой и, как я понял, чрезвычайно ясно представлял, отчего я снова появился у него в кабинете. Разговор со мной он повел так, словно расстались мы с ним вчера.

– Говорят, *мы* ленивы и нелюбопытны! Абсолютная чепуха, – сказал он, протягивая мне руку. У него была сильная тонкая кисть, охваченная мелкой сетью кровеносных сосудов. – А я вот всегда был уверен, что вы по-настоящему интересуетесь некоторыми художниками.

Далее Илья Ильич заговорил о жизни и трудах Яна Порселлиса.

Вот некоторые сведения об этом художнике: этот не доживший до пятидесяти лет мастер родился в 1584 году в Генте, во Фландрии, на территории нынешней Бельгии, в семье моряка, капитана торгового флота. В 1617 году, в возрасте тридцати трех лет Порселлис получил звание мастера живописного цеха Святого Луки в Антверпене.

Художник много путешествовал. Его переезды связаны были с поисками работы, финансовыми трудностями и с попытками найти себя как художника. Его имя встречается в документах ратуши Лондона, где он провел год, ратуш Амстердама и, наконец, Харлема.

Корабли и море на его картинах погружены в полупрозрачную атмосферу влажного северного неба, а тени легких облаков соседствуют с пятнами солнечного света на морской глади.

Он скончался в январе 1632 года в городе Зутервауде близ Лейдена. Имена его учеников хорошо известны: одним из них был Виллем ван де Вельде Младший. Известно и то, что Рембрандт, а также ван де Каппель собирали картины и рисунки Порселлиса. На значение и место его работ в голландской пейзажной живописи указал еще Эжен Фромантен в своей книге «Старые мастера», опубликованной в 1876 году.

– С точки же зрения современного искусствоведения, – продолжал Илья Ильич, – его картины открывают простор для аллегорических толкований, в которых корабли символизируют путешествие человека по жизни.

При этом он сослался на небольшое полотно «Бурное море» из мюнхенской пинакотечи, с его написанной в стиле Tromp l'oeil* рамой-обманкой и неоднозначной трактовкой пространства.

– У нас в Эрмитаже четыре его работы и лучшая из них – «Море в пасмурный день». Возможно, он был первым романтическим певцом моря в европейской живописи. Об этом стоит подумать, и здесь есть над чем поработать, – сказал Илья Ильич и протянул руку за сигаретой. Закурив, он глянул в окно на противоположную сторону Невы, а затем внимательно посмотрел на меня.

– Вы думаете, я потяну эту тему, Илья Ильич? – спросил я профессора.

– Но ведь не боги горшки обжигают, – ответил он и, слегка откинув голову, устало улыбнулся.

9.

Эмма прилетела в аэропорт Скипхол из Тель-Авива, а встретились мы на площади перед монументальным зданием Центрального вокзала Амстердама у бюро по съему квартир, над которым время от времени появлялась бегущая электронная надпись на английском, предлагавшая остерегаться карманников. Мощеная площадь завершалась причалами и серой, почти прозрачной водой. Бледно-желтые прогулочные катера дремали на серой воде под голубыми с легкой примесью розового голландскими небесами. Мост, переброшенный через канал, открывал вид на просторную, с голубыми мелкими лужицами площадь. Деревья дремали за металлической оградой, шум проходящих трамваев смешивался с голосами людей. На противоположной стороне площади стояло массивное трехэтажное розовое здание с вывеской компании «Томас Кук» на крыше. Слева лежал порт с его графикой кранов и портовых строений.

Эмма несколько преобразилась и, пожалуй, стала даже интересней. В облике ее возникла определенная доминантность линии, пришедшая на смену слегка рассеянному взгляду и легкой неопределенности движений того времени, когда мы жили в одном городе. Мы остановились в двухэтажной квартире с выходом в сад в доме на одном из периферических каналов Амстердама. В нижнем этаже находилась довольно просторная гостиная, совмещенная со столовой, спальней и кухней, наверху – еще две спальни. За окном на улице проходила трамвайная линия. Эмме нравился Старый Свет. «Здесь есть какое-то ощущение дома – дома, где ты живешь», – говорила она. Слово «дом» показалось мне новым, оно звучало достаточно неожиданно. Со времени ее отъезда мы обменивались открытками, реже – короткими письмами.

* Обман зрения (*фр.*)

Мы бродили по городу, глядели на голубей и старые велосипеды у кафе, лужи, площади и каналы. За прошедшие годы кое-что изменилось – она уже не казалась мне старше и опытней меня. Теперь я смотрел на нее и понимал: вот женщина, которую я любил и, кажется, продолжаю любить, но обстоятельства не дают нам быть вместе, не говоря уже о том, что мы оба изменились, живем в разных странах и даже на разных континентах.

Я спросил у нее, хотела бы она вернуться в Питер.

– Уже не смогу, – сказала она, – это всё равно как идти вперед, пятясь и глядя назад.

– А может быть, у нас еще есть шанс? – спросила она однажды. – Всегда возникают какие-то новые возможности, – добавила она. – Вот я собиралась в Штаты, а по-настоящему мне понравился Израиль. Никто ничего не знает, – добавила она, – даже о себе. Или знает, но мало, совсем немного...

Оказалось, что сначала она прожила около года в Калифорнии, затем вышла замуж за уехавшего из Питера журналиста и вместе с ним переехала в Нью-Йорк, где они как будто нашли работу в одной из новых русских газет. Они снимали квартиру в районе Вашингтон Хайтс, у них родился сын, а затем ее муж исчез, сбежал. Она вернулась с сыном в Стэнфорд, в Калифорнию, к родителям и начала работать как фотограф-фрилансер, специализируясь на фотографировании изделий из керамики в музейных интерьерах. У нее еще не было американского паспорта, но она верила, что, получив его, станет совершенно свободной и сможет жить там, где пожелает. Похоже было, что Америка не очень-то пришлась ей по душе.

– Видишь ли, когда я его встретила, я думала: вот мы в новой стране и вместе начнем эту новую жизнь и так далее, весь этот бред, теперь я это понимаю, – сказала она, – потом я осознала, что пытаюсь внушить себе какую-то новую легенду, сказку... Знаешь, Коля, ведь Штаты – это нечто великое и необъятное, а я искала для себя что-то естественное, а не шанс участия в грандиозных гонках. И, ты не поверишь, мне повезло, – со смехом призналась она. – Я тогда жила вместе с сыном и родителями в одном из пригородов Стэнфорда, неподалеку от университета, куда отец передал свой архив, работала как фрилансер для музея университета, снимала керамику, стелы и другие артефакты для выставочных каталогов. В Стэнфорде, в университете, есть у меня приятель-археолог, я была с ним знакома еще в Питере, он тоже эмигрировал. Он ездил на раскопки в Израиль каждый год, но их фотограф заболел, и этот археолог, мой приятель, сказал мне: у нас вакансия, попробуй, может быть, что-то и выйдет. Мой портфолио понравился, меня взяли, и я проработала там целый сезон с экспедицией. Работали мы около полугода, и за это время я ко мно-

гому привыкла. Понимаешь, когда я первый раз прилетела, всё это показалось мне очень странным, как будто я попала совсем уж на Восток. Фотографировала я, в основном, старую керамику и камни с надписями, общий вид раскопок, фрагменты строений, каменную кладку и прочее... Но потом к этим камням и людям, и к тому, что они громко говорят и пишут справа налево, привыкаешь и отыскиваешь какое-то свое место. Обратно ехать мне не хотелось, и я решила пожить в Израиле еще месяц-другой, ну, может, полгода, до возвращения экспедиции. Хотя я и понимала, что тогда позже получу американский паспорт... Но паспорт можно получить только через десять лет, а живу я сейчас...

Встреча наша, не побоюсь преувеличений, меня потрясла. Мы провели вместе неделю, затем я улетел в Питер, но по интенсивности впечатлений неделя эта, пожалуй, затмила предыдущие несколько лет моей жизни. Ну а куда же улететь мне, чтобы стать нормальным человеком, спрашивал я себя и затем, понимая всю бессмысленность этого вопроса, снова спрашивал, отчего нет у меня какой-то одной цели или сильного желания, способного изменить весь ход моей жизни.

10.

В следующий раз нам удалось встретиться в Париже, куда я отправился по полученному от коллег приглашению. Остановились мы с Эммой в маленькой недорогой гостинице в одном из уходящих с площади Пигаль переулков. Практически это была небольшая мансарда, переоборудованная в гостиничный номер. Остальные номера располагались в бывших квартирах узкого четырехэтажного дома.

Тут же в переулке находилась булочная-кондитерская, а через дорогу от нее кулинария и винный магазин. Напротив гостиницы был ресторан, куда ближе к ночи слеталась толпа чернокожих красавиц и их сутенеров, выходцев из арабских стран самых различных оттенков кожи – от оливкового до фиолетового.

– Главное, мсье, не останавливайтесь, – предупредил меня портье-алжирец, – если к вам кто-то подходит и что-то просит, не останавливайтесь, иначе вам приставят нож к спине и попросят бумажник. Решайте все вопросы на ходу, они тоже не хотят ничем рисковать, будьте в движении, – продолжал портье, изъяснявшийся на смеси двух языков, французского и английского.

Вооруженные этой премудростью, мы вышли на нашу первую вечернюю прогулку.

К ресторану то и дело подъезжали такси – кто-то приезжал, кто-то уезжал, грохотала музыка и так всё и шло до той поры, пока мы не вернулись и не поднялись к себе в номер, когда среди ночи к музыке доба-

вился вой полицейских сирен, прозвучал выстрел, где-то со звоном рухнуло стекло, а затем всё постепенно утихло.

– Самое подходящее место для нас, – засмеялась Эмма, когда наутро мощеная булыжником улочка выглядела умытой и чистой, а окна в первых этажах зданий сверкали отраженным светом взошедшего за негустыми облаками солнца.

11.

Не знаю, удивительно это или, напротив, естественно, но те несколько встреч с Эммой, что случились за это время, запомнились мне больше всего остального. Выезжать за границу стало легко, нужны были только деньги, и в ту пору мне удалось кое-что заработать, посредничая в паре сделок по продаже картин. К тому времени Эмма наконец-то получила американский паспорт и вскоре после этого купила себе квартиру в Яффо, на берегу моря. Сын ее учился в начальной школе в Стэнфорде, где оставались ее отец, мать и брат с семьей.

Впервые я побывал у нее в Яффо, прилетев в Израиль из Амстердама. Внутреннее пространство аэропорта Лод с изображенными на рекламных фотографиях лицами людей, явственно отличающихся от европейцев, и написанными на иврите текстами был почти пустым, торговые павильоны закрыты – вечер пятницы.

Эмма ждала меня. После первых объятий и поцелуев я подхватил свою сумку и пакет с купленным в амстердамском «Дьюти фри» виски, и мы оказались на автомобильной стоянке, посреди густой южной ночи с ее недвижимым воздухом, профилями кипарисов и пальм, желтыми огнями и дотоле неведомыми сладковато-пьянящими перечными ароматами. Я поставил сумку и пакет в багажник ее «Субару», Эмма включила зажигание, вывела машину со стоянки, и мы поехали в сторону Тель-Авива.

– Ну как, досматривали тебя? Расспрашивали? – спросила Эмма.

– Конечно, – сказал я, – в Скипхале мы беседовали с пограничниками в отдельном отсеке, вдали от всех остальных, нас очень внимательно расспрашивали о причине поездки, и мне пришлось рассказать о тебе.

– *Битахон*, – сказала Эмма, глядя на дорогу, – безопасность. В этом аэропорту террористы застрелили около тридцати человек.

– Знаю, – сказал я, – «Красные бригады». Мне пришлось пересказывать свою историю три раза: почему я прилетел из Скипхола, а не из Москвы, кто я и чем занимаюсь, даже показал им свою книжку. Думаю, мне поверили.

– О, тебя можно поздравить?

– Ну да, она, наконец, вышла, – сказал я.

– Хорошо, что ты привез ее!

– Да, и они прочли дарственную надпись. И тогда пришлось рассказать о тебе.

Она засмеялась.

– Ты правильно сделал, что не стал им врать с самого начала, иначе мог бы засыпаться.

– Я вообще стараюсь не врать, тем более на границе, – сказал я.

– Ну и что дальше? Что ты будешь с ней делать?

– Всё как обычно. Постараюсь продать ее в Голливуд.

Эмма засмеялась тем смехом, который означал, что она спокойна и чему-то рада.

– Я несколько лет прилетала сюда каждую весну, с экспедицией, – рассказала она позднее. – И после того, как мы с тобой встретились в Амстердаме, прилетала почти каждый год. Мне нравится здесь. Правда, на холме, где мы копали, были только солнце и пыль. Но однажды, когда раскопки закончились, поскольку наступила зима, я уехала в Иерусалим, к знакомым. Там я задержалась – мне было интересно. Я подумала и решила снять квартирку. Зима была холодная, снежная, я сделала какие-то фотографии, а потом в одной галерее устроили выставку – ты знаешь, снег в Иерусалиме позволяет кое-что увидеть по-новому. Там ведь не праздничная зима, ничего в ней радостного нет, это суровая, насупленная зима, низкие облака, холод и снег, падающий на окружающие город горы, надгробия, кипарисы, монастыри, стены, кресты. Эту серию фотографий мне удалось продать «National Geographic», и у меня появились деньги. Но в Иерусалиме я не удержалась: Восток для меня – это слишком. А потом меня потянуло к морю. Мне захотелось пожить у моря, вот не знаю отчего, а может, это и не надо объяснять... Отчего нам хочется жить у моря? От ощущения свободы и простора? Да, мне захотелось жить у моря... Ну, ты-то понимаешь. И чтобы был пляж. Ведь Средиземное море теплое, не то что в Калифорнии, где на океан приятно смотреть, а плавать приходится в бассейне. Я подала заявление, получила израильское гражданство, взяла льготную ссуду в банке и вложила всё, что заработала, в покупку старой, полуразрушенной квартиры в Яффо, на холме Андромеды. Такой, во всяком случае, она была. Знаешь, тут, в Яффо, тот самый греческий Персей взял да и отрубил голову Медузе, а Яффо – это пригород Тель-Авива, – на холмах под голубым, нет, синим куполом неба, а внизу, в море, летом действительно много медуз, но они уходят на Девятое ава, в день гибели Иерусалимского храма. Тут всё очень густо, – смеялась она, – квартиру эту надо перестраивать и ремонтировать, я уже начала что-то делать, и это займет несколько лет, но зато здесь есть море, старая крепость, построенные из желтого камня кривые торговые ряды и блошинный рынок с кинжалами, украшениями, сосудами и вуалями.

При желании ты можешь отыскать там покрывала, которые сбрасывала Саломея.

– Ну вот ты и проговоришься, – сказал я. – Саломея – это ты о себе? Когда ты встаешь по утрам и пляшешь – разве это не танец семи покрывал? У тебя даже тембр голоса становится ниже...

– Нет, это еще не настоящий танец семи покрывал, – ответила Эмма, – это только репетиция... А танцую я до тех пор, пока не вскипит кофе... Свежий кофе, сыр, маслины и йогурт... Как ты на это смотришь?

– Кефир, – сказал я, – не йогурт, а кефир. И еще я бы съел яичницу с беконом – что-то вроде плотного английского завтрака. И еще финики. Кофе с финиками – моя мечта.

– Мотек, ты в Израиле, о каком беконе ты говоришь?

– *Мотек*? Что это?

– Это значит *сладкий, милый*.

– Ага, и ты уже знаешь, как это сказать на иврите?

– Это слово знают здесь все, – засмеялась Эмма.

– А что это за желтая полоса над морем, на горизонте? – спросил я, когда мы вышли на веранду.

– Это хамсин. Ветер из пустыни. Он несет сухость и пыль. И приходит пятьдесят раз в году. Но зимой это может быть даже приятно. Нет, не пыль, а теплый сухой воздух. Надо не забыть полить цветы.

Это была старая полуразвалившаяся квартира в доме, где на каждом этаже находилось несколько студий. Принадлежали они самым разным людям: кто-то считал себя художником, кто-то писателем, интеллектуалом, кто-то просто любил покурить травку в хорошей компании.

– Понимаешь, я хочу создать свою студию, чтоб жить, работать и, может быть, еще и преподавать. Знаешь, жизнь меня кое-чему научила: у меня есть бизнес-план, и я хочу его осуществить, не знаю только, как это всё случилось, как я дошла до жизни такой. Я, честно говоря, сама не ожидала этого от себя, понимаешь, от себя я этого не ожидала. Это, наверное, ощущение свободы, того, что ты можешь вот так просто всё взять и сменить, как платье, как грим, именно это ощущение увлекло меня... Конечно, это займет несколько лет, а пока я буду продолжать приезжать сюда с экспедицией – по крайней мере, я на это надеюсь... Ну а зиму буду проводить с сыном в Калифорнии... А потом окончательно перееду сюда и буду уезжать в Калифорнию на пик лета, там не так жарко.

Помню, я огляделся. Стены уходили вверх – каменные, из желтого слоистого ракушечника, до потолка было метров пять, в этой квартире можно было летать, не только танцевать танец «Семи покрывал». Всё

было живое: горшки с цветами и кактусами, крики на улицах, суета и лавки внизу, шумящая толпа, строящиеся дома, и – главное – синяя полоса моря и берег, куда вышел Иона из чрева кита. Но, Боже, как далеко всё это было от Питера, гораздо дальше, чем Амстердам, Париж или Мюнхен, – и я, естественно, имею в виду не географию.

На следующий день после приезда мы с Эммой направились в ресторан «Алладин».

– Там на веранде, – сказала она, – любят бывать сотрудники Моссада, так говорят. Наверное, кто-то придумал это, чтобы привлечь посетителей.

Море лежало внизу, пляж и белые строения набережной изгибались уходящей к горизонту дугой. Возвращаясь, мы прошли мимо монастыря францисканцев с пальмами у фасада.

– Здесь когда-то был чумной госпиталь, – объяснила мне Эмма, – тот, куда приходил Наполеон.

– Ты что, перечитывала «Войну и мир»? – спросил я. – Об этом посещении говорят в самом начале романа.

– Вообще нет, – ответила она, – совсем не то, я иллюстрирую книгу о походе Бонапарта в Палестину, написал ее один из наших археологов, и книга просто нафарширована такими сведениями. А кстати, мы можем сгонять с тобою на север, в Акру, а оттуда двинуться в сторону горы Тавор, мне надо поснимать там, пока не жарко. Вернемся через несколько дней. Это для книги. Ну как, поедем? Или тебе хочется остаться здесь?

Мы уехали в Хайфу на следующий день рано утром. Акра лежала несколько дальше на север. Эмма отправилась в поездку во всеоружии – с картой, планом съемок и парой хороших камер с разнообразными фильтрами. Я видел ее снимки, сделанные ранее, и теперь, посмотрев, как она работает, понял, что имею дело с профессионалом. Снимала она по утрам, потом мы отправлялись куда-нибудь перекусить, а жаркую часть дня проводили в гостиничных номерах.

Остановились мы в не слишком дорогой белой трехэтажной гостинице, выстроенной в духе зданий Баухауз, в просторном и нежарком номере с балконом и видом на бахайские сады и лежащий внизу город. Дорога до Акры занимала полчаса, до горы Тавор – чуть более часа. Во второй половине дня мы гуляли, а заканчивали вечер в ресторане. После ужина мы возвращались в гостиницу, а наутро снова отправлялись на съемки.

На обратном пути из Хайфы мы заехали в Кейсарию. По дороге Эмма показывала мне то, что ей нравилось: античный акведук, амфитеатр и бухту, развалины крепости и прозрачную морскую воду.

– Не хватает лишь ангелов, – сказала она, глядя на уходящие под воду каменные глыбы.

– А когда мы поедем в Иерусалим? – спросил я.

– В следующий раз, – сказала она, – когда снова приедешь. Ты ведь не как турист сюда приехал, верно?

12.

Несколько лет подряд, и не один раз в году, прилетал я к Эмме, и каждый раз мы выходили из здания аэропорта и попадали во всё ту же густую южную ночь с ее недвижимым воздухом, профилями кипарисов и пальм, желтыми огнями и сладковато-пьянящими перечными ароматами.

Через несколько дней мы отправлялись в поездку по стране. Несмотря на ее скромные размеры, с ней следовало знакомиться, как с хорошим вином, – медленно и небольшими глотками. Эмма научила меня ценить вина, она не пила ничего крепче. Со временем я обнаружил, что ожидал приближения очередной поездки с нетерпеливым отчаянием сильно пьющего человека.

Одно из мест на побережье, Кейсария, притягивало меня особенно сильно, и мы не раз туда ездили. Кафе в Кейсарии, куда мы обычно направлялись по приезду, напоминало мне сухумскую кофейню, построенную на развалинах старой турецкой крепости, куда мы с Эммой заходили каждое утро во время нашей поездки на Черное море незадолго до ее отъезда из страны.

Особая же прелесть Кейсарии состояла в том, что время там, как и вообще на юге, текло медленно, оно никуда не спешило, оно словно медлило, вглядываясь в свое отражение в мутном зеркале или на поверхности натертых до тусклого блеска медных кувшинов и подносов, или разглядывало себя в пронизанной играющими лучами света морской воде, почти недвижимой в созданной Иродом гавани.

Амфитеатр и строения античного ипподрома вместе с уходящими в жаркое небо фрагментами колонн и античных скульптур завершали сцену, которую я покидал ради возвращения домой на север.

Впрочем, здесь оставалась еще и Эмма, и ей я обещал вернуться на юг, как только у меня появится такая возможность.

С момента первой нашей встречи в Амстердаме Эмма оставалась отдельной от всего остального и в какой-то мере даже тайной частью моей жизни в течение почти десяти лет. Отношения наши подошли к концу тогда, когда я ощутил, что мне следует и даже необходимо замкнуться в своей уже состоявшейся жизни. Произошло это тогда, когда я наконец осознал, что родители мои стареют, а я уже давно пропустил ту пору, когда уходят из родительского дома, к которому оставался привязан. Да и, кроме того, я был и остаюсь привязан к Питеру, своим привычкам и важным для меня явлениям и связям,

которые только углубились и усилились за годы, прошедшие со времени отъезда Эммы.

Постепенно я осознал, что обзавелся своего рода домиком, который не могу потерять и который тащу на себе, подобно улитке. Правда, домик этот невидим, но я и впрямь прирос к нему и стал его частью, несмотря на то, что любил покидать его на время. Представить же свою жизнь, даже и с Эммой, вне этого домика я не мог. Не знаю, как и каким образом видела всю эту ситуацию сама Эмма, не знаю, чем я был для нее – мостом ли в прошлое или каким-то восполнением того, что ей не удалось обрести, уехав из Питера, а может быть, иногда думал я, ничего, в сущности, и не изменилось с тех пор, как она сказала мне, что я так же одинок, как она...

Как бы то ни было, но с течением времени я постепенно пришел к мысли о том, что мне следовало уйти, затеряться где-то вдали, выскользнуть из ее жизни и дать ей возможность самой выстроить свою жизнь согласно ее собственному разумению. Не скажу, что она этого не понимала, – она, я уверен, понимала всё и лучше, и тоньше, и, наверное, сильнее и глубже меня ощущала и переживала всё это, но, по-видимому, решила дожидаться того момента, когда я сам осознаю наступление иных времен.

К тому же мне не раз приходило в голову, что время, данное нам, постепенно подошло к концу и даже истекло, как истекает выделенное надзирателями тюрьмы время на свидание с заключенным, как приходит к концу время юности, а затем заканчивается пора зрелости, наступает зима, и чье-то время движется к собственному окончанию или обрыву...

Но, похоже, что даже подошедшее к своему концу время остается в своих правах на ограниченной светлой металлической рамкой фотографии Эммы, повернувшейся ко мне спиной. Я смотрю на нее, и иногда мне кажется, что прошлое – здесь, у стены, оно словно обнажается на мгновение, не замечая или попросту не обращая внимания на то, падает ли на стену свет из окна...

Эдуард Хвиловский

ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ

Восьмиугольная пора, восьмиугольное признание,
восьмиугольный разворот восьмиугольных перспектив,
восьмиугольные слова, восьмиугольные старанья,
восьмиугольные черты, восьмиугольный лейтмотив.

Потом портреты – и без рам, и в рамках, и в воображенье,
и в воздухе, и на воде, и просто там, где есть ничто,
и нечто, и черт знает что, и радость, и прикосновенье,
и всепрощенье, и любовь, и золотое решето.

Всё со вниманьем, по канве, своими сделанной руками,
и выверен свободный ход и по часам, и по слогам,
и всякий невозможный раз не очень доверяем сами
и ни себе, и ни врачам, и ни известным чудесам.

Как будто выверено всё и есть повсюду наши метки,
и стрелки, и винты-болты, и убедителен процесс.
Неповторимые штрихи практически не так уж редки
в своей пространственной глуши, и робок личный интерес.

За сим выходит всё на круги всех гравитаций и не всех,
смешки глазют всякий раз из неоправданных углов,
потом свою срывает маску вдруг образумившийся смех,
и тают присказки и сказки в дежурных стаях облаков.

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Пребывая на постоянной основе
в системе собственных заблуждений
как позитивного, так и негативного толка,
тасуем тонны соображений
в приснопамятном стогу, где наша иголка.

В безусловно неодолимой тьме
пульсирующей Вселенной
забавно перелистывать лозунги
о большом и нетленном...
Трезвомыслие в этой гавани
даже противопоказано,

особенно в случае, когда
всё давно описано и рассказано.

«Три шага вперед и ни шагу назад!» –
на поверхности земного шара звучит
не лучше, чем приглашение в Эдемский сад,
продающийся в центре базара.
Дворцы из небылиц – самое прочное сооружение
в понятиях прозаических лиц,
а по воскресеньям – даже самое точное
в среде кружевниц, отроковиц и прочих юниц.

Хорошая карикатура на тщательно обоснованное,
построенное на фундаменте из черных дыр
и всей невесомостью нам дарованное,
ценится на уровне лучших квартир.
Остается выяснить, где зад, где перед,
где верх, где низ, чтобы усвоил, наконец, народ,
где просто дом на песке, а где каприз.

Частные точки зрения взаимозаменяемы,
планида астрономически произвольна,
особенно интерпретируемые невменяемо,
но зато кадастровически вольно.
Картины надежд, движущиеся во времени,
питают индивидуумов всякого племени.
сознание минует свои модальности,
не прогрессируя в ирреальности,
обоснованные абсурдности
уравновешивают себя без трудностей.

Многие откровения неприличны,
достигая определенной степени личной
под сенью тени или светотени.
Столкновение противоположных
взглядов и устремлений
есть постоянная функция
предвыборных ощущений.

Это не руководство к действию,
которое при глубоко осознаваемых
обстоятельствах существования смешно,
или к гомерическому бездействию,
которое видно через окно.
Воля к жизни. Идея. Умножение слов.

Диотима и Бонадея. Без свойств. Без основ.
Самоотожествление субстанций.
Вкрадчивости упорств.
Шум обесточенных станций.
Сидоров... Иванов... Петров-с...

СЛЕДЫ

След – необъяснимо отчего...
Впрочем, как и остальная брага
из того известного всего,
что впитала мягкая бумага

и кондовый солевой раствор
в отдаленной, непрозрачной банке,
и электротяговый мотор
на бесплатной гужевой стоянке.

Всё должно быть, как должно всё быть.
Прочь функциональные дефекты!
Даже если их и не избыть,
разрушая комплексов комплекты.

Мнимость из неведомых начал
распрямила крылья наудачу,
потому что черт ее тачал
так, что вся летит, никак не знача

для себя и прочих ничего,
как и расторопная не-мнимость.
Оттого или не оттого
и непроходимость, и судимость.

Всё пошло-поехало подряд,
потому и словорез в землянке
соотносит словобеглый ряд
с прочими на грамотной делянке.

Голоса известных мудрецов
разливают истины по бочкам,
и ряды неслышных голосов
гимн поют и запятым, и точкам.

Так по кругу как-то всё плывет
от простого к сложному и дальше,
и в какой-то год само придет,
может быть, к тому, что было раньше...

А пока ищи истоки дня.
Как найдешь – начнется всё сначала.
Оттого и круглая земля,
что бы там за этим ни стояло.

ГОВОРЯЩАЯ ТИШИНА

Говорящая вслух тишина,
правомочнее всяких речей,
и воздушным посылом полна
в сумме всех отстоявшихся дней,

и ее нелегко рифмовать,
посложнее, чем пруд напрудить
или прут раскаленный принять
в орган, коим привык говорить.

Гимны сыграны чьей-то рукой
в подземелье и в личном дворце,
и холодный усилен покой
на далеком портретном лице.

Ель минуют и пальма, и куст,
и какое-то в сущих словцо,
и конверт полуполн-полупуст,
и наборы забот налицо

за границей бумажных границ
и невидимых им рубежей
в отражениях тех самых лиц
в каплях нерукотворных дождей.

А повсюду всё тот же разбой
и веселий больших океан,
где большой разбивает прибой
многогранный и прочный стакан.

В новостях всё всегда о другом,
о безмерно-всеобщем, и так,
что далекий покинутый дом
даже выглядит нынче никак.

ВСЁ В ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЯХ ДНЯ

Съезд покрыл конференцию, как
одеяло простынку.
Начинай, умный. Ты не дурак.
Поменяйте пластинку!

Первый, первый! Ответь! Я второй!
Говори! Только внятно.
Я вторую весну сам не свой!
Это сразу понятно.

Всё – в последних известиях дня.
И всегда однобоко,
и резвится, пугая коня.
Невозможность потока.

Отовсюду лютует трезвон –
от зеркал до простенка.
Без ключей многолюден кордон.
Неприглядная сценка.

Тихо разве что в библиотек
малолюдных участках,
чей читательский модуль истек
и затих при остратках.

Тóлпы против, потом тóлпы за.
Где же та, что гуманней?
Где ученая наша коза?
Отойди, рог бараний!

Чу, лошадка! Чу, бег! Просто – чу!
Сивки, вещи горки!
Едем так, что я просто молчу.
Развеваются створки.

Только песню мою не бери!
Не беру – развиваю,
в лоне попранной в прошлом любви
многозначно читаю.

Вот и праздник в означенный день
на возвышенной ноте.

Есть на празднике тень и плетень.
Всё, как в том анекдоте.

Голосит, преречист, борзопист
сквозь заслоны пределов,
и, как водится, внутренне чист
в постраничных наделах.

В серебре шоколад. Серебро
от тепла мягким стало.
И в руке не прямое перо.
Разве этого мало?

Нью-Йорк

Анна Маркина

* * *

Вырастая откуда-то с самого дна,
по кирпичику тянется в небо стена.
И мой медленный край, как ребенок больной,
всё стоит, полуголый, за этой стеной.
А пока мы читаем ребенку стихи,
кто-то делает хлыстик ему из ольхи,
тычет в доску указкой и контур садов
белым мелом обводит мертвецких трудов.
Ты, быть может, не слышишь за этим стихом,
как стена обрастает отравленным мхом,
как, бессовестно ясны и даже легки,
из нее, словно стаи, взмывают штыки,
чтоб звучащее в небе большом, голубом
пригвоздить в запыленный советский альбом.
Как больного ребенка согреть и спасти,
как укутать его и куда повести?
Если это над нами. Всегда. Надо мной.
И веками растем мы за этой стеной,
с материнским терпением, вздохом «налей»
и платком оренбургским седых тополей,
если каждый кирпич, каждый метр и слой –
это я, это мы (помнишь пели Pink Floyd?)...

Ходит яростный ветер по кромке страны,
бьется в черные дыры стены.

* * *

Миллионы км. Тридцать лет с перестройки.
Сколько верст еще нашему брату?
Двести лет Хлестаков гонит мыльную тройку
к доживающей тетке в Саратов.

Через снежные сны и дождливые враки –
в колесе ходят времени спицы –
по разрухе, деревням и сквозь буераки
тянут беглую бричку жар-птицы.

На рассвет, где горячее небо из грога,
где простынок дрожат паруса,

где дурак дураку объясняет дорогу,
не жалея его колеса.

Что ж так медленно, сударь? К тому же и пьяный...
Как бы тетка не вышла в омлет!
Контролерам подайте скорее билет,
чтоб доехать от ямы до ямы.

Скоро будет рассвет, а сейчас – как в могиле.
Но звезду обретают волхвы...
Николаю Васильичу сказано было:
«Не терял бы ты, брат, головы».

А он – эх... И такое тут может случиться...
Потерялась, и пусть, поделом.
Том второй просто ночью задела жар-птица
беспокойным, горячим крылом.

Проезжая по кочкам сквозь дебри приличий,
о дорогах судить не берусь.
Сколько лет уж молчит сероглазая Русь,
Ложит плитку на всё городничий.

* * *

Словно знак вопроса скрючен,
движимый мечтой,
папа Карло ищет ключик,
ключик золотой,

ясный ключик к жизни тленной...
или долото,
чтоб любимое полено
выросло во что...

Мама Карло пашет тяжело –
чай не кто-нибудь –
чтоб родную деревяшку
в туфельки обушь.

Вот прелестная картина,
вот отец и мать:
надо срочно Буратино
человеком стать.

Только как же это сделать,
если мне темно?
Если мне такое тело
Осипом дано?

Тучи, тучи, ветер мгlistый.
Кто нас не упас?
Мать становится Алисой.
Папа – Карабас.

Кто посеял в поле ключик?
Ключик кто унес?
Материал ты мой горючий,
спрячь свой длинный нос.

Сколько лиха, сколько смеха...
Много сказке лет.
Карабас совсем отъехал,
а Алисы нет.

Поскребем-ка по сусекам,
дерево-тоска:
человек мой, человек мой,
буратинушка.

* * *

Первый день сентября, и большая вода
наступает с небес, беспокоясь.
И краснеющий школьник приходит туда,
где засох у доски гладиолус,

где ремонт завершен и промокших детей
по порядку усадят за парты,
и они на уроке границы людей
нарисуют на контурных картах.

Они вычислят скорость и время в пути,
без остатка поделят арбузы,
их научат, как лучше линейно пройти
не по катетам – гипотенузе.

Но они заплутают, столкнувшись с грозой,
когда выйдет за доску их вектор:

находить в уравнении корень всех зол,
а в квадрат возводить человека –

вот чему нас не учат. Я столько могу
школьных вывести дискриминантов,
чтобы мы перестали быть в вечном долгу
у хождения на жестких пуантах

от стены до стены по паркету иксов,
под тревожным прицелом указки.
Отодвинуть на памяти ржавый засов,
обратиться к дождю за подсказкой,

пусть на всё перейдет светоносный эфир,
отпусти свои, Броун, частицы!
Не в учебник загнать окружающий мир,
а у воздуха жить научиться.

Не линейка, не клетка, а всё – каучук.
Двойка – тоже прекрасная птица.
Я всё так же стою, словно глобус кручу
У доски, изучая за границы.

* * *

васильковые кони васильковые кони
и обмытые ливнем деревья покойники
на которых под пенье дождинок ложится
золотое крыло обреченной жар-птицы
это было тобой это было с тобой
это врезался в осень вагон голубой
пробежавшая ласка проворный хорек
это осень и сыплется мир под нее
о какой ты земной и какой неуместный
и небесные кони и вермут небесный
всё поет воскресает живя и любя
это небо и смерть и они для тебя

* * *

Он тяжел был и мрачен, как лондонский смог,
я закрыла границы свои на замок,
чтоб туман этот бледный, срываясь на крик,
больше жить надо мною не мог
и в окно ни за что не проник.

Но когда в черном небе желтела блесна,
я на дне, словно рыба, лежала без сна,
то мне было так жутко, так страшно-темно,
и на смог я смотрела в Fb из окна.
Я опять открывала окно.

И по этому прошлому мраку киты
проплывали с фонтанами, таяли льды,
и на самых глубинах звенела земля,
и тянулись к закрытым границам цветы
через облачный бархат угля.

И опять наступали мерцанье и гром,
как на Лондон, – туман в середине втором.*
И я заново пряталась от темноты.
А тем временем в воздухе бледно-сыром
за окном проплывали киты.

* Великий смог в Лондоне в декабре 1952 года.

* * *

Когда поймешь, что не возьмешь барьер,
что ты в плену страдательных причастий,
среди глаголов прошлого вр
найдешь приют и разберешь на части
свой собственный усталый механизм,
чтоб к внутренним законам обратиться:
в нем тает песня обреченной птицы,
он ржавчиной, как пением, пронизан,
за тяжестью, за стенками приличий,
шевелиются в нем винтики привычек,
пружинки свойств из благородной стали,
просевшие под тучными мечтами,
увидишь, как – ну да – недолюбили,
как не были ни нежность, ни покой,
но этот слой густой таежной пыли
пора смахнуть уверенной рукой.
Всё вычистить – от сердца до каемки,
до каждого слепого рычажка,
чтоб заново запели шестеренки
мелодию высокого прыжка.

Люберцы

Полина Брейтер

Дороги

Все большие дороги, железные и шоссейные, ведут из одного птичьего двора в другой, и на всяком дворе утенка будут клевать. Вот он и идет – в сторону от больших дорог, по тропинке, где будут деревья, кусты, пригорки, может быть, лужи, а может быть, и озерко... Но больше ничего. Надо идти и идти. С одной, впрочем, надеждой: что этот путь без цели имеет свою собственную, скрытую, внутреннюю цель.

Григорий Померанц

ВСТРЕЧИ

Они стояли в стороне от всей группы – Люся, высокая, спокойная, терпеливая, похожая на Фернандела; Светка, юркая, готовая в любую минуту всё организовать и разругать по-своему (она и сейчас пыталась во что-то вмешаться); и маленькая толстушка Верочка, которую в детстве дразнили Мышкой, взрослую – Пятачком и, если насмешливо, то Философией.

Как и все остальные, они поджидали туристский автобус, полные предчувствия начинавшегося праздника – путешествия, отдыха, приключений. И от этого были оживлены и находились в том радостно-возбужденном приподнятом настроении, когда всё, что происходит, кажется интересным, захватывающим, когда нет невозможного, когда чудеса – в порядке вещей и никого не удивляют, когда каждая минута приносит что-нибудь новое, и это новое – всегда привлекательно и желанно.

Медленно-медленно подполз автобус. Огромный, важный, величавый даже, новенький синий с белым туристский автобус со странным названием «MISTIC». Сразу все засуетились и, не обращая внимания на призывы и уговоры координатора группы, начали, толкая друг друга, протискиваться к багажному отсеку со своими сумками, рюкзаками и чемоданами. А потом, избавившись от тяжелой ноши, – в салон, норовя поскорее захватить передние ряды.

«Все занимают места, указанные в путевках», – надрывалась координатор группы, но ее никто не слушал. Туристы усаживались на свободные места, а пришедшие позже требовали освободить эти места и потрясали своими путевками. Уже вспыхивали перебранки, уже стал накаляться воздух в салоне и запахло скандалом, когда раздался зычный голос экскурсовода: «Дамы и господа! Прошу вас немедленно занять свои места. Иначе автобус не тронется». И, как ни странно, все послушно начали пересаживаться.

Верочка, которую людской поток занес к предпоследнему ряду – одному из самых неудобных в автобусе, – растерянно оглядывалась в поисках Люси и Светы. Она не могла перейти на свое место, потому что не помнила номера: все три путевки оставались у Светы, а где была сейчас Света?

Дождавшись, пока все более или менее расселись, Вера пошла по проходу, внимательно всматриваясь в лица людей справа и слева. Она не могла не заметить своих подруг. Автобус вот-вот отправится, а их нет. Но так не бывает! Ведь еще несколько минут назад они стояли вместе, ждали автобус, дождались...

– Почему вы не садитесь? – спросила координатор.

– Я не могу найти своих подруг. Мы едем втроем, только что они были здесь, но я их не вижу.

– Как их зовут?

Вера ответила, и координатор громко объявила в микрофон: «Люся и Света! Ваша подруга Вера ожидает вас в салоне автобуса рядом с местом водителя». Потом повторила еще раз, и еще раз, и еще.

Никто не отозвался. Никто не подошел. Между тем пассажиры угомонились, успокоились и перестали ссориться.

– Какое у вас место? – спросила координатор.

– Не знаю, – смешалась Верочка, – моя путевка у Светы.

– Три свободных места остались только в одиннадцатом ряду.

Подруг ваших нет. Долго ждать мы не можем. Нам пора отправлять автобус. Может быть, вы вообще едете по другому маршруту. Хотя нет, ваши фамилии в списке. Словом, если хотите ехать, садитесь на любое свободное место.

Верочка терялась всё больше и больше. «Да нет, – сказала она, – куда же я поеду одна, без подруг.» Она смущенно молчала, когда координатор выводила ее из автобуса, когда водитель подошел к багажному отсеку, чтобы отдать ей чемоданчик.

– Какой из них ваш? – спросил водитель.

– Мой? – сомнамбулически произнесла она и взглянула на водителя. Взглянула – и остолбенела. То, что она увидела в его глазах... Это был не туннель, нет, это была дорога. Длинная-длинная желтая дорога. И сразу исчезло всё вокруг. Автобус, водитель, координатор. Весь мир свернулся в точку, а потом вытянулся и раскинулся перед

ней этой бесконечной желтой дорогой. Песчаной? Глинистой? Вера не знала. Она вообще ничего сейчас не знала, не слышала, не чувствовала, кроме этой желтой дороги, которая манила ее, Веру. И невозможно было не ступить на нее. «Ты зовешь меня? – прошептала Верочка. – Я иду, иду...»

* * *

Когда подошел автобус и толпа зашевелилась и задвигалась, Света схватила свои чемодан и сумку и ринулась вперед, крикнув подругам: «Пошли! За мной, девочки!». Она ловко юркнула под руку высокого мужчины с рюкзаком, обогнула целое семейство с детьми и уверенно продвигалась к багажному отсеку, пытаясь никого не задеть, не толкнуть, не обидеть. Оглянулась на подруг, не увидела их и сказала самой себе: «Ну ничего, там разберемся. Зато места всем займу хорошие».

У багажника она оказалась довольно быстро, протянула водителю свой чемодан со словами «вот, пожалуйста», подняла на него глаза и... Всё поплыло вокруг. Исчез автобус, исчез водитель, исчезли стоявшие рядом люди. Два озера смотрели на нее. Большие и тихие озера с ярко-голубой неподвижной водой и ранним восходящим солнцем над ними. Солнце отражалось в воде, и было непонятно, где оно настоящее, а где – отражение. «Вот, пожалуйста», – автоматически повторила Света, сама не слыша и не осознавая этого... Ей не хотелось говорить, не хотелось шевелиться. Что-то делалось с нею. Неподвижная гладь озера даже не манила ее, а магнетически притягивала к себе. Как под гипнозом приблизилась Света к воде, поставила на нее ногу и пошла вперед, к противоположному берегу, пошла, вдыхая запахи, прислушиваясь к тихому плеску прибоя и шелесту прибрежной гальки. «Вода! – прошептала она. – Живая вода... Господи, неужели это существует одновременно – суета повседневной жизни и эта неподвижная тишь, где жужжание мухи кажется слишком громким...» И, не слыша себя, не замечая, что по воде идет аки посуху, полная тихого и невесомого счастья и сама тихая и невесомая, она удивленно поглядывала по сторонам – и на прозрачную воду, так ласково поддерживавшую ее, и на удалявшиеся зеленые берега, и вверх на голубое небо, в котором так ярко светило солнце. И всё шла вперед и вперед по воде... Куда? Никуда! Просто шла, просто по воде, просто к небу и к солнцу!

* * *

Когда подъехал автобус, когда все зашумели и начали, толкая друг друга, пробираться к багажнику, Люся продолжала спокойно стоять на месте. «Куда спешить, – думала, – всё равно автобус не отправится в путь без нас.» Она видела, как юркнула в толпу Света, как унесло людским водоворотом Верочку, но это ее не смутило: какая разница, первой войти в автобус или последней. И она спокойно ждала, пока все

сдадут свои вещи в багаж, и только после этого приблизилась к водителю. «The last but not the least», – сказала с добродушной улыбкой. Водитель взглянул на Люсю и протянул руку к ее чемодану.

– А-а-а-х, – только и смогла произнести она. – Павел? Откуда?! Этого не может быть...

Водитель удивленно смотрел на Люсю, не снимая руки с чемодана, а она, уже не помня себя, бросилась к Павлу, протянула руки для объятия. И растаяло всё – автобус, туристы, водитель... «Павел, – повторяла она. – Как? Откуда? Этого не может быть...»

Но уже и он подошел к ней, обнял и молча прижал к себе. И сразу всё стихло; шепот ее становился всё более нежным: «Павел, Павлуша, Павличек...»

Они сидят на диване, держась за руки, и не беседуют даже, а так, болтают ни о чем. Но всё, о чем они говорят, кажется им нужным и важным, даже самое мелкое, самое незначительное.

«А знаешь, я позвонил недавно, и Севка взял трубку. Я спрашиваю: ‘Привет, как дела, как живешь?’ , а он так солидно, так по-взрослому отвечает: ‘Хорошо.’ – ‘А мама?’ , спрашиваю. – ‘Тоже хорошо.’ – ‘Ну, попроси ее к телефону.’ – ‘Мама не может, – говорит он еще более солидно, – мама занята. Мама готовит ужин.’ Ну совсем взрослый стал парень.»

«А знаешь, – это Люся уже, – у них в садике был конкурс на лучший рисунок, так он получил приз... угадай, за что? За непосредственность!»

Она не спрашивает больше, откуда он появился, она и мысленно не задает этот вопрос даже самой себе: зачем пытаться объяснить необъяснимое? Только крепко держит его за руку, чтоб не потерять, не порвать эту хрупкую связывающую их ниточку, бог весть за что и на сколько им двоим подаренную.

«Боже мой, Павлик, – бормочет она, не разжимая губ, – родной мой, любимый, нежный Павлуша, ты снился мне, *мы* снились мне! Я проснулась? Проснулась, всё еще ощущая твои прикосновения? Сколько лет не видели друг друга... Вот и Севка уже скоро в школу пойдет. Я подурнела, совсем старая стала. А мне так хочется быть красивой для тебя, чтоб ты любовался мною, чтоб у тебя делалось такое родное, любимое, до невозможности растерянное и восхищенное лицо, чтобы широко раскрывались твои улыбающиеся глаза, чтоб ты был такой, каким я вижу и по-сумасшедшему люблю тебя вот в эту самую минуту. Понимаю, ты не разлюбишь меня за то, что я постарела и подурнела. Но все-таки мне страшно: а вдруг ты меня не узнаешь. Да ведь я и не была никогда красивой. Но столько горестей мне выпало за эти годы, и не только красоту они унесли, не только молодость. Разве скажешь об этом словами...»

А он молча смотрит на нее, ничего не говоря, не двигаясь, не шевелясь, не пытаясь приласкать.

«Всё это время, разлученные, мы жили, я жил, ты жила, но не было нас, Люсенька. Сейчас мы есть... Может быть, это ловушка? Может быть, этот тихий покой, эта спокойная тишь, это полуоцепенение, переходящее в забытье, но и не совсем забытье, – сон о том, что *там* и *тогда*, тоже во сне, происходит, нет, не происходит – а просто есть, существует... что-то такое светлое и полное, невозможное для слов.»

«Ты мудрый, Павел, потому и любовь твоя мудрая. Ты всё время был со мной, всё время, все эти годы... Знаешь об этом?»

«Я так хотел спасти то, что, может быть, и вовсе не нуждалось в спасении. Всё должно было быть по-другому. И не надо было нам проверять. Мы очень больно ушиблись своими проверками. Не это нам надо было, не это, Люсенька. Теперь я знаю – что. Если оно будет, то и всё решится как-нибудь. А если не будет, то всё будет плохо, не знаю, как именно, но знаю, что плохо...»

«Я живу любовью к тебе, Павел. Я живу, любя тебя каждую секунду. Мое существо пропитано любовью к тебе, без нее оно не может быть живым. И это правда, вернее, частичка правды, потому что мало, плохо и бледно говорит о том, что на самом деле есть моя любовь к тебе, о том, как я живу с тобой, держась за тебя, прижимая тебя к себе, храня тебя в себе, лаская тебя. Я плохо тебя любила. И плохо строила наш дом, который, как любой другой дом, разрушается, если о нем не заботятся. Я виновата, Павлинька. Я виновата. Ты никогда не упрекал меня. Ты только смотрел на меня любящими и грустными глазами.»

«А как ты снилась мне всё это время, Люсенька! Как мне хочется рассказать тебе об этих снах! Я знаю, что не смогу, не сумею, не найду слов, чтобы рассказать, но очень хочу, чтоб ты знала, *как* ты мне снилась. Ты единственная на свете, понимающая всё так же, как я, самая родная и любимая. Мне очень надо сказать тебе, что только с тобой, одной-единственной, одинаково ощущаю я красоту и тайну. И только о тебе, одной-единственной, мне могут сниться *такие* сны.»

«Тебя любит Бог, Павел. Он любит тебя за отреченность от самого себя. Поэтому, когда при всем твоим терпении, при всем смирении ты начинаешь до остроты, до невозможности желать чего-то, Бог посылает это тебе. Я поняла это давно, и потому всё время верила, что наша встреча состоится. Что Бог услышит твою невысказанную мольбу и сделает так, чтобы мы могли свидеться. И вот встреча состоялась. Она будет такой, какая нужна тебе, какой хочется тебе, потому что это – *твоя* встреча. Бог *тебе* ее дарует, а с тобой получаю ее и я.»

«Бог посылает мне нашу встречу? Бог посылает ее *благодаря* тебе, *через* тебя, *ради* тебя. Любимая, мой сон продолжается. Я люблю тебя в тысячу раз больше, чем прежде.»

«И я люблю тебя, Павел. Я люблю тебя нежностью своей и еще

тем, что никак не могу обозначить словами, называя то теплом, то лаской, то родственным единением. Я всё время ощущаю контраст между тем, что есть ты, и всем остальным, что не есть ты.»

«Мы с тобой, Люсенька, как мечталось в юности, в детстве, до рождения: душа с душой, тело с телом, нежность с нежностью. Мы будто проснулись тихим утром и не встали, не уходим в день. Нам нельзя, нам не нужно говорить.»

Держась за руки, не размыкая уст, беседуют они друг с другом. Не размыкая уст, не нарушая молчания, не взбалтывая тишину.

* * *

Вера идет по безлюдной желтой дороге и с радостным любопытством смотрит по сторонам. Дорога стелется перед нею, как будто приглашая. Светит солнце. Шелестят листья на деревьях, слегка колышется зеленая трава.

«Как-то странно здесь, – удивляется Верочка. – Да нет, вроде всё как и везде. То же солнце, та же трава, те же деревья. Откуда же это чувство, что всё вокруг не так, всё по-другому? Что всё, всё изменилось? Может быть, это потому, что я ступила, наконец, на желтую дорогу? Ведь раньше всё самое главное всегда случалось с другими, а теперь...»

И, не останавливаясь, она то поднимает глаза на небо, то посматривает на поля и деревья, то просто глядит вдаль, где до самого горизонта расстилается желтая дорога.

«Значит, и моя очередь подошла, – говорит она себе. – Вот и я иду теперь по желтой дороге. Дойду ли? Погибну ли? Кто знает. Но что бы со мной ни случилось, с дороги не сверну!»

Вера шагает вперед, полная решимости и отваги, и воображает себя то героической валькирией Брунгильдой, то Орлеанской девицей Жанной д'Арк, то девушкой с профилем греческой богини с картины Делакруа. Будто это она, Вера, держит в одной руке французский триколор, а в другой винтовку, будто это она ведет народ на баррикады.

Шагает и скандирует в такт ритмичным шагам своим:

«Мой черед, мое время. Ты зовешь меня? Я – иду.»

По желтой дороге, по лесной тропинке, по камням и по скалам, по ущельям, горам и пещерам я иду.

Слева от меня огонь. Языки его пламени обжигают меня, а он приближается. Справа от меня пропасть. И я не могу увернуться от огня и не могу убежать.

Моя дорога – вперед и вперед. И я иду, хотя страшно мне, и нет мне помощи ни слева, ни справа. Одна я.

Нет, неправда. Я не одна.

По разным дорогам, по лесным тропинкам, по камням и по скалам, по ущельям, горам и пещерам мы идем.

Слева от нас огонь. Языки его пламени обжигают нас, а он приближается. Справа от нас пропасть. И мы не можем увернуться от огня, не можем убежать.

Одна нам дорога – вперед и вперед. И мы идем, хотя страшно нам, хотя трудна и опасна дорога».

Вера замолкает, останавливается, оглядывается вокруг. Нет слева огня, и языки его пламени не приближаются к ней и не обжигают. И пропасти справа нет. Нет лесных тропинок, скал и ущелий, гор и пещер. А есть только уходящая за горизонт широкая желтая дорога, а справа и слева от нее – бескрайние поля. Слева – пшеничное, справа – кукурузное. Раскинув руки, она запрокидывает голову, радостно смеется и бежит вперед.

Бежит легко и упруго, не думая ни о чем, а только наслаждаясь бегом и тем, как в такт этому бегу дышится, как растет в ней желание и дальше бежать и бежать без усталости, без остановки. И только уже совсем задохнувшись, ныряет в кукурузу и бросается на землю.

Она лежит на спине под кукурузными листьями, вдыхает их запах и, слушая громкий стук собственного сердца, смотрит сквозь зеленое кружево в небо. Солнце греет очень сильно. Жара разморила Веру, она становится расслабленной и сонной и совсем не ощущает плотности своего тела, будто сделана из облака. Так называемая реальность кажется ей призрачной. Призрачным кажется всё то, что занимало ее раньше. И собственные слова, которые она только что скандировала с таким воодушевлением и восторгом, сейчас ощущаются как слишком патетические, и потому ей немного стыдно за себя. Теперь она тиха – и почти неслышно мурлычет себе под нос песенку Окуджавы: «...неизменно впереди две дороги – та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли».

«Но у меня только одна дорога, – думает Верочка, — и я не должна идти ни по какой другой, только по своей. Если даже попробую пойти по другой, всё равно не получится... Но откуда мне знать, что эта желтая – моя? А вдруг я ошиблась... Нет, эта дорога меня позвала, поэтому я иду по ней. Она, может быть, не самая легкая, не самая лучшая, но она – моя...»

Верочке хорошо лежать вот так неподвижно и смотреть в молочно-голубое небо. Ей мерещится, что желтая дорога, которая тянется до самого горизонта, где-то вдали восходит вверх. Значит, по ней можно подняться, как в гору, и войти в эту молочную голубизну...

«Может быть, там она сольется с другими? – продолжает воображать Верочка. – Где-то я читала, что там, наверху, где время становится вечностью, а пространство – точкой целого, все дороги сходятся и совершенно сливаются. Если это так, значит, и моя желтая дорога сольется с другими? Хорошо бы... Но что будет потом?»

А как я узнаю, если не пойду? Надо идти. Надо встать и идти.»

И она встает. Поднимается с земли и вновь выходит на дорогу, которая ждет и зовет ее, ждет и зовет...

* * *

Света сидит в зеленой траве у самой воды, поглаживая рукой травинки, но руки ее не ощущают бархатистой поверхности травы, как не слышат тихого плеска прибоя ее уши, не видят озерной глади глаза. Они видят совсем другое.

Уши слышат слова, которые никто никогда не говорил ей, даже мама. И руки гладят руки незнакомого ей, но такого родного человека. А дрожащие губы впервые в жизни произносят эти слова: «Папочка, папочка, дорогой, как же долго не приходил ты». А он смотрит на нее, совсем не постаревший, точно такой, как на фотографии, которая висела у них в гостиной. В той же солдатской гимнастерке, в которой ушел тогда на войну да так и не возвратился. И слово, которым он ласкает ее, – еще довоенное, ныне почти забытое – Сара.

«Сарочка, – говорил он. – Майн тэхтэрл, майн мэйдл*, девочка моя подросшая. Какая же ты у меня красивая, ви шэйн ду бист**.»

«Меня теперь все называют Светой, потому что у нас смеются над еврейскими именами, но ты зови меня Сарой, только ты один, хорошо?»

«Сарочка, Сара. Так звали мою маму, твою бабушку, майн кройн-нэлз***. Ты так на нее похожа, маленькая моя, ты теперь уже совсем большая – совсем такая, какой была она.»

«А больно тебе было, когда они тебя ранили?»

«Нет, майн мэйдл, нет, девочка моя, мне не было больно, потому что они не ранили меня, а убили. Это быстро. Я и не успел почувствовать...»

Так они говорят. И постепенно привыкают друг к другу. Свете уже не кажется странным, что вот перед ней живой и такой молодой папа, которому можно всё рассказать, обо всем посоветоваться. Потому что, хоть он и сейчас так же молод, как тогда, когда она только родилась, но он же всё равно – папа, а папы, как известно, знают всё.

А ему больше не кажется странным, что тот маленький плачущий комочек, который он оставил на руках жены, превратился во взрослую женщину. И хотя она теперь старше его, видела и испытала многое, чего он никогда не видел и не испытывал, но всё же ищет в нем поддержки и защиты.

«Мама всё еще любит тебя. Она много о тебе рассказывала: какой ты был, как весело вы жили, как ты всё умел делать руками, даже меня пеленал маленькую, как вечерами вы слушали музыку и читали

* Дочурка моя, девочка моя. (*идиши*)

** Какая ты красивая. (*идиши*)

*** Детка моя. (*идиши*)

Есенина и Блока. А сейчас она читает одна. И чаще всего не Есенина и Блока, а Марину...»

«Кто такая Марина, – думает он, слушая восторженные речи дочери. – Есенин и Блок – поэты, значит, и Марина тоже?.. Но как же прекрасна моя Сарочка! Мог ли я надеяться увидеть ее такой...»

«В школе было много детей, не знавших отцов своих. И мы мечтали: вот проснемся когда-нибудь, а папа уже дома! Я даже учиться старалась лучше, чтоб не стыдно было показать тебе мой дневник. Потому что тебя не было рядом, но ты всё время, всё время был со мной!

В детстве мне часто снились страшные сны. Я не помнила их почти никогда, только просыпалась тяжелая, больная, уставшая. Один сон снился много раз. Почему-то мне нужно было залезть в колодец, спуститься туда в ведре. Я – девочка. И должна была позволить спустить себя вниз взрослым мужчинам. Мужчины эти – враги. Мне было очень страшно, но я твердо помнила: нельзя, чтоб об этом догадались взрослые. Веревка, на которой меня спускали, была тонкая, ненадежная. В любой момент могла оборваться. И еще я знала, что в любой момент нас может убить сверху – бомбежки ведь. Или – разорваться мина под ногами. Смерть угрожала со всех сторон. А лезть в колодец все-таки нужно было... Видишь, какой сумбур, папочка. Я думаю, это мне снилось, что тебя нет со мной, что никто не защитит меня, никто не поможет. Ах, папа, папочка, пусть случится чудо, и ты услышишь не то, что я так неумело говорю, а то, что хотела сказать...»

«Не знаю, услышал ли я то, что ты хотела сказать, – думает он, глядя на нее умиленно, – но увидел я много, Сарочка. И прежде всего, что не зря мы сражались с проклятыми фрицами, не зря погибали, не зря. Мы кричали: ‘За Сталина!’, но ведь не за него мы шли в бой, а за тебя, майн мэйдл, девочка моя. Знаешь ли ты, как мы пели тогда? У нас была строевая песня ‘Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь! Огонь!’ А мы пели: ‘За наших жен и матерей, за наших маленьких детей, за нашу Родину – огонь! Огонь!’ И вы выжили. Наши матери, наши жены, наши дети – индзэр мэйтэрс, вайбэр, киндэр*. Мы полегли, но вы выжили.

Многие мои товарищи так никогда и не увидели своих подросших детей. А мне выпало счастье дир цци зэйн**, увидеть тебя, – увидеть, как расцвел тот маленький плачущий комочек, в какую красавицу он превратился. Я не мог быть рядом с тобой, когда ты росла, не мог уберечь и защитить тебя, как в том страшном сне твоём. Но я иначе защитил тебя, майн мэйдл. Я погиб за тебя, мне не досталась долгая счастливая жизнь, но пусть она достанется тебе. Мир зол зайн

* Наши матери, жены, дети. (*идиши*)

** Увидеть тебя. (*идиши*)

фар дир*, пусть мне за тебя достанется все горе. А тебе – тебе только счастье и радость, дитя мое, майн kindэлэ.» «А когда увели маму... Ты знаешь, папа, ей ведь пришлось наговорить на себя и на брата, на дядю Осю. Она так его любила, а должна была сказать, что он – враг народа. Не могла не сказать, иначе потеряла бы работу, а на что бы мы тогда жили? Это так страшно, папочка! Мама до сих пор мучается и не может себе простить, что из-за нее он попал в тюрьму, в лагерь, в ссылку.»

«О чем она говорит? Какая тюрьма? Какие лагерь и ссылка? Неужели всё это продолжалось и после войны? Неужели и после войны оставались враги народа, враги советской власти, кулаки, подкулачники, вредители и шпионы? Быть такого не может! Мы были уверены, что потом всё будет иначе. Мы так мечтали об этой счастливой, свободной, мирной послевоенной жизни. Не для нас, так хоть для наших детей...»

«Мне было еще хорошо. Я могла сказать, что мой папа погиб на фронте. А другие девочки и мальчишки скрывали, что их отцы не на фронте были. Они врали, что папы их – летчики и герои, а на самом деле папы были арестанты и работали на лесоповалах...»

Они смотрят и смотрят друг на друга – и никак не могут насмотреться. И льется без остановки молчаливая бессловесная беседа. А трава слегка шелестит, покачиваемая ветром, и в такт ей качают разноцветными головками цветы, и пахнет от озера свежестью и прохладой, и негромко жужжит пчела. Тихо-тихо вокруг. Покойно, безмолвно, безмятежно.

* * *

Видно, дорога и впрямь поднимается вверх, потому что идти Верочке становится всё труднее, а небесная молочная голубизна не приближается, наоборот, даже и удаляется понемногу. Зато мир вокруг теперь не такой безлюдный и пустынный. Справа и слева появляются то небольшие стада овец или коров, то табуны лошадей, то работающие в поле люди.

Иногда Вере кажется, что всё это только миражи. Вот промелькнула Люся с незнакомым Верочке человеком и странно повзрослевшим Севой. А за ней и Света с каким-то солдатом в форме военных лет. Но Верочка тут же забывает о них. Она идет по дороге и чувствует себя счастливой, хотя не знает, да и не хочет знать, отчего. От тишины? От зеленой травы? От полевых цветов? От запаха едва слышного вдали моря?

Как легко и блаженно видеть всё это – цветы и деревья, землю и небо над ней. Свое отражение в зеркале или в воде, играющего в песке ребенка, далекую таинственную страну с удивительными людьми, храмами и пирамидами или толстую белую кошку, которая лакает

* Пусть мне твое достанется. *(идиши)*

розовым язычком белое молоко из блюдца. Как легко и блаженно любить всё это и самое себя.

В солнечном мареве проступает еще одна фата-моргана. Не замедляя шаг, Вера приближается к ней – без сомнения, без смущения, без страха.

Он протягивает к ней руки и улыбается. С первого взгляда – брат, полное доверие, родная кровь. Видимо, у него то же самое, потому что с первой минуты заговаривают они так, будто сто раз разговаривали прежде, – о самом важном, самом главном. И ни намечка на влюбленность, вот именно – братство. Верочке кажется совершенно естественной его откровенность. Почему-то и сама она с ним предельно открыта. И совсем не удивляется, когда он спрашивает:

– А знаешь ли ты, что люди могут совершать невозможное? Становиться невидимыми. Или скажут горе «подвинься» – и она сдвинется с места. Знаешь?

– Знаю. Только люди не могут делать это по своей воле, по своему желанию.

– А хочешь, я научу тебя нескольким простеньким упражнениям, и ты сможешь делать это по своей воле – в любой момент, когда захочется?

– Простенькое упражнение? Физическое?

– Да, несколько простеньких упражнений, и ты сможешь совершать чудеса.

– Нет, не хочу. Чудеса – это подарок, дар, а упражнение – что-то совсем другое. Это даже не чудо, это власть.

– Да, власть. Ты скажешь горе: подвинься – и она подвинется.

– Но я не хочу, чтобы она двигалась по моему велению!

– Верно, этот путь опасный. Можно погибнуть или сойти с ума.

Но если пройти – представляешь, какие возможности открываются?

– Могуцества? Власти? Нет, не хочу, не надо!

Она идет и идет, соблюдая темп и ритмичность. Сквозь знойную золотистую дымку видит и эту дорогу, и эти поля и деревья. И снова проступают видения-миражи.

Мерцают в дымке ветви и листья, старые гнезда, покинутые хозяевами, удивленные белки. Птицы застыли в воздухе и висят неподвижно. Как тень от облака пробегает что-то по полю, мерцающее пространство начинает сдвигаться. Сначала проявляется какая-то стена, на которой висит портрет Пастернака, потом комната. В ней люди. На стульях, на диване, даже на полу. Посредине комнаты стоит незнакомый человек. Он читает стихи:

*Вся – зримый горный зов
сквозь плотский рев и лай.
С тобой не надо снов:
душа вернулась в рай.*

«А может быть, моя желтая дорога ведет в рай? – улыбается своим мыслям Верочка. – Или, может быть, она и есть рай, потому что на ней ты всех любишь и всё принимаешь. Люди думают: рай – это где тебе хорошо, ад – это где тебе плохо. А на самом деле рай – это где ты хорош, и потому тебе хорошо тоже, а вот ад – это где ты плох, и потому тебе плохо...»

Как же повезло мне с моей дорогой! Как повезло, что она бесконечна. А другие? Разве другие не бесконечны, разве ведут не туда же? Но тогда всем повезло с дорогой. Тогда все дороги – самые лучшие. И значит, это правда, что все они в конце концов сольются. И тогда мы все встретимся и полюбим друг друга, потому что все любящие на свете – я. Все любимые на свете – тот, кого я люблю.»

* * *

– Какой из чемоданов ваш? – повторил водитель, всё еще вопросительно глядя на Веру.

– Мой – сомнамбулически произнесла она и почему-то оглянулась. И тут же увидела Люсю, которая стояла, оказывается, совсем рядом, и выразительное лицо ее, похожее на лицо Фернанделя, было озарено чем-то таинственным и нездешним.

– Люсенька, – закричала Вера, – ты уже сдала свой чемодан? А где Светка?

– Светка... – рассеянно повторила Люся, не переставая улыбаться, как будто вспоминала что-то очень хорошее. – Да, где она?

– Дамы, дамы, – затеребила их координатор, – вы задерживаете автобус. Занимайте свои места или забирайте свой багаж, только, пожалуйста, поскорее. И где ваша третья?

– Я здесь, – услышали они непривычно тихий Светин голос. – И давно сдала свои вещи.

Через несколько минут все трое сидели в одиннадцатом ряду. Света и Верочка вместе, а Люся – через проход. Она сама выбрала это место. Очень уж ей хотелось побыть одной. Одной?..

– Где ты была? – теребила подругу Верочка. – Я искала тебя, у тебя же наши путевки.

Но всегда говорливая Светка была необычно молчалива. Вера оглянулась. Пассажиры были готовы к путешествию: уложили сумки и сумочки, перестали суетиться и спокойно сидели на своих местах. Верочке показалось, что их лица стали другими, будто все они – или почти все – вспоминали что-то дорогое, заветное. «Неужели и они тоже... – подумала она. – Да нет, вряд ли. Это просто освещение в автобусе изменилось. Да и когда бы? Они же всё время были здесь.» И вдруг спросила сама себя: «А ты? Разве ты не всё время была здесь?»

Автобус плавно тронулся с места, и тут же приступил к своим обязанностям гид: «Дорогие друзья, – произнес он торжественно, – начинается наша с вами прекрасная поездка. Нам предстоит увидеть...»

Он говорит, говорит, рассказывает о том, что ожидает их в поездке, о городах и странах, которые они посетят, о правилах поведения туристов во время экскурсий, о... Его голос становится всё более монотонным, мерно убаюкивает разморенных теплом пассажиров, и постепенно почти все задремывают, продолжая еще какое-то время слышать уводящий в сон голос экскурсовода...

Верочка неожиданно просыпается, будто кто-то мягко толкнул ее, пытаясь разбудить. В салоне автобуса полумрак. Гид молчит, наверное, давно окончил свой первый рассказ. Дремлют пассажиры. Время, по-видимому, уже вечернее или ночное, но темнота этой ночи не густая, непроницаемая, а скорее мгlistая, полупрозрачная и какая-то таинственная. За окном в сизом тумане едва различимы высокие силуэты гор. Экскурсовод замечает, что Верочка не спит и ворочается на своем сиденье, подходит к ней.

– Что это? – тихо спрашивает Вера.

– А-альпы, – шепотом отвечает экскурсовод. Он говорит это негромко, чтобы не разбудить никого вокруг, но получается загадочно и торжественно: «А-альпы...» Будто о чем-то необыкновенном сообщает он ей – о волшебном царстве или инопланетном пейзаже.

– А туман почему? – шепотом спрашивает Вера.

– Это не туман, это облака. И снег сыплется, – улыбается экскурсовод так радостно, будто это он сам подарил ей и снег, и горы, и облака.

– Снег в июле?

– Так ведь высоко-о... Го-оры...

– А страна какая? – всё так же шепотом спрашивает Вера.

– А-а-встрия, – шепчет экскурсовод и уходит к своему месту.

Вера будит Свету и показывает ей на окно. Света смотрит, ахает и больше от окна не отрывается. Люсю будить не надо. Она и так не отводит от окна завороченный восторженный взгляд, и непонятно, относится ли это к тому, что видят ее глаза, или к тому, что происходит в ней самой.

Посреди безмолвия и оцепенения медленно и осторожно, будто хочет спрятаться от кого-то или от чего-то, ползет автобус вверх по горной дороге. Тихо и неподвижно внутри, тихо и неподвижно за окнами, где мягко и плавно опускается и ложится на землю снег. Тихи и неподвижны темнеющие вдалеке горы. Время останавливается. И только изредка слышится негромкий четкий шепот экскурсовода:

– Герма-ания...

– Швейца-ария...

– Фра-анция...

– Ита-алия...

– Перева-а-а-л...

СНЫ

Это началось недавно и с каждым днем незаметно усиливалось, но поначалу как-то и не мешало вроде. Тревожила лишь неопределенность: что это? почему? что будет дальше?

Что будет дальше, всё еще оставалось неясным, но жизнь как бы разделилась на две.

Одна оставалась такой же, как и прежде, разве что постоянная сонливость мешала. Приходилось спать днем, порой в самое неподходящее время. Но объяснить это было легко: возраст, слабость, болезни, бессонные ночи.

И вторая, подстерегавшая ее, как только приходил сон. Мгновенно исчезающая, как только наступало пробуждение. Вроде бы дружественная, но оставлявшая на память о себе ощущение скрытой угрозы и какие-то неясные проблески воспоминаний. Манящие, пугающие, зовущие, отстраняющие, они влекли ее, завораживали, возвращали назад, в сон. Ей хотелось понять, что же там было настолько важное и нужное, что вся ее жизнь казалась пустяком по сравнению с тем неведомым, ускользающим из памяти, как только она просыпалась.

Странное воспринималось *там* как нормальное, а нормальное как странное. Но поразительное дело: *там* всё было до удивления родным и знакомым.

Почему же всякий раз не только нужно было, но и хотелось возвращаться *сюда*? Почему не остаться *там* навсегда? И что это «навсегда» значит?

Не потому ли мы возвращаемся в *здесь*, что для полноты жизни *там* нужно что-то *отсюда туда* прихватить с собою?

И как можно остаться *там* навсегда? Что для этого нужно? Не проснуться? Умереть?

А может быть, смерть и вправду как сон: заснешь, умрешь, поспишь, а потом проснешься для нового дня, для новой жизни?

Иногда, пробудившись утром, она действительно чувствовала себя так, будто родилась снова, будто только что очнулась после смертельного сна, который длился тысячи лет. «Так, наверное, уже бывало в прошлых жизнях, – рассуждала она, – так когда-нибудь будет и в следующей, когда я проснусь после смерти.»

Постепенно она привыкла считать, что та жизнь во сне и есть основная. А эта, когда не спишь, как бы придаток к той, главной, в которую она когда-нибудь вернется и останется там навсегда. И тогда, может быть, всё вспомнится, объяснится и встанет на свои места.

«Как вы спите по ночам, Вера Анатольевна? – спрашивал ее доктор. – Не нужно ли снотворное?»

Она спала по ночам плохо. Часто просыпалась и долго лежала в

темноте, пытаясь вспомнить и осмыслить, что же с ней только что происходило. Иногда в памяти всплывал какой-то хвостик событий. Тогда казалось, что стоит ухватить его – и потянется ниточка. Но ниточка никогда не тянулась. Наоборот, расплывалось и растворялось даже то мимолетное, что помнилось в первые несколько минут после пробуждения. И это оставляло чувство беспокойства, желание вернуться в сон или осознать ту жизнь, которая тоже ведь была ее жизнью.

Однажды к ним в редакцию пришел какой-то посетитель, привел мальчонку лет десяти, представил: «Ясновидящий». Мальчонка вел себя самоуверенно и заносчиво, ко взрослым относился пренебрежительно, разговаривал свысока. «Каналы замусорены, – сказал как отрезал. – Сны, небось, не запоминаете? Вот то-то же.» Доверия к своему ясновидению мальчонка не вызывал, но слова о замусоренных каналах заделали и застряли в памяти. «Как бы почистить их, – думала. – Или это старость? И тогда всё необратимо?»

Были еще голоса, как-то связанные с той жизнью во сне. Они появлялись только в те минуты, когда она сильно уставала или хотела спать, когда реальность становилась размытой и сознание неожиданно ухватывало какие-то фразы, словечки. Кто это говорил? С кем? О чем? Чаще всего они тоже мелькали в сознании проблесками. И тоже казалось, что стоит ухватить их за хвостик и потянется ниточка. Но ниточка снова не тянулась. Отдельные слова и даже целые фразы всегда ускользали, унося с собой неведомый ей смысл. Пыталась записывать то, что успевала запомнить. Получалась какая-то ерунда, непонятно для чего ворвавшаяся в ее сознание.

Странные темы, странные реалии, совсем ничего обычного или привычного. «При чем тут, собственно, я? – думалось. – Если кто-то так разделит эти реальности, эти миры, что даже когда они соприкасаются друг с другом, мы не догадываемся об этом, если зачем-то нужно каждому из нас полагать, что наш мир – единственный, а если и не единственный, то всё равно изолирован так, будто других миров нет, для чего тогда при этом оставлены щелочки, проходы и коридоры? Для чего с тобой вдруг начинает происходить то, чего, как ты с детства усвоил, быть не может, потому что не может быть никогда. Не может, но есть. И ты не знаешь, явь это или сон. И здоров ли ты. И в своем ли ты уме. И что вообще всё это значит. А главное – для чего.»

С некоторых пор жизнь во сне стала проступать как-то более явно. То обретающим реальность яви ночным сновидением, то смутным ощущением нереальности происходящего с ней днем, то необычными полугрезами-полумиражами. Клочковатыми, оскольчатými. Обрывками чего-то неведомого, незнакомого, ни на что не похожего.

Странная тропинка, никуда не ведущая – то ли в облаке, то ли в горах заснеженных. Серебристое озерцо, явно не водой заполненное. Какие-то скрюченные нагромождения, похожие на металлические

конструкции, но точно живые, может быть, одухотворенные. Звучащие разноцветные шарики, висящие на маленьких гибких коромыслах. Что всё это такое? Откуда появляется? Куда исчезает? О чем хочет сообщить? И почему чудится в этом скрытый до времени смысл?

Однажды приснилась музыка. Музыка была нездешняя, явно неземная. Она даже не звала, просто сообщала о себе, но невозможно было удержаться и не следовать за ней через сколько угодно планет и миров. Видимо, в этом сне Вера Анатольевна так и делала. То ли шла по нетвердой поверхности, то ли плыла в чем-то густом и немного вязком, то ли парила в млечной воздушности. Разбудил ее резкий звук. Пробудившись внезапно, она долго вслушивалась в еще не исчезнувшую, но утратившую громкость мелодию. И всё озиралась по сторонам, всё искала – где она, может быть, это что-то из Губайдулиной?

Но не фрагменты событий, не охвостья бесед и разговоров, не видения, не иномирные музыка, пейзажи и существа, нет, не это создавало ощущение важности происходящего *там*, в той жизни, откуда возвращалась она, просыпаясь. Скорее, наоборот. Они как раз приближали ту жизнь к дневной, привычной. Они как бы связывали *то* и *это*, как бы служили мостами *оттуда сюда*, из непредставимого в представимое, напоминанием о чем-то, что оставалось *там* и напроочь забывалось *здесь*. А может быть, и *там* тоже были какие-то мостики, напоминавшие о нашей дневной жизни, чтоб не забыть ее, не утратить связь, не решить во сне, что *та* жизнь и есть единственная?

Нет, убежденность, что *та*, *другая* жизнь важнее, значительнее, глубже, происходила не от чего-то конкретного, а именно от смутного ощущения, что прочно забытое оставшееся *там* и было тем самым, ради чего стоило родиться и жить на свете. И даже не это, этого тоже было бы недостаточно. Какое значение имеет еще одна конкретная жизнь? Самым главным было ощущение, что *там* – другой мир. Мир больше нашего, безмерней. Бесконечный другой мир, а наша Земля в нем – малая частица. И забытое и оставленное *там* – оно и есть первая и главная жизнь, которая, может быть, еще ждет нас.

Иногда Вера Анатольевна видела себя во сне подростком. Почему-то эти сны запоминались лучше других. И были они не о радостном, а скорее о чем-то горестном и страшном. О подростковом отчаянии.

Когда оно подступило к самому краю и стало переливаться наружу, она зарыдала бурно и безудержно, даже наслаждаясь слегка своей безудержностью.

– Ну почему, почему, – возмущался во сне неизвестно чей голос, – ведь ничего же не случилось! Никто не заболел, никто не умер, нет никаких неприятностей, даже мелких.

– Потому что я одна. Потому что никто меня не любит. Потому что я никому не нужна на свете.

– Но ведь это неправда! У тебя есть мама, она любит тебя. У тебя есть папа. Он не только тебя любит, он любит вместе с тобой то, что любишь ты. У тебя есть подруги.

– У всех есть мамы и папы. Все родители любят своих детей. И – да, папа любит музыку, но, кроме музыки, ему ничего на свете не нужно. Его не интересует тот мир, который так важен для меня. Когда я еще не ходила в школу и не слышала слово «бесконечность», я спрашивала его, **что** меньше самого малого и **что** больше самого большого. И что будет, если к самому большому числу прибавить единицу. А он не смог мне объяснить. Он даже не понял, что именно меня так волнует.

Во сне она уже знала, что неправда, но ей и не хотелось быть правой, а хотелось жалеть себя и плакать, жаловаться кому-то и чтобы этот кто-то тоже ее жалел.

Был сон, который вполне мог оказаться радостным, потому что в этом сне взрослая Вера Анатольевна должна была встретиться с Машенькой – самой любимой, самой верной, самой доброй подругой своей. И она уже почти добралась до места встречи, но...

Но всё было нелогично и нереально, как и бывает во сне. То, что потом в пересказе казалось мелким и вовсе не страшным, там чудилось ужасным и бесконечно значительным. Поездка в неверную сторону, в результате чего попадаешь решительно не туда, а исправлять уже поздно; скрежещущий лязг надвигающегося паровоза. Пересадки из одного вагона в другой, такой же переполненный, такой же шумный, темный и грязный. Какое-то замусоренное поле, через которое нужно бежать, а мальчишки играют в футбол и не дают прохода. Неработающий телефон, тщетные попытки узнать адрес дома, в котором сейчас находится Машенька. Препятствия, препятствия, препятствия... ну и пусть, всё равно преодолею, всё преодолею! И вдруг – толчок с тем самым резким скрежещущим звуком. И внезапное пробуждение со словами: «Но это же невозможно. Потому что я *здесь*, а она – *там*».

Она – *там*. И это *там*, само по себе привлекательное, манящее и недостижимое, становится еще более привлекательным, но и еще более недостижимым. Потому что Машенька оказалась *там* после смерти, а Вера Анатольевна еще не умерла. И недоуменное: что преодолею? Ведь Машенька – *там*, а я еще *здесь*. Тогда что же преодолею – жизнь? Преодолею, что еще не умерла? Значит, тоже умру?

Может быть, это *там* и есть то место, куда мы отправляемся после смерти? Там встречаются любящие и близкие? Там осуществ-

ляется наша жизнь – вечная жизнь? И не надо бояться смерти, если это *там* кажется таким магнетически притягательным, если оно так гипнотически манит.

Или, может быть, это *там* – один из многочисленных миров, которые, говорят, окружают нас, но с нами не пересекаются. Мы ищем иные миры где-то далеко, а они живут рядом с нами, разве что чуть-чуть в иных плоскостях.

И тогда сны – порталы, разрывы в пространстве и времени. Они пропускают нас туда и возвращают обратно. Всегда ли возвращают?..

Как легко и уютно живу я в двух параллельных мирах! Да, они разные, но как хорошо сочетаются, соединяются. И тогда образуется что-то такое большое, что даже смешной и печальный, вздорный и драчливый наш мир-повседневность озаряется и озирается удивленно: что это? А это – лучи, что через меня проходят. И начинаются чудеса. Мои? Да нет, не мои, конечно, но *через меня*. И счастье мое, что через меня. *Оттуда – сюда*.

Однажды на приеме у глазного врача Вера Анатольевна пожаловалась, что время от времени ей кажется, будто кто-то или что-то неясное быстро-быстро мелькает мимо нее. Она вздрагивает, оглядывается, но еще ни разу не удалось никого увидеть.

– Может быть, это параллельные миры? – спросила со смущенной улыбкой.

– Размечталась, – ответил ей врач. – Вот сейчас пропишу вам капли, и это пройдет.

– А разноцветные радужные ореолы вокруг источников света? Вокруг фонарей, настольной лампы, даже вокруг луны?

– Ну это еще проще. Это от катаракты или глаукомы. Катаракты у вас уже созрели. Сделаем операцию – и никаких радуг.

– Жаль, они такие красивые...

Врач оказался прав. После операции разноцветные ореолы исчезли. А потом перестали появляться и таинственные незнакомцы. «Ну вот, – говорила сама себе Вера Анатольевна, усмехаясь, – теперь надо сходить к психиатру, и тогда исчезнет та жизнь во сне.» Но что-то в ней твердо знало, что *та* жизнь не исчезнет, даже если она напроць о ней забудет. И не надо, чтоб исчезала.

Когда этот туннель раскрылся и появилось желтое пятно, она не удивилась, а только подумала, что это очень похоже на рассказы людей, переживших клиническую смерть. Но думать было некогда. Машина летела вперед и вперед, желтое пятно в конце туннеля становилось всё ярче. Потом – провал, и она ничего не помнила о нем. Потом она увидела себя лежащей на чем-то плоском, плывущем в желтоватом тумане. Туман был мягким и нежным. Он ласково оку-

тывал ее, и она закрыла глаза, чтобы легче было в нем раствориться. Тепло разливалось по телу, останавливаясь там, где часто бывало больно, и будто ласкало эти места. Так давно, в младенчестве, мама гладила ей ноющий животик. И боль проходила. Но тогда ее исцеляла нежность маминой руки, а сейчас ничто не касалось болезненного места, только ласковое тепло.

Звучал какой-то голос. Где? Внутри или снаружи? Этого она не знала, не думала об этом. Просто слушала. Он говорил странно. Не стихами и не прозой. Нет, это, конечно, были не стихи: ни размера, ни рифмы. Но и не обычная проза. Какая-то внутренняя ритмичность, подчиненность речи чему-то неведомому, что укладывало ее в периоды, а периоды эти текли и текли, уводя за собой куда-то, где были не слова и не мысли, а нечто полуоформленное, во что эти слова и мысли превращались, перетекая. Хотелось дремать, но дремать – это и означало слушать. Хотелось слушать, но слушать – это и означало впускать в себя, растворять в себе, становиться тем, что было услышано, позволять ему вращаться в тебя на вечные веки.

Потом голос умолк, и наступило безмолвие. Оно было долгим. Оно длилось минуту или несколько жизней. Ничто не двигалось, не шевелилось. Желтоватый туман сменился полумраком прикрытых глаз. Было спокойно.

И тогда чья-то рука легла ей на лоб. Легла и осталась. Вера Анатольевна почувствовала, как вся она наполняется благодарностью. Благодарностью? Кому? Чему? Неизвестно. Просто благодарностью. Она вслушивалась в нее, как раньше вслушивалась в тот голос. Ей захотелось плакать от любви, рожденной этой рукой. И от смутной вины за то, что любит она не руку и не того, кто ей эту руку на лоб положил, а через них – кого-то другого, далекого, неизвестного.

И опять долгое безмолвие. Без событий, без движений, без голов. Только ласковое тепло руки.

Потом кто-то или что-то говорило с нею. Кто-то или что-то рассказывало ей о жизни и о жизнях. О том, как начиналось добро и как начиналось зло. О том, как выбирают люди свою судьбу и как они ее строят. О том, как случилось, что люди на нашей планете ведут себя так, а не иначе, и почему они не могут научиться любить друг друга. О том, почему мы отделены от обитателей других планет, и что нам нужно для того, чтобы воссоединиться с ними.

Вера Анатольевна понимала: теперь она уже не сможет жить, как раньше. Но не знала, как она будет теперь жить.

А видения продолжались.

Широкая долина, окруженная горами, раскинулась перед ней. «Господи, как красиво! – подумала Вера Анатольевна. – Никогда не

видела такой красоты! Где же это? У нас, на Земле, – или на какой-то другой планете?» И тут же ответила себе: «Да какая разница!»

Яркий свет заливал долину, и от этого она казалась сияющей, праздничной, наполненной ликованием. Яркий свет заливал горы вокруг долины, и от этого они тоже казались сияющими, праздничными, полными ликования. Вера Анатольевна искала источник этого света, но никакого солнца в небе не было. Откуда же он? Да и свет ли это? Нет, это что-то другое – не свет и не тьма, не светлое и не темное. Но что же это? Иное пространство? Другая планета? Космос?

Почему-то вспомнилась желтая дорога, которая позвала ее когда-то в юности. Там был такой же яркий, разливающийся до горизонта свет. Но тогда это было солнце. Оно заливало дорогу своим сиянием.

«Нет, – услышала Вера Анатольевна, – не солнце. Смотри!»

Что-то случилось с долиной. Что-то случилось с горами. Было по-прежнему светло, но горы вдруг почернели. Они стояли голые, как после пожара. Исчезли деревья. Казалось, что исчезла и сама долина, потому что цветущая, пестрая, покрытая разнотравьем и цветами – ярко-красными, золотистыми, фиолетовыми и голубыми, белыми и оранжевыми, сиреневыми и серебристыми, – она превратилась теперь в иссохшую пустыню. Исчезло всё. Лишь отдельные черные пучки высохшей травы торчали в желтой бесплодной почве. Будто и то, что растет обычно в пустынях, тоже засохло и выгорело, потеряло остатки жизни.

«Нет, этого не должно быть, нет! Верните, верните, пожа-луйста, жизнь долине! Я знаю теперь, что это за долина. Знаю, что за пустыня...»

И опять громкий звук разбудил ее, но на этот раз это был не тот скрежещущий пугающий звук. Да и было ли это пробуждением?

Пела труба. Она пела мелодично и громко. Музыка лилась над землей. Вера Анатольевна не могла ее не узнать: это была фа-минорная прелюдия Баха.

Сон ли это был, явь ли?

Одиноким человек стоял с трубой в руках на высоком утесе. Он играл, и музыка разливалась с небес, накрывая собою всё – облака, горы, деревья, землю. Бог разговаривал с человеком. Бог шептал музыку Баху. Бах шептал ее одинокому трубачу на утесе.

Вера Анатольевна внимала. Ей уже не нужно было знать, где это всё – **здесь** или **там**? Что это всё – сон или явь?

Два потока любви устремились навстречу друг другу.

Один исходил от нее. Кого любила она? Всех. Вернее, всё. Любовь переполняла ее, изливалась, лилась. Лилась по пустыне, пре-

вращая ее в цветущую долину, лилась по земле и по воздуху, лилась в никуда, и казалось ей, что еще немного, и она сама превратится в этот поток любви, станет ею. Какой именно любовью? Эросом? Филлией? Сторге? Агапе? А может быть, всеми сразу?

Второй поток устремлялся к ней. Кто любил ее? Все, вернее, всё. Оживающая пустыня, на глазах превращавшаяся в прекрасную долину, земля и воздух, трава и деревья, горы и облака, ветер и звезды, одинокий трубач на утесе. Вселенная любила ее, и она знала об этом. Космос любил ее. Ее любил Бог.

Вера Анатольевна стоит у окна, выходящего на предраассветное море, и смотрит в светлеющее небо. Море спокойно, даже прибоя не слышно, не слышно шороха прибрежной гальки. «Что это было? – думает Вера Анатольевна. – Что это было? Где это было?»

Пора ехать в редакцию. Впереди рабочий день. Дел на сегодня намечено много. Нужно вычитать рукопись, которую не успела закончить вчера, и подготовить детский номер, а для этого сначала встретиться с детьми.

Неужели жизнь потечет как раньше? Неужели будут серые будни, тоскливое сиротство, рутина – и только просветы праздников? А долина любви? Она осталась *там*?

* * *

В редакции, подходя к своему кабинету, Вера Анатольевна услышала знакомую мелодию. Это снова была фа-минорная прелюдия Баха, только на этот раз в исполнении не трубы, а фортепиано.

Вера Анатольевна вошла в комнату. Люся или, как ее здесь официально называли, Людмила Брониславовна, сидела за своим компьютером.

– Кто играет? – спросила Вера Анатольевна.

– Рихтер.

«Продолжение сна? – думает Вера Анатольевна. – Сна или той *наджизни*? Или не *над*, а просто *вне* – вне той, что *здесь*. Бесконечное продолжение этой полу-вне-над – самой лучшей, единственно человеческой жизни. Но как же это? Ведь она, оказывается, переходит из *там* в *здесь*. Звучит одновременно – или почти одновременно – *там*, на вершине горы, причастной к вечности и тишине, и в нашей редакции, полной суеты и суматохи. Хотя как же – *одновременно*, если не существует времени для этой музыки, в чье бы ухо ни шептал ее Бог – трубача Докшицера, пианиста Рихтера или мое. И я принимаю ее в себя, хотя не умею исполнить ни на одном инструменте, кроме собственной души... Не существует времени ни там, на вершине горы, ни в долине, ни в шумной редакции нашей, ни в переполненном автобусе, когда я еду с работы и люди вокруг – такие хмурые, такие уставшие –

толкают меня, а я улыбаюсь. И мне так блаженно, так сладко спится, и я уже не помню, что стою в автобусе, что устала, что поздно.»

Вера Анатольевна включает компьютер, открывает текст рукописи и начинает читать. Текст монотонный и скучный. Ее глаза привычно и профессионально считывают строчку за строчкой, пальцы вносят какие-то правки, уши слушают музыку и не слышат возбужденных женских голосов, доносящихся из соседней комнаты. Постепенно всё это переплетается в ней, она уплывает из своего кабинета в дремотную тишину, которой не мешает музыка. Меняется воздух, меняются мысли, меняется всё вокруг.

Она словно оболочкой от всего отгорожена. Она видит себя в большом прозрачном яйцеобразном шаре. У нее внутри – тишина, и вокруг нее – тишина. В этой тишине звучит фа-минорная прелюдия Баха. Ей слышно и видно всё, что делается вокруг, но как бы в отдалении, как бы через матовое стекло. Сквозь музыку и тишину, никак не нарушая их, сквозь оболочку шара доносятся до нее стук клавишей и женские голоса. Иногда женщины заглядывают в комнату и что-то говорят ей. Иногда она, кажется, даже отвечает им, а сама всё время улыбается. Как хорошо ей под оболочкой волшебного шара, как жаль, что нельзя остаться в нем навсегда.

Люся подходит к Вере Александровне и говорит смущенно: «Знаешь, я опять письмо получила. Почитай, а? Что-то надо с этим делать».

Письмо длинное, несколько листочков. Люся кладет его на стол и уходит на свое место. А Вера Александровна начинает читать:

«Родная моя.

Я болел. Думал, что умираю. Я не знал, отчего болею или умираю. Не знал, что у меня в голове лопнул сосуд и что я болею или умираю из-за этого маленького сосудика.

Я рисую на бумаге твое имя: Люся, Люсенька.

Как по-разному мы сейчас живем с тобой. Ты всё время в работе, в делах, которые нельзя бросить или отложить на потом. Ты замученная, и здоровье сдает. И всё время полубольная. И некому даже пожаловаться. Севка вырос, но ему не пожалуешься. У него своя жизнь, свои интересы. А я тоже болею, и сегодня моя первая попытка выйти на воздух оказалась неудачной: не смог пройти даже несколько кварталов. Но я живу в тишине, почти весь день сплю, а проснувшись, немножко читаю или размышляю, пока не засыпаю снова. Никаких дел, никакой суеты, никаких обязанностей. Завис где-то. Не на земле, не в небе...

Вчера мне стало совсем плохо, и я понял, что никуда пойти не смогу. Лежал и покрывался испариной. Даже обрадовался: испарина –

вещь объективная. И, следовательно, мне можно не стыдиться своей лени и слабости. Значит, я еще нездоров, имею право оставаться в постели и дремать тихонько, лицемерно выговаривая себе самому, что вот такая погода изумительная, а я не могу погулять. Хотя на самом деле не было мне жалко солнечной теплой погоды, и хотелось не на улицу, а в дрему или полудрему, куда я и уходил. При этом во мне начиналась еще одна чья-то... не то чтобы чужая, но и не моя жизнь. Это часто со мной бывает. Я ее не могу осознать, а только чувствую, что она во мне происходит. Кто живет во мне? Кто разговаривает? Этого я не знаю. Знаю лишь, что она моего сознания боится и бежит от него. Но, убегая, не покидает меня насовсем.

Сейчас уже и не вспомнить, о чем думалось мне в этой моей полудреме ли, во сне ли, как причудливо витала, по каким тропам блуждала мысль, переходя от одного к другому, третьему, десятому, ни на чем долго не задерживаясь. А только в какой-то момент оказался я неожиданно для себя самого в Соборе Парижской Богоматери – да не сейчас, не после пожара, а где-то в веке пятнадцатом.

Я был Квазимодо и бродил по Собору, хромой и горбатый уродец, злобный и дикий... злобный и дикий? Отверженный, затравленный, заклеянный. Что видел я вокруг себя, кроме ненависти и насмешливой издевки? И почему мне, мне одному, было даровано это счастье – испить чашу спасительной воды из Ваших рук, о Мадонна, спасшая меня от жажды! Так Данте любил Беатриче, так Петрарка Лауру любил.

Я завидую Квазимодо. Ему удалось спасти Эсмеральду. Пусть не навсегда, пусть на время, но и это было счастье...

Какую чудесную открытку ты подобрала. И как здорово написала. Мне бы так никогда не суметь. Сколько радости, счастья и любви к тебе она принесла мне. Спасибо, спасибо. Ну конечно, ты права, и я идеализирую тебя, постепенно забывая ту, которую знал раньше, вытесняя ее, заменяя той, с которой сейчас живу на таком расстоянии. Но мы так долго не виделись с тобой. А что будет, если снова встретимся? Признаться, я боюсь встречи. Очень хочу, а сам боюсь, что вот ты увидишь меня, и после этого всё кончится. А вдруг ты, как в 'Аленьком цветочке', в обморок упадешь, когда увидишь (немножко шучу).

И опять я много дремал и сновидел тебя по-разному. Только это уже, мне кажется, не болезнь была, а если болезнь, то болел я, как Маяковский: 'Мама, твой сын прекрасно болен...'

Я так хочу, чтобы ты была счастливой. Не вообще, а вот сейчас, в эту минуту. Радостной и счастливой. Мысленно я говорю тебе слова, которых никогда не решусь произнести, слова, от которых мир наполняется светом. Я стою перед тобой на коленях. Разве ты не знаешь этого?

Не здесь родилось наше, не здесь мы говорим друг с другом, не здесь мои мечты о тебе и мои с тобой бесконечные, никогда не оканчивающиеся разговоры. Ничего здесь нет нашего. Все – там, только там.

Но я умолкаю, потому что нельзя об этом словами...»

– И что же ты хочешь с этим делать? – спросила Вера Анатольевна. – Он слишком жалеет себя. Любит тебя, конечно, но себя жалеет больше – и никогда ничего для вас двоих не сделает. Всё будет ждать, чтобы сделала ты, а он примет.

– Может быть, может быть, – ответила задумчиво Люся. – Но, видишь ли, Верочка, мы по-разному с ним живем. Я больше *здесь*. Мне эта жизнь важнее грез и мечтаний. Он больше *там* – в грезах, в видениях, в снах. Я не знаю, что лучше, что хуже, но знаю, что нельзя ломать человека, пытаться как-то его изменить, даже к лучшему. Ты не совсем права, говоря о нем, что его жалость к себе больше его любви ко мне. Он – такой. В какие-то моменты он выходит за пределы нашей реальности, за пределы человеческих возможностей. И то же самое в любви. Она у него такая – выносящая за все пределы. Но в реальной жизни он часто беспомощен и нуждается в поводыре.

Когда мне бывает плохо и безнадежно, я вижу его во сне и жалею его ему, и он утешает меня, но... утешает из совсем других мест. Нет, не оттуда, где живут они с Ольгой, а с какого-нибудь седьмого неба – его настоящей родины. Ну не чудо ли?! И нужно ли это ломать, разрушать неосторожным словом? *Там* он дома. *Там* его поступки разумны и последовательны. *Здесь* он чужой. *Здесь* он часто кажется нелепым и поступает плохо от растерянности и неуверенности в себе.

Вот я расскажу тебе один свой сон. Я шла по улице, и вдруг увидела Павла. Конечно, обрадовалась и бросилась к нему. Но Павел не был радостным. Уже через несколько секунд я поняла это, хотя он обнимал меня так ласково. Лицо у него было больное, измученное. Он сказал мне тоскливым голосом: «Я пришел к тебе, наверное, навсегда. У нас с Олей плохо. Она, наверное, выгнала меня». Я видела, как ему тяжело, как хочется, чтобы всего этого не было, и я утешала его и говорила: «Ну пойдем к ней. Сейчас вы помиритесь. Вы помиритесь, вот увидишь». Понимаешь, Верочка, в этом сне он был не *там*, а *здесь*. И потому был беспомощен и напуган. И может быть, это правильно, что нам не дано быть вместе. Может быть, наша любовь подарена нам только при условии, что мы не совмещаем эти *здесь* и *там*. Может так быть, Верочка?

А музыка Баха заполняла собой комнату, уносила туда, где нет ни добра, ни зла, ни сожалений, ни сомнений, ни горестей, ни страхов, а есть только глубина и отрешенность.

Больше не хотелось болтать, не хотелось взбалтывать тишину. Хотелось только молчать и слушать музыку.

* * *

Света – или, как ее называют в редакции, Светлана Леонидовна, – сидит за своим компьютером. Ее пальцы стучат по клавишам, она пытается сосредоточиться на работе, но это удается плохо: она тоже слушает музыку Баха.

Вера Анатольевна подходит к ней.

– Знаешь, Верочка, – тихонько начинает говорить Света, и неясно, себе она это говорит или Вере Анатольевне, – знаешь, Верочка, вчера вечером я долго смотрела на папину фотографию. На ту, довоенную, помнишь? Групповой снимок: мужчины и женщины что-то празднуют, может быть, чей-то день рождения. А на обороте дата – 15 июня 1941 года. Им оставалась ровно одна мирная неделя! Они там стоят веселые, нарядные, улыбаются. У них такие хорошие лица! И так мне жалко стало папу и всех этих людей. Я ведь не знаю их судеб, но знаю, что всем им предстояло страшное. А они ничего не чувствовали, не догадывались. Не готовились к тому, что ждало их. Папа даже не подозревал ни о том, что через несколько дней наденет военную форму и отправится на фронт, ни о том ужасе, который там его ждал, ни о той роковой пуле.

А потом я уснула, и во сне мне хотелось написать ему письмо. Вложить в конверт и отправить до востребования письмо и музыку. Я точно знала, *что* отправила бы ему: что-нибудь из Баха. И там, во сне, я искала эту музыку, нашла компактный диск и обрадовалась. И вдруг вспомнила, что он же не сможет этот диск прослушать, ведь даже пластинок наших тогда еще не было. Я стала писать на бумаге ноты, но и это не годилось: он же не умеет их читать! И вот там, во сне, я поняла, что это вообще невозможно! Невозможно отправить ему что-то *отсюда туда*. Я никогда не смогу послать ему музыку – и всё то, что за ней. Я шептала: «Папочка, успел ли ты подготовиться? Успел ли ты подготовиться, папочка?» Знаешь, мне правда нестерпимо думать, что он не был готов к тому, что с ним случилось. Что он и все эти люди с фотографии не были готовы. Но разве можно быть готовым к *тому*? Разве можно *того* не бояться?

– Можно, наверное, – тихо говорит Вера Анатольевна. – И это время, может быть, самое важное в нашей жизни, завершающее. Ты только не пугайся, Света, не пугайся. Это время может длиться очень долго. Душам нужно дорасти, вызреть. И поэтому наше «я не хочу еще умирать» ничему не противоречит... то есть мы, конечно, не хотим, потому что еще не готовы. Но всё, что я раньше знала только из книг, что было для меня чужим опытом, в который я верила, но не ощущала своим, в последнее время прошло через меня. И я прямо ощутила всем

своим существом, озарением ощутила, плотью и душой поняла, что смерть – переход, смерть – не конец, а начало. И поэтому она – не та страшная костлявая старуха, она не враг, она не тьма, она не кошмар. Она – друг. Никогда не думала так о смерти раньше. Всегда боялась ее мучительно. Наверное, и сейчас испугалась бы, если бы пришлось умирать. Но это – иной страх. Это страх расставания с тем, что еще не перестало быть мной, с тем, что мы называем жизнью.

Наверное, так должен чувствовать себя человек, который стоит на крыше горящего дома. Внизу люди держат для него натянутый брезент. Он знает, что должен прыгнуть, что в прыжке – спасенье. А все-таки не может решиться и сделать этот шаг.

И знаешь, Светочка, я ведь уже полюбила эту смерть, хотя и не тороплю ее приход. Раньше она была для меня чем-то умственным, книжным, абстрактным. Теперь она – часть моей жизни. Понимаешь, слышишь? Я думаю – или мне это только кажется? – что всё самое главное в моей жизни уже произошло. Больше не будет ничего. То есть, будет, конечно, много событий и переживаний, но они уже ничего не изменяют. Теперь всё, что еще случится в жизни, будет не накоплением, а обработкой накопленного. Я должна впустить в свою душу будущую смерть и принять ее, подготовиться к переходу – туда, где временного не будет вовсе.

– Вот что я тебе скажу, Вера, – заговорила Света неожиданно жестким голосом. – Всё это – чистое словоблудие. Ты сама-то хоть веришь в свои слова? Себя обманываешь или меня только? Смерть полюбила, говоришь? Неправда, Вера Анатольевна! Ты не смерть, ты жизнь полюбила. Ты жить хочешь, а к смерти не готова, нет. Не знаю, всё ли уже случилось в твоей жизни. Я и о себе этого не знаю. Может быть, случилось. А может быть, завтра или через год произойдет что-то такое, что покажется нам самым важным, тем, ради чего мы родились. Кто может это знать? В тебе много жизни, Верочка. Ну вот и живи. А приготовление к смерти, о котором ты говоришь, – это самообман. Ты хочешь казаться себе более зрелой и мудрой, чем ты есть. Зачем?

А Бах продолжал звучать – зовущий, призывающий, уносящий в осязаемый, видимый Космос, прикасающийся своей бесконечностью к предельности тел и беспредельности душ.

Хмурилось белесое тусклое небо за окном, через которое сейчас был виден только двор, только придворье земного обиталища, где пыль и мусор, будни и суета. Но и здесь – глянешь иной раз в окошко и вздрагиваешь от прикосновения душ этих голых зимних деревьев, исполненных любви и смирения, молитвы без мольбы, внимающих Баху вместе с тобой и вместе с тобой слышащих эту музыку. Свободно говорят друг с другом ваши души, и нет в их диалоге ни тоски, ни усталости, ни смерти, ни страха быть понятыми неправиль-

но... Какое странное сочетание смерти и жизни, полноты и пустоты, мелкости и бесконечности.

А воздух был – будто из тех снов, что снились сегодня Вере Анатольевне. Тихость. Тишь. Покой. Оцепенелость деревьев. Беззвучие.

Невдалеке шумело море. Оно двигалось и дышало. Но и это входило в неподвижную тихость, не нарушало тишины.

И только музыка разливалась в небе и всё заполняла собой. Это была музыка Баха.

ПЕРЕХОД

Вера Анатольевна медленно бредет по тропинке. Вокруг зеленые склоны. Внизу – море. Она не видит моря, не видит деревьев, не слышит прибоя. Просто бредет, не думая ни о чем.

Вчера хоронили Люсю.

Людей собралось неожиданно много. Из родственников – никого. Брат не приехал – куда ему после инсульта? Были друзья. Была вся редакция. Это удивило Веру Анатольевну: подруги давно вышли на пенсию, а новые сотрудники ни ее, ни Свету, ни Люсю не знали. И вот пришли... Были какие-то мальчишки и девчонки – то ли Севины приятели, то ли Анютины.

На прощании Сева хотел что-то сказать. Начал было: «Мама...» – потом помолчал и снова: «Моя мама...» Но продолжить не смог, махнул рукой и отошел в сторонку. Заговорила Анюта – Люсина старшая внучка. Лепетала что-то девичьим голоском: «Моя бабушка... всё понимала... довериться... никогда не обидела...» А потом заплакала и тоже рукой махнула. Точно как Сева. И подошла к нему. Он ее обнял, так и стояли вдвоем. А Севина жена – рядом, но как-то отдельно.

Павел тоже стоял отдельно. Бледный, с напряженным восковым лицом. Молчал. Не проронил ни слова.

Выступила Света. Говорила быстро и сбивчиво, перебивая сама себя, пугаясь в словах, захлебываясь в слезах.

– Люся, Люсенька, Людмила Брониславовна... Боже мой, какого человека мы все потеряли! Бескорыстная... Сострадательная... Всем помогала... Не уберегли... Упустили...

И заплакала громко, судорожно, навзрыд. А потом произнесла сквозь рыдания:

– Как же нам будет ее не хватать! Никогда ее не забуду. Вечная ей память...

На поминках Вера и Света держались вместе. Осиротевшие, потерянные, не понимающие, что делать дальше.

Павел был неподалеку – рядом с Севой и его семьей. Вера Анатольевне хорошо было видно отрешенное бледное лицо Павла.

Невозможно было догадаться, о чем он думает, что вспоминает, что чувствует.

После поминок Вера повела Павла к себе. Они сидели вдвоем. Долго молчали. Потом Вера сказала: «Она здесь». И он ответил: «Я знаю». Это были первые его слова за весь долгий мучительный день. Потом он сказал: «Это я должен был умереть. Бог перепутал нас». И опять замолчал надолго. Потом произнес: «Теперь я до самой смерти буду перед ней виноват». Встал, налил себе водки. Выпил, ничем не закусывая, и снова опустился на стул. Так и сидел, сложив руки между колен, глядя вниз и тихонько покачиваясь.

Потом снова заговорил и говорил долго – глухо, монотонным невыразительным голосом. О себе и о ней. О своей любви, о своей тоске, о своей вине перед нею.

Вера Анатольевна поднялась и подошла к нему. Тихонько гладила по голове. Маленькая, она была вровень с ним, сидящим, и ей было естественно и удобно обнять его, а он, большой и всегда такой сдержанный, такой терпеливый, никогда никому ни на что не жалующийся, обхватил ее руками, прильнул к ней и плакал скорбно и горестно, совсем по-детски всхлипывая.

* * *

Света лежит в темноте без сна. «Что же ты натворила, Люсенька, – шепчет, – что же ты натворила...»

Встает и берет с тумбочки фотографию Люси. Включает лампу. Долго смотрит на Люсино лицо, будто хочет заговорить, но вместо этого начинает всхлипывать, бросается на кровать и горько плачет. Снова встает. Подходит к столу и роется в бумагах. Достает Люсины стихи, написанные в разные годы, листает их, пытаясь читать, но читать не получается, и она сидит, сгорбившись, закрыв глаза, опираясь на согнутую в локте руку, – беспомощная, скорбящая, усталая, мгновенно постаревшая женщина.

Потом вдруг вскакивает и начинает метаться по комнате, беспечно тычась то туда, то сюда, не зная, за что ухватиться и чем заняться; и наконец, обессиленная, снова садится на кровать и сидит, покачиваясь, закрыв руками лицо.

Звонит телефон. Это Сева. Говорит, что Павел в больнице. Состояние тяжелое. Диагноз пока не ясен. Спрашивает, не сможет ли Света посидеть с ним ночью. «Больше некому, – говорит, – у меня дежурство. Вера на звонки не отвечает. Анюта мала еще.»

«Конечно, конечно, – торопится с ответом Света, – о чем разговор. Я прямо сейчас, вот только оденусь.»

* * *

Павел спит в больничной палате. Снится ему, будто он еще маль-

чик, видимо, нездоров, и кто-то заботливо поправляет ему одеяло, гладит по голове, утешая. А он не может понять, кто это – мама или Люся. «Ну как же – Люся, – бормочет. – Нет Люси.» И хочется ему заплакать, но не над Люсей, а над собой... да он, кажется, и плачет, потому что щеки горячие, мокрые... Павел открывает глаза.

Света стоит рядом с кроватью, держит одной рукой его руку, другой гладит голову.

– Ну что же ты... – начинает она осторожно, не зная еще, о чем можно говорить, а о чем лучше и помолчать.

– Я не могу принять Люсиной смерти, Светлана. Я не могу ее принять.

Света видит, как эта мысль пульсирует в нем, будто жилочка на виске – слабо, но неостановимо. Он выглядит обессиленным, но, кажется, не страдает физически. Что же это тогда? Может быть, расстроенная память? Неуснувшая совесть?

Рано утром приходит медсестра. Приносит лекарства, измеряет давление и температуру. Света встает со своего стула, на котором вздремнула под утро, и, чтобы не мешать, подходит к окну.

Наступает рассвет. За окном всё еще спит. А больные в палатах проснулись. Им снились странные тягостные сны нездоровых людей, но сейчас они их не помнят. Светлана тоже не помнит, что ей снилось в ее коротком неглубоком сне, не принесшем ни отдыха, ни покоя.

* * *

Вера сидит на скамейке, смотрит на море и ведет свой бесконечный безмолвный разговор с Люсей.

«Вот и разнесло нас в разные стороны, Люсенька. Ты ушла, я осталась. Два дня без тебя, только два дня, а ты уже не знаешь, что Сева провел очень сложную операцию, и его хвалил за это главный хирург больницы; что заболел Павел, но сейчас ему как будто полегче; что мы со Светой решили подготовить к изданию твой сборник, а Анюта... Или знаешь? Я ощущаю твое присутствие рядом так явственно, как раньше, когда к тебе еще можно было прикоснуться рукой...»

Вера сидит долго, очень долго. Больше не думает ни о чем, ни о чем не вспоминает, только смотрит прямо перед собой, щурясь от яркого солнца. Ей мерещится, что весь мир свернулся в точку, а потом вытянулся и раскинулся перед ней бесконечной широкой полосой.

«Это моя желтая дорога», – понимает Вера и прикрывает глаза. Тихий ритмичный шум прибоя постепенно переходит в иной, еще более тихий шорох. Становится прохладно. Верочка вздрагивает, будто кто-то мягко толкнул ее, пытаясь разбудить, и неожиданно просыпается.

* * *

Автобус. В салоне полумрак. Дреmlют уставшие пассажиры. Время, по-видимому, уже вечернее или ночное, но темнота этой ночи не густая, непроницаемая, а скорее мгlistая, полупрозрачная и какая-то таинственная. За окном в сизом тумане едва различимы высокие силуэты гор. Экскурсовод замечает, что Верочка не спит и ворочается на своем сиденье, подходит к ней.

– Что это? – тихо спрашивает Вера.

– А-альпы, – шепотом отвечает экскурсовод. Он говорит это тихо, чтобы не разбудить никого вокруг, но получается загадочно и торжественно: «А-альпы...» Будто о чем-то необыкновенном сообщает он ей – о волшебном царстве или инопланетном пейзаже.

– А туман почему? – шепотом спрашивает Вера.

– Это не туман, это облака. И снег сыплется, – улыбается экскурсовод так радостно, будто это он сам подарил ей и снег, и горы, и облака.

– Снег в июле?

– Так ведь высоко-о... Го-оры...

– А страна какая? – всё так же шепотом спрашивает Вера.

– А-а-встрия, – шепчет экскурсовод и уходит к своему месту.

Вера смотрит на Свету: будить или не стоит? Вон как сладко посапывает она во сне, иногда улыбаясь. Должно быть, ей снятся хорошие сны, лучше не прерывать их.

Люсю будить не надо. Она и так не отводит от окна замороженный восторженный взгляд, и непонятно, относится ли это к тому, что видят ее глаза, или к тому, что происходит в ней самой. Ясно только одно: она и здесь и не здесь, и недоброе это дело – помешать ей быть там, где она сейчас находится.

Посреди безмолвия и оцепенения медленно и осторожно, будто хочет спрятаться от кого-то или от чего-то, ползет автобус вверх по горной дороге. Тихо и неподвижно внутри, тихо и неподвижно за окнами, где мягко и плавно опускается и ложится на землю снег. Тихи и неподвижны темнеющие вдаль горы. Не нарушая тишины, мерно тикают часы над водительским креслом: тик-так, тик-так, тик-так. И только время от времени слышится негромкий четкий шепот экскурсовода:

– Герма-ания...

– Швейца-ария...

– Фра-анция...

– Ита-алия...

– Перева-а-а-л...

Григорий Марк

ВОЗДУХ ПОЛОН МЕРЦАЮЩИХ ТОЧЕК

Воздух полон мерцающих точек,
танцующих линий,
плоскостей, отражений в стекле,
зыбких их очертаний.
Закрываешь глаза,
в тусклом мареве черточки синих
искр по векам скользят.
И растет в голове скрежетанье,

будто грубым напильником
пилят тебя по живому.
Пилят мозг вдоль извилин израненных.
С каждым движеньем
От этих движений?
он становится гладким и легким,
почти невесомым.
Боли нет совершенно.
Ты плывешь, уносимый теченьем,

по реке вертикальной
в кабине стеклянного лифта.
Он нанизывает
на тебя этажи. И струится
на витринах реклама
поющим неоновым шрифтом,
обещаньями, притчами
во примитивных языцах.

Этажи, водопады
застывшего света, провалы
черноты между ними,
где кабелей хищные змеи
вниз под землю ползут,
извиваются вяло.
Расслоённая длинная явь
мельшежит всё быстрее.
Искалеченный мозг
Бестелесных чудовищ нелепых
порождает вокруг,
но они маскируются ловко.

Ты в цилиндре-цугундере
мечешься, тычешься слепо.
Дверь нельзя отворить
до конечной его остановки.

86.

В старой Книге места есть, где сколько ни думай
ничего не поймёшь. Ключ тут нужен от шифра.
Ведь в святом языке все согласные – цифры.
Если в числах-словах совпадают их суммы,
то они неразрывно повязаны смыслом,
возвращающим явному трепет и тайну.
Элохим и хатева.* Совсем не случайно
у них сумма одна, хоть и разные числа.

*В иврите Элохим – это Бог, а хатева – природа. В обоих словах сумма цифр (гематрия) одна и та же и равна 86.

* * *

На задворках души приоткрылась калитка. Вошел
незнакомый мужик. Воспаленная тьма между нами
стала плотной и гладкой, свернулась в обструганный кол.
Наконечник уткнулся в меня. Я рванулся и замер.

Светофорное месиво красно-зеленых огней,
прилетевших на запахи крови как хищные птицы,
шевелилось в скукоженной роже его меж прыщей
и разбухших карбункулов. Он не желал торопиться.

Но десятки ладоней меня подтолкнули вдруг в спину.
Он пырнул. Через шапку волос электрический свет
прямо в мозг, до краёв заполняя извилины, хлынул.
И фантомная боль, порожденная тем чего нет,

как бульдозер на душу наехала. Белым дождем
звезды падали в тьму. Было слышно, как жалобно дышат
уходящие в землю дома. Мягким звоном кругом
осыпались зияющие колокольни на крыши.

Тень расплющенной яви – стихи – пешеходов за но́ги
торопливо хватала, бубнила, хотела сказать.

Ее били брезгливо, пытались отбросить с дороги.
Но она возвращалась, и всё повторялось опять.

Наконец время сдвинулось с места рывком и пошло.
Я почувствовал, – нет, всем нутром я почувал, каким-то звериным чутьем, – тот мужик, причиняющий зло, что живет на задворках, всегда держит кол и молчит, тот мужик, он всего лишь гомункулус, мной же самим сотворенный из стука компьютерных клавиш в ночи.

ИГРА НА ВРЕМЯ

Солнце сбросило в кухне
на пол козырной туз бубён.
Нечем крыть, на руках
одна шваль из шестерок, девяток.
Приближается вечер,
но туз всё еще освещен.
На кону мое время,
его драгоценный остаток.

Белый стол вдоль стены,
пара теней у самого края –
прикуп в черных рубашках,
под ними мой шанс небольшой.
Я не знаю ни правил,
ни против кого здесь играю.
Знаю только – нельзя
пропустить, спасовать. Ход за мной.

Холод льется с окна.
Вещи в комнате ёжатся зябко.
Прижимаясь друг к другу,
дрожат и хранят тишину.
Лишь скуластый будильник
в своей нахлобученной шапке,
гулко клацая стрелками,
время стрижет на кону.

Пересдачи не будет,
мне карта давно не идет.
Может, скинуть не в масть?

Но опасно, да и
не с руки мухлевать напоследок.
Пора. Надо делать свой ход,
не надеясь на прикуп.
Слишком ставки теперь высоки.

* * *

Лучник видит свою цель
на пути в бесконечное,
и это Он сгибает вас своей силой,
чтобы Его стрелы могли лететь
быстро и далеко.

Х. Джебран, «Пророк»

И мой сын позабудет. Порвется та нить,
что казалась обоим незыблемо-прочной.
Позабудет, и этого не отменить.
Ибо сказано (мною не первым уж точно):
тело женщины луку подобно тугому,
что натянут мужчиной. Стрелюю их сын,
когда время пришло, вылетает из дома.
Но про цель знает только лишь лучник один.

* * *

Те несколько дней – как Саргассово море, куда
теченья подводные мусор и грязь выносили
со всех океанов. Плескалась густая бурда.
А ты, как пловец за бревно уцепившись бессильно,

(не зря говорят: человек человеку бревно)
под сердцестучанье дрейфуешь по морю кругами.
Налипшую тину сметаешь с лица пятерней,
и воспоминанья твои шевелят плавниками.

Твои тонкошеии воспоминанья. Хвосты
и шеи двугласьями *ии*. Их скользкая дрожь.
Смирись и плыви по теченью вокруг пустоты.
Не то ведь опять до беды ты себя доведешь.

ЭГРЕГОР

Глазами, улыбками скользкими, ворохом скорых
искомканных жестов наполнилось зеркало к ночи.

По клавиатуре меж буквами мечется шорох,
там пальцев моих отпечатки бормочут.

Мерцают кровавым пунктиром огни телебашни:
вбок дернулся, взгляд оцарапал небесную мякоть.
Потом девять звезд я укутал дыханием влажным,
над башней сложил в новый знак Зодиака.

Пустая одежда на тумбочке возле постели,
свернувшись, хранит запах кожи, которым дышала.
В изнанке ее еще теплится память о теле.
Следов в этот день я оставил немало.

Наполнены дрожью они и свеченьем тревожным.
Края, обведенные желтой каймою, размыты.
Тому, кто не знает, найти их почти невозможно.
Они не уходят. Всё ждут следопыта.

Бостон

Евгений Чигрин

«Знак четырех»

СТИХОТВОРЕНИЕ С КРАСНЫМИ ОТТЕНКАМИ

I.

С корзиною раздавленных черешен
Плывет закат над лесом черных рук,
Там сытый леший ужином утешен:
Съел пятерых и ловит сердцем юг.
А в парадизе Писсарро на крыше
Дает уроки колера бордо,
Ученики то в краске, то в гашише,
Довольны до...

II.

Праправнук Дойла в Агре ищет яшму,
Сокровища с такими же, как сам,
Сыскали лаз под ключевую башню
Той крепости, что ближе к облакам,
Чем к существам, в которых скорпионы
Той алчности, что выпусти – порвет,
На старой карте очертили зоны,
Такой подход.

III.

«Знак четырех» и трех Моголов знаки...
Богиня Дурга в красном всех невест.
Подохни здесь! Какие к черту страхи?
Живи все девять, коль не надоест!
Тут адский пламень на башке индуса,
К сандаловому дереву текут
Контрабандисты, как к поэту муза,
И – Болливуд.

IV.

Сафлоровый, ты знаешь этот колер?
Сафлоровые ткани – само то
Для мумий, как сказал и сразу помер
Бальзамировщик. Пусто и мертво.
Плыви, Египет, в погребальной лодке

В подземный мир Аменти. Пусть шакал
Анубис перешлет на Яндекс фотки:
Подаст сигнал.

V.

Тхимпху́ (столица) громовым драконом
Глядит и тоже любит алый цвет.
Лети туда нескучным почтальоном,
Четверостишье, как внезапный френд.
...В планшете фильм: самоубийца в ванне –
Красавица в краснеющей воде.
И Вoney M. всё громче: «Money, money...»,
И кровь. Везде.

ТРОЛЛЕЙБУС ПО РАСПИСАНИЮ

I.

В загробном мире яркие шары,
В игрушках «Иней»* праздничные ёлки,
Снегурка в предвкушении игры,
Не будем уточнять какой. Шестерки
С ушастым бесом водят хоровод,
И песней превозносит всех усопших
Мятежный Вальсингам, и что-то врет
Красотка Мери, кажется из общих...
Бесплатным алкоголь объявлен и –
В ТЦ и лавках нет обычной давки,
И некому сказать: «Включай мозги!»,
Скорей наоборот: «Покурим травки?»
Над грудой черепов кровавый лик
Поднял убийца: «Принимай работу...»
И на колени рухнул ученик,
А перед кем – не видно ни на йоту.
Сверхзвуковой троллейбус пролетел,
Движеньё монстров тут по расписанью,
Крылатый враг и местный модельер,
И Верделет готовятся к гулянию.
Ручной работы сласти, конфетти,
Халва Ирана, манго из Мумбаи,
В двуногом зооморфные черты
Чудовища из племени масаи.

* Фабрика елочных украшений ручной работы.

В загробном мире скоро Новый год:
«Ты где справляешь? Сам-то знаешь, милый?»
Здесь некто ходит задом наперед,
Поднял лафитник проводник Вергилий...

II.

Здесь доппельгангер в модных шмотках
Танцует вечер зимний под
Твои стихи о тех красотках,
Которым ты – домашний кот,
Не распутивший хвост. С хвостами
Везде не так: не Голливуд.
И небоскребы сквозняками
Вокруг по-черному метут.
Везут ребята-дошколята
Слегка зеленоватый труп
С глазами Ростислава Плятта...
Штандартенфюрер хула-хуп
Вращает в праздничном настрое:
Молчун, разведчик-нелегал,
Но здесь не знают о герое
Того, что он не рассказал.
И дань предпраздничную ангел
Взывает с мертвых душ и тут!
И потому твой доппельгангер
Сердит, небрит, не very good.
Он у парадного подъезда
Сидит и тупо смотрит на
Того, который, точно – Бездна...
А ночь загробная нежна.

* * *

Я молчу и считаю Тоску
По листве порыжевшей вполсилы...
Вот чащоба, где бабу-ягу
Поднимали бандиты на вилы.
Пошугил, пристрелили ее,
С бизнесвумен попутав, – непруха.
Что еще? Я любое враньё
Этой осенью слышу вполуха.
Я банален, как сто дураков,
Где душа, покажите Психею?
Я пустыней, чем праведник Иов?

Это бред. Не гони ахинею.
 Не жалею, не плачу, еще –
 Не зову, а молчу и читаю
 По листве, это как-то зашло,
 По астральному влилось вай-фаю.
 Не жалею, пусть розовый конь
 Проскакал, посчитаем печали.
 Видишь, месяц размером с ладонь
 Вынул ножик, как тот карбонарий.
 Не жалею... Да было бы что!
 Старым призракам плакать не в жилу,
 По тебе не заплачет дитё,
 Поздно спрашивать ведьму сивиллу.
 Сам себе ты Тоска до конца
 И считалка до буквы последней
 От прильнувшего к свету лица
 До загробьем темнеющих бредней.

КАЛИТКА И ДОРОГА (ВОЛЧЬЯ ЛУНА)

Калитка и дорога на луну...
 Ты слышишь волчий вой? И я не слышу.
 Сомнамбул тянет в эту западню,
 У серых в полнолуние сносит крышу –

Реакция зверей на сильный стресс.
 Закрой калитку и открой калитку:
 Ты видишь, справа распрекрасный бес
 Луны на фоне растревожил скрипку.

Какой на нем сверкает лепень из
 Змеиной кожи: анаконда, кобра?
 Луны на фоне высветлен карниз,
 С него лишь шаг – и ты у двери гроба.

Ну здравствуй, ипохондрик, твой уступ –
 Предвестник зазеркалья. Знаю. Знаешь.
 Ты рубишь сук? А под тобою глубь
 Качается, в которой ты растаешь.

Смеются сновидения... Урод –
 Рогатый черт с утра клыки почистил,

Его мурлом украсили билборд,
Что блещет будто европейский блистер.

А кот Баюн? Да как же без него?!
Медовый голос: рот откроет – сказка,
В глазищах зверя злое колдовство,
На голове гламурная повязка.

Всё это цирк? Иначе нам никак:
Лукавая луна лучится смертью,
И тянется вокруг зеленый Страх:
Вот эти двое подбивают смету.

* * *

Ты умер и проснулся в сентябре,
Взглянул в окно, там дождь, как в хрустале,
Гулял, а ветер выходил в валторны.
Там жизнь входила в смерть: ты проверял?
Анубис в рот тебе, ты сам шакал,
Ты на кого ругаешься, позорный?

Ни на кого. Я в зеркало смотрю
И забываю зазеркалье. Тру
Глаза, чтоб снова оживить все пазлы.
«Я был сновидцем» – крутится в мозгах
Такой маразм и прошибает страх,
Как будто ада приоткрылись файлы.

Что если так? Откуда в голове
Такие тараканы? В кумовстве
С вредителями в прошлой я едва ли...
Ты воевал посредством двойника?
Попробуй, вспомни: тень боевика,
Грузовика желтеющие фары,

А дальше трупы: люди и зверьё,
Нытьё живых, над павшим вороньё,
Интимные места нагие души
Листвой скрывали. Я зачем воскрес?
В проёмах штор дождями правит бес,
Бабищи врут в незанятые уши

В надежде получить зеленый кэш,
Кому я проедал тенями плешь

В том ускользнувшем времени, и – парки
Мне обещали деньги и кровать
Большой любви, не надо продолжать?
Мне не вставляли эти парки палки...

Возможно я рулил агентством «Сны»,
Приматам отдавал за полцены,
Надев очки сновидца (всё открыто!),
Пилюлю сказок, теплые шато,
В которых жизнь настроена на то,
Что в раю выбрала планида.

А если я нектар убийцы пил,
У вороненка взял последний сыр
И в язвы городов добавил боли,
И оставлял в одной рубашке ту,
Которой сердце вырвал за мечту,
Не написал в ватсапе жизни soggy –

Кому сказать: «Давай сожжем мосты»,
Перешепнёмся с ангелом на «ты»?
Под зонтиком Безносой в зазеркалье
Вернемся, ибо – тленные дожди
Теперь везде... Библейские скоты
Бросаются в глаза в любом оскале.

Владимир Салимон

* * *

Когда Вселенная до точки
сжимается, и ты не в силах
ни слова написать, ни строчки –
слабеет мысль, кровь стынет в жилах.

Представь себе – листва кружится!
Кружись и ты, лети за нею,
ища куда б тебе прибиться,
свою окончив одиссею.

Быть может, здесь в лачуге бедной
тебя ждет верная супруга,
и тетива звучит победно
тобой оставленного лука.

Ты – царь и бог в глазах мальчишки,
который спину прикрывает
тебе, как на картинке в книжке,
что держит щит и меч сжимает.

Крепки мальчишеские руки,
и зорок глаз.
Не ради славы –
за поношения и муки
он ищет на врагов управы.

* * *

Ничего не постоянно,
разве что 17 граней
у граненого стакана,
за окном – простор бескрайний.

На который, если долго
смотришь, то в глазах двоится,
в сердце острая иголка
может вдруг пошевелится.

И колючее стальное
остриё пронзит, как спица,

существо твоё живое,
что тоскует и томится.

как за каменной стеною,
за броней моей фальшивой –
за улыбкой напускною,
то несчастной, то счастливой.

* * *

Проснуться с ясной головой
и легким сердцем.
День начать
с того, что тихо над тобой
склонившись, в лоб поцеловать.

Начать с того, что отложить
нельзя на после, на потом –
ни досказать, ни долюбить,
ни осенить себя крестом,

раздвинув шторы на окне,
в рассветных сумерках, в мороз
увидев дятла на сосне,
который, как каменотес

замшелый розовый гранит,
должно быть, в этом есть нужда,
сосну замерзшую долбит.
Стахановец. Герой труда.

* * *

Он сегодня спит в подъезде.
Всё указывает в нём –
в каждой позе, в каждом жесте –
на трагический надлом.

Кое-как на подоконник
влез, себе соорудив
из ушанки подголовник,
и рукой глаза прикрыв.

Словно хочет он от света
заслониться, но никак

защититься от навета.
Стиснул зубы, сжал кулак.

В локте согнутой рукою
прикрываясь, он готов
к жаркой схватке, к битве, к бою
с целым полчищем врагов.

* * *

На зов пионерского горна,
что ветер донес из полей,
откликнулось что-то покорно
в душе огрубевшей моей.

Так в сумерках старая псина,
заливистый лай вдалеке
услышав, а не беспричинно,
скулит на своем тюфяке.

И дать ни один академик
не может ответ – почему
она, как ее неврастеник-
хозяин, уставясь во тьму,

часами лежит неподвижно
и слезы горячие льет,
когда на реке еле слышно
трещит и ломается лед.

* * *

Солнце низкое настолько,
что, гоня голубей,
ткнуть шестом его легонько
можно, можно – посильней.

Чтобы сдвинуть с мертвой точки,
чтоб быльем не поросли
эти черные денечки,
чтобы мы вздохнуть смогли.

Как мальчишечки, которых,
оглушив взрывной волной,

завалило в тесных норах
потом пахнувшей землей.

Тучной, жирной, плодородной,
тяжкой, так как чернозем
лишь на грядке огородной –
мягко, легко, невесом.

* * *

Аблеухов слышал «У...!»
При гнилой, сырой погоде
эту чертову дуду
я сегодня слышу в роде.

Что-то слышу я во тьме,
что сгущается над нами.
Мысли черные в уме
свет мне застыт облаками.

Интересно, кто-нибудь
слышит нечто наподобье
раздирающего грудь
крика, причитанье вдовье?

Лязг затворов? Стук сапог?
Свист разбойничий во мраке?
Если нет, храни нас Бог,
спящих сладким сном в бараке.

Спи, невинная душа.
Жизнь – пуста и никудышна.
Ты же – чудно хороша! –
Ангел шепчет еле слышно.

26.09.

Алла Дубровская

Из цикла «На этюдах»

ВИД ИЗ ОКНА

Из своего окна я вижу кирпичную стену дома напротив. Плотнo занавешенные окна скрывают его обитателей от любопытных глаз. Между нами небольшая лужайка, заросшая белым клевером. Глядя на слепые окна напротив, я вспоминаю Амстердам с пустыми комнатами за промытыми стеклами без занавесок. Впрочем, и там мне не удалось увидеть ни одного человека. Мое окно почти всегда открыто. Легкий ветерок приносит сладковатый запах кашки; суббота, заполненная чужими заботами, пахнет стиральным порошком; если на соседних улицах меняют асфальт, оттуда несет горячим битумом; весной пахнет удобрением, раскиданным по клумбам. Осень пахнет усталостью листьев, а зима – моим одиночеством.

Набравший силу ветер треплет молодое дерево, вытянувшееся откуда-то из-под той же стены напротив. Я люблюсь его борьбой то с загибающимися, то с нарастающими порывами. Еще есть другое дерево. От его раскинувшихся во все стороны ветвей вверх тянутся прямые ростки, каждый размером с деревце. Зимой тонкие стволы напоминают мне зубья гигантской гребенки с вычурным переплетением веточек наверху. Я не успеваю уследить за временем, когда дерево только-только покрывается листвой. Потом листья набирают силу, впитывая соки и солнечный свет. Летом их омывают дожди. Капли осыпаются на землю с промытых крон. Как благословенна переливающая зелень лета в лучах заходящего солнца! Еще мне слышен гвалт, доносящийся со школьного двора: звенящие колокольчики-ксилофончики-бубенцы сливаются в какофонию детских голосов. К вечеру они смолкают. Тогда набирает силу шум хайвея, проходящего в миле от моего дома. Ночью он немного стихает, утром нарастает с новой силой. Я засыпаю под гул бесконечности, ибо бесконечно движение этих несущихся куда-то машин.

ХРУПКИЕ КОСТИ ДУШИ

Я слушаю просыпающийся город. Ну, город – это слишком громко сказано. Тогда так: я слушаю просыпающийся городок. Пусть

будет первый снег. Нет, не так. Пусть это будет легкий снежок. Такое здесь случается в ноябре. Снежок бесшумно покроем еще зеленые газоны и кусты, приглушит шум спешащих автомобилей. Я представляю бледные лица то ли запоздалых, то ли ранних гонцов за тонированными стеклами машин. Одна рука – на руле, в другой бумажный стаканчик с кофе. Легкий джаз между прогнозами погоды. Короткие разговоры по телефону. Нетерпеливое ожидание смены цветов светофора на пустынной улице. Вот один пронесся на красный свет. Камера наблюдения беспощадно фиксирует номер автомобиля нарушителя. Должно быть, кто-то из случайно заехавших в наш городок. Местные знают все перекрестки, где их поджидает строгий глаз блюстителя дорожных правил. Куда ты мчишься, одинокий всадник Пол Ревир? Кому кричишь: «Красные мундиры! Идут красные мундиры!»? Вот зажглось окно. Там не могли дожидаться утра, с которым придет спасение: прожита еще одна ночь. Там пахнет лекарствами и одиночеством. Пусть скорее загорится свет в другом окне. Потом еще в одном. В моем окне свет горит с четырех часов утра. Нет ничего тривиальнее, чем жалобы на бессонницу. Впрочем, достаточно тривиальны и пересказы снов. Разве это не скучно – выслушивать чужой сон в подробном изложении? Сон – это взмах крылышек бабочки, мгновение, которое возможно увидеть, но не воспроизвести. В пересказах он тяжелеет, обрастает ненужными подробностями.

Моя соседка – ранняя пташка. Пожилая дама, имени которой я так и не знаю, хотя мы живем дверь в дверь уже лет пятнадцать. Почему-то я думаю, что ее сны безмятежны. На ее окне висит кормушка для птиц. Кто сюда только не слетается. Наведываются и пронырливые белки. Разглядывание этой живности развлекает меня. Кажется, у меня появились любимцы, причем, кто может быть в этом уверен. Все птички выглядят одинаково. Еще у соседки много цветов. Есть такие счастливые люди: возле них цветы никогда не вянут, а только разрастаются. Однажды она оставила горшочек с небольшим растением на пороге моей двери. Так раньше подкидывали нежеланных младенцев к дверям церквей. На прикрепленной записочке было написано «Позаботься обо мне». Пришлось взять к себе. Забочусь: поливаю, радуюсь появлению новых листочков, отщипываю пожелтевшие. Растеньице переговаривается со мной, хотя мы не произносим ни слова. Что еще? Шаги в комнате наверху. Я не знаю, кому они принадлежат. Скорее всего, там живет молодая девушка. Почему? Наверное, мне так хочется. Еще мне хочется, чтобы она работала в госпитале. Пусть будет медсестрой. Они все похожи друг на друга, как похожи птички, прилетающие к соседской кормушке. Дело даже не в одинаковой униформе и чуть хриплых прокуренных голосах, а в одной и той же фамильярной интонации, с которой они разговаривают с больными. В этой интонации кроется

ощущение своего превосходства. Такая же интонация у докторов и работников похоронных домов. Как будто смерть не сравнивает нас всех. Хотела бы я услышать интонацию, с которой они отвечают Господу на Страшном суде. Но я отвлеклась. Надо «держать мысль», значит, возвращаюсь к девушке из верхней квартиры. Вот хлопнула ее дверь. Одиннадцать тридцать вечера на моих стенных часах. Шаги у входа: она снимает обувь. Дальше шаги кружат по комнате. Мне слышно, как она выдвигает и задвигает какие-то ящики. Должно быть, ящики комода. Торопливо шлепает в ванную. У меня есть полчаса на то, чтобы представить ее в душе. Мыльные волосы, смуглое тело. Не спрашивайте, откуда я знаю. Я так ее представляю. Потом махровый халат. В теплые дни из окна ее ванной пахнет недорогим шампунем. Она долго возится на кухне. Не имею ни малейшего представления, что у нее на сковородке или в кастрюльке. Может, на ее столе нет ничего, кроме купленного по дороге домой бутерброда. По выходным из ее окон пахнет готовой китайской едой. У нее неприятный вкус. Должно быть, не любит стирать. Я – тоже. После позднего ужина она любит затянуться сигареткой. К счастью, из ее окна никогда не несет марихуаной. Некоторым этот запах нравится. Мне – нет. Если повезет, она сразу уляжется спать, и ее шаги не будут больше меня тревожить. Иногда там что-то происходит. Откуда я знаю? Разве иначе стала бы она метаться по комнате до четырех утра? Вот это самое невыносимое. Приходится стучать палкой от швабры в потолок. Шаги испуганно замолкают, но она не в силах надолго справиться с волнением, и тогда всё начинается снова: взад-вперед и наискосок. Наискосок и взад-вперед. В такие ночи я не сплю. В пять тридцать утра на остановку в конце улицы приходит первый автобус. Под шум его мотора я, наконец, засыпаю. Я засыпаю, а город засыпает снегом. Какое-то время я еще слышу тихое включение холодильника, движение лифта в глубине лестницы, обрывки голосов, но вот наступает мгновение, когда копошение жизни больше не имеет ко мне никакого отношения. Я отдаляюсь от всего этого. Я далеко. Я сплю.

Пока я сплю, белые хлопья пеленой накрывают город. Я знаю, что, проснувшись, увижу в окне картину Брейгеля. Люди начнут откапывать занесенные снегом автомобили. Иногда этим занимаются целыми семьями, тогда работа спорится. Хуже всего приходится престарелым дамам, особенно если уборочные машины, расчищающие улицы, заваливают тяжелым снегом их припаркованные с краю дороги автомобили. Случается, дамам помогают молодые люди с лопатами. Они могут весело переговариваться. О чем? Мне кажется, я слышу их разговоры. Что-нибудь вроде того, как много снега навалило в этот раз, а зима еще впереди. Молодым людям жарко, они расстегивают куртки или разматывают шарфы. Легкий пар поднимается

над их вспотевшими спинами. Когда расчистка закончена и автомобили достаточно прогреты, дамы уезжают в неизвестном направлении. Дворникам тоже достанется, особенно если они из теплолюбивых стран и непривычны к зиме. Наш – пуэрториканец. Из окна мне будут видны его неторопливые усилия, направленные на расчистку крыльца. Он кричит что-то соседскому дворнику, высокому усатому человеку в сапогах. Нетрудно догадаться, о чем они говорят, потому что пуэрториканец отставляет лопату в угол. Вместе они направятся в сторону плазы, думаю, в «Старбакс». Это надолго. Там шумно и многолюдно. Еще я знаю, что увижу собачек и желтые метки на белом снегу, голубей, исчертивших крестиками своих следов крыши гаражей. Если я открою окно, услышу смех и голоса детей. Площадку между дворами еще не расчистят, и я увижу, как они валяются в снегу. Длинные школьные автобусы будут припаркованы во дворе школы. Всем повезет: отменят уроки. Окно я не открою, но мне легко представить толстых теток-водителей, смотрящих телевизор на своих кухнях. Прогноз погоды будут передавать, как сводку с фронта. А это что там такое? Какая-то небольшая толпа. Мне плохо видно. Ну вот, кто-то застрял в сугробе. Я просыпаюсь. Я просыпаюсь и, позевывая, пытаюсь нащупать ногами шлепанцы у постели. Ноги тощие, как карандаши. Стараюсь не разглядывать, даже просто на них не смотреть. Один шлепанец сначала запропастился, потом нашелся. Еще оказывается, я уснула прямо в халате. Теперь такое случается всё чаще. Так и есть, из окна видно всё то, что уже предстало в моем воображении. Известно ли вам, что разглядывать всегда лучше сверху и чуть со стороны? Брейгель знал, куда встать с мольбертом. Старший или младший? Черт их знает. Когда горел дом напротив, мне хотелось пролететь над ним и сверху поглазеть на пламя, пожирающее его внутренности. Не удалось из-за вертолета, застывшего над домом, полыхавшим как факел. Зависшая стрекоза распугала всех ворон своими крутящимися лопастями. Впрочем, мне и так всё было хорошо видно, а запах дыма, пробившийся через закрытое окно, помню до сих пор. Память. Ну да. Вы, наверное, знаете, что воспоминания – самое прекрасное из того, что достается старости. Даже если они причиняют боль и уже поздно изменить что-либо. Смерть всё исправит. Вот она опять, как тот самый вертолет, отпугивает лопастями любую мысль, но мысль упорно возвращается к тем ранним утрам, когда солнце уже взошло, но еще виден кусок бледнеющей луны, вставленный в разрез голубого неба. А вот стаи неопознанных птиц, кружащих над мостом с высокими бетонными перилами.

Если стоять не под мостом, перекинутым через хайвей, а чуть в стороне, на автобусной остановке, то можно увидеть движущиеся за его перилами капюшоны, зимние шапочки с помпонами, шевелюры, развевающиеся на ветру. Половинки спешащих человеческих тел

живут таинственной жизнью, как и люди, стоящие со мной на остановке автобуса. В этот ранний час здесь всегда одни и те же персонажи. Вот худенькая женщина в капюшоне поверх вязаной шапочки. Я вижу следы робости и неуверенности во всем ее незатейливом облике. Должно быть, из недавно приехавших. Таким приходится тяжелее всего. Почему-то я думаю, что она полька, хотя не знаю даже ее голоса. Зато стоящий в стороне парень в заляпанных белой краской ботинках – поляк наверняка. Он исчезает до следующего утра в приехавшей за ним «Тойоте». Девчонка с розовыми волосами что-то безостановочно трещит в мобильник. Кажется, пересказываются последние школьные новости. У нее большие покрасневшие от холода руки без перчаток, а в носдю продето тонкое колечко. Здесь есть и мои любимцы: крикливые латиноамериканки в обтягивающих оттопыренные зады джинсах. У самой горластой, когда она энергично говорит что-то товаркам, подрагивает помпон на шапочке и болтаются длинные серьги в ушах. Их увозит помятый белый фургон с потертой рекламной сдобных булочек. Интересно, замечают ли здесь меня? Не знаю. В какое-то мгновение я вижу сразу: поток машин на хайвее, два небо-скреба, вытянувшихся в лазурную высь, бегущий под белой корочкой льда ручеек, пританцовывающего на ходу человека в толстой спецовке и пластмассовой каске. Как радостно и беззаботно живется ему в этом мгновении. Еще я вижу проступившее в окне автобуса лицо водителя. Сейчас мы покатым мимо белых домиков и черных стволов обнаженных деревьев. Всё быстрее и быстрее замелькают они за окном, сольются в пятнистую полоску. Свет. Тень. Свет. Тень. Мгновение растягивается, застывает.

Человек – страдающая точка в пространстве, хотя – почему страдающая? Потому что есть вон то сломанное дерево, за которым стрелка поворота направо в городок, куда нельзя. Там всё могло быть по-другому, там могла быть другая жизнь, но другое не произошло, не случилось, поэтому надо мимо. Мимо. За моей спиной женщина разговаривает по телефону на непонятном языке. Интонация монотонная. Она говорит не останавливаясь. Я закрываю глаза. Пятна мелькают. Мне кажется, я вижу несущуюся по хайвею спину автобуса. Пусть Брейгель нарисует этот пейзаж сверху и чуть со стороны. Я засыпаю или просыпаюсь. Успеваю подумать: как занимательна твоя работа, Создатель, тонкой кисточкой по нежно-голубому фону... Как распрямляются хрупкие кости души, готовящейся к последнему полету.

В ПАРКЕ

Утомительная жара нью-йоркского лета изнуряет и выматывает. День за днем. Когда прохлада не приходит даже ночью, спасение

можно ненадолго найти в тени деревьев Центрального парка. Помните, «За рекой в тени деревьев»? Чтобы добраться туда, мне нужно пересечь Гудзон в маленьком автобусе, на душной платформе сабвея дожидаться прихода поезда, провести блаженных полчаса в прохладном вагоне и войти в тот парк с площади, где высится гранитная колонна с мраморным Колумбом на вершине, окруженная чем-то безвкусно-величественным.

Парк весел и многолюден. Здесь всегда несет навозом. Это по асфальтированным дорожкам цокают лошадки с плюмажами, у некоторых хвосты заплетены в косичку. Хотите прокатиться? Запрыгивайте на ходу в повозку, обитую потертым бархатом. Ну хорошо, не запрыгивайте, а договаривайтесь с навязчивыми зазывалами у входа. Сколько стоит это счастье объехать парк? Не знаю. Почему-то никогда не каталась, а сидя на скамеечке (лучше в тени), рассматривала лошадок и возниц в цилиндрах, что-то небрежно вещающих доверчивым туристам. Еще здесь много велосипедистов, дающих по жаре бесконечные круги. Всегда находится один с собственной музыкой, орущей из неизвестного мне устройства. Есть и бесчисленный отряд бегающих. Сколько сил и здоровья в этих организмах, обвешанных специальными приспособлениями для каких-то измерений. Все правильно: «никто не хотел умирать». Во всяком случае, смерть никого не интересует на этом празднике жизни, даже стариков в инвалидных колясках, выкатившихся поглазеть на малышей, расставленных на бейсбольном поле. В эту игру здесь играют, едва научившись ходить. Что еще? Собаки всех пород с надменными хозяевами. Жизнь по соседству с Центральным парком накладывает отпечаток чуть заметного превосходства на их лица. Нянюшки с колясками и мобильниками. О чем они часами стрекочут со своими терпеливыми слушателями? Стайки девушек в шортах, молодые люди на скейтбордах. Всё движется любовью. Хотя не всё. Застывший солдат седьмого пехотного полка не может даже вспугнуть голубя, примостившегося на его макушке.

Я давно знаю, почему меня тянет сюда. Все парки мира напоминают мне тот, единственный, где прошло мое детство. Там тоже озеро с лодочками, поскрипывающими уключинами весел, – правда, нет земляничной поляны, но есть гранитная терраса с видом на заросшие лопухами газоны. В июле там косят траву. Я люблю запах травы, сырой земли, застоялой воды прудов. В парке моего детства прямые дорожки, посыпанные гравием. Здесь – запутанный лабиринт, с выходом в другой стороне города. Однажды такая дорожка привела меня к туннелю, прорезавшему небольшой холм. Там было темно-то и прохладно. Запах застоявшейся мочи предупредил о возможной встрече с обитателями подобных мест. Поворачивать назад не хотелось. И я его увидела. Он сидел на матрасе скрестив ноги, лицом к стене. Обнаженный черный торс и большая круглая голова без волос.

Складки на мощной шее, резко обозначенный затылок, широкие плечи. В полный рост он оказался бы гигантом. Его не интересовали случайные прохожие вроде меня. Его интересовала только стена, потому что к ней он обратил свой яростный монолог. Я не смогла разобрать ни одного слова из его гневной речи, ничего не было и на стене, покрытой плесенью. Сумасшедший бездомный. Они довольно часто попадают в городе. Этот словно сидел в предбаннике преисподней и оспаривал решение Всевышнего. На что он был обречен? Догадаться не так уж и сложно, вот только он был не согласен, не согласен, не согласен. Во всем этом была какая-то выворачивающая душу тоска. Я поспешила выйти из туннеля в зной и свет парка, не оставив даже доллара на грязном матрасе.

ХОЛДЕН СОСТАРИЛСЯ

Ну вот, Холден Колфилд* не только вырос, но и состарился. К тому же поселился в нашем городке, что расположился сразу за мостом Джорджа Вашингтона, напротив Нью-Йорка. Городок этот под названием Форт Ли непригляден, как и всякая американская провинция. Пропасти здесь давно огорожены, даже на перила моста натянули сетку, чтобы никто не мог кинуться с него в Гудзон. Такая предусмотрительность не уменьшает количества людей, не желающих истратить до конца отведенное им время. Но не в этих людях дело. Дело даже не в китайцах, заселивших наш городок. Однажды Холден поразмышлял о причинах привлекательности унылых мест для представителей многочисленной расы и решил, что дело в генерале Ли, которого они принимают за бывшего соотечественника, можно сказать, отдаленного родственника. Что-то остановило ход его дальнейших размышлений, – скорее всего, он просто забыл, что этих генералов было два, и южанин Роберт Ли никак не мог украсить своим именем форт на севере страны.

Холдена Колфилда я встретила на небольшой площади перед нашим супермаркетом в раскаленный июльский день. Выглядел он довольно нелепо в теплой шапке поверх бейсболки и больших очках от солнца. Бормоча под нос, он собирал разбросанные повсюду тележки в один гремящий поезд и с усилием толкал состав, вязнувший колесами в размягченном асфальте. Не замечая никого, он только одобрительно хмыкал покупателям, подкатывавшим к нему свои опорожненные тележки. Подкатила и я, пытаюсь обратить на себя внимание приветливой улыбкой. Моя тележка с грохотом присоединилась к хвосту состава, на который навалился Холден. Ни одного слова при этом не было сказано.

* Холден Колфилд – герой романа Дж.-Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Потом он стал попадаться мне в парке на скамейке у открытого детского бассейна, где плескалась малышня, спасаясь от жары. Зимняя шапка исчезла с его головы, он стал меньше походить на городского сумасшедшего, но по-прежнему выглядел довольно импозантно с торчащими из-под бейсболки седыми лохмами и черными очками на макушке, которые сдвигал на нос движением рыцаря, опускающего забрало. Вам стоило его увидеть. Еще вам стоило посмотреть на тот бассейн.

Меня всегда завораживал вид прозрачных спасательных бубликов, поблескивающих боками на голубой воде. Этой голубизны добиваются весьма простым способом, окрашивая стенки и неглубокое дно бассейна лазурной краской. С утра здесь пусто, но к полудню воздух зазвенит от криков плескающейся мелюзги. Поверхность мелкой воды оживает, словно под кистью художника, смешивающего разноцветные краски на голубой палитре. В углу добавлено немного черной. Это под зонтиками расселись мамыши. Время от времени они отрываются от пересудов и поглядывают на своих купальщиков. Кого здесь только нет. Вот в спасательной баранке, лениво шевеля ножками, проплывает бледная красавица. Она недовольно морщит носик на плюхнувшегося рядом карапуза в коричневых штанишках. А вон там малыш, сидя на краю бассейна, нерешительно трогает воду большим пальцем ноги. Интересно, как быстро он преодолеет страх. Выскочившая из воды девчонка обдает его фонтаном брызг и смеется так заливисто, что он не успевает испугаться. Кто-то из малышей уже наловчился нырять. Молодой спасатель не обращает на них никакого внимания, уткнувшись в телефон. И только Холден в волнении срывается со своего места. Ложная тревога. Никто не тонет. «Так вот зачем он повадился сюда ходить!» – разгадка оказалась такой простой.

Осенью Холден исчез. Иногда я брожу по городку, надеясь на встречу с ним, но мне не везет.

ПАМЯТИ ИРОЧКИ СЛУЖЕВСКОЙ

– Тогда я просто покончу с собой.

Она сказала это с такой легкостью, будто говорила о том, что собирается на следующей неделе отправиться в недалекое путешествие. Сидя сбоку, я старалась разглядеть в ее профиле нечто скрываемое за будничной интонацией. Но она, видимо, столько раз повторяла про себя эту фразу, что мне удалось разглядеть только упрямую морщинку в уголке рта.

– Разве это просто?

Ирина Петровна Служевская (1955, Ташкент – 2013, Хобоккен, США), литературный критик, ахматовед; автор книги «Три статьи о Бродском», многочисленных статей об А. Ахматовой, А. Цветкове, В. Гандельсмане и др.

И мы перешли к обсуждению различных способов самоубийства. Самый подходящий для меня: «Ну-у-у, снотворные таблетки» – ей не подошел. Не помню почему. Тогда же она рассказала мне о клинике в Швейцарии, где это делают, облегчая страдания смертельно больных людей.

– А у тебя какая стадия?

– Три, три с половиной.

– Значит, время еще есть.

Времени ей хватило на то, чтобы продумать и осуществить то, во что мне было так трудно поверить.

ОСЕННИЙ ПОЛЕТ БАБОЧКИ

Выходишь в парк и утешаешься,
Что вроде бы еще живешь...

В. Черешня

Ну хорошо, все знают, что умрут, но кто думает об этом, когда подставляет лицо солнцу и дает ветерку пробежать по волосам? А вот уже этот ветерок набрал силу и шевелит ветки дерева на обочине. Издалека видна податливость каждого листочка. Здравствуй, дерево. Ты не знаешь, что переживешь меня. А что знают бабочки, кружащие над поляной? Теперь ветер принялся за них, сдувая с цветов и травинок их легчайшие крыльшки, покрытые затейливым узором. Парус скромной капустницы прилепился к засохшему одуванчику. Еще мгновение – и она вспорхнет, трепещущие лоскутки унесут крошечное тельце. У бабочек нет слуха. Им не дано услышать шуршание папоротника, копошение жизни в траве, пение птиц, негодующее гудение встревоженных пчел. Для них есть только запахи и краски: переливающийся ковер последнего летнего дня, вибрация теплого воздуха, солнечные блики на заросших тропинках, на поверхности пруда, покрытой опавшими листьями. Игра тени и света. Сон, смерть? Здесь всё перемешалось. Крик всполошившихся соек нарушает обманчивую безмятежность. Поздно. Испуганный свидетель преступления, я вижу лишь беспомощно повисшие лапки в клюве взлетевшего ястреба. Потом возвращается покой, блудный сын тревоги. Бабочки снова кружат в солнечном луче, пробивающем листву. Но вот он тихо меркнет. Вступает хор цикад. У заросшего пруда им вторят лягушки. Призывы страсти вытесняют дневные звуки. Скоро потемнеет. Стемнело. Стало совсем темно.

Теперь о деревьях, об их прямых, извилистых и склоненных стволах, об их многолетних усилиях прорастания, сгибания и распрямления, о вечной тяге к солнцу сквозь каменистый настил, покрытый мхом и опавшей листвой. О каждой щелочке на их коре –

пристанище личинок, птиц и маленьких зверьков. Об их медленном умирании и посмертной красоте. Семь лет назад ураган повалил могучие стволы. Они рухнули, fallen heroes, выставив беззащитные корни, но даже тогда казались мне живыми. Наконец истлели, превратились в труху, через которую весной пробиваются зеленые стебельки.

Теперь о себе. Пусть из тины памяти проступит городок Тинек. Я случайный гость у старых платанов на улице с неизвестным именем. Осеннее великолепие уже закончилось, лишь кое-где на ветках задержались дрожащие листья. Шелушащиеся стволы словно покрыты псориазом. В конце улицы, на пересечении с другой, высится шпиль церкви, уходящий в ослепительно голубое небо. Ветерок приносит запах дыма. У кого-то разгорелся камин. С этим запахом ничего не связано, но почему тогда мне вспомнилась чашечка липового чая с тем самым бисквитом? Не потому ли, что рядом с Тинеком примостился городок Леония? Доброе утро, месье Пруст. Или у вас уже полдень? Городок Леония скучен в любую погоду, как та самая тетушка, дремлющая на взбитых подушках. С вашего позволения, я отправлюсь обратно в парк, к пруду с черепахами. Там можно сесть на гранитный валун и слушать клокотание ручейка, выбегающего из заросшего пруда. Однажды на этом месте устроилась старенькая корейка с пластмассовой коробочкой на коленях, из которой она доставала кусочки розовой дыни, накалывая их на острые палочки. Соскальзывая с палочек, кусочки летели в пруд, где их проворно поедали черепахи, смешно вытягивая шеи из лоснящихся панцирей. Корейка жестом пригласила меня присесть рядом. Послушно присев, я попыталась понять, что она говорит, обратив ко мне изрезанное морщинами личико. Не поняв ни слова, я просто открыла рот и получила кусочек ароматной дыни. Надо ли описать его вкус, месье Пруст? Хорошо. Это была сладкая свежесть. Корейка меж тем продолжала кормить черепах. Когда коробочка опустела, она поднялась и, поклонившись, исчезла. На брошенный ею комочек салфетки с остатками сладкого запаха села опоздавшая бабочка. Вдруг это был летающий во сне Чжуан-цзы*?

Еще мне нужно вспомнить оленей, осенью меняющих облезлый рыжеватый мех на мех густой и темный, сливающийся с цветом опавшей прелой листвы. Не забыть упомянуть их плавное, лишенное спешности передвижение поперек тропинок. Отсутствие опасности придает их величественным поворотам головы некоторую снисходительность при встречах с людьми, чего нельзя сказать о белках и бурундуках, проворно разбегающихся по траве, покрытой сухими листьями. Голые ветки больше не задерживают солнечные лучи, поэтому я прикрываю глаза. Свет преломляется в ресницах короткими

* Китайский философ IV века до н.э.

лучиками. На следующей неделе обещаны дожди. Они примнут опавшие листья, наполнят мелеющий пруд. Потом похолодает. Черепахи спрячутся, а бабочки умрут. Как невыносимо тяжело покидать этот прекрасный мир.

ПОЕЗДКА

Все-таки было в этом что-то фантастическое: темень, обступившая наш автомобиль, скорость, на которой он мчался, вспышки фар редких встречных машин. Странное ощущение, словно это уже было когда-то прожито, только забыто, а вот теперь происходило еще раз. Мы сбились с пути, пропустив нужный указатель, повернули не там и мчались неизвестно куда. Ничто не предвещало эту гонку в гущу зловещей темноты. Сначала машина послушно описала круг небольшой площади с застывшей фигурой очередного героя в центре, миновала ряды освещенных витрин. Потом блеснул подсветкой городской фонтан. За ним пошли домики: одноэтажные, двухэтажные, с башенками и лужайками, с чьей-то жизнью за спущенными шторами. Вот и последний светофор, за которым поворот на хайвей. И сразу же темнота. Навигаторов тогда не было и в помине. Зато была поездка к новым друзьям в соседний штат, два часа пути на юг. Когда пришла пора прощаться, кто-то нарисовал обратную дорогу на листке бумаги с подробными инструкциями и английскими названиями, выведенными большими буквами. Вроде всё понятно. Мог, конечно, подвести старый «Шеви», отмахавший десятки миль еще до того, как попал к нам, новоиспеченным эмигрантам с плохим английским и незнанием географии страны, приютившей нас, – но об этом думать не хотелось. Кажется, кто-то предупредил: «Не пропустите нужный выезд с хайвея, следующий будет не скоро». Предупреждение не помогло, поворот был пропущен, и мы мчались в глубь чужого штата. Сколько это длилось? Трудно сказать. Не больше получаса, но я помню странное ощущение времени, оно как бы растянулось, казалось долгим. Еще я помню, что там, в той старой машине, мы были вместе. Тугой узелок слова «тугезе» (*together* – английское слово, означающее «вместе»). Потом это «вместе» распадется и уже никогда не воссоединится.

Наконец, долгожданный поворот – и сразу же бензоколонка, празднично осветившая нас неонем. Человек за прилавком с искренним желанием помочь долго рассматривал лист бумаги. Говорить по-английски у него тоже получалось с трудом. Уже не помню, как мы его поняли и вернулись-таки домой. Фантастической эта поездка осталась только в моей памяти.

Умирание много повидавшего «Шеви» было затяжным, а всё потому, что в оживление его ржавых частей вкладывались почти все имеющиеся у нас тогда деньги. Паралич наступал часто и в довольно

неподходящих местах. Самым замечательным местом был мост через Гудзон. Удивительно, что машине хватило сил выкатиться на нейтральную полосу посередине и уже там замереть. Дальнейшее было загадочным. Помощь пришла неожиданно быстро. Какой-то молодой человек вполне работающего вида, кажется, в комбинезоне, бесшумно подкатил сзади на своем небольшом грузовичке (в Америке они называются траками) и вытолкнул нас с моста, приветливо махнув на прощание. А уже за мостом нас поджидал не менее приветливый полицейский. До сих пор не знаю, существовал ли между ними сговор, или всё было случайным совпадением. Так или иначе, быстро разобравшись, полицейский вызвал что-то большое с платформой, куда взгромоздили наш откатавший свой век «Шеви» и увезли в забытом мною направлении.

Не помню, была ли тебе известна эта история, но знаю, что ты проваливалась со стыда каждый раз, когда наш раздолбанный автомобиль подкатывал к школе, где ты тогда училась.

ДОЧЬ

До моего рождения меня не хотели. У мамы уже была семилетняя дочка от первого брака, которую она оставила на попечение бабушки с бабушкой. Мой будущий отец испытывал «Миги» на аэродромах Забайкалья. Летчики жили в бараках с протекающими крышами, в комнатенках, отгороженных занавесками вместо стен. Аборты в ту пору были запрещены. Родина заботилась о пополнении народонаселения, значительно убывшего за годы войны. Офицерские жены избавлялись от нежелательных беременностей в соседнем поселке у тетки, промышлявшей подпольным плодоизгнанием. Что-то задержало мою будущую маму от более ранних решительных действий, и она предстала перед той женщиной с уже обозначившимся животом. «Ну, это мы быстро, – сказала та, – а ребеночка, еще живенького, в этой печке сождем», – и показала на весело потрескивающую дровами печку. Так что я появилась на свет благодаря этой женщине и пробудившемуся воображению мамы, упавшей в обморок возле той самой печки. И всё же в нарушении уготованной мне участи я нахожу объяснение многим чертам своего характера. Но дело совсем не в этом, а в том, что с тобой всё было по-другому.

«Ты когда уже придешь к нам рожать?» – спросила меня акушерка в женской консультации. Немолодая, курносенькая, с вьющимися крашеными волосами, которые она не забирала под белый колпак, а давала им красивой волной спадать на плечи, она была симпатичной и какой-то располагающей. Престарелые красавицы всегда вызывали у меня доверительное чувство.

– Так я и пришла! – радостно сообщила я.

Срок был немаленький. Ты уже тихонько шевелилась во мне, но докторица, ее лицо я начисто забыла, повозив стетоскопом по моему животу, принялась разуверять меня, говоря, что плод еще не может шевелиться и еще что-то про деятельность желудочно-кишечного тракта, как будто я сама не могла различить признаки другой жизни в своем теле. Мне и до сих пор не верится, что все они там вступили в тайный сговор с государством, платящим жалкие «декретные» беременным женщинам за месяц до родов. Так месяц обернулся для меня неделей. И всё же декретных хватило на то, чтобы купить коляску оранжевого цвета, в которой мы возили тебя год, а потом кому-то подарили, но самое поразительное, что ты помнила ее цвет, моя же память начиналась с кроличьей шубки и заснеженного двора, значит, сознание мое пробудилось гораздо позднее твоего. В этой коляске, откинув верх (ребенок должен дышать свежим воздухом), я возила тебя по весенним городским улицам, пока какая-то неосторожная капля, оторвавшись от апрельской сосульки, не упала на твое спящее личико. Испуганно ты проснулась и заплакала. Почему я плачу сейчас, когда это пишу?

ГРУСТНАЯ ПАМЯТЬ

Такие дни наступают на закате изнурительного жаркого и влажного лета, когда сочные листья деревьев высыхают, но еще не меняют окрас, а как бы повисают на ветках в бессильной усталости. Ветер, пробравшийся с севера, иссушает влажность, пробегая по кронам деревьев, распугивает неугомонных птиц, замирает в прибрежных камышах. В это время память моя грустит, отправляет в далекий сентябрь, на полупустынный пляж с песком, исчерканным лапками чаек. Тебе шесть лет, о школе можно пока не думать, а просто собирать ракушки в ведерко, рассматривать на свет их кружевной узор, разгонять чаек, с шумом взлетающих над песчаной отмелью. Я в стороне наблюдаю за вами, за твоей сосредоточенной и немного неуклюжей повадкой. О чем это вы там неторопливо беседуете? Пытаюсь догадаться.

Вот вы подходите к паре мальчишек, строящих замок из мокрого песка. «Tule, tule siia!» – кричит один из них, приглашая тебя принять участие в строительстве, но только пугает и с недоумением поглядывает на то, как ты пускаешься наутек в мою сторону.

Как-то я просила тебя вспомнить счастливые дни твоего детства. Ты сказала, что оно было настолько счастливым, что ты не можешь выделить из него даже одного дня. И уже много позднее, в каком-то отчаянном запале, написала мне, что мы не имеем отношения к твоему детству. Если мы не имеем, то кто же?

Лет в пять тебе приснился замечательный сон: собаки колли с

человеческим лицом гуляют, кажется, где-то в горах. Мне почему-то видятся Альпы. «Кто вы?» – спрашиваешь ты. «Мы – Иисусы Христы», – отвечают собаки.

СНОВА ДОЧЬ

Я всё чаще забываю три цифры в середине твоего номера телефона. Последние четыре легко запомнить, первые три одинаковы для всех, а вот те три, что между ними, всплывают в памяти лишь иногда. Если номер записать, мне будет не справиться с соблазном позвонить и услышать тебя на автоответчике. Кажется, мой голос уже не дрожит, когда я оставляю сообщение. Ты никогда не отвечаешь и не перезваниваешь. И я снова забываю эти три цифры. Но у меня есть письма, отправленные тобой десять лет назад по электронной почте. Иногда я осмеливаюсь заглянуть в одно из них, тогда знакомая боль сжимает мое сердце. Я вижу твое детское лицо, искривленное в обиде. Ты плачешь. Почему я не вспоминаю тебя счастливую, хохочущую, топочущую или без умолку говорящую? Почему ты всегда плачешь в моих воспоминаниях? Потому что я ничего не чувствую, кроме вины и жалости? И тогда я спрашиваю себя: в чем? в чем я виновата?.. Мне кажется, я знаю ответ, но это совсем не то, в чем упрекаешь меня ты. Иногда я мысленно еду к тебе, хотя не знаю твоего нового адреса, – старый, должно быть, изменился за прошедшие десять лет. Или ты живешь всё в той же крошечной студии, заставленной и завешанной твоими картинами? Как мы любили их рассматривать... Коты наверняка присутствуют тоже. Еще помню велосипед, поставленный у стены в узком коридоре. Легкий укол привычного страха за тебя. Вдруг это опасно? В парке, напротив которого ты жила, есть специальная дорожка для велосипедистов, но чтобы туда добраться, нужно пересечь оживленную улицу. Вдруг ты не остановишься на красный свет? Нет. Я не могу думать об этом.

Название остановки я вспомню наверняка, как и поворот к твоему дому из метро, потом найду дом и квартиру, с квартирой будет проще всего: у нас одинаковый номер. Ты окажешься дома, откроешь дверь и замрешь на пороге от неожиданности. Десять лет – долгий срок, можно перестать вздрагивать от каждого звонка, боясь моего появления. Я не найду ни единого слова в ответ на твой взгляд, разве что удивлюсь толщине кошки, выскочившей в коридор из открытой двери.

Тебе придется выйти за ней, оставив дверь открытой. Там, на пороге, я и буду стоять, не зная, что сказать. Там я и остаюсь, не рискуя переступить через него даже в своем воображении. Иногда мне видится твой дом. Обычная бруклинская пятиэтажка с облупленными стенами. Там люди живут в ладу друг с другом, иначе разве струился

бы из его окон такой мягкий и ровный свет. Мне кажется, на твоём подоконнике стоят горшочки с комнатными растениями, этими неженками и приживалками, требующими внимания и ухода, как та самая роза из любимой сказки. Значит, всё хорошо, успокаиваюсь я. И больше ничего не вижу.

МОСТ

Если бы Францу Кафке довелось пожить в нашем городке, он, возможно, написал бы роман «Мост». В этой железобетонной двухъярусной конструкции заложена какая-то метафизическая сила, стягивающая скалистые утесы провинциального Нью-Джерси с мерцающим в вечном мареве Манхэттеном. Одна из молодых поклонниц Сэлинджера вспоминает об их прогулке по берегу Гудзона и о своем восхищении открывшимся величественным видом сооружения, протянувшегося над рекой. «Постарайтесь не говорить очевидные вещи», – осадил ее писатель. Представляю смущение бедняжки. Первый приступ ужаса перед внезапным обвалом и падением в Гудзон герой рассказа Чивера испытал, проезжая именно через «Джордж», так любовно американцы зовут мост Вашингтона. Наверняка существует множество и других упоминаний этого строения. Было время, когда мост часто мелькал на страницах нью-йоркских журналов: то в тумане, то в ночных огнях, то в лучах заходящего солнца. Никаких излишеств, строгость форм и торжество инженерного расчета. Мост-пуританин, мост-трудолюбивец, скромно уступивший золото калифорнийскому рекордсмену.

Пока в городке не понастроили высотных домов, мне был виден из окна его стальной пилон. Сейчас о его близости напоминает гул вертолетов, сливающийся со стрекотом газонокосилок – ненавистная какофония американских городков. Когда-то мне казалось, что эти вертолеты походят на «стрекоз смерти» своим окрасом и проворностью, с которой они кружили над Гудзоном. Их сменили грохочущие в небе неторопливые тяжеловесы; впрочем, и сам мост сейчас забит потоком многоколесных мастодонтов, движущихся словно то с водопою, то на водопой.

Если подойти к мосту поближе, на самый край утеса со стороны нашего городка, то можно увидеть голубое или серое, или черное ночное небо в гигантской воздушной арке его пилона. Иногда оптический обман помещает туда облачко, отбившееся от стада кучевых облаков, или самолет, плавно разрезающий синь над Гудзоном.

Пару раз я прошла по этому мосту: первый – из любопытства, второй – не помню зачем, но помню свое волнение, почувствовав легкую вибрацию под ногами. Мост как будто дышал, жил своей загруженной жизнью. Рядом со мной всё мчалось и грохотало, включая

велосипедистов, с которыми приходилось делить и без того узкую пешеходную дорожку. На какое-то мгновение мне удалось остановиться и, отогнав испуганную мысль, посмотреть вниз на чешуйчатую рябь Гудзона.

Мосты издавна облюбованы самоубийцами. Говорят, первенство принадлежит калифорнийцу, броситься с которого приезжают даже из Японии. У нас эту проблему решили просто, натянув заградительную сетку над перилами, которая, кроме всего прочего, закрыла вид на долину Гудзона и нижний Манхэттен. К тому же здесь всё время что-то ремонтируют, прокладывают, подвешивают или снимают, и вблизи всё это напоминает цех какого-то предприятия, работающего над сохранностью величественного замысла творцов, имен которых я не могу запомнить.

Проход по этому цеху, висящему над Гудзоном, несравним с прогулкой по мостам покинутого мною города, красота которых нет-нет да и всплывает в памяти. Возможно, я бы так и не полюбила эту воплощенную победу прагматизма, если бы не жила у реки. Во время одной из прогулок вдоль берега, обсыпанного гигантской базальтовой крошкой, мне представилась знаменитая переправа Джорджа Вашингтона через Гудзон под покровом ночи: злобная река, готовая проглотить людей, набившихся в шлюпки, надвинутые на лбы треуголки, развевающиеся по ветру косицы.

Это произошло в том самом месте, над которым высится растянувшийся пролет моста. Как они взбирались на отвесный прибрежный утес, тащили за собой орудия, отступали под напором англичан, отвоевывали каменистые берега? Сейчас здесь мирно пасутся канадские гуси, промышляют крикливые чайки, многочисленные семейства поджаривают на грилях сосиски. В такие моменты в голову приходят простые и ясные мысли: надо принять всё как есть. У кого-то есть пирамида Хеопса, где-то стоит Эйфелева башня, а у нас пусть будет этот мост, соединяющий два штата в самом узком месте Гудзона.

Форт Ли, Нью-Йорк

Анна Аркатова

* * *

Вот побережье
Латвия? Литва?
Вот женщина она давно мертва
А имя ее плещет и блестит
И ничего на свете не сулит

Напрасно – эти посулы тогда
Удвоенные позами стыда
Держали на песке и под песком
Непрочный мир непрочным пояском

И мы нерасторжимые как слог
И поплавок и рядом поплавок
И поздний сумрак он же ранний свет
Всё выглядело так что смерти нет

Теперь и этой рифме ходовой
Не удержать что удавалось той
Губами переложенной едва
Где Латвия где боже мой Литва...

* * *

Не напишу
Не нарисую
И песенки не сочиню
Жизнь не придумаю другую
И эту вряд ли изменю
И рыбкой по округлой дате
Рассеянно не соскользну
А лишь солдатиком, сол-
дати-
ком
в набежавшую
во
л
ну

* * *

Обогретая и сытая
Ничего не отыграю
Разве лягу как убитая
Разве встану как живая

* * *

Спи моя хорошая
Спи моя родная
Ничего не брошу я
Только поломаю

Спи моя любимая
Спи моя голубка
Все победы мнимые
Все уступки хрупки

Спи моя тревожная
Крошечка из крох
Всё перезаложено
Что оставил Бог

* * *

Вот светлое влажное утро
На всём еще отблеск росы
Прозрачным касанием окутан
Рисунок небесной красоты
Фигуры обнявшихся в центре
На вдохе открытый пейзаж
Просторно и гулко как в церкви
Как в церкви то сладко то страш-
Но
Тянет закон перспективы
Случайной слезы конденсат
Картина висящая криво
Травой зарастающий сад

* * *

Общая ситуация
Все как-то живут
По краям начинают брататься
В середине жгут
Жгут в значении жгута
Самая красота
Он то становится крепче
То заискрит впотьмах
Всё в ваших руках – говорит
Всё в ваших руках
Потому и обняться вам нечем
Нечем развеять прах
Да и общая ситуация
Говорит не ах

* * *

Стиль баттерфляй на водной глади
(Не продолжайте бога ради)
Собачкой кролем на спине
Я здесь вообще не о войне
Она конечна – я о вечном
Есть способ плавания сер-деч-ком!
Когда зарю ПВО
Руками покажу его

* * *

Вообще ни на что не рассчитывать
Даже ближний отставить прогноз
Ночью странные сказки дочитывать
Утром – страшные с первых полос

* * *

Мелодекламация
Музыка и стих
А чего бояться-то
Если дело в них

Всё. Конец трансляции
Тишина мортир
Реабилитация
Рифмы пир и мир

Вячеслав Попов

ЗЯБКО

Идет человек некрасивый.
На Пушкина очень похож.
Лет сорок, наверно, от силы.
Бьет парня коварная дрожь.
Ох, зябко бедняге, ох, зябко!
Ему бы сто грамм бы и лечь...
Тугая зубная морзянка.
Безмолвная русская речь.

УТРО

полюнь степное серое
сухое серебро
качает ветер с севера
помятое ведро
сидит девчонка в кузове
со смоляной косой
ее пальтишко куцее
и глаз разрез косой
всё это только снится мне
всё это снится мне
коснись меня ресницами
прижмись к моей спине

ТРЕЩИНЫ

у этого человека на лице нет морщин
одни только трещины
при этом человеке все мы молчим
при нем все трепещем мы
говорить при нем не то чтобы грех
но как-то не смеется
он трещинами робко смотрит на всех
сквозь трещины светится

РУКАВ

говоришь ты мне
что я лжив
лукав
что я каждым движением вру

я не лжив
не лукав
я пустой рукав
развевающийся на ветру

ЖЕНА

По рояльно-черной глади
с отраженьем фонаря
рябь бежит. Марина Влади
смотрит, медленно куря,
в гипнотическую лужу,
в запрокинутую ночь.
Своему живому мужу
больше нечем ей помочь.
Разве что таким вот взглядом
и молчанием таким.
Даже быть не надо рядом.
Даже жить не надо с ним.

ЖИВАГО ПЬЕТ

Живаго глушит спирт со снегом.
Жжет керосин ночь напролет.
Он небом онемевшим с небом
соприкасается... Он пьет,
и пьет, и пьет, и пишет..
Огонь, бушующий в печи,
в лицо прощальным жаром пышет:
жизнь кончилась! не спи! пиши!

ФЕВРАЛЬ

москва лежит просторная
в крахмальных простынях
идет фигурка черная
писатель пастернак
пальто тяжеловатое
пальто не пальтецо
немного желтоватое
усталое лицо
зима такая длинная
а жизнь так коротка
как улица неглинная
как бывшая река

ПОЕЗД

свет
болячечный
темный
янтарный
я личинка
я умер
я сплю

в ночь
несет меня
поезд
святой
санитарный
в год
где равен
январь
февралю

я не раненый
я не отравленный
просто мертвый
до лучших времен
в зимний путь
в тыл глубокий
отправленный
где ни тел
ни имен

НА РУКАХ

о как прекрасна жизнь была
и как ужасно угасала
все наши худшие дела
ей смерть так близко показала

смерть на руках ее несла
на свет
из боли тьмы и смрада
и смерть была совсем не зла
и жизнь была ей рада

Иван Волосюк

* * *

За белое солнце в чужой синеве,
за булочку, пламя, полынь
один человек пропадает вполне —
другой остается живым.

Матросы Кронштадт унесли в вещмешке,
о хлебе забыв и воде,
а Ленина с красной любовью в башке
бесплатно везет РЖД.

Зато на мосту не дадут помереть,
привяжут к персту фонаря,
где мороком мерили мертвую смерть,
где в море топили ея.

* * *

Кто смерти не принял в природе вещей,
кто вовремя пальцы скрестил,
по жизни легко избегает бичей,
цыганок, ментов и бомбил.

Глаза проглядел, всё равно не пойму,
зачем эта яма растет?
Из мирной земли вынимают к чему
простой треугольник пород?

А ты остаешься с кайлом на плече,
тебя нарисует Брюллов
под угольной лавой, в густой темноте,
забытого между пластов.

Когда эти камни ложатся на грудь, —
уже невозможно вздохнуть,
когда эту пыль принимаешь в себя, —
боишься любого огня.

* * *

Придумай сюжет для картины,
мозаики с резью в руке,
как я убежал в Украину
с обломком души в рюкзаке.

Про всё не расскажется к месту –
имел я такую судьбу,
меня целовали Донецком
до черного пота на лбу.

А дальше ни вздоха, ни шика,
ни бедности в форме нуля,
но дико звучит Балашиха
как точка в финале меня,

что ты меня, Боже, заметишь
по новым любим адресам
и гипсовым снегом залепишь
мои неживые глаза.

* * *

Я нафиг сдаюсь, прорастая на свет
зерном или кровью зверей,
как будто навеки наложен запрет
стучать и стоять у дверей.

Не то чтоб рука уставала колоть
и в поле ржавеет «Максим»,
но так получилось, что будет Господь
и выбор, кто с Ним и не с Ним.

Что, если во мне ничего моего
и речь превращается в рык?
Петух пропоет – так убейте его
и в колокол вставьте язык.

* * *

Однажды мы примем на веру,
что мир утвердился вполне,
и листья целебной фанеры
приложим к провалам в окне.

Сосед на Никитовский рудник
обратно вернется живой
и сразу нацелит на спутник
тарелку с червонной икрой.

И там, в обозримом пространстве,
где ширилась смерть до сих пор,
испортим поддельным шампанским
отмытый до блеска ковер.

И включим под ужин для фона
любую киношную хрень
в один навсегда удаленный,
единственно правильный день.

* * *

Мы стали на крыло, и сразу десять махов,
и можно жечь овес и поле диких маков,
вымарывая гул шмелей и цвет венозный,
когда не строят гнезд, когда взрывают гнезда.

Ты прав: не говорим о летописном своде,
Печерский патерик понятней в переводе,
а кто в своем уме заглядывает в свиток?
Так Северский Донец с Днестром не будут слиты.

Не думай о земле – не в том призванье птичье,
там люди без знамен и войсковых различий,
но им сровнять дано макеевский Везувий.
О Господи, ответь: ну разве я безумен?

* * *

Мертвый умер, пьяный жив,
в небо не берут с вещами,
но апостол «где служил»
спросит, шевеля ключами.

Кривизной своей спины
я от армии отмазан,
но в разведку с Бахтиным
уходил и был прекрасен.

От любого чудака
польза есть и от дебила.
Я такого языка
с Виноградовым добыл им,

что меня при всём полку
до утра секли плетями
и качали на ветру
вербы тонкими ветвями.

Как увидимся с Петром,
я за всё ему отвечу,
каждым словом и стихом
приближая эту встречу.

Балашиха

Сергей Шабалин

* * *

Во всем мне хочется дойти до самой сути...

Б. Пастернак

Ни в чем я не хочу дойти до самой сути,
или рубить с плеча, да о чужой судьбе.
Хотите правды – что ж, тогда не обессудьте
и всё начистоту. Но прежде о себе.
Мне ни к чему вся суть, я не прозревший юнга,
решивший сдать в острог плавучий свой Содом,
совсем не Шерлок Холмс, не почитатель Юнга,
увы, не доктор Фрейд и не спешу в дурдом.

Сменив разрез глазной, я поселись в Китае,
что происходит там, не будет волновать,
ледок из горьких правд застынет и растает,
не потревожат сон недобрые слова.
Подруги и друзья не пропоют по-русски
сонет на злобу дня, а я не делать ног
смогу от песен их, не прятать в джинсы руки,
вжимая кулаки. А впрочем, есть Нью-Йорк.

Что вытворяют тут, меня не огорчает,
мне, в общем, наплевать на местные пике,
я здесь лишь гастролер, я пью какаву с чаем,
мне скучен их хоккей и прочий этикет.
Кобылье молоко усиливаю виски,
а грязное белье, с размаху, как дрова,
переправляю в печь, застряв на время в Квинсе,
где от сермяжных правд не пухнет голова.

* * *

Не экономь на виски, старина,
ведь мы с тобой, считай, миллиардеры.
И всё же это не моя страна,
я понял это с первого замера.
Нам нечего продать здесь и купить,
и некого спасать, и не с кем драться.
Здесь не сошлют в тайгу за тунеядство,
но не с кем пить, и не за что топить...

Мы охмурили длинноногих дам,
когда в кармане не было и цента,

и без боев входили в города,
провозглашая нации и секты.
Рулоны фильмов, хроник и римейков
отсняли мы вперед на двести лет.
Мы в похождениях обогнали Швейка,
а в триллерах нам вовсе равных нет.

И всё же это не моя страна,
ее разлад меня не покоробит.
Не эконошь на виски, старина,
не эконошь на собственном здоровье,
глуши токсины вредоносных чувств
и гнев, и плач, и пiski чьих-то жалоб
пока я глобус медленно кручу,
не узнавая собственной державы.

Ищу страну, а нахожу дыру,
большую рану с контуром безуглым,
не эконошь на водке, милый друг,
чтобы не видеть красное на круглом.
Пей за меня, я бисер не мечу,
увязнув в топкой хляби интернета.
Я, друг мой, Землю медленно кручу,
чужую, нелюбимую планету...

* * *

Во дворе еще снег не растаял,
у крыльца голубиная стая,
и ржавеет соседская волга,
рудимент нашей памяти долгой.
Но искринка далеким оконцем
попыхнула под северным солнцем,
усадив за штурвал мерседеса
в прошлом золушку, нынче принцессу.

Здесь ученый, пушистый и черный
бродит кот на цепи золоченной,
а участок захваченной бани
сторожит белоусый охранник.
Летним вечером, сказочно-синим,
местный лабух без лишних усилий
изумит вас неистовым соло
и продолжит просмотр футбола.

Каждый день здесь открытием дорог,
дивный путь открывается взору,
потому, что чикагская школа
подарила нам вкус кока-колы.
И несутся вперед яжемамки,
президент улыбается в рамке,
он речист и рачительно добр,
а в кармане его нефтедоллар.

Мы с командой его да программой
одолеем любого имама
и структур теневых мимикрию,
победим геморрой, пандемию.
Вопреки голубиным законам,
мы застроим округу бетоном,
монументов наставив поэтам...
И исчезнем в строительстве этом.

* * *

Не маши писательским билетом
и на мир реально погляди.
Хочешь стать в Америке поэтом?
Защити вначале PhD.
Стань врачом, бухгалтером, юристом,
поумерь писательский апломб,
стань мелиоратором, министром,
получи по физике диплом.

Говоришь, в Москве литературный
некогда окончил институт?
Там ты лохом был (хотя культурным),
здесь ты zero без пяти минут,
говоришь, искал свою манеру?
А увидеть главного не смог:
у хирурга или акушера,
глубже и пронзительней письмо,

ярче, событийнее реальность...
не грусти и не печаль бровей,
у дантиста интертекстуальность
на-гора размашистей твоей.
Заработай на участок в Янкерс,
дом в Майами тоже вариант.
В общем, стань благополучным янки,
мы потом оценим твой талант.

СТРАННЫЙ СОН

Неизвестно когда, неизвестно зачем, даже сам не пойму,
я читал в суете привокзальной стихи неизвестно кому,
и безмолвно вобрав свой обычный дозняк ритуальных апло,
подливал в лимонад может джин, может ром, мне не стало тепло.

Я заметил в толпе человека в очках и военном пальто,
ледяные глаза излучали укор, мол, читаешь не то.
Непонятно зачем он, подняв воротник, к телефону прильнул
и, похоже, сказал в микрофон, будто я его мир обманул.

Обманул его вкус и его самого тем, что страшно сказать,
я склоняю авось с безнадегой и врозь, мог бы лучше писать.
И допив свой коктейль, я не попадая с кем и неведомо как
возвращался домой, тщетно силясь забыть незнакомца в очках.

Но когда я уснул, среди ночи густой задрожал телефон,
я взглянул на экран и промолвил: аге, это снова был он.
Я спросил кто вы есть, кто вам номер мой дал, с кем имею я честь...
что вам в слове моем, уж не цензор ли вы... Но звонивший исчез.

А неделю спустя, возле входа в метро, у киоска с лото,
я выветривал грусть, вновь увидев в толпе рецензента в пальто.
Я решил подойти, рассказать о себе, чтоб без пошлых понтов
приоткрыть ему свой эстетический код. А он вызвал ментов.

Лиля Панн

По римскому времени *Un viaggio lento**

I. НЕ СВЯЩЕННОЕ БЕЗУМИЕ

Вначале были телефонные звонки, не мне. Вначале, года через два после ленинградского самолетного дела (1970), заходили слухи о разрешенных отъездах на постоянное жительство в Израиль. Еще больше меня удивляло, что уехавшие сообщали «как дела» по телефону всё чаще из Рима. «Вчера NN звонил из Рима, что у него всё в порядке», – оброняла подруга про приятеля-художника. А Рим тут при чем? – спрашиваешь, испытывая отчего-то волнение. Со временем выяснилось, что в Риме ожидали въездных виз направившие свои стопы в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку, – куда угодно, кроме Израиля, куда улетали сразу из первого перевалочного пункта в Вене. Ждали недели, месяцы, иногда до года, а то и дольше.

И без транзита в Риме, скорее всего, подалась бы я в Америку, но всё же взвесив все *pro e contra*. Мысль о Риме, однако, выключала во мне способность взвешивать аргументы, и я скрывала свое решение ехать во что бы то ни стало не только от матери, близких родственников и друзей, но даже от мужа, с кем все «за» и «против» обсуждались с какого-то момента денно и ночью и от кого, тем не менее, я таила за пазухой решение ехать непременно – оттого что через Рим. Лишь ‘священное безумие’ могло бы оправдать мое намерение, но обосновать свое безумие как священное оснований не имелось. Добро бы я была профессиональным итальянистом из «невъездных», но хотя к изгоям поездов в западные страны я, без сомнения, принадлежала, никакого отношения к итальянистике не имела.

Само собой, «нам внятно всё»: и Древний Рим, и Данте, и Ренессанс, и итальянская опера, и Гарибальди, и Пиранделло, и неореализм, и Феллини с Джульеттой Мазина – все эти и сотни других пленительных образов Италии располагались не на окраинах мира моего воображения, но до ‘родины души’ (как это мыслил, например, Гоголь) Италия не простиралась. Через сто лет Павел Муратов в «Образах Италии» несколько снижает гоголевский пафос до ‘дома

* Медленное путешествие (*итал.*)

души'. Было ли мое несвященное безумие вызвано подсознательным стремлением обрести подобный дом или тут проявился жизненный инстинкт невыездного выбраться при первой возможности из советского дурдома, хлопнуть дверью (и как прекрасно оказалось это мгновение – хлопанье железным занавесом при пересечении невидимой границы в небе на борту самолета Москва–Вена), а Рим был лишь манящей картинкой в бедной невыездной голове, – пусть решат психоаналитики, а я знаю лишь, что противиться соблазну не могла.

Пускаясь во все тяжкие или, скорее, во все парящие – вспоминать нашу римскую жизнь, – не ожидала я от своей психики особой подвижности. А дело кончилось чуть ли не галлюцинациями: иду себе по Риму. Тут свою роль сыграла новая технология Интернета с его картами городов, создающими иллюзию присутствия по запрошенному адресу. Даже слегка всполошилась: это что, головой тронулась? Время, конечно, пришло – что и говорить... кризис среднего возраста меня почему-то обошел стороной, чего не могу сказать о кризисе возраста позднего. Вернее, о сюрпризах памяти, когда помнишь прошлое лучше настоящего, а поскольку оно часто еще и лучше настоящего, то вдвойне разумно тогда садиться за мемуары: за те же деньги, так сказать, получаешь вторую жизнь.

С другой стороны, видя Рим сейчас, после многих пребываний, начиная с 1976, видя город памятью, словно вчера, меня совсем не тянет методично или просто последовательно описывать самое 'римское' – городские пейзажи с их руинами, знакомыми, словно руины собственной жизни; фонтаны эпохи барокко столь совершенной красоты, что она, красота, отменяет идею прогресса раз и навсегда; церкви и палаццо с нескончаемыми святынями религии и изобразительного искусства. Тщетен труд, уже исполненный бессчетным множеством других осчастливленных Италией. Даже если принять во внимание только постсоветских путешественников, то многие италофилы из них уже отчитались о своих впечатлениях не менее проникновенно, чем великие авторы прошлого. Кое-кто с еще большей страстью, под стать героине Льва Толстого: «Я – как голодный человек, которому дали есть». Согласно инстинктам и представлениям безродного космополита из советской России, сложились и мои впечатления о Риме, но сюжет, как конкретно 'дали есть', оказался мой собственный и настолько неожиданный, что когда память осветила его ярче, чем когда-либо, и язык зашевелился, я подношу свой рассказ – вполне поэтически – Риму.

II. НА ПУТИ К СИНЬОРАМ БУРРО

После десяти дней в Вене, в начале ноября 1976-го мы очути-

лись, чтобы не сказать: нас очутили таинственные добрые люди – в Риме. Чем стала первая встреча? Только не тем, чем для тех же страстных воспевателей Рима – Гоголя и Муратова: разочарованием; мол, первое впечатление обескураживает, город не гармоничен, беспорядочен, шумен, грязен... но... подождите, узнаете его и полюбите. Мы же влюбились в него как миленькие, если и не с первого взгляда, то на второй день – первый ушел на размещение в пансионате, куда нас поселила еврейская благотворительная организация HIAS-ХИАС, с 1881 года по сей день занимающаяся всевозможной помощью беженцам (Soviet refugees – таков был наш официальный статус для итальянского государства). Поселили прямо за воротами Пия (Porta Pia, последняя работа Микеланджело, незаконченная и завершенная другим архитектором) в древних крепостных стенах, всё еще на многих участках окружающих Рим. Если не считать усатых толстых таможенников, вошедших в поезд Вена–Рим на границе с Австрией и просидевших в нашем купе около получаса, отечески улыбаясь и пытаясь жестами изобразить уплетание *spaghetti* в комплекте с *vinò*, – вся эта, переходя на французский, *joie de vivre* заменила им таможенный обыск нашего купе, – синьорам Бурро судьба оказалась честь быть нашими первыми личными итальянцами, т.е. теми, у кого можно спросить не только «как пройти?», но и «как жизнь?».

К Арианне и Микеле Джезерум, родственникам нашего московского знакомого, художника Леонида Павловича Зусмана, мы и отправились на второй день в Риме. Хотелось поговорить с живыми римлянами, а античные руины пусть подождут. Ждать им, руинам, однако, и дня не пришлось: наши римляне обитали по соседству с ними. Правда, выяснилось это вечером, когда мы своих римлян откопали не без труда в лабиринте старых улиц бывшего еврейского гетто.

Arianna и Michele Jesurum, пора сказать, никакие не синьоры Бурро, им всего лишь пришлось по вкусу русское сливочное масло (*burro*, итал.) в гостях у Зусмана. «О, bello burro!», по слухам, воскликнули они хором и искренне. На мой вкус 1976 года, итальянское масло было не хуже русского, но если Lolo, как звали Леонида Павловича его родственники из Рима, кормил настоящим вологодским, то понять их можно.

О визите мы договорились с Арианной утром по телефону из пансионата. С утра до обеда ХИАС всех инструктировал и вручал карты Рима (точнее, их ксерокопии), нельзя сказать что подробные. Зато на карту хиясовскими стараниями была занесена цитата из Мандельштама: «Природа – тот же Рим и отразилась в нем», должно быть, с целью предупредить беженцев, что в этом городе без карты можно заблудиться, как в лесу. Чистая правда, оказалось; причем, любая карта мало помогает, а отчего, никто объяснить не может. Должно быть, таковы города из рода вечных.

Начавшаяся от ворот Пиа улица 20-го сентября (Via del XX Settembre), шедшая в нужном нам направлении, не замедлила вывести на культовую скульптуру Бернини «Св. Тереза в экстазе» (внутри барочной церкви St. Maria della Vittoria), резонировавшую с эйфорией нашей первой встречи с Римом, хотя в богах мы Вечный город пока не держали. Далее – монументальный фонтан Моисея XVI века, церковь St. Susanna – строения, отмеченные в той или иной степени эмоциями барокко. И апофеоз стиля, наконец, уличный перекресток Quattro Fontane (Четыре Фонтана), не выйти на который потом не удавалось, куда бы или откуда бы мы ни шли. Здесь же примостилась небольшая церковь San Carlino (Святой Карлуша), творение Боромини, обожаемое каждым жителем Рима, от ультраправого католика до радикальной феминистки (от одной и узнала).

Тут хиасовская карта указала нам поворот к Форуму Траяна, представшему на хрестоматийном фоне двух церквей-близняшек (почти: та, что на 200 лет младше другой, намереваясь повторить свою пра... прабабушку, всё же прибавила себе больше черт утвердившегося в архитектуре барокко, а именно: фигур, обрамляющих крышу портика по контуру). Уличное барокко в Риме определено с человеческим лицом. И с каким – не бесстрастным, прости господи, как у античной скульптуры, а нервным, взволнованным. Не отменяя своих намерений говорить об архитектуре минимально, замечу, что засилие барокко в Риме для нас, полунебежд, оказалось неожиданным и сыграло свою роль в неослабевавшем притяжении к Риму тех дней хотя бы просто потому, что музыка непрерывного движения навстречу неизвестности звучала внутри нас в унисон порывистой, пусть и «застывшей музыке» барокко.

Еще в тот же день, однако, по мере продвижения на юг к Тибру, барокко стало делиться пространством с ренессансной архитектурой, а также с романской, античной и... неоантичной ли?

В ноябре темнеет рано, по какую бы сторону железного занавеса ты ни был, и сумеречным светом можно объяснить помутнение зрения у нас обоих, когда обойдя Форум Траяна, поприветствовав издалека Колизей (основательное знакомство предполагалось в любой другой день, да хоть бы и назавтра) и выйдя к Алтарю Отечества (строившемуся с 1885 по 1935 гг. – в эпоху от первого короля объединенной Италии Витторио Эммануэля II до Муссолини), белотелой громаде, занявшей половину загорелого Рима, мы одобрительно переглянулись, как бы угадав чувства друг друга: «Вот это, наконец, Рим, а то, что уже увидели, само собой, славно, но Рим обязывает к чему-то из ряда вон!» Честно вспомнить, в сумерках нам представилось, что перед нами неоантичность во всем мраморном великолепии.

В каждой столице есть тот или иной Свадебный Торт, приторный монстр, но справедливости ради надо сказать, что в сумерках

римский Торт, сам по себе, был не так уж плох. Но ведь сам по себе он не был, а втиснулся между двумя святынями – Форумом Траяна и Капитолийским холмом, увенчанным бронзовым всадником Марка Аврелия II в. н.э., к которому мы и вышли через несколько шагов, обогнув Торт.

На время Торт сместился в неиспользуемый ракурс, а прямо перед нами из одной точки поднимались, образуя острый угол, две лестницы, под разными, словно нарочно контрастирующими наклонами – очень крутым слева и невероятно плавным справа. Тогда мы и знать не знали, *что* конкретно перед нами, но всё же отдали себе отчет в том, что лестницы ведут в два мира, разделенные веками истории, и что «гармонии таинственная власть» позволяет совмещать архитектурные миры, как они развернулись на Капитолийском холме, а так, как за углом, – нет.

Бежать со всех ног в гости к синьорам Бурро подсказывало новое чувство римского времени: столь насыщенное временем историческим, оно чревато опозданиями на деловые встречи, если это чувство игнорировать. Но не подняться по обеим лестницам и не оглядеться там наверху – такого рода здравый смысл тоже не вдохновлял, так что ничего не оставалось, как найти практическое решение для коварной «вилки»: один идет по одной дороге, другой по второй, и, возвратившись, каждый рассказывает об увиденном, после чего принимается решение, стоит ли повторять путь другого. Выделив на этот эксперимент 15 минут, через 25 мы встретились у подножья лестниц; единогласно – каждому стоило бы подняться по обеим лестницам. Что и было проделано в один из ближайших дней и множество раз впоследствии, вплоть до нашей последней поездки в Италию (2017). Этот подъем по двум лестницам – видоизмененный до совместного – не единственный наш ритуал в Риме, но, пожалуй, из тех, что не отменяем ни при каких обстоятельствах. Со временем в него вошли мандельштамовские строчки-шаги:

И морщинистых лестниц уступки –
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек...

Несмотря на сэкономленное ‘операцией вилка’ время, в тот вечер, не такой уж темный не только благодаря фонарному освещению, но и отраженному золотисто-красноватому свечению охряных, терракотовых стен домов, мы всё-таки заблудились. В тревоге от нависавшего опоздания всё же успели обратить внимание еще на одну характерную черту старого Рима, назавтра ‘выученную’ в свете дня: городские площади, пьядцы, при внушительных размерах распо-

ложенных на них зданий и фонтанов (кричащие примеры – Пантеон, Фонтан Треви), камерны, просто малы. Благодаря чему в наши разгульные времена создается, на мой взгляд, впечатление уютной близости к городскому искусству, истории, времени. Такие исключения, как ватиканская площадь Св. Петра или площадь Республики рядом с вокзалом Термини, подчеркивают правило, поддерживаемое мириадами чарующих пьядц и пьядцетт.

Сумбур архитектурных впечатлений на сумбурной смеси русского с английским мы и внесли в квартиру на последнем этаже обветшавшего средневекового здания на узкой элегантной, по староримскому счету, улице Via di Monserrato. Разумеется, хозяева поставили на место Монумент-Торт, мы ведь вошли к ним, еще не разобравшись до конца с обманкой в темноте. Запомнилась при этом, однако, снисходительность Арианны и Микеле (позже оцененная как фатализм, характерный вообще для итальянцев) к неполадкам на государственном уровне. И манера общения: никакой киношной жестикюляции, но – сверкающие улыбки, сияющие глаза, звон интонаций.

В тот вечер мы задали первым нашим личным римлянам вопрос, который задавали сами себе еще в Москве и здесь решились спросить только их, римских евреев: отчего еврейская благотворительная организация ХИАС выбрала Рим как основной перевалочный пункт? Почему из всех мест на земном шаре какие-то неведомые простому смертному административные силы выбрали в качестве транзитного пункта город, увидеть который маленькому человеку из СССР, мечтал он об этом или нет, не светило? За какие такие заслуги этих почти поголовно невыездных, в большинстве своем евреев? Справедливость что ли наконец восторжествовала, наградив нелюбимчиков родины-матери на прощание ‘римскими каникулами’?

Однако о восторжествовании какой справедливости можно говорить для того, кто уехал по вызову, присланному государством Израиль ради воссоединения с родственниками, а сам в Вене, первом перевалочном пункте на пути, нарушил правила игры? Вроде нас.

Потому что это игра с презренным противником?

Или ХИАС играет в другие игры: мол, будем смотреть сквозь пальцы на нарушение эмигрантами правил хорошего тона (воспользовались вызовом из одной страны, а поехали в другую, более им по вкусу) – главное, вырваться из египетского плена, говорит нам наша еврейская мудрость. Для любопытного, однако, оставался вопрос: почему из всех европейских стран именно Италия пошла в помощники ХИАСу?

Не заходя в лабиринт отношений между государствами, Арианна и Микеле, переглянувшись и усмехнувшись, согласно ответили: «Оттого что итальянцы не антисемиты и вообще гуманисты». Потом добавили, поправляя друг друга, что говорят об общей тенденции, сложившейся

исторически, но исключений не так много, чтобы не подтверждать правило, и, конечно, оценивают они ситуацию в сравнении с другими европейскими странами. Их мнение, потомков евреев из Белоруссии, ныне обитателей престижного в силу его древности еврейского гетто Рима, на время удовлетворило наше любопытство, а впоследствии, надо сказать, подтверждалось и людьми иной этничности.

Количество предметов искусства в квартире семьи Jesugim поражало (разумеется, просторная ванная тоже имела вид музейного зала). Я даже приуныла: вот ведь как живет интеллигенция на Западе, куда нам до их полета в быту! Не дай бог в Америке нам стараться 'жить красиво'. Мы не хотели богатого Запада, знали, что нам легче и приятнее будет жить в мире поаскетичнее. Кстати, когда во времена Перестройки, через дюжину лет, в течение которых мы не раз бывали в Италии и в других странах, я пришла к милым синьорам Бурро в гости с матерью, эмигрировавшей позже меня, квартира на Via di Monserrato не показалась мне чем-то из ряда вон. За это время мир предстал передо мной в такой разнообразии природы, культуры, искусства, быта, что роскошь или аскетизм жилища я стала относить к свободам либерального общества, вроде свободы слова.

III. РИМСКОЕ НОВОСЕЛЬЕ 1976–1977 гг. н.э.

Истекли первые девять из десяти дней предполагаемого обитания беженцев в пансионе от ХИАСа. Найти жилище на долгий и непредсказуемый срок в незнакомом огромном городе без знания языка полагалось нам самим (мол, 'не пора ли мужчиною стать', а то всю прозу жизни за вас делало социалистическое государство). Мы же пальцем о палец не ударили, ноги сами носили нас по городу с единственной целью – видеть его и веселить душу.

На десятый день, в приглянувшихся местах, мы начали опрос прохожих о сдающихся комнатах. Откликнулся лишь юный араб в толпе на рынке Campo dei Fiori, рядом с памятником Джордано Бруно. На наш затверженный вопрос по-итальянски прозвучал по-английски ответ: «Я знаю, где есть комната, тут неподалеку, пошли». Надеясь обосноваться под сенью боготворимого с юности космиста, мы последовали за юрким, очевидно тоже 'беженцем'. Зачем-то передали нашему проводнику, что мы евреи из СССР. А он кружил нас по окрестным закоулкам, не спеша показать заветную комнату, но вступая в переговоры на арабском с юношами ему под стать – на вид слишком дикими, чтобы иметь отношение к бизнесу сдачи добропорядочного жилья. Перехватив обмен красноречивыми взглядами, мы обменялись еще более красноречивыми (пособники палестинцев! по вдохновению прикидывают теракт!) и без слов дали деру.

Оставалось лишь направиться в ХИАС, где перед входом в здание всегда толпились эмигранты, обмениваясь информацией, полезной для бытоустройства, в первую очередь аренды жилых помещений. В тот день предлагали только Остию – пригород Рима, где селилось большинство наших сестер и братьев по Третьей волне. Увы, за дни беспечных блужданий по Риму успело случиться неизбежное: мы избаловались достаточно для того, чтобы переезд из Рима в Остию виделся крупной неприятностью в безмятежном существовании с момента взмывания самолета в Шереметьеве 25 октября 1976-го н.э.

Внутренне уже согласившись на Остию, я продолжала спрашивать ‘лишний билетик’ в Рим, когда в поле моего зрения попал человек, показавшийся мне не то чтобы чужеродным нашей публике, но всё же как-то с ней и несливавшимся. Немодно пышная борода немодного иссиня черного цвета, бледное спокойное лицо. Со словами «вот комната в Риме, недалеко от Ватикана» он протянул мне клочок бумаги с адресом: *Via della Balduina 289*. (О, сколько раз потом в Риме и позже в Америке я ставила этот адрес на конверте или получала письма оттуда!) Больше мы его не встречали, и никто нам не мог сказать, кто он, этот ‘черный человек’. Многое отдала бы я, чтобы узнать хоть какой-то факт, свидетельствующий о его непотустороннем происхождении – потому что не верю во вмешательство потусторонних сил, а в данном случае... Невероятным было не столько то, что незнакомец дал нам спасительный адрес (в конце концов, ну знал он о свободной комнате), а то, что комната, как мы скоро выяснили, не сдавалась... и тем не менее кров мы там обрели. И обретали впоследствии, когда возвращались в Рим. Вот только осталось странное чувство недосказанности сказки о нашем римском новоселье ‘без конца и без краю’.

IV. ПРЕКРАСНАЯ ФЕМИНИСТКА

За воротами чугунной витой ограды по адресу *Via della Balduina 289* среди небольшого сада с обязательным фонтаном просматривался современный трехэтажный особняк. На звонок вышла домохозяйка не в стиле неореализма, как хотелось бы, а бесцветная и беззвучная. Предъявляя клочок бумаги с ее адресом, мы стали объяснять ей цель своего визита сначала на том итальянском, что освоили за девять дней, но видя ее озадаченность, перешли на английский. «Here they don't speak English!» – тут же кто-то воскликнул у нас за спиной. Стройная, миловидная женщина, скорее северно-европейского, чем средиземноморского типа, смотрела на взбудораженных нас с явным доброжелательством. Вырывая друг у друга клочок бумаги, мы ‘вскричали’ (как в романах XIX в., надеюсь), не она ли сдает комнату. Сочувственно покачав головой, она ответила, что ее крайне удивило

бы, если в округе кто-либо этим занимался: здесь в принципе не держат квартирантов. Видя нашу растерянность и расстроенность, а может быть из любопытства? она предложила нам обсудить ситуацию у нее дома, где через несколько минут объяснила, что мы попали в фашистский округ, а итальянские «фашисты» (в кавычках, ибо и в 1970-х эта категория определялась субъективными нервами) комнат в аренду не сдают. При появлении соседки «фашистка» без вопросов тут же удалилась на свою территорию на первом этаже.

Квартира незнакомки оказалась двухэтажной, такие в те времена мы видели разве что в американских фильмах, и в ответ на наш удивленный взгляд хозяйка сообщила почему-то с усмешкой, что подобная планировка для Рима редкость, если не исключение. Позже мы узнали, что специально для нее, американки, выросшей в типичном частном доме с downstairs-upstairs, ее муж-итальянец заказал привычную ей планировку, когда этот дом строился. С мужем она давно в разводе.

Julienne Travers поселилась в Риме в двадцать три года и жила там ко времени нашего прибытия столько же. Волнуясь да еще на скверном английском, мы поведали ей нашу историю, перейдя от нынешних трудностей с жильем для эмигрантов в римском транзите к причинам эмиграции из СССР. Julienne отзывалась на все перипетии нашего сюжета, словно эмиграция ее как-то особенно интересовала. Не потому ли, что и она была эмигранткой из Америки в Европу? Не потому. А почему, мы узнали позже, недели через две.

В тот первый наш с ней день выяснилось, что она работает переводчицей в издательстве, не по профессии культурного антрополога, приобретенной в Лондонском университете. Ведет исследования самостоятельно, пишет книгу, вот-вот закончит. Параллельно публикует статьи в итальянской и британской прессе. О чем? Тут она снова усмехнулась: «I am a feminist». И добавила весело: «A radical one».

Наши сведения о феминизме любого извода начинались с движения суфражисток в XIX в. и далее не пополнялись. Julienne вкратце и доходчиво посвятила нас в феминистскую доктрину о судьбе женщины в патриархальном обществе, объяснила практические задачи движения в Италии (Movimento Femminista Romano – так называла она сообщество, с которым связала себя на всю жизнь), а в заключение неожиданно предложила нам к ней переселиться, занять гостевую комнату на втором этаже. Именно в качестве гостей, а не постояльцев.

От следующего дня в моей памяти остался колоритный кадр: прекрасная дама в белоснежном пеньюаре до полу, отороченном белым мехом (так!), застыла на лестничной площадке третьего этажа (второго своей квартиры); на первом этаже Виктор загружает частями наш разношерстный багаж, доставленный транспортом ХИАСа, в миниатюрный изящный лифт (изготовленный по специальному зака-

зу мужа для жены); наверху рядом с Julienne я принимаю очередную порцию нашего скарба, с возрастающим нервным напряжением замечая, что некая жилка на прекрасном лице дамы начинает трепетать, а то и дергаться, но дама безмолвна. Из семнадцати мест багажа в кладовку квартиры поместилось лишь около трети; из остального скарба общими усилиями был сооружен параллелепипед, и так это сооружение простояло четыре месяца, сразу придав верхнему этажу несколько захламленный вид (в доме хозяйничал порядок). Но никакие жилки на лице Julienne, к моей радости, уже не дергались до конца нашего поста.

Скоро мы обнаружили, что в комнатке при кухне жила прислуга, молчаливая, просто бессловесная девушка по имени Assuntina. С утра она убирала дом и стирала на Julienne, а во второй половине дня уходила на работу – куда, наша хозяйка не знала. Возвращалась поздно и сразу ложилась спать; если мы засиживались в кухне, старались не шуметь. Однажды, уже после нашего отъезда, она исчезла – в тот же день квартира Julienne, описавшей происшествие в письме, была ограблена. Забрали, в основном, что-то из старинной посуды и ювелирных изделий, среди которых и те российские, что мы подарили Julienne на прощание, – к счастью, не все, утешала она нас и впоследствии старалась не забывать надеть янтарные (конечно!) бусы, которые Assuntina (воровкой была она, бедолага) оставила своей хозяйке. Julienne отнеслась достаточно спокойно к происшествию, говорила, что всегда подозревала, что безгласная А., родом из южной провинции, подчиняется мафии. Испарилась и наша любимица, кошка Smokey (Дымок), очевидно удрала через окно в кухне, через которое, по версии Julienne, удрали и ворюги.

Помню, я загляделась, как ловко Assuntina орудовала утюгом на кухонном столе, разглаживая старомодную крепдешиновую, всю в складочках-выточках блузку палевого цвета (желто-розового, как иные римские дома). Вечером блузка красовалась на Julienne. Этим я намекаю не на ханжество феминизма (мол, всё равно женщина женщине волк, в данном случае, эксплуататор в производственных отношениях: рабочей-то девушке после отглаживания складочек еще смену где-то отрабатывать), а хочу заметить, что Julienne считала, что феминистка должна оставаться женственной, не иметь ничего общего с синим чулком. В один из моих приездов в Рим зимой она встретила меня в меховом манто до пят, со смехом объяснив женственность своего облика в квадрате тем, что ей хочется чувствовать себя 'beautiful', поскольку у нее начался роман. Традиционная женственность и радикальный феминизм в представлении Julienne идеально совмещались.

А как радикальный феминизм был связан с ее феноменальным гостеприимством по отношению к нам, я поняла недели через две,

когда мы подружились настолько, что она доверила мне свою исповедь. Нашу же исповедь мы доверили ей еще в первый день знакомства. Иначе и быть не могло.

V. «ПОЧЕМУ ВЫ УЕХАЛИ ИЗ СССР?»

Этот вопрос для меня в глубине глубин равносителен вопросу, почему вы лишились девственности. Чтение самиздата, увлечение нонконформистским искусством, походы по избранным горам и долам нашей непутевой родины, порой достигавшие ‘экстремала’, как теперь говорят, любовные страсти и некоторые другие радости жизни хотя и скрашивали серые советские будни, всё равно оставляли меня старой девой, не познавшей мира за железной, если угодно, плевой. Juliette с ее никогда не дремавшим чувством юмора, включая первые минуты знакомства, одобрила эту гендерную аналогию, но для себя самой, по правде сказать, лучшее объяснение я нахожу в ответе поэта-математика, профессионального логика Александра Сергеевича Есенина-Вольпина: «Потому что это стало возможно». (К слову, эту формулировку я оценила и в обратной ситуации – когда мне приходилось отвечать на вопросы иммигрантов в Америке или жителей постсоветской России, почему я стала ежегодно посещать страну, где родилась, с первых лет Перестройки.) Потому что стало возможно воспользоваться из местности, отравленной ядом постоянного притворства. Вырваться из режима вранья. Вполне эгоистическое желание: выжить. То, что за железным занавесом сравнимого притворства нет, было очевидно из любой западной газеты, даже какой-нибудь коммунистической «Юманите». Рая мы хотели меньше всего, и то мгновение, когда на самиздатской странице передо мной предстала формула Солженицына «жить не по лжи», я помню среди самых чудных. Juliette внимала нашим косноязычным речам не без волнения и, видимо, всё понимала.

На ритуальном прорабатывании в НИИ после подачи документов в ОВИР мой ответ на вопрос, почему уезжаю, опирался не на психологию личности, а на бытующее представление о высоком культурном уровне советского интеллигента и стремлении непрерывно повышать его вплоть до выхода в мировую культуру. Говорила я намеками как можно туманнее и смиреннее. Новый начальник нашей лаборатории, недавно переведенный из Баку программист Тобдык, подвел итоги: «Я всё могу понять, но как вы оставяете такую хорошую квартиру, ума не приложу». Между прочим, в нашей квартире он не был, знал только район (Ломоносовский проспект), но мне-то случилось побывать у него на сабантуе, устроенном им в честь переселения в Москву, и увидеть красовавшегося на стенке Сталина... А вскоре в Москве зазвонили телефоны: говорит Рим, римское время 2700+ годов. Пора!

В нашу тихую обитель ввалилось головокружительное приключение, словно мы сами заменили самих себя по мановению волшебной палочки. Рим с бухты-барахты, а дальше – будь что будет. Увидеть Италию – и умереть, хорохорилась я перед накатывавшими волнами страха разлуки навсегда с близкими людьми. Проблема адаптации к новому обществу мало волновала из-за привычки надеяться на авось, но ни на какой «авось» полагаться было невозможно при мысли о расставании с близкими, отношения с ними принимали в лучшем случае эпистолярный модус бытия. (Склонность к коему, надо признать, у меня была с детства. К слову, в Риме вовлеченность в стихию почты приносила дополнительную радость, поскольку солидный Главпочтамт находился на очередной небольшой уютной площади Piazza S. Silvestro в самом центре Рима, и если я шла по городу с написанным заранее письмом минорного тона, то в результате спешила исписать все не заполненные еще поля в искреннем мажоре перед тем, как передать послание в руки, если угодно, римского права на переписку.)

Приятно было не врать Julienne: экономический фактор играл последнюю роль в нашем решении уехать. Двух зарплат нам хватало, жилищный вопрос жизнь не омрачал: за два года до отъезда мы въехали путем удачного обмена в комфортабельную квартиру на Ломоносовском, да еще развесили, ликуя, приобретенные на квартирных выставках картины художников андеграунда: Владимира Яковлева, Натты Конышевой, Анатолия Зверева. Слухи об американском изобилии вызывали чувство вины: не заслужили мы заморских богатств, да и вообще ценили любую необременность в быту, в том числе собственностью. То, что в этом мы с ней одного поля ягоды, Julienne предстояло убедиться не раз уже в Америке. Больше всего совпадали мы в пристрастии к путешествиям. Julienne тогда уже исколесила полмира, а нам это предстояло; случилось, с ней вместе.

VI. КАК JULIENNE TRAVERS СТАЛА ФЕМИНИСТКОЙ

Даже в Риме наступит день, когда шатанию по Вечному городу предпочтешь кружение по квартире, особенно если хозяйка настроена на ‘задушевную беседу’. С мужчинами подобное перемещение в человеческое, слишком человеческое, случается редко, вот и Виктор после завтрака предпочел продолжить беседу с городом. Я же выбрала устроить себе перерыв на человека. Кстати или некстати отмечу, что телевизора в доме не было и не появилось в будущем: ничто из итальянской культуры не вызывало у Julienne такого бескомпромиссного неприятия, как телевидение, собственного мнения о котором мне так и не пришлось составить ни тогда, ни впоследствии.

Обычно Julienne уезжала на работу после ланча. Неслась с

заправским видом на мотороллере. Рим в тот год воспринимался мной параллельно обожанию... исчадием ада, из-за рева и вони, производимых этим популярным у молодежи транспортом. *Julienne* в ее 40+ к молодежи мы тогда не относили, но у нее были свои соображения. Как и, между прочим, свой небольшой автомобиль Volkswagen beetle, и она им широко пользовалась, но на службу ее тянуло мчаться на мотороллере. Кажется, она ссылалась на условия парковки в центре Рима, в те годы, к сожалению, чуждого идее *Zona pedonale* (пешеходная зона).

С утра она усаживалась в просторной гостиной, обставленной антикварной мебелью в готическом стиле, за большой стол черного дерева и работала над книгой – своей версией социального закабаления когда-то свободной доисторической женщины. Должна сказать, что никогда, *ни разу*, не агитировала она нас не только присоединиться к движению феминизма, но и просто задуматься поглубже над его ценностями и целями. Прочитать, скажем, что-нибудь из классики феминизма – как без ее давления сама сделала я через годы. Никогда не проповедовала нам, но за словом в карман не лезла, рассуждая нелицеприятно о современном типе мужчины. Я запомнила лишь одно исключение, сделанное ею для мужчин-израильтян: к ним у нее было теплое чувство, оттого что им порой приходилось на фронт ехать на такси!.. иногда, получается, за смертью. Говорила она об этом с «горла перехватом, когда его волнение сдавит». Видно, натура у нее была в глубине сверхчувствительная, при том что к поэзии была равнодушна и однажды комично взмолилась: «I don't like poetry, what can I do? I am bored, I like dancing». Из чтения предпочитала прозу, художественную и non-fiction (из русской современной литературы прочла с удовольствием «Мастера и Маргариту» и особенно ценила – сама, без моей наводки – воспоминания Надежды Мандельштам). Ну и, разумеется, зачитывалась исследованиями в своей области культурной антропологии. Заканчивая рукопись книги, вздыхала, что стадия исследования уже позади: «The best is research. It is so exciting».

В тот день разговор неизбежно с общих тем перешел на личности – на ее судьбу. Каким путем она пришла к радикальным феминистам? (Радикальной она аттестовала сама себя, и в первые годы нашей дружбы я, не углубляясь в оттенки доктрины, принимала на веру ее 'радикализм'. Когда же ознакомились с доктриной по литературе, пришла к убеждению, что *Julienne* придерживается, скорее, центристской позиции.)

Путь был, как *Julienne*, ничуть не смущаясь, поведала мне, глаголю бо личный, даже интимный. Путь супружеской измены, ее измены. Путь не прямой: она любила мужа, но нарушила супружескую верность.

Она жила в любви с мужем, профессором Римского университета Giovanni Motzo (его имя всё еще значилось рядом со звонком в квартиру на Via della Balduina 289). Выходец из семьи неаполитанской знати с уклоном в науку (мать – профессор психиатрии), G.M. выбрал науку юридическую, со специальностью Constitutional Law. Не потому ли он оставил жену, что та нарушила закон брака?! А говоря чуть серьезнее, он первый нарушил – не закон, а эстетику семейной жизни. Столь глубоко Giovanni был погружен с утра до вечера в профессию, что не заметил, как любимая жена начинает сомневаться, любит ли он её. И вот настал день, когда она вернулась под утро, признавшись, что прибегла к крайней мере для привлечения его внимания к серьезной семейной проблеме, которую они вдвоем, конечно, решат, потому что любят друг друга. Он тут же собрал самый вместительный в доме чемодан и уехал с ним читать лекцию в Университет. Она была уверена, что он вернется на следующий день. Когда он не вернулся через неделю, она стала его разыскивать. Разыскала, просила прощения, умоляла вернуться, поскольку жить без него не может. Он ответил, что не вернется никогда. Она стала, что называется, лезть на стенку.

В какой-то момент ей пришло в голову добиться от самой себя ответа, почему без него не может жить. Столь уж неистово – как страдает – любит ли она мужа?

И тогда, рассказывала мне Julienne во все том же своем белоснежном утреннем пеньюаре, но с совершенно другим, разгоревшимся лицом, она поняла, что ее спасет честный ответ. «The truth will set you free.» И вот какой представилась ей истина: муж был для нее не столько любовью, сколько «зависимостью» от него в структуре современной жизни. Нельзя, решила она, быть столь зависимой от другого человека. Когда через год он позвонил ей с новостью 'готов вернуться', она не приняла его предложения. Феминизм дал ей ответ. Ум помог больше, чем красота (в те годы она была женщиной с полотен Гейнсборо, судя по попавшимся мне на глаза ее фотографиям).

Переворот в ее жизненной установке профессор Giovanni Motzo воспринял сочувственно, серьезно и предложил начать новую жизнь, супружескую жизнь двух по-новому свободных людей. Ей не хотелось терять столь трудно доставшуюся независимость, и она не стала спешить, но еще через год решила испытать новую независимость вдвоем на прочность, и они сошлись. Однако сработал известный с древнейших времен принцип – в ту же реку дважды не войти, и они расстались уже окончательно. Как супруги – но остались не то чтобы друзьями (взаимное уважение снизилось), а словно бы родственниками, пережившими семейное несчастье. То есть отношений уже не выясняли, но периодически виделись, помогали друг другу в чем-то бытовом, говорили о чем-то легком. Ее статьи уже публиковались, у нее появилось

имя. «Вы обсуждаете твои публикации?» – «Никогда. Мы вообще не говорим о моей причастности к Женскому Движению. Он делает вид, что не знает об этом, хотя, конечно, в курсе. Я поддерживаю эту игру.» – «Так о чем же вы говорите, когда встречаетесь?» – «Мало ли о чем! О новых фильмах. О путешествиях. Перемываем косточки родственникам, их много у Джiovанни в Неаполе, да и у меня кое-кто остался в Америке, я их изредка навещаю, заодно с вами встречаюсь.»

Многое в ее рассказе о разрыве с мужем мне запомнилось дословно, а уж ее смех – мелодичный и одновременно саркастичный – просто впечатан навечно в мои уши. Однажды, говоря по телефону, она этим смехом разражалась и разражалась так громогласно, что я задумалась: с кем это она? С ним, конечно, ex-husband'ом (всеми этими 'эксами' мой сленг ей обязан).

Он заботился и впредь о ее благополучии, он богат, а она – нет. Купил ей машину, затем новую (и мы на ней втроем – она, я и Виктор – отправились на Amalfi Coast, но это было гораздо позже, в одну из наших летних поездок в Италию), а потом и новую квартиру, когда владелец дома исхитрился ее выселить по суду, чтобы сдать за невероятно подскочившую плату в 1990-е. В те годы Giovanni Motzo уже работал в двух университетах (кроме Рима, еще и в Сиене). Юридическое светило в профессиональном кругу, неожиданно (для нас, но вряд ли для Julienne) занял пост Министра институциональных реформ в правительстве (1995–1997).

Примерно в эти годы как-то мы ехали вдвоем с Julienne на морское побережье под Римом. Она вела машину на довольно загруженном шоссе. Я спросила: а что Giovanni? Не женился ли? – «Нет, и это необычно у неаполитанской аристократии, там существует негласный закон: обязан жениться и продолжить род. Его семья удручена, винит меня.» – «Может быть, справедливо винит?» – «Что ты хочешь сказать?» – «Их клан винит тебя за то, что Giovanni, большой человек, ученый, государственный деятель, так и не женился, потому что всю жизнь любит тебя. Не правда ли?» Она ничего не ответила, лишь повернула ко мне лицо с невесть откуда взявшимися темными омутами на месте всегда ясных голубых глаз. Наконец уронила взгляд в поток машин, окаменела за рулем до остановки. Много лет прошло с тех пор, как я билась над вопросом отношений между Julienne Travers и Giovanni Motzo: любят – не любят. И вот, умудренная полувековым жизненным опытом, прозрела наконец: любят оба, друг друга, совершенно независимо от того, как сложилась 'личная жизнь' у каждого. У Julienne, насколько мне известно, не по образу и подобию бытия монахини.

Финал ее исповеди произвел на меня, к моему стыду, не менее сильное впечатление, чем весь рассказ о крушении замужества. «Знаешь, почему я взяла вас к себе? Ваша история мне показалась в

чем-то похожей на мою. Я, когда присоединилась к феминизму, тоже сожгла за собою мосты – как и вы, когда уехали навсегда из России.»

VII. ЖИЗНЬ БЕЗ ФОТО

«О, как свободно я бродил по Риму / без памяти, без денег, без стыда» – и без фотоаппарата, добавлю к стихам Льва Лосева («Торваіаіаіса»), вспоминая наше римское броуновское движение на полгода позже. Аппарат «Зенит», служивший нам верой и правдой в путешествиях по России, лежал в одном из чемоданов, саквояжей, рюкзаков, покоящихся в квартире Juliette, но в голову не приходило извлечь машинку, чтобы останавливать римские прекрасные мгновения. Ну и чем же тогда объяснить подобное равнодушие к пополнению фотоколлекции (начинавшейся с младенческих снимков и дотянувшейся до прощальных прогулок с жившим у нас перед отъездом живописцем Анатолием Зверевым), самой весомой драгоценности, экспортированной нами из СССР и хранившейся где-то в багаже рядом с «Зенитом»?

Можно было бы винить цены на фото пленку, ощутимые для бюджета беженца, но ведь подобные фотоотношения с Италией повторялись неизменно при всех последующих пребываниях на Аппенинском полуострове, когда вопрос о расходах на пленку не вставал вовсе. И когда было уже осознано (ранее – нет), что фотографировать – значит нарушать непрерывный контакт с реальностью, и если реальность погружает в блаженное состояние, то инстинктивно отгораживаешься от всего, что способно ослабить связь. Различая всё еще не утвердившуюся в русскоязычном обиходе семантику *реальности* и *действительности*, замечу, что в случае Италии даже ее непреображенная рефлексией действительность вызывает не меньший эмоциональный подъем, чем скрывающаяся за ней, действительностью, реальность.

Как бы мне не наговорить, однако, целую гору вздора, когда правда так проста: действительность Италии слишком хороша, чтобы приносить ее мгновения в жертву фотоколлекции.

Поостереглась бы я выставлять на обозрение свою экзальтацию, если бы несколько лет назад одна из моих частых собеседниц, отличавшаяся несентиментальностью, как-то не обронила, что в Италию она фотоаппарат никогда не брала, помнила опыт римских каникул: аппарат не пригодился. Сошлись мы с ней и в ‘хорошем отношении к лошади’ – открытке, пусть уступающей любительскому снимку в лиризме и в каких-то еще эстетических достоинствах, но фотограф-любитель может только мечтать о том, на что способна профессиональная съемка: скажем, вид с птичьего полета. Попробуйте сами сфотографировать одиозный Алтарь во славу единого Отечества,

сварганенный, к величайшему несчастью, впритык к Капитолию, «...такой большой и такой ненужный».

Римом на сногшибательных открытках заваливали мы Москву из любви к ближнему, не думая о самочувствии адресатов. Хорошо, что не получала я сама в Москве ничего подобного, никогда никому не завидовала, мне как бы и хватало моей внутренней Италии, но эта бомбежка ‘видами’... На оборотах плотно исписанных мной открыток ‘трезвого’ места найти нельзя было, и старшая кузина не выдержала: «Я понимаю, ты в опьянении, но мы-то трезвые». Почта, к слову, работала устойчиво в обоих направлениях через железный занавес, только с разной скоростью: из Рима – как фонтан, в Рим – как черепаха.

VIII. КОМПАНЬОНКА

Компаньонкой у нас числилась, разумеется, не *Julienne Travers*, а английская писательница *Georgina Masson*, точнее, ее книга «*The Companion Guide to Rome*», выданная нам *Julienne* в первый же наш день под ее кровом. Это был проверенный на собственном опыте превосходный путеводитель старомодного образца, с черно-белыми иллюстрациями, в твердой обложке, на много страниц. Увесистый и весомый. Джорджина Мэссон в Риме камня на камне не оставила. Особенно по части церквей – и правильно сделала: римские церкви одна интереснее другой. Могу лишь быть благодарна Виктору за педантичность, с какой он двигался по Риму с Компаньонкой в руках, за неумолимость, с какой не шел на сделки со мной, тянувшей его в бар на перекур (‘перекоф’, так сказать: опрокинуть крохотную чашечку эспрессо) по пути в холодную, темную церковь: мы, как и все ‘беженцы’, не спешили тратить soldi на дополнительное освещение картин и не стеснялись дожидаться света от посетителей с самолюбием. Итальянскими барами, разумеется, пренебрегать не следует в любую погоду, они уютны, но одинаковы, по римскому большому счету, а церкви промозглы и каждая (на спор!) таит сюрприз; летом, само собой, церкви – оазисы.

Решительно антиклерикальная (как холодно произносила она *Church* по адресу современной организованной религии, позже подсоединяя к ней и православие постсоветской России: «*What a pity, Russia could not find any new good and has come back to the Church*»), *Julienne*, тем не менее, любила римские церкви. Для нее, как я понимаю, страшно далеки они от современной Церкви.

С Компаньонкой мы не расставались, вместе сочиняли свой «римский текст». Постмодернистский концепт города как текста в те годы был нам незнаком, да и не нужен при первом знакомстве с живым городом, но вот сейчас становится полезен, чтобы отдать должное Компаньонке. И без книги-толмача была бы у нас в Риме

приятная, веселая жизнь – но это веселье дошкольника. Без Компаньонки не закончили бы ‘начальной школы’ Рима, не прочли бы «римский текст» как миф о собственной жизни. Сколько ни смотри на строчку Мандельштама «место человека во вселенной», пока не пощупаешь пальцами, а то и приложишься губами (было, было) к этой красной нити «римского текста» из камня, не ощутишь себя на своем месте. Напрашивающийся вопрос: а зачем вообще человеку для счастья нужно «место», – в Риме имеет ответ: для мифа. Как бы ни был удручающ для биографии, лишь бы сказался красиво – пусть всего лишь в отдельно взятой голове.

В первые же дни Juliette сообщила нечто важное, судя по сосредоточенному выражению ее лица: «Как соберетесь в Ватикан, приходите точно к открытию музея, лучше чуть раньше и тут же энергично идите в Сикстинскую капеллу, поскольку позже там будет толпа. Следуйте точно указателям, идти минут десять». Мы, советские люди, не пошли, а побежали. И оказались первыми. За дурные манеры Бог нас почему-то (а почему всё же?) не наказал, оставил наедине с Микеланджело на время, необходимое для нашего собственного ренессанса, вернее, пробуждения (о каком ‘возрождении’ тут говорить?). Поддаюсь искушению вспомнить обожаемую историю про то, как Набоков осветил своим студентам место Льва Толстого в русской литературе, – буквально: сорвал шторы с окна, затемнявшую лекционный зал. Аналогично Сикстинская капелла осветила мне место Микеланджело в искусстве Европы.

Когда в капеллу стали прибывать люди, не так уж они и мешали – напротив, в какой-то момент с ними стало еще лучше, они оправдывали твое присутствие, ощущавшееся как незаслуженное вначале: кто ты такой, чтобы одному комфортно глазеть на сердцераздирающий труд невысказанного человека? Давайте уж все сообща глядеть. Да, тот случай, когда толпа прекрасна.

Были бы с нами в те дни, помимо Компаньонки, «Образы Италии» Павла Муратова, то еще многое просветилось бы, а кое-что озадачило бы: «Самое полное торжество одухотворенной формы, какое только было в итальянской живописи, подчинилось роковым образом капризу папы Юлия II, придумавшего для художника такую задачу, которой не придумал бы для него злой гений из волшебной сказки. Микеланджело вышел из испытания героем и победителем, но тем не менее Высокое Возрождение принуждено оплакивать как *неудачу* даже эту блистательнейшую из своих побед. <...> Человечество, может быть, впервые почувствовало свое единство, воспитываясь на Рафаэлевых мифах и на Библии Рафаэля. <...> Библейскую легенду мы с самого детства слышим, рассказываемую на том языке, на котором рассказал ее Рафаэль, так как каждая картинка в школьной книге исходит отда-

ленно из форм и положений его искусства. Сближением этих образов христианской мифологии с мифологией античной мы также больше, чем какому-либо другому художнику Возрождения, обязаны Рафаэлю. *Величайшая культурная роль его та, что он окончательно разлучил христианскую легенду с ее восточной семитической родиной и привел ее к античному дереву.* <...> Действуя так, Рафаэль исполнял веление духа своей эпохи». (Курсив мой. – Л.П.)

Стало быть, Микеланджело, расписавший потолок Сикстинской капеллы сценами из Ветхого Завета, веления духа своей эпохи не исполнил. Позвольте, но духом эпохи Возрождения стал гуманизм, возвращение к Человеку, выпихнутому на задворки средневековой Церкви, а что как не центральная фреска «Сотворение Адама» возрождает Человека? Павлу Муратову важнее другие силовые линии истории, дороже другие образы Италии, и во всем он – специалист, ‘академик’, так что я, пожалуй, сверну на ту линию, где не вижу противоречий, а, напротив, вижу нечто близкое мне. Барокко. Муратов признает, что Микеланджело в глубине своей неистой души, конечно, предшественник барокко. Не поспоришь.

Из особо тронувшего на маршрутах Компаньонки, ранее совсем неизвестного: мозаики раннего христианства, выполненные еще в манере поздней античности, в самых старых уцелевших церквах Рима. Жуже сохранившиеся, но еще более связанные с античным видением, мозаики в катакомбах. Наша Компаньонка нашла в них подтверждение тому, чему нас учили в школе: Христос родился не от Святого духа, а от Диониса. Мозаики в катакомбах учат весело, грубо, зримо.

Что было еще полезного в Компаньонке, так это ее влюбленность в Рим. Разумеется, британская выучка помогала ей сдерживать чувства, но как не узнать товарища по счастью? Ее живой голос создавал нам компанию; на улицах и в музеях нам с Виктором иногда становилось слишком ‘исторично’, но милая Джорджина Мэссон выдавала очередную дозу женского тепла, призывая поймать glimpse (промельк) изгибчика барокко Боромини между тем или иным зданием под тем или иным углом.

В Рождество мы впервые увидели, насколько этот день для римлян – католического большинства или вольнодумного меньшинства – праздник, который впитан с молоком матери. Даже Julienne, воспитанная протестантизмом с уклоном в ересь из Бостона конца XIX в. – религию с оксиморонным названием Christian Science (религия и наука совместимы в человеческом сердце, но не в разуме), пришедшая к атеизму, строго судившая римских пап, относилась к рождественским праздникам по-доброму. Она и направила нас в самые праздничные точки.

Прежде всего, это старая базилика Santa Maria in Aracoeli на Капитолийском холме, запомнившаяся нам с первого нашего римского похода по ведущей к церкви длинной крутой лестнице, – честно говоря, занявшей не меньшее место в моем Риме, чем сама церковь. Да что там: большее! В предшествовавшие Рождеству недели мы бывали на Капитолийском холме не раз и всегда не могли наглядеться на угол из двух лестниц, крутой и длинной, ведущей в ранне Средневековье, и предельной пологой *cordona*, влекущей в гармонические ритмы Ренессанса. И между ними бронзовый Кола ди Риенцо, поплатившийся горячей головой за попытку повернуть колесо истории вспять – в эпоху доимперского Рима. Подумать только, через 14 веков Рим вернулся к республиканскому правлению, пусть только на считанные годы (1347–1354). Для Колы ди Риенцо они завершились местом на Капитолийском холме, правда, укромным, среди густых кустов между двумя лестницами, словно он там не крадется, а продолжает скрываться под капюшоном плаща...

Еще один новый персонаж для нас – Santo Bambino, ритуальная деревянная фигурка Святого Младенца, которая исцеляет и оттого хранится в базилике Santa Maria in Aracoeli. Говорят, до сих пор Santo Bambino в большом ходу (приходит к неходячим больным сам, т.е. по их просьбам привозится на дом служивыми церкви). Его крали, разумеется, находили, возвращали, заменяли втихаря. Языческие корни христианства нигде более, чем в Риме, открыты и на его поверхности, и в укладе жизни.

Julienne надоумила заглянуть в Рождество и на Навону. Не знаю, как сейчас, Piazza Navona в 1976 была площадью, воскресавшей каждое Рождество воплощением мечты Merry Christmas, о которой мы получили представление еще до его американского варианта с уклоном в ‘shopping’. Образ Веселого Рождества мне был чужд, я привыкла лишь благоговеть перед соответствующими страницами Евангелия, и меня, только что из антихристианской Совдепии, веселье на Навоне поначалу сбilo с толку. И расстроило своими торговыми павильонами, заслонявшими дивные фонтаны и барочные церкви. Но толпы праздных, или праздничных, римлян глазу были в утешение и радость; до сих пор память не растает с одной картинкой словно из старой книжки сказок: старик, маленький и хрупкий, не замечая толпы, играет с собакой – ей весело, а ему светло – это было видно невооруженным глазом. Один из тех моментов в Италии, когда ты говоришь себе: а может и впрямь *déjà vu* существует? И весь этот разговор о ‘родине души’ вызван не одной лишь потребностью человека в поэзии, но и непонятными механизмами сознания? Впрочем, одно с другим должно быть связано.

В Рождество кормилец наш ХИАС отправился в традиционный зимний отпуск, лишив нас необходимости присутствовать в Риме.

После шести недель пребывания в Вечном городе отпуск из него на пару недель в другие вечные итальянские города стал мыслиться самым актуальным поступком. Добрые люди надоумили купить туристский семейный проездной железнодорожный билет – смехотворно дешевый, если учесть, что с ним разрешалось колесить по Италии сколь угодно в течение года. Так что в течение двух месяцев поезд возил нас в разных направлениях по железным дорогам Аппенинского полуострова и Сицилии. Мы заскакивали в Рим для деловых встреч с ХИАСом и службой оформления виз Консульством США, переводили дух и – снова в дорогу, железную, напрямиком в парадиз итальянских городов.

Возвращая Компаньонку владелице, я втайне надеялась, что она захочет подарить книжку нам на память, но ставя ее на полку, Juliette и глазом не моргнула: еще самой послужит. А когда через два года я снова остановилась у нее в Риме и показала девственную paperback того же путеводителя, она взглянула на меня с насмешливым пониманием. В тот мой приезд как-то пришли на Via della Balduina юные соратницы Juliette, феминисточки, все как одна simpatica, спрашивают про Нью-Йорк, я в ответ скорблю об утрате Рима, а глаза Juliette выражают легкое беспокойство: не жар ли у меня. Нет, не жар, ‘домом души’ я этот город не называла, но то, что он был мне еще как по душе, это правда.

IX. ЗАГАДКА ЛУИДЖИ ФАББРО

Открытки открытками, но за игнорирование фотоаппарата на территории Италии пришлось расплачиваться мизерным количеством снимков тех невинных итальянцев, что волей всемирного хаоса попали в водоворот нашего броуновского движения, бессознательно даря нам свою неповторимую человечность. Иногда это лишь пожатие старческой руки, но особенное, радостно узнаваемое памятью в том, как держала, не отпуская мою руку, бабушка. Кто из нас не любит захватить ручку младенца и ощутить легчайшее в мире наслаждение непонятно от чего! Но как посмел прохожий старик на берегу моря в Сицилии коснуться руки незнакомой синьоры? Да ладно, сначала он окликнул нас, призывая восхититься морем и погодой. И только потом ухватился за мою руку. Просто держал и не отпускал. Улыбался, конечно. Ничтожнейший пустык, если бы не безошибочное узнавание в его прикосновении бабушкиного. Мне кажется, здесь я касаюсь какой-то болевой точки нежности, что прошивала меня временами в общении с незнакомыми итальянцами.

От знакомых какие-то снимки остались. Крохи, увы. Вот «я смотрю на фотокарточку» закадычных друзей и завязтых холостяков

Augusto Antonelli и Luigi dal Fabbro. С Луиджи мы познакомились на легендарном блошином рынке «Американо» прямо за воротами Порты Портезе (Porta Portese) в крепостных стенах вокруг Рима. Синьор Луиджи Фаббро бросался в глаза следами былой красоты киношного пошиба, à la Витторио де Сика: серебряная шевелюра в соседстве с чернобровостью, глаза с поволокой, соразмерные черты лица. Интересного мужчину, увы, убивал голос, интонации божьего одувачика. На рынок Луиджи приходил не столько для того, чтобы приобретать по дешевке предметы советского быта, сколько практиковаться в языке. Должно быть, стесняясь своего русского, и заслонялся маской 'одуванчика'. Любимая его присказка была: «Можно, но осторожно!» Тягуче растягивая слова, почти пел. Однажды отчеканил угрожающе, по впечатлению Julienne, о чем ниже. При всем своем облике 'с приветом' он производил непонятно отчего впечатление очень умного человека.

Луиджи говорил, что мечтает осуществить давний план посетить Россию, но считает для себя должным сначала освоить язык. Он много читал по-русски, знал классику, следил за современной литературой, имя Солженицына поминалось им не раз. Мы стали встречаться, чаще всего на обожаемой всеми народами мира – за «красивые уюты», не иначе – Piazza del Popolo (Народной площади), заходили непременно в тамошний бар «Rosetti». В заковыристых ситуациях эмигрантской жизни интереснее было обратиться за помощью к Луиджи, чем к хиасовским сотрудникам. Когда у меня в автобусе вытащили важные документы – ненаглядные советские визы, – Луиджи выручил в два счета: отвел в нужное подразделение полиции и толково объяснил там, кто мы. Через несколько дней нам выдали итальянские бумаги. Храню благоговейно по сей день. Я тут не раз подчеркивала наше приподнятое настроение с первых дней в Риме – так вот, на римских документах мы выглядим, словно on narcotic trip.

То, что Луиджи мог быть полезен в эмигрантском быту, мало значило бы для нашей дружбы, длившейся около десяти лет, если бы с самого начала мы не почувствовали с ним непонятно откуда взявшуюся легкость в общении. А это состояние в чужой стране ничем не заменить. Знакомство с Луиджи оказалось из очередных «странных сближений»: подумать только, едва ли не первый знакомый итальянец, а чувствуешь себя с ним, словно он из того же теста сделан, что и ты. Это было очень важно тогда – получать подарки от Италии один за другим, – по чьему велению, по чьему хотению? Мы не велели, не смели хотеть. То же самое и с Julienne, я ей сказала об этом, когда мы прощались. На подростком английском пыталась выразить свою радость словами довольно смешными в ушах западного человека: мол, наша встреча была сюрпризом для нас, просто подарком судьбы: две недели на Западе – и чуть ли не первый встретившийся человек

не только берет к себе под крышу жить неизвестно сколько времени, но и оказывается по своему нраву обыкновенным русским интеллигентом. Она захохотала саркастичным смехом, выковавшимся, должно быть, в феминистских баталиях с патриархами общества.

В самолете Рим–Нью-Йорк незнакомый пассажир-эмигрант подсел к нам и без всякого предисловия стал уверять, что Луиджи, кого он как-то видел в нашей компании, «стучал за солиди» на эмигрантов для КГБ. Луиджи, мол, бродил по рынку «Американо» не ради практики в русском, а для сбора всевозможных сведений об эмигрантских настроениях. Сама идея подобного сбора принадлежала к таким, какие гэбухе надо было бы разработать, если они еще не были в ходу, но был ли именно Луиджи среди стукачей, возвращенных советскими профессионалами?

Я не склонялась к утвердительному ответу, пока некоторые события не подбросили мне пищу для сомнений; это случилось через два года, когда я снова очутилась в Риме. Эмигрировала моя мать, Мария Ильинична. Упоминаю ее имя-отчество ради удовольствия вспомнить удовольствие Луиджи, с каким он старался правильно произнести «Ильинична». Между прочим, Juliette попытку оставила, ограничившись вездесущей в Италии Марией.

Виктор был в Америке, работал в IBM Research Center – доложи, Луиджи, куда следует, если ты тот, за кого тебя принимают лишенные воображения наши эмигранты. Сведения о наших эмигрантских настроениях, которые он мог бы передавать в контору, проговаривались о таком удовлетворении новой жизнью, что ничего лучшего от нашего милого гипотетического стукача, чем передавать их, ‘сведения’, по адресу, мы и не желали бы. Если он стукач – давай, Лу, беги в контору; если невинен – сопереживай нашему американо-еврейско-му счастью. Словом, сведения я поставляла достоверные.

Марию Ильиничну, само собой, я не ставила перед дилеммой стукачества Луиджи, но с Juliette вопрос обсуждался по свежим следам еще в первом же моем письме о приземлении на берегах Нового Света. И вот сейчас, через два года, она не без любопытства ждала случая познакомиться с ним.

Настал день, особенно подходящий для их знакомства, – мой день рождения. С Марией Ильиничной она уже познакомилась, приветствовала ее приезд в Рим обедом для нас троих у себя на Via Balduina. Наши эмигранты ей были интересны, она специально поехала со мной в пансион мамы, глядела на наших во все глаза, но когда я стала оправдывать их довольно жалкий вид, она остановила меня: «О чем ты? Они выглядят совершенно достойно, я даже не ожидала. Ведь и вы с Виктором, когда мы познакомились, показались мне обычными студентами, только что окончившими колледж, а вы,

оказывается, уже давно работали. Я хочу сказать, что ваша молодость и приличный вид других эмигрантов говорят о том, что жизнь в СССР далека от концлагерей, как нам здесь чудится. Но я читала Оруэлла и помню твои рассказы, так что имею сбалансированное представление, мне кажется». (О ее поездке в Москву в 1995-м – гл. XIII.)

На день рождения мы позвали Августо Антонелли, ближайшего друга Луиджи, чтобы уравновесить трех дам: Julienne и меня с матерью. Я знала, куда пригласить столь невероятную компанию, – только в трагторию Giggetto al portico d’Ottavia – ‘наше’ с Виктором место с тех пор, как два года назад Julienne привела нас в старое еврейское гетто отпраздновать завершение нашего транзита в Риме традиционными жареными артишоками. Жевала я слегка волнуясь, опасаясь ударить в грязь лицом, впервые в жизни пробуя такую диковину. Зря волновалась – вкусно без всяких самовнушений, ближе всего к жареным шарикам брюссельской капусты. После ужина, тут же за порогом трагтории, Julienne обратила наше внимание, с какой наглядностью три исторические эпохи – Античность, Средневековье, Ренессанс – смешались друг с другом в этой точке Рима, в старом еврейском гетто. В нынешние дни этот архитектурный палимпсест теряет в наглядности, благодаря завесе из туристов, а тогда мы стояли одни в зимней ночи, ощущая холод в спине не из-за температуры на улице.

Итак, в игру вошел еще один персонаж. Августо Антонелли моложе серебряноголового Луиджи, пенсия за горами, да и нужна ли она ему? – как и Луиджи, он производит впечатление человека со средствами. Собою недурен, но без всяких следов былой красоты, в отличие от старшего товарища. Оба меломаны, регулярные посетители концертов классической музыки (несколько раз приглашали меня). Оба люди образованные, с тремя языками помимо родного.

В тот памятный вечер мы говорили по-английски, и я не без дочерней гордости переводила для матери. Обе мы были в центре внимания: я – как именинница и прожившая два года в Америке, Мария Ильинична – как старая женщина, измученная советским бытом, только что уехавшая навсегда из СССР и ожидающая совершенно непонятного ей будущего в США. Мое будущее представлялось светлее, но это не делало наш table-talk менее сумбурным. Прибывшие с пылу с жару астры артишоков – до чего же элегантная кухня! – вкуче с «Кьянти» перевели table-talk в другой, плавущий модус. Улучив момент, Julienne шепнула мне, сидевшей рядом: «Ну и гостей ты пригласила на ваш с мамой праздник! Августо – обыкновенный фашист, хотя и строит из себя интеллектуала, а Луиджи... более странного человека я не видела! Он опасен, взглядишь в него. Вот сейчас смотри!» Я посмотрела и таки увидела нашего старого доброго Луиджи совсем другим. Словно пелена упала с моих глаз, недаром древние римляне говорили: «in vino veritas».

Никакого старикана 'с приветом', глаза смотрели холодно и насмешливо, излучая знание о человеке и мире, тогда мне еще неизвестное. Такого резкого перехода от маски к лицу раньше видеть мне не доводилось. И как же я благодарна памяти, что именно лицо, способное жить и меняться, смывает маску.

Julienne что-то сказала Луиджи по-итальянски. Дома она призналась, что не утерпела и выпалила поговорку, осуждающую двуличность. Он ответил английской поговоркой: «Don't spill the beans», мол, «не болтайте лишнего». А затем исполнил свой коронный номер «можно, но осторожно!» с новой, не певучей, а твердой интонацией и тут же нырнул в свое «ку-ку». Julienne уверяла меня, что их диалог подтвердил в ее глазах его принадлежность к шпионажу в пользу СССР. А поскольку она обладает свойствами натурального экстрасенса, она просто учуяла некую мутную волну, идущую от этой пары 'фашистов' (позже мне представлялись случаи убедиться в ее способности читать – спонтанно, без настройки – мысли другого, совершенно пустяковые, мимолетные, в быту).

Через день мы опять увиделись, уже без Julienne, и когда я решилась полюбопытствовать, какое впечатление на них произвела моя подруга, Луиджи улыбнулся всегдашней своей кроткой улыбочкой, а Августо сухо выдал из себя: «She is a bit dogmatic, you know» («Знаете ли, она несколько догматична»). Лапидарная фраза и сухость в голосе непонятным образом убедили меня, что он не фашист.

А встретились мы через день в связи с моим отъездом домой в Америку: надо было договориться с синьорами о Марии Ильиничне. Луиджи уже предложил регулярно навещать ее в доме, где нам удалось снять ей комнату в квартире других эмигрантов из СССР. Это был хороший район в центре Рима возле собора St. Maria Maggiore. Луиджи выполнил свое обещание, в оставшиеся два месяца ее транзита он (иногда с Августо) регулярно гулял с ней по Риму, утверждая, что берет у нее уроки русского, т.е. говорил с ней, а что было важнее в ее положении?

Луиджи практически спас мою мать. Своим доношением, если бы оно и существовало, он скорее нервировал бы 'органы слуха' Советского Союза, чем служил ему. Загадка стукачества Луиджи была переведена мной в реалм головоломок, а в жизни я продолжала относиться к нему как к своему человеку. То есть мы встречались на Piazza del Popolo, когда я одна или с Виктором бывала в Риме. Раз или два мы навестили его дома, он жил недалеко от Popolo, в изящно обставленной и увешанной хорошей живописью квартире.

В 1985-м я получила письмо от Луиджи с долгожданной новостью: в конце концов, он выучил русский настолько, что полноценно провел месяц в России. Повезло еще побывать в Средней Азии (Самарканде и Бухаре). Он доволен поездкой, но: «Mama mia, какие

жуткие там сортиры!» Я почувствовала его тошноту через океан и – полностью успокоилась: если доносительство и занимало не прозрачное место в его жизни, то с этим отныне и навсегда покончено. Я серьезно. Со страной, терпящей непотребство в местах общего пользования, итальянцу не по пути, даже на путях стукачества. Повсеместная красота всего важнее для него, ванные и уборные в домах Италии – полноправные члены... семьи не семьи, но, скажем, пейзажа милой повседневной жизни.

Неожиданно объявился в Нью-Йорке Августо, ранее отвечавший, как и Луиджи, на вопрос, не любопытно ли ему увидеть Америку, гримасой ‘Боже упаси!’ Но его бизнес (а какой, он не склонен был обсуждать) потребовал очной ставки со своим штабом. Ради необыкновенной – нью-йоркской, а не римской – встречи с ‘обыкновенным фашистом’, я ехала три часа в один конец поездом из Олбани, столицы штата Нью-Йорк, где тогда мы с Виктором обитали. Большое Яблоко приезжому удалось увидеть лишь на пространстве от статуи Свободы до середины Центрального парка, причем глазами ‘с русским акцентом’. Итальянец внимал моим комментариям с благородной вдумчивостью, но всё же решительно каждый раз поправляя мое произношение его имени: «AugustO – not AugustA, I am a man!» Оказывается, русские, успешно справляющиеся с итальянским языком в целом, не произносят четко окончания.

Итоговый комментарий Августо о Нью-Йорке заставил меня задуматься: «It is a machine for producing civilization. It produces sometimes beauty but it is a machine that produces it» («Это машина, производящая цивилизацию. Иногда она производит красоту, но остается машиной»). Так фашист он, Августо Антонелли, или нет? Тоже загадка.

Новости о Луиджи были ожидаемые: стареет в холостячестве. В безбрачии самого Августо, ура, наметились трещины, в доказательство чего он подарил мне фотокарточку двух друзей с привлекательной и весьма интеллигентной на вид девушкой, к которой оба многие годы были неравнодушны, и вот теперь она склоняется всё же к Августо.

Он, слава богу, женился на ней. Об этом сообщил нам с Виктором уже Луиджи, когда мы встретились еще раз в Риме. По старой традиции в том же баре «Rozetti». Мы взяли с собой Julienne. В баре, где мы всегда пили что-то легкое и ели что-то сладкое – мороженое или фрукты, – Луиджи, отказавшись от сладкого, поделился занимавшим его вопросом: «Почему в молодости так любишь сладкое? Сейчас я совершенно не получаю никакого удовольствия. Да, старость не сладость!» Иноязычный в русском, Луиджи любил играть с идиомами.

В последнюю нашу встречу ему захотелось покатать нас на своей машине вдоль городских стен. Рулил наш ‘Можно, но осторож-

но' (так мы между собой иногда звали загадочного итальянца) с такой лихой небрежностью, что мне стало не по себе, – еще не хватало разбиться в Риме! – но Julienne шепнула: «Не волнуйся, скорость у него порядком ниже разрешенной здесь».

Х. О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ И НЕЛЮБВИ К ПАДАЮЩЕЙ БАШНЕ

Еще когда мы жили в Москве и не собирались уезжать, пришлось мне однажды в начале 1970-х, где-то на Кузнецком мосту, то ли внизу, в магазине географических карт, или выше, в одной из книжных лавок, а может быть и в недавно открывшемся, одном на столицу, бюро путешествий, еще не знавшем слово «тур», замереть перед огромной, непривычно четкой цветной фотографией Piazza dei Miracoli – Площади Чудес в Пизе. Замереть, застыть поначалу в чистом удивлении: оказывается, известная мне по фото в учебнике Падающая башня (ребенком беспокоилась за нее, а повзрослев, стала находить в ней грациозное мужество) падает не одиноко, а как часть мощного архитектурного ансамбля из белого мрамора. Да еще расположенного на ярко-зеленой сочной траве. Такой постамент, думаю, внес свою лепту в образ miracolo, чуда; ведь редко когда столь монументальные сооружения из камня располагаются на зеленом лугу – потому и вижу Piazza dei Miracoli в пейзаже образов Италии 'лугом чудес'.

То был определенно квантовый скачок в представлении о мощи итальянской культуры, в непрерывно и подспудно происходившем во мне 'открытии Италии' вдали от нее. В озарениях сознания решающую роль играет не рефлексия, а изменение наглядной картинки в голове, соотнесение ее с обитавшей там годами. В результате – местный big bang, расширение 'несвященного безумия', гнавшего меня в эмиграцию с остановкой непременно в Италии. Когда в Рождество 1976-м мы отправились из Рима в первое итальянское путешествие, Пиза попала, само собой, в список избранных.

Вдобавок интересы Пизы защитил возлюбленный моих школьных лет роман «Овод», одной его первой фразы было достаточно: «Артур просматривал вороха рукописных проповедей в библиотеке духовной семинарии в Пизе», притом что ни старинному городу, ни хотя бы Падающей башне трепетно чтимая мной Этель Лилиан Войнич не уделила сколько-нибудь писательского внимания – должно быть, антиклерикальная позиция и революционный дух тому причиной. Понятны ее недовольство распыленностью итальянской государственности и ее надежда, что движение Гарибальди за независимость принесет чаемые перемены и т.п., но как понять довольно курьезные результаты опроса населения (2011) в связи со 150-й

годовщиной начала объединения Италии (1861): итальянцы заняли последнее место в Европе по температуре патриотизма (цену научности подобных опросов мы знаем, но всё же...). Им ли, итальянцам, не любить их родную землю, признанную во всем мире (уже не в демографических опросах) страной с множеством качеств, существенных для человеческого счастья?

Любить, может, и любят, но патриотизм предпочитают не объединенный, а местный. Тосканский, к примеру. Далее везде: например, пизанский. Такую фрагментарность патриотизма я объясняю плотностью культуры, искусства на этой земле; слишком много чудес на ее пьятцах, чтобы все их охватить душой и любить.

«В Пизу надо приехать во время дождя, чтобы лучше понять ее особенную красоту» – так зачинает главу о Пизе автор «Образов Италии» Павел Муратов. Не совсем согласна. Во-первых, красота ее не особенная, а каноническая; чтобы разобраться с мраморными кружевами Piazza dei Miracoli, ума не надо. А во-вторых, если муратовские сведения о том, что «Пиза – один из самых дождливых городов во всей Италии» верны, то тогда уж стоит приехать сразу в грозу. Лучше поздним вечером. Тогда луг чудес безлюден – тому мы свидетели вместе с молниями, освещавшими беломраморные существа под черным небом. Осмелюсь похвастаться, хвастовство сбалансировав правдой, еще большим везеньем: гроза только приближалась, и звуковосветовые эффекты пугали, ‘а мне не страшно’ – ливень еще не хлынул. Лишь не верится, что всё это происходит наяву.

На луг чудес мы вышли с дорожной поклажей, еще не устроившись в каком-нибудь привокзальном отельчике или, более по бюджету, отелишке (в пансион уже было поздно заявляться). Мы приехали из Лукки, младшей родственницы Пизы, а туда из Флоренции, где встречали Новый год на площади Сеньории, освещенной факелами, пылыхавшими из бойниц башен, в случайной компании подобных нам странствующих (запомнилась девушка из Австралии, угостившая дотоле невиданным белым шоколадом, натолкнув на мысль, что в Австралии всё наоборот или – хуже! – жизнь не так вкусна, как ‘наша’). На следующий день, 1 января 1977-го, поздно проснулись и поздно пустились в путь. Затем остановка на несколько часов в Лукке (о ней отдельный рассказ) – и вот мы одни на очной ставке с пизанской башней в грозовой полночный час.

В Пизе мы провели весь следующий день, с утра поднявшись на Падающую, омытую грозой накануне, затем знакомясь с пизанской школой романского стиля и Проторенессансом в баптистерии и соборе. Настроение «the dream’s come true» охватило нас настолько, что за пределы луга чудес особенно и не влекло, так что, мучаясь угрызениями совести в минимальной степени, мы – с мечтами уже о

Венеции – пустились в свой жд-путь. Планов о посещении Пизы в будущем мы не строили, но судьба распорядилась иначе, отношения с Пизой вылились в далекие от мимолетности. Предзнаменование, должно быть, написали молнии на черном небе, освещая великолепную троицу.

Наше пизанское будущее, однако, не с неба свалилось, а крепко стояло на земле, если вспомнить, что университет Пизы – один из старейших в Италии, а итальянская математическая школа – старейшая в Европе. Первый крупный математик средневековой Европы, Leonardo Pisano, по прозвищу Фибоначчи, родился в Пизе (1170). Короче, не так уж удивительно, что наиболее перспективное совместное исследование в математике Виктор нашел в работах итальянца Dario Bini, профессора университета Пизы. В результате Пиза стала для нас в Италии вторым после Рима ‘своим’ местом. Дарио Бини родом был из соседней скромной Массы, а учился и работал в Пизе. Прежде, чем познакомилась с ним лично, в своем воображении я видела его на фоне *Torre pendente di Pisa*, Падающей башни. С годами, надо сказать, этот фон приобрел неподвижную выпуклость.

Ничто не предвещало некоего пунктика у Дарио, когда он, встретив нас летом 1983-го на пизанском вокзале и доставив на обаятельную Piazza dei Cavalieri, где находился университет и где в кафе на углу, первым делом заказав шампанского, поднял тост за нашу первую встречу в Пизе. Следующий тост – за красоту пьядцы Рыцарей, где мы выпивали, – провозгласила я, но когда Виктор, перехватив мой алгоритм, захотел выпить за Падающую, Дарио заметно изменился в лице: ой, не начинай, не бреди!.. *noli me tângere*... Да, она ему осточертела, одно лишь повсеместное упоминание ее имени для него как комариный зуд.

Можно подумать, Дарио – сноб или истеричный эстет. Нет, Дарио – человек без выкрутасов, ведет себя совершенно естественно. И думает естественно. Ему было ясно, что с Пизанской башней у людей перебор, что толпы на пьядце Miracoli ведут в дурную бесконечность. Дарио был по-своему прав, и не о своем комфорте он думал, когда бесконечный sightseeing разворачивался у него под носом. Он столкнулся с демографической задачей, не имевшей решения, и ее эмблемой next door стала Падающая башня.

Мы остановились в пансионе где-то недалеко от Miracoli, куда я приходила раза два-три в день, со временем реже. Там было что делать: углубляться в историю и искусство Пизы в соборе, баптистории, Кампосанто (бывшем кладбище, а ныне фактически музее пизанской средневековой и проторенессансной скульптуры и фресок), прогуливаться по лугу, поглядывая на Падающую. Надо сказать, неверие в реальность видимого – словно я всё еще стою, несмотря на толпы ‘иностранцев’ вокруг, на Кузнецком мосту перед рекламным

плакатом, – не уходило. Почему? Почему в Риме было иначе? Там каждая руина вопила, что живая. Там всё было сцеплено друг с другом, переплетено веками в один горячий слиток, а Пиза превратилась в музей. Для кого как, конечно. Уверена, что студенты университета на Piazza dei Cavalieri сочли бы мои речи бредовыми, для них Пиза – бурлящий университетский город, а не музей. Да и у профессора этого университета, Dario Bini, претензии возникли только к Пизанской башне, а не к Пизе в целом. Но ведь и живет он не в Пизе. Короче, я предложила Виктору пойти в народ, то есть переехать в Массу.

Женщина с прошлым, эта Масса: на небольшом пространстве вмещает и красивую старинную церковь, и монументальный palazzo comunale (мэрию) на площади с изящным фонтаном – а как же? – да еще нависающий над городом средневековый замок на горе (рельефом опоясывающих ее скалистых уступов, согласно легенде, был навешан образ кругов Ада изгнаннику Данте, посетившему замок в начале XIV в.). А в нескольких километрах – славная Каррара, куда мы как-то отправились под водительством Дарио по следам Микеланджело в карьер добычи мрамора. Масса расположена на берегу моря, есть городской пляж; вода, правда, современная. Дарио ухитрился найти нам на две недели небольшой старый дом в километре от центральной, рыночной площади, и я стала по утрам ходить на базар с кошелкой за свежей провизией. Удовольствие идти не торопясь, с достоинством семейной синьоры, по узким улочкам Массы, затененным старинными домами, вспоминаю как отменное. Семейство Bini жило, кстати, прямо на углу рыночной площади в своем доме, вместе с родителями. Иногда я заходила полюбоваться больше на деда и бабушку Bini, чем на двух малолеток, Микеле и Стефано, на то, как стариков сжигает всепоглощающая страсть к внукам. Когда старик-итальянец (старуха более предсказуема) тетешкает младенца – это надо видеть, поскольку даже это он делает артистично, а уж как самозабвенно...

Dario женат на своей однокурснице по имени Claudia (Клавдия, по-нашему), миловидной и с милым характером. Что касается внешности Дарио, то в его лицевом костяке, не находя ничего древнеримского, я вижу напор энергии тех, кому Древний Рим приглянулся. В математике муж и жена сыграли разные роли; Claudia трудилась в старших классах школы всю жизнь учительницей, а Dario Bini – математик с международным именем. Родился в семье, далекой от абстрактного искусства математики, но природный талант взял свое. Семью украсил также монах (родной дядя Дарио), написавший свою книгу об этрусках.

Так мы поделили июнь 1983-го: две недели в Пизе и две недели в Массе, куда в начале июля прикатила к нам на своем авто Julienne, и мы отправились на Лигурийское побережье купаться. Первым делом

она въехала на вершину самой высокой из прибрежных гор и предложила окинуть взглядом уходящую за горизонт полосу скалистых бухт самых причудливых очертаний. Точнее величественной панорамы сохранились в моей памяти слова *Julienne*, ее интонация торжества первооткрывателя и одновременно беспокойства, что ее открытие не будет оценено: «Именно с этой точки можно увидеть, как Природа нам улыбается. Видите?»

Шли годы, а с Пизой роман не только не иссяк, но даже как-то и взошел на новую ступень. С начала июня 2002-го мы разместились практически на пьядце *Miracoli*, а если без преувеличений, то прямо за древними стенами, ее окружающими. В небольшой отель поблизости поместила очередная международная математическая конференция своих участников (счастливчиков из них). Это в стороне, противоположной Пизанской башне, так что на заседания, проходившие в одном из корпусов университета как раз позади башни, мы ходили, пересекая луг чудес весь в утренней росе. Не знаю, все ли участники конференции радовались прогулке, были ли среди них единомышленники Дарио, ненавистники Падающей, но один из участников, американец, осевший где-то в Италии, восхищался видом вокруг и с удовольствием объяснял мне, что предпочитает жить не в США, поскольку «*Americans lack social skills*» («Американцы не сильны в светских манерах»), чего не скажешь, к примеру, про его нынешних сограждан. На башню он глядел вполне миролюбиво.

Десятилетием ранее, в начале 90-х, прогуливаясь с Дарио по Пятой авеню возле *Empire State Building* (Виктор пригласил Дарио для совместной работы в аспирантуре *CUNY*, расположенной напротив пресловутого небоскреба), я пошутила, что, мол, В. спокойно смотрит нашей Башне в глаза, не жалуется, что надоела, хотя вокруг туристы кишат. Ну разве можно сравнивать, ответил Дарио, и я призадумалась: ведь и меня что-то не волнует *Empire State Building* как туристский объект, я ни разу в жизни о нем не вспомнила без повода, а вот Пизанскую вспоминаю порой ни с того ни с сего – как она там, держится ли...

Я старалась ребят не отвлекать от их совместной работы, но отрываться от умственных занятий им было необходимо, и тогда мы гуляли по Центральному Парку, от которого жили в трех кварталах. Как-то прошлись вдоль Гудзона уже за Нью-Йорком по знаменитой прогулочной тропе, почти касающейся гудзонских вод, до моста *Tarpan Zee*. Жаль, что это было еще до того, как был перестроен мост, обретший новую, математическую, по общему мнению, красоту. Впрочем, если мост красив, то всегда математически (ведь формула и есть мост между практикой и теорией). Так или иначе, новый мост Дарио оценил бы.

Вообще-то нью-йоркский постой Дарио в чистую радость мне не пошел: я готовлю из рук вон плохо (констатация факта, а не кокетство), в то время как в Массе они с Клавдией нас потчевали итальянскими деликатессами или просто хорошо приготовленными блюдами. А кофе? На наш нью-йоркский завтрак я шла, как на эшафот, жутко нервничала: в Италии кофе известно какой, и теперь я пила кофе, переводя свой вкус на итальянский за Дарио. Всякий раз перед ним извинялась, подавая эспрессо, приготовленный новым аппаратом, приобретенным к его визиту, а он отвечал, что в путешествиях с удовольствием и интересом ест то, что едят местные. У меня словно гора с плеч свалилась, когда он улетел в свою Италию.

Вернусь на конференцию в Пизе (2002), на ее традиционный завершающий банкет, на сей раз необъяснимо убогий: фастфуд и никакой игры *social skills* – в Италии-то! Но за пределами банкета, тут же на набережной реки Арно, шел традиционный пизанский праздник – *Luminara*. 16 июня после захода солнца все здания по контуру своих очертаний и крупных деталей, осветились прикрепленными свечами. Такой же участи подверглись крепостные стены вокруг пьядцы *Miracoli* и весь ансамбль, так что в темноте было ясно видно, что Башня падает, – не падает, если угодно.

Неумным пизанцам этого мало, свечи горели во многих окнах домов вдоль Арно, а по самой реке плыли бумажные кораблики с непонятно как державшимися на них опять же зажженными свечами – содержание ритуала ушло во мглу средневековья, но случайные пизанцы, из тех, к кому я решалась обратиться за разъяснением, отвечали – возможно, искажив историческую правду: праздник, мол, посвящен покровителю Пизы, *Saint Ranieri*, а он один день в году берет под защиту воришек. Непонятно, почему ворам прятаться в ярко освещенном городе легче, чем в темном, но может быть смысл праздника противоположный? Не надо прятаться в темноте, а надо жить при свете! Возможно, мне так и объясняли... *o, mia lingua italiana...*

Когда на следующий день нас попросили освободить помещение на лугу чудес для новых постояльцев, мы переехали в старинный гранд-отель, разрушавшийся на глазах. Нас разместили в номере из трех комнат поменьше и неразвалившегося не нашлось. В этой грандразвалюхе бросалось в глаза серьезное преимущество перед подтянутыми конкурентами: за зданием впритык простирался городской Ботанический сад, в любое время доступный постояльцам, и это было важно, поскольку с каждым днем солнце припекало всё усерднее, а в Пизе мало зелени. Уехать мы не могли, наши математики еще не доказали своих теорем.

Я выходила два-три раза в день на луг чудес, в сиесту непременно, там даже турист убывал в количестве, и всегда находилось место

на лугу в тени собора или Падающей. Находилось и время вспомнить огромный плакат с диковинным архитектурным ансамблем, висевший в бюро путешествий где-то на Кузнецком мосту, реальную безлюдную пьядцу Miracoli поздно вечером 1 января 1977-го под молниями приближавшей грозы и совместить эти две картины с той, что была у меня перед глазами.

Ну а как развивались за последние годы отношения Дарио с Падающей? Дарио продолжает работать в Университете Пизы, но неискоренимые служебные перемены не всегда случаются в нашу пользу. Со счастливицы Piazza dei Cavalieri, коей ничего не делается от поклонения туристов, математический факультет перевели в квартал, примыкающий к башне! Дарио пришлось научиться Башню 'в упор не видеть'. Таково было его последнее слово. Уж не разыгрывал ли он меня?

XI. СЛЕЗЫ В ВЕНЕЦИИ

В январе 1977-го мы не ожидали от Венеции серьезного холода и вырядились в пальто с беретами, а надо бы в меха; стеганые куртки и лыжные шапочки в европейских городах тогда не носили, в Москве тоже: даже шляпа смотрелась на парне нормальнее, чем трикотажная безделица, еще не сулившая fast food (если словом food охватывать всю вещность потребления: еду, одежду, образование, развлечения). Так что к середине дня я начинала подмерзать. Красота, холодная или потеплее в церквах и палаццо, спасала. Как именно, рассказывать об этом мне не придется не потому, что sightseeing в эпоху фастфуда имеет виртуальный симулякр – преимущество изящной словесности перед виртуальной визуальностью в том, что слово обладает большей подъемной силой для души, чем фото, не говоря о видео, – а потому что говорить я собралась о чем-то совсем другом.

Менее всего мне нужно описывать камни и воду Венеции, мне хочется вспоминать о дорогих слезах, пролитых на венецианские камни. Не испарившихся только из моей памяти, так что их место здесь.

Прежде всего, это слезы восторга бабушки, о коих в детстве я не хотела знать, – что взять с дикого ребенка, то есть еще с его очень недолгого существования в мире? Бабушку я, как мне теперь кажется, порядком разочаровала, не поддержав рассказа о ее свадебном путешествии через Венецию перед Первой мировой войной. Беда для меня была в том, что она непременно вспоминала, как расплакалась от восхищения, когда впервые увидела каналы, гондолы, дворцы вдоль мерцающей воды. К тому же в ее голосе, когда она говорила о слезах лет сорок назад, были близко опять же слезы. Бабушкина чув-

ствительность меня как-то смущала, не располагала к вопросам. Сейчас я задала бы их десятки: сколько дней вы с дедушкой были в Венеции, где остановились, много ли передвигались в гондолах, пели ли гондольеры знаменитые арии (особенно те, что определили мой вкус к 'страстному' пению на всю жизнь, будь то оперные певцы, цыгане или Высоцкий). А тогда я, дикарка, молчала по-глупому. Чувствительность бабушки простиралась до ненавязывания ее друг-им, и она, вздохнув, замолкала. Теперь вздыхаю я, расплачиваюсь угрызениями по всем счетам не только совести, но и здорового любопытства или прямо-таки навязчивого желания обменяться с бабушкой венецианскими впечатлениями – никакими рассказами о них его не исполнить.

Сама я в Венеции слез не лила, но как только мы с Виктором спустились на привокзальную площадь, где не было ничего от привокзальной, а Венеция – как она представлялась с детства: дворцы, вырастающие из воды, качающиеся гондолы, звуки плеска воды – начиналась сразу за порогом железнодорожного вокзала, мою спину охватил, как и суждено человеку, возвышенный холод, в иные дни еще и согревавший после нескольких часов прогулки по застывшему городу.

Из поезда до *vaporetto* мы прошли всего ничего и доплыли на этом водном трамвае до моста Rialto, где неподалеку без труда нашли себе комнату в *pensione*. Даже в новогоднюю неделю Венеция была малолюдна, возможно из-за холодной зимы, считай – повезло. Повезло нам и с холодом, и с голодом.

Обычно к знакомствам с итальянцами вели наши вопросы, начинавшиеся, понятно, с «где». Бывало, нам не только объясняли на словах или жестами, но и доводили до места. Жертву чаще всего выбирала я, руководствуясь приятностью лица, избегая, конечно, яркой привлекательности, а сколько тут соблазнов в итальянской толпе! Слава богу, еще больше просто *simpatico*.

Было так. Мой вопрос «*Per favore, signiora, dove è tavola calda?*» («Простите, синьора, где тут найти столовую?») так заинтриговал симпатичную женщину, на взгляд лет пятидесяти, что она, вызвавшись проводить нас до 'горячего стола', не удержалась от своего вопроса, не совсем тактичного: что, мол, нас привлекает в заведении такого типа? Еда горячая и по карману, последовал наш откровенный ответ. Наши голодные и одновременно одухотворенные лица (другими они в Венеции тогда быть не могли!), должно быть, тронули её. Заинтересовали. Посоветовав что-то из местной кухни, она дождалась нас снаружи. На обратном пути разговорились. Наша история, вполне благополучная – никто нас из страны не гнал (другое дело, что страна 'невъездная'), сами захотели перемены мест, – ее расположения к нам не снизила; напротив, Джулиана (звук «дж» в итальянских именах нас преследовал: римлянка Джульенн, ее муж Джиованни, 'ком-

паньонка' Джоржина – что за наваждение?) стала совать нам деньги под тем предлогом, что время в Венеции безумно дорого, а мы транжирим его на поиски дешевых столовок, которые не водятся в местах, где время дорого. «Я дам вам лишь столько, сколько нужно на оставшиеся дни в Венеции.» Мы растерялись, не понимали, как реагировать. Но тут Джулиана стала вспоминать беды евреев в войну. Ну да, и она еврейка, с нетипичной внешностью, но и нетипично итальянской тоже, если говорить о моделях не Веронезе, а Караваджо: светловолосая, голубоглазая. Джулиана, австрийская еврейка, одна выжила из своей семьи. В подробности общей трагедии Джулиана не вдавалась, и мы не смели любопытствовать. Ей, в детстве обученной английскому языку, повезло найти работу переводчицей в британских оккупационных войсках. Судьба-замужество переместила юную австрийку в Венецию, присоединила к старинной венецианской семье. У них с Carlo Tessieri три сына: один взрослый, уже вылетел из родного гнезда, другой – напротив, чуть ли не за углом, прямо на Большом Канале, учится в университете Са' Foscarì; третий – старшекласник, ему шестнадцать.

Джулиана не замедлила пригласить нас на ужин, и вечером мы звонили в массивную дверь частного palazzo. Carlo – потомственный адвокат, и родовое гнездо схоронилось в крохотном «переулке Адвокатов» (calle dei Avvocati), совсем рядом с сердцем Венеции: Piazza del San Marco (а где и есть ли голова, к слову?). Внутри палатцо соответствовал своему названию в русском переводе – дворец да и только, но не очень большой, вернее, его жилая часть не подавляла размерами, но какое-то невидимое пространство всё же ощущалось в глубинах здания. Гобелены, картины, скульптура, зеркала, ковры, старинная мебель, само собой.

Удивительнее то, как быстро собственное присутствие во дворце перестает удивлять и даже особенно занимать. Хорошо, что ужин подали не дворцовый, а интеллигентский, типа на скорую руку. Карло Тесьере оказался очередным *italiano simpatico*, но, в отличие от своей жены, обладал типично итальянской внешностью – не то чтоб чистый Караваджо, но где-то с картин венецианца Бассано. Из трех сыновей присутствовали средний и младший. Средний, к счастью матери, покидать гнездо не собирался, жаловался всерьез, что жить может только в Венеции, поскольку привык спать без малейших звонков уличного транспорта. А как же вапоретто? оно ведь гудит, по случаю, и если окна выходят на Большой Канал... но окна, слава богу, выходили на канал небольшой. А воздух не затхлый в спальне, чуть не слетело у меня с языка, но я удержалась, уже зная ответ, ведь окна нашего пансиона тоже выходили на небольшой канал.

Младший сын Стефано смотрел на нас во все глаза, как смотрят дети, не скрывая интереса и переживаний: похоже, он видел в нас

страдальцев советского режима. На своем небогатом английском мы пытались расширить палитру нюансов эпохи застоя брежневского СССР и получили благодарных слушателей. Острота удовольствия от того, что тебе внимают как никогда раньше, всегда в подобных ситуациях притуплялась соображением, что мы занимаем место тех, кто мог бы рассказать что-нибудь поинтереснее, да вот сидит вместо венецианского дворца в советской кутузке, но... кто-нибудь сказал, что мир справедлив?

Самой мне до смерти хотелось узнать побольше о том, как Джулиана и Карло встретились и влюбились, однако их трагически романтическое прошлое сторонилось случайных прикосновений. В ответ на мои косноязычные наводящие вопросы Джулиана стала вспоминать, как была потрясена своей первой встречей с Венецией, как поглотили ее церкви и дворцы с их сокровищами, а в конце подчеркнула, что именно память о возрождении к жизни при участии искусства Венеции заставила ее осмелиться предложить нам финансовую помощь. Карло с ней согласен: деньги суть время, стало быть, вот вам лиры, экономящие время для наслаждения искусством. Можно ли тут было отказаться?..

Стефано, сын своей матери (просто маменькин сынок, как через пару дней выяснилось), тоже нетипично хорошо для итальянцев говорил по-английски и вызвался помогать нам в меру своих возможностей. Светловолосый в мать, полноватый, неуклюжий подросток был по-детски разочарован: только познакомились, а через два дня нам в дорогу. И какое же это было прощание! Пожалуй, одна из кульминаций нашей итальянской жизни.

Джулиана и Стефано захотели непременно придти к поезду. Прощание у вагона, на мой вкус, лучший из остающихся живых ритуалов современной жизни. All that jazz: «...кондуктор не спешит, кондуктор понимает...» Мать и сын укутали нас в шерстяные шарфы качества тех, что были на них самих. Мы поинтересовались, не хочется ли им какой-нибудь американской экзотики? – с удовольствием прислали б из Штатов. После затянувшегося отнекивания Джулиана наконец запросила три футболки с изречениями по-английски, на каждого из братьев по одной, в Италии такой ширпотреб в те годы было не купить.

А когда поезд загудел и мы стали прощаться, по лицу Стефано полились слезы. Как плотину прорвало. Он еще и застонал: «Мама, мама», хватая Джулиану за руку, словно ища у нее опоры в своем горе. Неужели он тяжело переживает разлуку с чужими ему людьми после трех дней знакомства? Похоже, мы перестали быть ему чужими, каждый день он проводил с нами пару часов, норовил уплатить, где только представлялся случай (притом что родители его предвосхищали), водил в еврейское гетто Венеции, расспрашивал про Россию.

Но вот так рыдать при расставании?! Перехватив мой обомлевший взгляд, Джулиана проговорила (по-английски, конечно, но так внятно и так глубоко осознанно, что слова звучали для меня по-русски, а для памяти – навсегда): *«У меня трое сыновей, и все они хорошие мальчишки, но у этого особенно доброе сердце»*.

Всё же какой конкретный смысл она вкладывала в эти слова? Неужто Стефано плакал от жалости к нам? А что еще? Кто знает, может быть и прошлые собственной матери, страдания ее народа во время войны отзывались в его сердце. Толки о повышенной чувствительности итальянцев надо бы отнести к бабыным сказкам, если бы не экзатическая слеза в их пении. Которое, в свою очередь, развивает восприимчивость к пронзительности самого малого мгновения жизни, чему мы оказались свидетелями на вокзале Santa Lucia.

Когда через два месяца мы приехали проститься с Венецией под мартовским солнцем, Стефано выглядел заметно повзрослевшим, как это нередко случается с детьми. Мы наткнулись на него у моста Риалто, он вертелся завсегдагаем тамошней тусовки и уже не смотрел на нас сострадательно. Мы тоже, думаю, изменились, более свободно объяснялись на бытовом итальянском, поднаторели в путешествиях, нам было чем отчитаться перед семейством Tessieri – за плечами стоял юг: Неаполь, Капри, Сицилия, а еще посещенные сразу после Венеции Падуя, Виченца, Верона.

Подошла Джулиана, вчетвером пошли гулять, не мудрствуя лукаво, по солнечному Сан Марко. Верная пара, мать и сын, слушали одобрительно о наших похождениях, особенно оценили байку про журналиста на Радио о Капри, обращавшегося к своей изящной жене-соратнице: *«Stalin of my life»*, – не во время, конечно, передачи о Третьей российской эмиграции, когда мы давали первое в жизни интервью, а наутро в Grotta Azzurra (Лазоревый грот). И нас тогда ‘Сталин моей жизни’ изрядно насмешил, а у меня, помнится, еще и вызвал извращенную что ли гордость за вклад нашей родины в мировую копилку семейного юмора. Правда, наша семья при всей итало-филии любым ‘сталинским юмором’ брезговала.

Итальянцы в целом так легки в общении, что исключения в случае должностных лиц типа полицейских или чиновников сразу заставляют вернуться с небес на землю, вспомнить, приуныть, сморщиться как от неожиданного тухлого ореха: ну да, Муссолини, итальянский фашизм. Должно быть, не так уж странно, что именно в Венеции нам пришлось слегка протрезветь: город в осаде мирового туризма, властям приходится трепать нервы себе и понаехавшим.

Оказалось, не все пансионы имели право селить у себя Soviet refugees. В первый приезд нам повезло, теперь везение изменило, наш пансион попал в облаву. Новость сообщила хозяйка, когда мы

забежали среди дня: была полиция, проверяла документы, идите немедленно в участок. Оттуда, под хмурыми взглядами довольно-таки противных *carabinieri* мы догадались позвонить в «переулочек Адвокатов». Мгновенная удача: Карло выпросил у полиции разрешение для нас провести еще несколько дней в Венеции. Стражи закона согласились на два, но больше мы и не собирались: не Венецией единой, нужно было спешить в Ассизи, Сан-Джиминиано, Орвието на обратном пути в Рим.

Из Америки я выслала футболки по заказу нашей венецианки, позже иногда отправляла открытки, чаще всего из путешествий по местам, интересным, как мне представлялось, семейству Tessieri тоже: Индии, Израилю, Исландии. А повидались еще раз, только с Джулианой, когда в апреле 1987-го (к тому времени братья Tessieri выросли, старшие работали, а Стефано, закончив медицинский, проходил ординатуру в Турине) мы с Марией Ильиничной остановились в Венеции на пути из Рима и Флоренции в Париж; я исполняла миссию, которая не снилась мне ни в одном из самых упоительных снов: показывала Европу родной матери.

То была очень женская встреча! Мы с мамой вспоминали бабушку, рассказывали о ее свадебном путешествии, о несчастном случае, когда бабушка, молодой и необузданно любознательный инженер, потерял два пальца на левой руке, положив ее под пресс на экспериментальном станке в Берлине, и адвокатом, выбившим ему денежное возмещение, стала Роза Люксембург. И о другом ‘несчастном случае’, когда молодожены, доехав до Франции, отложили поездку в Париж до ‘следующего раза’ (до ‘никогда’, распорядилась жизнь). Что касается их пребывания в Венеции, то и Мария, самая преданная из четырех детей бабушки, помнила лишь о ее слезах восторга. Тут бедная Джулиана сама чуть не прослезилась.

Да, очень приятная была встреча, если не считать, что теперь Венецию обложили еще не виданные в 1977-м орды туристов. Венеция, приспособливаясь к ним, менялась – как и Италия в целом. Возникало беспокойство за нее: устоит ли это одно из чудес света перед подобным дешевым успехом? Я чувствовала себя в капкане смещения реальностей прошлого и настоящего, но и отдавала себе отчет в относительности «образов Италии» из-за демографических накладок. Тот же Павел Муратов просто сошел бы с ума от отвращения, если очутился бы в той Италии, от которой я сходила с ума от счастья. *C'è vita*.

Через два года, никак не предвидя, я обратилась к Джулиане с просьбой, поначалу заставшей ее врасплох, прислать туристское приглашение в Венецию... Венедикту Ерофееву (созвучие имен, однако!)

В ряде публикаций в биографии Вен. Ерофеева уже упоминалось, что его нью-йоркские друзья организовали писателю вызов от Йельского университета для чтения лекций и встречи с читателями (1988). После первой операции рака горла поездка казалась осуществимой. Увы, потребовалось второе хирургическое вмешательство в его многострадальную гортань. Осенью 1989-го ему стало заметно хуже. В конце ноября мы с его близкой подругой и моей кузиной Натальей Шмельковой навещали его на даче в Абрамцево. За обедом, когда обсуждалась возможность поездки Венедикта в Штаты и присутствовавшие согласились, что перелет в Америку ему теперь не по здоровью, но съездить куда-нибудь проветриться здоровью не повредит, меня озарило: «Можно не летать через океан, зачем теперь в Америку? Можно поехать с комфортом по железной дороге в Европу, например, в Италию. Прямым в Венецию! Там на спокойной чудесной привокзальной площади можно сразу с поезда через пару шагов пересесть в гондолу и плыть до места назначения. Я встречу, там есть у меня знакомые, еще со времен транзита в Италии, милейшие люди, живут на Canal Grande, хозяин – старый венецианский адвокат, пришлет в два счета Венедикту с Наташей приглашение. Жить можно необязательно у “адвокатов”, можно в отеле или pensione. Мы поплывем, Веничка, мы поплывем!»... На этот план с бухты-барухты он только улыбался. Но в его глазах я видела одобрение, по крайней мере, самого замысла. Из Абрамцева в Москву мы возвращались вдвоем с его ближайшим другом Владимиром Муравьевым, тоже гостившим на абрамцевской даче; в какой-то момент от обсуждения болезни Ерофеева перешли к современной американской литературе; Муравьев ее неплохо знал. Я спросила, что он, профессиональный переводчик, думает про английский перевод «Москвы – Петушков». Ответ его был суров – они с Ерофеевым вообще были два сапога пара в своей беспощадной критике многого в литературе. Именно поэтому его благожелательный отзыв на итальянский перевод (за исключением названия «Mosca sulla vodka» – «Москва на водке») подстегнул мое намерение пригласить Венедикта в Венецию. Я написала Джулиане, объяснила, какой художественной высоты достиг этот писатель, посоветовала разыскать итальянские «Петушки», дать почитать сыновьям, если интересно. Позвонила, когда вернулась в Нью-Йорк. Знает ли она об авторе? – Что-то вспоминается из газет. – Эта книга переведена не только на итальянский, но и на многие языки мира. И вот совсем недавно вышла на родине автора. Он умирает! Пусть он вдохнет воздух Италии! Проплывет по Canal Grande, выйдет вместо Красной площади на Площадь Святого Марка! Из головы у меня не выходили ее давние слова: «...у этого особенно доброе сердце».

Джулиана удивилась моей просьбе, но после нескольких уточняющих вопросов согласилась прислать гостевое приглашение; мы

условились, что я дам ей знать, когда придет время идти к чиновникам. Поездка действительно представлялась мне вполне осуществимой, и я начала ее обсуждать с Венедиктом в переписке; он отметил это в своем дневнике 11 янв. 1990-го: «А Лилька в письме всерьез продолжает говорить о венециан. приглашении» (Последний дневник: октябрь 1989 г. – март 1990 г. / НЛО. 1996. № 18. С. 189.). Увы, уже в декабре он стал чувствовать симптомы возвращения болезни...

Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий...
 Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами...

.....

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

XII. ТРАВЕРС ИТАЛИИ

8 марта 1977-го. Рим. Семейный проездной по железной дороге был протерт до дыр, не без содействия Julienne: когда в Риме нас не было, а вне всякого сомнения мы были в других населенных пунктах Италии или двигавшихся между ними поездах, она отвечала на звонки из ХИАС'а и держала нас на плаву в транзитном модусе.

Прошло четыре месяца баснословной жизни. Именно жизни, а не ожидания на чемоданах, жизни в новых, счастливых отношениях со страной – да, никакого сомнения, с *всечеловеческой* родиной – какая благодать! И еще это содержательное, но легкое, веселое соседство с хозяйкой дома. Подобного опыта отношений у нас раньше не было; чужие люди, мы доверили друг другу свой быт, словно в одной семье, в то же самое время сближенные исключительно острым взаимным интересом и симпатией. Дружба с первого взгляда? Нет, языковой барьер, может быть, и преодолим в любви, но не в дружбе. Как ни назови наш союз, вокруг был Рим, третий нелишний при всех обстоятельствах, и если всё равно не избежать счастливого смеха, то пусть по-итальянски: *nostra vita dolce!* Ударение на 'nostra' – жизнь сладкая, но в *нашем* вкусе, в *нашем* Риме, а он не совместен с заботами феллиниевских киноперсонажей.

Однако и увы. Рано или поздно, *la dolce vita e finita*, человек создан не для счастья, вернее, для счастья не жизни, а выживания, природой понимаемого как активные отношения с ней. Короче: если отношения с Италией остаются на уровне любви любующейся, но не проникающей поглубже, до труда любви, то пора складывать чемоданы и лететь в Америку. Разумеется, мы не выбирали время отлета, но за долгое время безмятежного транзита всё же созрели до настроения 'пора!'. А любовь еще веселее при втором свидании, проверено. И при последующих, хотя пределы существуют – в зависимости от того, расширяются ли горизонты любви. А расширяются они именно в активных отношениях с предметом любви. Так, Виктор, работая с

Дарио Бини и бывая в Италии чаще меня на конференциях, узнавал страну и ее обитателей в рабочем порядке. Мой же путь лежал, с одной стороны, через переписку и встречи с Julienne (в Италии, Америке, Франции и России), с другой стороны, через новый, более глубокий интерес к итальянскому искусству (изобразительному и музыке), к современному кино (братья Тавиани, Пазолини, поздний Феллини, Этторе Скола и др.).

Мы улетали в Нью-Йорк 9 марта 1977-го, а накануне шли по Риму куда глаза глядят, и поскольку в Риме все дороги ведут на Навону, там мы и оказались. 8 марта Piazza Navona демонстрировала женскую солидарность, но надолго мы там не задержались, как-то не увлекало провести последний римский день в советском, как нами тогда ощущалось, контексте. Может быть, зря: позже к рядам феминистов, как выяснилось уже дома, присоединилась Julienne; она, голубушка, произнесла речь у фонтана «Четырех рек» Бернини; это вообще было 'ее место' с тех пор, как в 1970-м она устроила там выставку на тему, условно говоря: блеск и нищета женщины в современном обществе. Был ли случаен выбор Julienne этого царства барокко для женского общественного мятежа? Подозреваю, что нет: ее вели осознанные или интуитивно воспринятые образы движения – «застывшей музыки» зданий, скульптур и низвергающейся воды фонтанов.

По случаю двойного праздника, учитывая наше завтрашнее перемещение на берега Нового Света, в знак предстоящей нам первой встречи с ее родиной, бывшая американка испекла для нас *lemon meringue pie* (пирог с лимонным кремом и безе) – почти столь же традиционный, как яблочный, но в моей иерархии волны барочного безе обеспечивают первое место.

Прощальное чаепитие началось вечером с выражения признательности хозяйке дома. Первый тост был провозглашен Виктором неожиданно за фамилию хозяйки *Travers*. Только ему могло прийти в голову перевести ее на русский: траверс – ему, альпинисту несколько анархического пошиба, с незабываемым опытом приключений в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Алтай. Тут требуется лексическое уточнение.

«Траверс» принадлежит к словам странной судьбы, что употребляются в противоположных значениях. Выражение «проходить траверс(ом)» означает движение по горному склону без набора и без потери высоты; используя траверс, обходят участки, которые сложно преодолеть, включая вершины горной цепи, т.е. идут по склону хребта под вершинами.

Слово «траверс», однако, альпинисты употребляют и в противоположной ситуации – когда поднимаются на вершины горной цепи одна за другой, причем спуск с вершины не должен проходить по

пути подъема (уже освоенного), а идти в направлении очередной вершины в цепи. Видно, альпинисты, экономящие на всём, кроме риска сверзнуться в бездну ради еще одного «взятия нотой выше», экономят и на словоупотреблении.

На нашем чаепитии Виктор, воспользовавшись двусмысленностью понятия траверс, задал метафорический вопрос: каким траверсом Италии – в первом или втором смысле слова – обернулись наши путешествия по итальянским городам и весям, начиная с Рима? На первое значение траверса (не поднимаясь на вершины) поездки в Венецию, Падую, Веченцу, Верону, Флоренцию, Лукку, Пизу, Ассизи, Сан-Джiminiано, Орвието, Неаполь, Капри и немалую часть Сицилии, по нашей пристрастной оценке, тянули, то есть проходили без потери достигнутой высоты, причем заслуга в том была не наша, а, само собой, Италии.

Но на траверс как пересечение горной цепи с подъемом на каждую вершину претендовать мы не могли, и этот риторический вопрос Виктора естественно завершился риторическим обещанием итальянский траверс высшего порядка когда-нибудь совершить. На что *Julienne Travers* выразила со своей стороны готовность всегда нас принять на *Via Balduina 289* и проводить в траверс, в каком бы значении ее фамилия ни использовалась.

Что касается моего тоста под чай с пирогом барокко, то я подняла его за *НИАС-ХИАС* и, чтобы он не прозвучал слишком верноподданно, заменила тост на вопрос (ответ-то на него меня и занимал в первую очередь). Тот самый вопрос, который я задавала себе еще в Москве и который уже задала синьорам *Burro* (гл. II). Почему *ХИАС* выбрал Рим как перевалочный пункт? Ответ *Julienne*: «Итальянцы – не антисемиты» подтвердил не только мнение четы *Jezerum* (более весомое благодаря еврейской чувствительности к антисемитизму или, напротив, менее из-за этого свойства?), но и создавшееся за четыре месяца в Италии собственное впечатление. На вопрос, заданный мной из чистого любопытства: а не видит ли она какие-либо недостатки в еврейском антропологическом типе, – мною был получен невозмутимый ответ: «*I can complain only that New York Jews invade my space too much; they are too intense for me*». («Могу пожаловаться только на то, что нью-йоркские евреи вторгаются слишком интенсивно в мое личное пространство.») – «*How about Italians with their hot temperament?*» («А как итальянцы с их темпераментом?») – «*No, Italians are calmer in my experience*.» («Нет, итальянцы не такие нервные, по моему опыту.»)

Разговор перешел на итальянцев, столь пришедшихся нам по душе. Не слишком ли мы ими очарованы? Не поверхностны ли наши впечатления? Конечно, поверхностны, отвечала *Julienne*, но это не значит, что ваши поверхностные не совпадают с глубинными. Однако

чтобы в этом убедиться, надо жить долго в стране, а если нет возможности, читайте книги умных людей, тех, кто не на шутку заинтересовался вопросом: почему итальянцы вызывают у всех симпатию.

«Небось и французы такие же simpatico», – предположила я. Juliette встала: «Oh, no! The French are so arrogant!» Произнося «arrogant», она невольно придала лицу *надменное* выражение, из чего я заключила, что ее мнение обязано личному опыту. Что-то вспомнив, она вышла в коридор, где на полках хранилась ее библиотека, и, вернувшись, положила рядом с пирогом толстую книгу на английском: «The Italians» Luigi Barzini. – «Дарю вам. Не во всем согласна с ним, в частности, с главой о семейной жизни. Но в целом он обнажил сердцевину итальянского характера. И пишет обаятельно, с юмором и душой и честно.» – «Почитаю в самолете!»

Открыла книгу через два года, когда собралась в Рим встречать мать, а до второй поездки в Рим распорядок дня определяла американская *vita nuova*. Через два года и мой английский уже сгодился для этого богатого деталями, накопившимися за два тысячелетия, портрета нации пера Луиджи Барзини, публициста с именем и в Италии, и в США. Написано так, как пишут раз в жизни, как свое самое главное.

В тот прощальный вечер разговор самым естественным образом переходил от одного национального характера к другому. Когда я заявила, клянусь, совершенно чистосердечно, что к нашему везению найти приют в ее доме прибавилось то, что она, хоть и радикальная феминистка, разделяет экзистенциальные ценности с русской интеллигенцией (разве что равнодушна к поэзии), Juliette расхохоталась вполне неприличным образом. В ответ на хохот я попросила ее назвать какие-либо характерные черты русских. Она ограничилась таким вот анекдотом:

Профессор университета уезжает в долгую творческую командировку и приглашает студентов на прощальное собрание. Выпивают немножко, обсуждают волнующие вопросы, засиживаются. Профессор говорит: «Знаете что? Пожалуй, я могу отложить свой отъезд на день. Приходите ко мне еще и завтра, попрощаемся как люди». История, конечно, повторяется, а на третий раз профессор смущенно шепчет: «Нам так хорошо вместе, никуда я не поеду».

Похоже на анекдот с дореволюционной бородой, ‘до 17-го года’, но мы его не знали и несколько озадачились: неужели нас так видят? Вернее, не нас, а наших отцов-дедов. С другой стороны, среди моих знакомых в 1970-е, пожалуй, нашлись бы те, кто после надрывной «отвальной» отменили бы свою эмиграцию...

Прощаясь, Juliette повторила свое приглашение останавливаться у нее, если она в городе, и добавила, что по натуре она тоже путешественник, и, кстати, давно не была на родине, так что мы можем ее ожидать уже этой осенью. Что и произошло.

Надо сказать, в более живописной, пасторальной обстановке за все последовавшие американские годы (а их уже 46) мы не могли бы ее принять: баловавшая нас с римских дней судьба поселила на первые два американских года в коттедж на земле обширного поместья среди лесов, полей и водохранилищ северной части графства Westchester (village Mount Kisco). Поблизости от места работы Виктора (IBM Research Center), где и я нашла себе скромное пристанище part-time, одновременно посещая курсы по «американской цивилизации» (часть из них вольнослушателем) в одном из колледжей университета штата Нью-Йорк. Julienne не могла нарадоваться на наше благоденствие, при этом посматривая на нас с новым любопытством, но и не задавая вопросов типа «как же так, из СССР и сразу наверх»? Впрочем, я сама уже ее оповестила о реакции работодателя – математика, известного Виктору по статьям в той же области: «Знаете ли вы, что создали школу? Мы готовы к сотрудничеству».

XIII. JULIENNE в МОСКВЕ

Для Julienne мы были первыми пришельцами из России, кого можно пощупать, и, относясь ко всему с живейшим интересом (не потому ли нас и взяла к себе под крышу? то есть не только наше «сжигание за собою мостов» напомнило ей собственную психологию ухода в феминизм, но и наша инакость была ей любопытна), охотно приняла через меня приглашение от моих близких московских друзей остановиться у них на несколько дней, когда она впервые выбралась в Россию, – конечно, после падения «железного занавеса». Год был 1995, месяц сентябрь. Не получилась, однако, поездка без сучка без задоринки.

В Россию она решила заехать по дороге в Китай, тоже впервые и тоже по давней мечте увидеть своими глазами. Там в те дни проходил международный конгресс, освещавший «женский вопрос» в мировом масштабе. Мои друзья встретили Julienne в Шереметьево, привезли к себе на проспект Вернадского, рядом с метро «Юго-Западная», показали центр Москвы. Которая ее разочаровала. Julienne, прочитавшая достаточно русских романов XIX в., медведей на улицах не ожидала, но атмосферу помещицкой усадьбы вдохнуть жаждала. А Кремлевские стены и башни, оказалось, словно переместились из ряда северных городов Италии. Прелесть московских переулочков с прикорнувшими мшистыми ветхими церквями она не успела прочувствовать.

Села на поезд – и одна, ни к каким туристским группам не присоединяясь, не зная русского, поехала в Питер. Одна бродила по городу; невские пейзажи, несмотря на итальянское архитектурное засилье, ее пленили. Вернулась и, оставив у моих друзей часть багажа, полетела в Китай, а вот когда самолет на обратном пути снова

приземлился в Шереметьево, ее ждал очень, очень неприятный сюрприз: ее не пустили в Москву, оттого что римское бюро путешествий не оформило визу с остановкой в Москве на обратном пути.

Мои друзья встречали ее, как было условлено, она собиралась еще дня три провести в Москве, но ее не выпускали из таможни: лети, мол, в Рим, да еще доплачивай. Наконец мои друзья вызвали на помощь кого-то из своих более-менее «новых русских», и ему после бесконечных переговоров удалось выволить Juliette, но с ней произошло что-то шоковое. Общение с российской пограничной службой на таможне преобразило ее до неузнаваемости. Словно она побывала в чека. Или в гестапо.

(К слову, гитлеризм ей представлялся чудовищнее сталинизма, и когда я сомневалась, она выражала свое несогласие лишь взглядом, излучавшим муку. Возможно, ее в свое время поразила мысль высоко ценимого ею итальянского писателя Примо Леви, прошедшего через Освенцим, о том, что Холокост понять невозможно... *и не нужно*. Еще до газовых камер декретами запрета для евреев (к примеру, покупать наиболее питательные продукты типа яиц, мяса, фруктов) цивилизованная страна построила общество абсурда, а ГУЛАГ, как ни масштабен в убийстве, всё же объясним животной природой человека.)

Случилось так, что и я прилетела в Москву, но не планируя заранее и для Juliette неожиданно. Умерла моя мать, и мне захотелось быть в Москве, где жизнь у нее после дореволюционного счастливого детства и яркой, хотя и нелегкой молодости, должна была принять тягостный груз нескончаемых забот и страданий за близких, но осталась жизнью, а вот об американской ее жизни этого я не сказала бы. Я ходила по нашей с ней старой Москве и навещала оставшуюся ближайшую родню: ее брата, племянниц, двоюродного брата Георгия Щетинина, художника-правдоискателя (в одиночку, непокладисто искавшего правду искусства ради правды жизни), постепенно получившего признание в постсоветском обществе.

Juliette уже находилась у моих друзей Тани и Валерия после неприятностей в таможне. «Два дня на улицу не выходит, лежит в спальне, есть не хочет. Но вообще-то виновата она сама, почему ее должны были впускать в Москву без визы на том основании, что неделю назад она здесь находилась по визе, сейчас уже просроченной?», – сообщила по телефону Таня. Я помчалась к ним, у Juliette был незнакомый мне пристукнутый вид, она почти не говорила, только слабо улыбалась. Таня, мастерица на все руки, закатила добротный русский обед: щи, кулебяка, водка-селедка. Juliette к выпивке всегда была равнодушна (может, и впрямь мое сравнение Juliette с русским интеллигентом было притянуто за уши?), так что даже не пригубила, но мы все трое так плясали вокруг заморской гостьи, что она немного отошла. Жаль, Танин муж Валя, весельчак и замечательный остроумец, в отли-

чие от жены, почти не знал английского. *Julienne* изумленно слушала Таню, болтавшую на ломаном английском так раскованно, что наконец я поняла, чего не хватает в моих нелегких отношениях с Инглишем, – именно раскованности. Мели, Емеля! – лучший метод, серьезно.

Было еще светло, захотелось прогуляться с *Julienne* по местам детства (Чистые пруды и окрестности) – ни-ни-ни – она не покидала помещения, дожидаться бы завтрашнего дня и – в самолет, а там Италия – home, sweet home. Впервые я наблюдала близкого мне человека в состоянии так называемой некоммуникабельности. Уж не пытали ли ее в таможне? Наверяд. Скорее всего, дразнили – мол, будут держать, пока из Италии не придет исправленная виза.

Утром за ней приехал на собственной машине друг семьи, тот же «новый русский». Муж Тани внезапно поцеловал *Julienne* руку на прощание (не выразив ли тем самым протест против феминизма?), она приняла это как должное, слава богу, и «новый русский» укатил ее, заметно повеселевшую, в Шереметьево.

Таня стала мне рассказывать, какие темы они поднимали вчера, когда я ушла: добро и зло новой России, среди нового добра – возможность путешествовать по всему миру. И тут Таня попросила *Julienne* прислать ей гостевое приглашение в Рим. *Julienne*, разумеется, согласилась.

«Объясни ты мне раз и навсегда, что это такое – феминизм.» Я объяснила. «Нашим женщинам это неинтересно, они любят своих мужчин, все вместе страдали от советской власти; нам, женщинам, хочется быть женственными, красивыми для наших любимых, а ваши феминистки – вижу их по телевизору – как они безвкусно одеты! – нормальным мужчинам нравиться не могут. Не дай бог, через несколько лет и у нас будет такой “феминизм”, но сейчас, когда появилась одежда, мы хотим, наконец, хорошо одеваться, а получается, опять не дают!» Досаду Таня выстрадала, и сбить ее с позиции воинственной женственности было невозможно. Да я и не собиралась, помня, как судьбоносны были платица и тем более пальтишки с шубками в жизни советской женщины (раздобыла что-то к лицу, и тебя начинают приглашать в ‘интересные компании’, а там и любовь, серьезная, вполне может встретиться). В последовавшие годы Таня продолжала одеваться женственно: юбки в обтяжку, сарафаны, блузки с кружевами, но и джинсами не пренебрегала. Точь в точь *Julienne*.

В письме из Рима в Нью-Йорк *Julienne* сообщила, что приглашение в гости она Тане вышлет в благодарность за трогательное гостеприимство, несмотря на... Что-что? Не сошла ли, в самом деле, с ума *Julienne* в российской таможне?! «Your Tanya is a fascist», – читала я черное на белом. Срочно позвонила в Рим. – «Почему ты так считаешь? Мы и подружились еще в студенческие годы, потому что более рьяных и при этом остроумных антисоветчиков мне не попало в

моем окружении; Валька собирался с аквалангом переплыть морскую границу на Дальнем Востоке: “дуть прямо до Гавай”, ну не собирался, а мечтал...» – «Мы с ней о разном говорили, когда ты ушла. Она, конечно, не знала, что я читала в газетах про общество “Память” и др. Она, например, сказала, что евреи сейчас эмигрируют не оттого, что их ущемляют в правах, а ради материальных выгод.» – «И что, думать так – это фашизм?» – «Да, фашизм. С этого начинается фашизм.»

Однако Таня вскоре отказалась от приглашения, объяснив, что мало где была в родной стране, а здесь столько интересных мест. Теперь, когда они с мужем стали значительно больше зарабатывать, лучше по России поездить, а за граница может и подождать.

Концы с концами здесь всё же не сходятся. Подозреваю, что не фашист в Тане родился, а антифеминист – зверя этого каким-то образом пробудило знакомство с Julienne. Ведь очень скоро Таня поехала с туристской группой в Париж и потом не раз вспоминала, какая это была сказка – Париж. И там еще встретила в холле отеля даму средних лет, француженку, и поняла, что нашла свой идеал красивого старения и будет ему следовать в общих чертах. Таня не была пустой мешанкой, но ее буквально ужасал американский образ женщины, не сходивший с экранов российского телевидения в 90-е годы. «Зачем нам эта Madonna и прочие леди га-га-га?», – прокурорски спрашивала она каждый раз, когда я приходила к ним. А навещала я их ежегодно, любила их, старых друзей, они были милейшие люди. Но когда бандиты из «новых русских» украли у них квартиру умершей матери, они невзлюбили Америку. Сколько я ни говорила, что не сужу русских по их бандитам, потому что знаю страну, а вот они Америку не знают и знать не хотят, получала отпор: «Нам очень не повезло, что об Америке нам стали рассказывать эмигранты. Ругают они или хвалят, у них специфический взгляд. Мы перестали смотреть их на ТВ. А настоящим американцам к экрану не пробиться». История кончилась тем, что они стали голосовать за Путина. Потом неповторимый талантливый Валька умер от ковида.

Почему-то я не решалась спросить Julienne прямо, *что* так уж потрясло ее при задержке в аэропорту и не признает ли она свою долю вины. Возможно, я опасалась услышать что-то очень уж обидное о моей ‘малой родине’, что-то, что я сама впитала с молоком матери. Однажды я спросила ее, как она воспринимает на слух русский язык, самый звук его. Ответ меня удивил немало: вы говорите, словно у вас каша во рту. – А как же наше раскатистое «р-р-р»? Не раз я, слыша итальянский издали, принимала за русский! А ‘кашу’ межзубных th я всегда слышала в английском...

К концу 1990-х она прямо-таки потребовала, чтобы я рекомендовала ей книгу, рисующую внятную картину того, что происходит в России. «Да много таких книг выходит, есть немало честных доку-

ментальных.» – «Нет, назови художественный роман.» – «А разве роман больше тебе объяснит?» – «Yes, a novel can provide a deeper insight into a complex situation.» Признаюсь, преимущество «вымысла» над «фактом» я продумала пристально только после этого диалога, хотя объяснение лежит на поверхности: вымысел худо-бедно заполняет белые пятна на карте истории между фактами. Факты, однако, в XXI веке поставляются перманентным информационным взрывом, и в парах его радиации поди сыщи эти белые пятна для раскраски связующим смыслом.

XIV. ГОРОДА И ГОРЫ

Mio viaggio lento – мое медленное путешествие – делает очередной скачок в более отдаленное прошлое.

Создал Виктор ‘школу’ или нет, годичный отпуск в исследовательском центре IBM ему был положен, как всем, двухнедельный, – тут Америке было догонять и догонять СССР по производству времени досуга для научных работников, но всё равно с парой ‘траверсов’ в Италии – при ее-то плотности искусства на поселение – можно было обернуться. Нас, однако, не тянуло в нашу ненаглядную: для иммигрантов без году неделя Америка даже в пределах Вестчестерского графства успешно конкурировала с любыми заморскими путешествиями: она сама была Заморская, с заглавной буквы. Потом В. перешел в университет, а там всё лето отпускное, и когда на его горизонтах возник пизанский профессор Дарио Бини из той же ‘школы’, что он, Виктор, не подозревая о том, создал, – тогда и очутились мы снова в Италии, через шесть лет, уже летом (мне одной довелось провести в Риме январь 1979-го в связи с эмиграцией моей матери).

Ссора на воде.

Город Massa (Масса), июль 1983-го, жара. Адская в близлежащей Карраре, но выручает нештучное великолепие мраморного карьера, вездесущий призрак Микеланджело, переключающий внимание с тягостей тела на победы духа. Так что закаляйся, как мрамор.

Море в Массе пляжное, наши ребята после математического перегрева головы нуждаются в более активном отдыхе. Семейство Dario Bini уплывает на яхте в сторону Корсики, а мы дожидаемся прибытия Juliette, запланированного месяц назад в Риме. Чего не было запланировано, так это потеря ею, самым организованным человеком из моих друзей, дорожной адресной книжки (мобильные телефоны тогда еще не народились). Когда назначенное время встречи у нас дома истекает и проходит еще часа полтора, я направляюсь на главную рыночную площадь, но, очевидно, Juliette не догадывается, что эту точку я найду само собой разумеющимся местом встре-

чи в случае утери ею наших координат. Что мешало нам так условиться?

В угнетенном состоянии на обратном пути домой заглядываю без всякой задней мысли в какую-то забегаловку неподалеку от нашего жилища. На столике при входе лицом вниз распластана на руках голова Julienne, затылком выражающая сонный отказ от сражения с роком. Еще один счастливый случай в истории нашей дружбы, начиная с римского новоселья (по эпическому размаху, сознаю, несравнимого).

Julienne приехала на своем миниатюрном авто, и через день мы отправились на север вдоль Лигурийского побережья. Наши запросы, конечно, совпадали: плавать, swim, nuotare; безлюдные бухты; песчаные пляжи необязательны, сгодятся каменистые; зелень в поселках. Она знала места. Их имена я забыла, только в памяти звякает: «Cinque Terre, чинкуа терре».

Прошла еще одна неделя, веселящая тело и душу, – если не считать одного события, но в итоге мне (лишь мне, уверена) и оно пошло на пользу.

Как-то мы наняли лодку (без гребца) и, проплыв несколько километров вдоль берега, расположились в приглянувшейся бухте с пляжем. На север вдоль моря шла отвесная стена ‘в духе Кара-Дага’ (как тогда мы всё еще говорили и как давно уже не говорим теперь, поскольку подобных пейзажей в мире хватает), и мы отпросились у Julienne в лодочный мини-поход, не уточняя, на какое время. Ей на этот раз хотелось просто купаться и загорать ‘до упора’. Неважно, ощутили ли мы себя на Кара-Даге или нет – важно, что когда мы вернулись часа через три к Julienne, она встретила нас в бешенстве. Такой я ее никогда не видела. «Слава богу, в бухте еще другие люди высадились. Я уж собиралась обратиться к ним за помощью, чтоб они доставили меня на стоянку. Вы бросили меня ради своих удовольствий, это некрасиво.» – «Но ведь ты сама хотела сидеть в бухте до упора; еще совсем светло.» – «Да, но смотрите: солнце зашло за гору, и пляж в тени, а мне нравится после купания быть на солнце, иначе мне здесь делать нечего.» – «Мы этого не предполагали.» В довершение на море началось легкое волнение, и пока мы с В. гребли изо всех сил обратно, лодку качало, разворачивало, сбивало с курса. Опасно не было, но, похоже, Julienne в этом не была уверена и, пытаясь скрыть страх, теряла самообладание.

Неожиданно я осознала в себе совершенно новое чувство, вернее, хорошо забытое старое: злорадство, торжество над трусостью другого. А когда мы высадились на берег, попросили у нее прощения, поехали ужинать в хорошую trattoria, и она успокоилась, мое злорадство перешло в радость, ранее уж точно мной не испытанную, – радость, на самом деле несколько ущербную: я радовалась, что поругалась с подружкой, уроженкой моей новой страны (США), не из-за

каких-то политических разногласий и т.п., а по самому обычному житейскому поводу. Наверное, понять это трудно тому, кто не переселялся в чужую среду, где спектр эмоций может оскудеть из-за отсыхания тех или иных человеческих отношений. Вот что-то близкое в «Пьяцце Маттеи»:

...Я тоже, впрочем, не в накладе:
и в Риме тоже
теперь есть место крикнуть «Бляди!»,
вздыхнуть «О Боже».
.....
Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом, отелем, видом
Терм, Колизея.

А так он – место грусти, выи,
склоненной в баре,
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.
Сидишь, обдумывая строчку,
и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.

Размышляя позже, тайное удовлетворение больше ссорой, чем примирением, я приписала зрелости психики. Разнообразие чувств, радости и угнетения в непредсказуемом коловращении – вот в чем купается душа с ощущением силы и счастья, а не стремится к одним лишь ‘положительным эмоциям’.

Через несколько дней наша компания раскололась: Julienne отплывала (паромом) на остров Сардиния, где в небольшом прибрежном городке жили самые близкие ей, самые дорогие ей в Италии люди. Она называла себя ‘god mother’, т.е. крестной матерью одной из дочерей этой большой семьи, испокон века жившей рыбацким промыслом. Я не понимала, как атеистка может быть крестной матерью кому бы то ни было, и то, что одна из дочерей семьи была в свой час обращена Julienne в феминистскую веру, не уменьшало моих сомнений. Наконец я не выдержала состояния неясности и спросила, с чем мы здесь имеем дело, – с фигурой речи или с незнакомыми мне обычаями католиков на острове Сардиния? Оказалось, что с последним, но случившимся два десятка лет назад: Julienne, тогда начинающая феминистка, стала крестной матерью новорожденной дочки своей подруги, ныне матроны семьи. Семья была католической, но

трещать католицизм по всем швам стал позже. Главное, они столь очаровались странной американкой, что испросили благословения на обряд крещения у местного священника. Сказать по правде, беспокоило меня только одно: лишь бы *Julienne*, одинокая немолодая женщина, лишившись какой-никакой поддержки ее прежнего мужа (*Дживанни*, так и не женившись повторно, умер в 2002-м), в старости имела бы не фигуру речи, а семью во плоти. Что и произошло. Тому уже больше дюжины лет.

Итальянские антисиесты.

Проводив *Julienne* в ее путь паромом на остров Сардиния, мы приступили к осуществлению ностальгического плана возвращения в европейские горы. Вообще-то, как мы к тому времени обнаружили, американские горы как горы, только без *подходов* (романтизированных в обожаемых мной песнях советских альпинистов: «Ваш хваленый Кавказ не обитель чудес, а бульвар, где пижоны гуляют... То ли дело *подходов* нетронутый лес, неприступная высь Гималаев...»), а лишь с *подъездами*, т.е. подъезжаешь к основанию вершины на машине и восходишь за день (или ночуешь в палатке на маршруте) – получается горный спорт, а не путешествия в горах, как это бывало порой у нас на Памире, Тянь-Шане, Алтае, в Сванетии, где в горах пасли стада горцы, принимавшие в свои хижины иногда попавших в переплет путников. Приключениями такого рода Альпы нас не одарили, но зато к их итальянской части вели из Рима такие *подходы* из городов, что реализм культуры забивал романтику природы.

Уже первый наш траверс Италии 197-го, в двух направлениях из Рима – в северном: Флоренция, Лукка, Пиза, Венеция, Падуя, Виченца, Верона, Ассизи, Сан-Джиминиано, Орвието; в южном – Неаполь, Капри, Агридженто, Палермо, – перевернул наше представление о потенциале человека. Выходило, что любой, в каком ни окажись, случайно или по плану, старинный город Италии имеет свое лицо, всегда культурно насыщенное и непредсказуемо чарующее. Конечно, в центре всегда площадь с собором и *palazzo municipale* (здание городского управления), но на этом подобие заканчивается и начинается непредугаданное разнообразие искусства. Выходит, количество и качество итальянских городов находятся в оптимальных отношениях. То есть чем больше городов, тем они лучше и разнообразнее. Могу сравнить только с большим коллективом талантливых людей, например, в университете. Попытка объяснить сей озадачивающий фрагмент истории культуры вела в тупик собственного невежества. На первых порах было достаточно разделить сильные переживания и вдохновенные гипотезы неслабого авторитета – Николая Васильевича Гоголя – в повести «Рим»:

«Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на

таким тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений: волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недрах незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах!»

Оставалось только проштудировать *целые томы истории*. За прошедшие годы даже не целые таки подтвердили для меня гоголевское видение в повести «Рим».

Генуя. 1983. Солнце печет всюду, но солнечный удар нам не грозит. Ущелья улиц Генуи столь безумно узки, что солнцу до пешехода не дотянуться. Поражает мощь построек на ограниченном пространстве, высоченные здания почти соприкасаются фасадами, кариагиды удерживают здания напротив – так кажется в полумраке улиц даже днем. Гигантские окна призваны дать больше света внутрь комнат.

Генуя. 1863. «Ну, город! Дома с колокольню, а улицы в 2 вершка шириной. Дома расписаны и архитектуры чудовищной, крыши поросли травой», – дивится Генуе молодая Аполлинария Сулова, путешествуя по Италии с Достоевским.

Словно смычком Паганини, уроженца Генуи, навеки втесан генуэзский авантюризм в камень города. Можно представить, с каким наслаждением вырвался на простор океана другой авантюрист, другой генуэзец, Христофор Колумб. Николай Васильевич Гоголь видит в нем – точнее, в эпохе великих географических открытий – начало конца славной истории Италии. Как он сокрушался, как мечтал о ее возрождении на уровне Ренессанса, не меньше. Всегда изумлялась чуду Гоголя, и всё больше начинаю понимать, какую вдохновляющую роль сыграла в создании «Мертвых душ» неумирающая душа Италии. И уже не удивляюсь, что человек работает, имея перед собой результат труда других, и ему очень хочется попасть в хорошую компанию. Вот почему он писал «Мертвые души» большей частью в Риме – чтобы иметь образец мастерства и трудолюбия перед глазами.

Впечатление от нашего первого итальянского, зимнего траверса 1977-го без колебаний подтвердил наш летний траверс 1983-го:

Вольтерра, Пиза, Масса, Каррара, Генуя, Милан, Бергамо. Далее города уступили место горам, то есть курортам в предгорье Monte Bianco, и когда мы исходили многие его тропы, то переместились на французскую сторону, в Chamonix-Mont-Blanc, где Виктор взшел на Монблан (не один, в группе из трех).

Города и горы – максимально отдаленные друг от друга полюса: культура и природа земного мира. В северной Италии эти полюса тянет сближать. «Горы – соборы Земли» (Джон Рёскин), а соборы городов Апеннинского полуострова образуют массив вершинной архитектуры в буквальном и переносном смысле. Полное право на эту нехитрую метафору получаю после второго летнего траверса через год (1984): Сиена, Перуджа, Губбио, Равенна, Болонья, Феррара, Мантуя и – Доломитовы Альпы.

Мантуя с ее возносящимся камнем среди вод в центре города обрушилась сверкающей увертюрой к Доломитам. В первый же выход в горы попадаем под камнепад. Отделяемся испугом – легким он, когда камни летят невесть откуда, – не бывает. Или вот гроза с градом размера в куриное яйцо застает на альпийских лугах, где спрятаться совсем негде, а на везение рассчитывать ненаучно (но и на науку найдутся охотничьи рассказы!), это уже в Альпах австрийских. Отдали должное всем – и швейцарским, и французским. И савойским – вершины поэтов Гронского и Цветаевой – Белладонне. Остановилось однако: на этой бумаге я рисую пейзажи не гор и даже не городов, а – ‘голода’, напомним, советской невыездной. Утоленного или нет, раз всё еще вспоминаю? Не забытого, уж точно.

Когда вернулись в Рим перед отлетом в Америку, был уже август. Райская жара. Не бремя, а благо: Рим совсем опустел, ушел в отпуск, а пришельцы тяготели к тени, мало заслоняя залитый солнцем город. Августовский Рим обернулся гигантской пешеходной зоной – изрядно превосходящей в площади *tutte zone pedonale* (все пешеходные зоны), вводимые медленно, но верно, в повседневность горожан помудревшими муниципальными властями. И вот он – наш *праздник антисиесты* в летнем Риме: пустой Вечный город «под небом золотым», шагай себе сколько заблагорассудится, в сухом воздухе дышится легко. И не простудишься, валяясь на камнях в тени. Я готова предстать перед консилиумом самых передовых фрейдистов мира, но Рим я люблю еще и плотски. Я ласкаю терракотовые стены, прижимаюсь телом и лицом, сую нос в трещины. Должно быть, пришло время для ритуальной трапезы перед громадой пространства-времени Пантеона: всегда берем грибы (божественно их римляне зажаривают) и белое вино. Пьем за здоровье Августа. Кто чьим именем назван – первый римский император Октавиан Август, основатель

Римской империи, или восьмой месяц года, или прилагательное? Оказывается: сначала прилагательное «божественный, светлейший», затем имя императора, потом – месяц.

Просвещает ученая поэтесса Ева Брудне-Уигли, подруга, у которой мы гостим. Она арендует два этажа ветхого палаццо на Via di Parione рядом с Piazza Navona, вместе с ней сын-школьник и муж. Австралиец, он часто в разъездах, у него неведомый нам солидный бизнес, приносящий крупный доход, позволяющий снимать жилье на Навоне. Сыну Евы забавно, что мы спим на крыше палаццо, он бегает вокруг, перескакивая через наши распластанные тела – под небом расширяющейся Вселенной. Утром Ева отводит меня к сапожнику на Via di Parione подбить босоножки. Сапожник выглядит точь-в-точь, как ассириец у нас в Кривоколенном переулке полвека назад. Собственно, что мешает ассирийцу добывать хлеб насущный в Риме, если он решил эту задачу в советской Москве?..

В тени НАТО – Лукка.

Да, неделей в июне 1992-го в Лукке и ее окрестностях обязаны никому/ничему другому, как НАТО. Ничего милитаристского, лишь покровительство науке и искусству смогли мы заметить на математической конференции, оккупировавшей просторную виллу недалеко от Лукки. Не будучи участником научных дискуссий, дни я проводила вне четырех стен, пускаясь в прогулки по сельским дорогам, но даже июнь в Тоскане суров к пешеходу; всё же сухим солнечным воздухом, напоенным разомлевшими травами, пропиталась, на весь спектр зелено-желтых тонов окрестностей нагляделась, на довольно таки враждебное тьяканье собак, стерегущих виноградники и оливковые сады, наслушалась.

Однодневная экскурсия под крылом НАТО в Лукку, набитую до отказа искусствами со времен этрусков, в числе своих радостей принесла прогулку по верху полностью сохранившихся со времен Ренессанса крепостных стен, таких широких, что еще в начале XX века по ним ездили прогулочные экипажи. Догадалась только сейчас, почему наш римский Луиджи Фаббро повторял с сожалением: «migi... migi... migi», когда мы ему рассказывали в январе 1977-го, что перед Пизой ненадолго заскочили в Лукку уже в сумерках и не стали подниматься на стены (migi). (А значительно более поздний отчет о Болонье сопровождался его каденциями одобрения: «arcade... arcade... arcade» – еще бы, весь город можно обойти, не выходя из-под опоясывающих здания *аркад*, спастись в жару и не промокнуть в дождь.) Почему так приятно ходить по крепостным стенам, отчего вид сверху на город, если он пригож и уютен вроде Лукки, умиляет? Словно развернула складную книжку с картинками. Вот рыночная площадь, построенная на развалинах античного амфитеатра, почти

точный овал. Уже давно люблю овал, а когда-то в известной полемике двух поэтов: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» – «Я с детства полюбил овал, за то, что он такой законченный», – в овале видела «отсталось вкуса», – Италии на меня не было, в частности, овальной площади, совсем уж обворожительной в Сиене. А вон беломраморные кафедральный собор San Martino и церковь San Michele, впервые увиденные еще 1 января 1977-го на пути из Флоренции в Пизу и, как нас там просветили, построенные под веянием пизанского духа грядущего Ренессанса.

А вон... дом на площади, где родился и писал оперы Giacomo Puccini – гений места Лукка. Тогда еще не был водружен рядом памятник великому композитору, лишь в третий наш визит в Лукку (2002) представился случай выразить благодарность автору «Богемы», «Тоски», «Мадам Баттерфляй» от себя в далекой юности, когда пуччиниевский мелос формировал нечто более роковое, чем музыкальный вкус.

Бронзовый Пуччини сидит, закинув нога на ногу с лукканским шиком (да, Лукка – шикарное место, еще во времена античности здесь обнаружили целебные воды и заложили ‘курорт’). Легковесный образ? Да нет, просто скульптор находчив: реалистичностью решения – одним небрежным (но элегантным, непременно элегантным) движением ноги – обозначен вклад Пуччини в оперу: стиль *verissimo*, реализм. А как же музыка, богатая нежащими и разрывающими сердце мелодиями? Объявим Пуччини создателем *мелодийного реализма* (а меня – термина!), ведь в музыке мелодия как раз и есть наиболее реальная, наиболее трогающая человеческую душу сущность. И как реализм в живописи или литературе, мелодия в музыке авангардными творцами тоже не шибко жалуется. Ничего, нам, отсталым, больше достанется.

Мне было за что благодарить автора оперы «Тоска»: в моей ита-лофилии, заведшей меня в его страну и потом в Новый Свет, часть вины приходится на арию Каварадосси, в детстве раскрывшую мне архетип итальянского пения. На мой вкус, лишь один у этой арии недостаток – кратка, и это не комплимент композитору, а упрек либреттисту: высокий надрыв музыки требует более длительного словесного сопровождения, рассказа; слушателю нужно побыть с Каварадосси еще несколько минут – это мне внушает не рацию, а ухо психики.

Так какое действие на состояние моего ‘несвященного безумия’, гнавшего в Италию, оказывала ария Каварадосси? Ускоряющее, я бы сказала. Трагическое в итальянской вокальной музыке, конечно, было мне особенно близко и особенно восхищало; трагизм у итальянцев с их древнегреческим наследием гармоничен, кантиленен. Можно понять и принять сопротивление серьезной композиторской мысли

‘итальянщине’, но по мне, слушателю без образования, итальянский надрыв на сто голов выше современной бесстыдной крикливости певцов эстрады.

Пение зовет настойчивее всего прочего. Можно сомневаться в уме, истине, но не в красоте. Советская власть перекрывала нам кислород знания о жизни за границей, а что касается красоты, то и ее во многих проявлениях: в литературе, изобразительном искусстве, театре (кино). А вот с бессловесной и бесплотной музыкой, особенно с мелодией, ‘искусствооведам в штатском’ было не справиться. Спинной мозг что ли держали в своих страстных и крепких руках итальянские мелодии, и я знала всей собой, что родина этих мелодий – моя. Пробил час, когда Италия как Мелодия всего сущего, чем живет человек, призвала к себе.

Мне всегда хотелось найти источники красоты итальянского мелоса. Понятно, что существовала сильная традиция. Но как она возникла, чем питалась многие века? Соображения у меня простые, чтобы не сказать самые примитивные. Так сложилась европейская история, что с определенного времени – позднего Ренессанса – Италия находилась в постоянном подчинении тем или иным внешним, чужеземным государственным силам, отсюда – итальянский пессимизм в отношении социальных преобразований, хаос в политике, фатализм, трагизм. Да, за жизнерадостностью итальянцы с присутствующей им артистичностью скрывают весомую печаль.

Великие достижения культуры в недалеком прошлом наглядно агитировали красотой вездесущих искусств противостоять несчастьям и держаться ‘красиво’ тем непреклоннее, чем меньше государство справляется с бедами. Я верю Луиджи Барзини, когда он в своих «Итальянцах» говорит о важности повседневного спектакля для его народа. Шекспировское «Мир – театр, люди – актеры» для итальянцев не открытие на пике жизненной мудрости, а здравый смысл, усвоенный в быту. Жить – играть. А уж петь – тем более. Петь = жить, поют только живые, какая музыка у мертвых душ? Итальянское пение – жизнь и, одновременно, искусство с головы до пят. Пение спасло Италию. Гоголь в финале «Рима» сентиментален, коряв, но пронизателен:

«Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам».

XV. ТОТ САМЫЙ БУКАЛОВ

«Posso parlare con signore Alexei Bukalov?» – «Витя, кончай валять дурака. “Убежал Алеша в лес, испуская аш два эс!” – я не забыл

твою дразнилку... сколько лет мы с тобой не виделись и вообще не разговаривали?... По моему счету... 50! Как ты меня нашел?» – «Мне стали попадаться публикации некого Алексея Букалова в “Русской мысли”, “Новом русском слове”. Сначала я не думал, что это ты, но потом почувствовалось что-то до боли знакомое. Дай, думаю, проверю: а вдруг? У меня в Пизе коллега, математик, местный, ему не составило труда узнать твой телефон. Заодно выяснилось, что ты возглавляешь отделение ТАСС в Риме и Ватикане! Послушай, Алеша, “Я знаю, ваш путь неподделен, / Но как вас могло занести / Под своды таких богаделен / На искреннем этом пути”, – это уже не моя дразнилка, это Пастернака, если помнишь.» – «Всё помню! Но после 1991-го от ТАСС осталось только имя. Правда, сейчас что-то снова поворачивается не в ту сторону... потом поговорим. Ты где? Всё еще в Москве?» – «Нет, 30 лет как в Америке.» – «У меня в Нью-Йорке дети и внуки.» – «А у меня только жена. Она Италию любит, кажется, не меньше, чем меня.» – «Ну так приезжайте в Рим! Я встречу и привезу к нам.» – «Мы только что вернулись из Перу. А через две недели летим на конференцию в Кортону, это в трех часах езды поездом от Рима.» – «Не был там; всюду в Италии, кажется, был, а вот в Кортоне нет.»

Беседа еще продолжалась, Алексей рассказывал про свои злоключения с КГБ до 1991-го, про то, как его выдавили с дипломатической службы (после учебы в МГИМО на итальянском отделении) и он подался в журнализм (научно-технический), а после падения железного занавеса пошли хорошие годы: направление в Италию возглавить ТАСС, также интересная работа с Ватиканом, занятия на досуге исследованием итальянских и африканских мотивов в творчестве Пушкина («Пушкинская Африка», «Пушкинская Италия» и др.). С 2001-го в составе папского пресс-пула Букалов сопровождал римских понтификов (Иоанна Павла II и Бенедикта XVI) на борту их спецсамолетов, освещая папские заграничные апостольские визиты. На его счету и ряд других эффектных профессиональных достижений, оцененных престижными премиями в России и Италии. Но есть и одно непрофессиональное, которое не могу не отметить: Алексей – вдохновенный старожил и знаток Рима, всегда привечавший товарищей по счастью любить Рим. Об этой его линии жизни снят документальный фильм «Тот самый Букалов». Мы посмотрели его много позже, после того, как Виктор, закончив длинный телефонный разговор с Алексеем, произнес, не веря себе: «Тот самый Алеша».

Подслушивая на параллельном телефоне исторический разговор в эфире двух друзей с детского сада, начало разговора я запомнила наизусть – так поразило меня мгновенное узнавание Алексеем голоса своего однокашника через полвека. Именно однокашника, хотя они и не учились вместе в школе. Кашу они вместе ели в детском саду – стало быть, недолго, год-другой, но приятельствовали потом еще лет

десять в роли ‘персональских детей’ – детей персонала летнего детского сада от Академии Наук под Звенигородом (Алешина мать работала врачом, Витина – в бухгалтерии). Какими разными ни родились Алеша и Витя в сей лучший из миров (их биографии красноречивы на этот счет), они совпали в привязанности к детсадовской даче, каждое лето туда ездили, ни разу не изменив ей с пионерлагерем. Практически это были дачные будки (попроще ахматовской в Комарово!), построенные родителями за свой счет, частично своими руками. Близость ли Москва-реки, из которой дети, как водится, не вылезали, долгие ли велосипедные поездки, не запрещаемые родителями, отсутствие ли «мертвого часа» (боготворимого лагерным начальством столь истово, что этот ‘мертвый’ остается среди самых живых воспоминаний детства) – неведомая сила влекла персональских детей на дачу. Даже как-то собрала их, уже студентов разных институтов, на reunion в Москве. Это был последний контакт Алешы и Вити перед встречей через 50 лет в римском аэропорту (2008).

Седовласый старче стоял посреди зала прилета, недоуменно глядя, как мы приближаемся к нему. Он сам сказал нам об этом позже, за завтраком у себя дома: мол, не ожидал, что Витя изменится до неузнаваемости. Тут же спохватился: сейчас Витю снова не узнать, т.е. напротив – узнать, сейчас в нем прорезался звенигородский дачный пацан, как на предьявленной нами копии фотографии 60-летней давности.

Галина, жена Алексея, с раннего утра уже вела экскурсию по Риму. Хорошо еще, у Алексея и Виктора почти не было общих знакомых, иначе засиделись бы мы, обсуждая, как у кого из них сложилась жизнь, и на следующее утро отправились бы в Кортону, не пройдясь хорошенько по Риму после пятилетней с ним разлуки. Правда, мы только-только вернулись из ошеломительного перуанского путешествия и тянуло поделиться свежими впечатлениями, но, с другой стороны, в ситуации полувековой неконтактности различие между свежими и не свежими впечатлениями от чего бы то ни было – не принципиально, так что мы решительно встали из-за стола и отправились в город. Да и Алексею давно пора было проведать сводку новостей на своем компьютере, ожидавшем его профессиональной реакции. Он догнал нас на полпути к метро. «Мне хочется теперь вам признаться, что вообще-то я боялся нашей встречи. Ведь мы не знали друг друга и могли бы оказаться совсем чужими друг другу – что бы мы тогда делали?! А теперь у меня гора с плеч свалилась. Отпразднуем вечером! Тут неподалеку есть траттория, нетуристская.»

Таковой она и оказалась, – как и Галя, даром что общепризнанный классный римский экскурсовод. Бывая в Италии сравнительно часто и подолгу, начиная с 1976-го, мы общались почти исключительно с итальянцами, и это было откровение. Пришло время, тем не

мене, когда стало любопытно поговорить и с русскими старожилками Рима. Мы спрашивали наших хозяев об Италии, почти не уделяя внимания блюдам, выбранным для нас так продуманно и щедро. Известная оплошность: упоенно болтаешь и не замечаешь, что ешь и даже пьешь, а стоило бы. Помню зато свой вопрос к Алексею о причинах экономического процветания Италии. Занимал он меня еще и потому, что у меня был свой ответ, и мне хотелось услышать мнение такого человека, как Букалов.

Еще в 1976-м, прикипев к Италии, не могла я не задуматься о бедности, в которой страна находилась в те годы. Мне, небогатой, ее бедность в глаза не бросалась – как и дешевизна товаров, но экономически грамотные люди дешевизну ‘вычислили’ и считали симптомом слабой экономики. Дешевизна сочеталась с завидным качеством товаров, и, восхищаясь несравненным итальянским вкусом, я пророчествовала с жаром, приличествующим родителю говорить о будущем ребенка: «Пройдет еще несколько лет, раны войны затянутся полностью, и вот увидите: Италия выйдет на первые роли в мировом рынке, исключительно благодаря традициям и талантам своего народа». Далеко же завела меня италофилия! Однако мое предсказание сбылось, даже Juliette давно согласилась, уже не говорит, что в бедность Италию загнало угнетенное положение женщины, более тяжелое, чем, к примеру, в Британии или Германии.

Алексей благосклонно кивал головой, а потом дал дополнительное, возможно более веское объяснение. Высокая культура труда, свойственная итальянцам с незапамятных времен, в годы послевоенной разрухи была поддержана экономическими ресурсами плана Маршалла. Скорее всего, более эффективно, чем в других странах, которым помогала Америка, потому что итальянцы, люди здравомыслящие, не страдают ‘комплексом благодетельствованного человека’ – нелюбовью к благодетелю. Антиамериканизм, затопивший мир, в Италии, по опросам, малопопулярен. Алексей знал, что говорил.

В италофилии, разумеется, надо знать меру, а то эгоистически начинаешь сетовать на слишком высокий уровень любви человечества к красотам Италии. Посмотрите карнавалы в Венеции on-line: апокалипсис. (В Бразилии, правда, в квадрате, но от этого не легче.)

Правда, итальянцы пытаются сохранять хорошую форму, т.е. следить не только за состоянием старинной архитектуры и содержимого музеев, но и стараются остаться итальянцами, сохранить свой образ жизни. Еще в 1986-м зародилось движение под английским названием «slow food», направленное против «fast food», а вслед за ним уже в Америке в моду вошла «медленная мода», так называемая «slow fashion» с ее призывом: остановить гонку новой одежды! На первый взгляд, от Италии, лидера в деле облачения тела в покровы, поддержки мы не найдем; с другой стороны, в чьи руки и отдать это

тонкое дело, как не королевы моды со стилем и душой (согласно давней оценке моей московской портнихи)? К сожалению, я не слежу за модой и не в курсе успехов движения «slow fashion», но в последние две поездки в Рим приобрела без труда в большом универмаге неподалеку от вокзала несколько тряпок для нашей семьи, расстаться с которыми скоро не захочется.

Наблюдается еще одно замедление – кто бы мог подумать: в туризме! На наших глазах проклеывается «медленный туризм» («slow travel»), а по-итальянски «viaggio lento»). Правда, очень медленно ‘медленное путешествие’ внедряется в массовое сознание. Может быть, сами итальянцы и будут путешествовать «медленно», по принципу «лучше меньше, да лучше», в иноземных странах, но очень сомнительно, что такие факторы их культуры, как «The fatal charm of Italy» («Роковое очарование Италии») или «The perennial baroque» («Вечное барокко») – названия глав книги Луиджи Барзини «The Italians» – ослабят «The eternal pilgrimage» («Вечное паломничество»).

По возвращении через неделю из Кортонны мы предполагали встретиться вечером в траттории «Giggetto al portico d’Ottavia», той самой, где в 1979-м отмечался мой день рождения (гл. VIII). Ультратуристское место в 2008-м, и Букаловы там не раз бывали, но для нас с В. вкушение жареных артишоков по-иудейски оставалось праздничным ритуалом, и мы жаждали разделить его с Алексеем и Галей.

XVI. ТРАВМА ПЕШЕХОДА

Какие воспоминания в наши дни обходятся без извлечения многуважаемой Травмы из глубины глубин памяти? Вот и я разоблачу свою.

Собираясь вернуться так же, как и прибыли, – поездом, мы стояли с вещами на остановке автобуса, подвозившего к железнодорожной станции. Сам городок Кортонна расположен на холмах в трех километрах. Тут и увидел попутчиков себе в долгую дорогу коллега Виктор, русский эмигрант, славный юноша, проезжавший мимо в машине, взятой напрокат. Шальная пуля современного комфорта задела нас, когда коллега развернул перспективы: не только домчим до Рима прям от точки, где сейчас стоим, – а если захотим, будем останавливаться в интересных местах, – но и закажем прям сейчас по его мобильнику отель на сегодняшний вечер.

Алексей предлагал нам ночлег под крышей своей виллы, но добрых людей надо щадить, а его мы всё равно увидим завтра вечером в «Артишоках», так что полный вперед, коллега, даешь Перуджу, Губбио и отель «Хилтон» – до коего мы добрались, скажу забегая впе-

ред, около трех утра, но главное, *как* добрались – *не так*, как доселе перемещались по Италии, а мчась по безликому скоростному шоссе в неоновом освещении среди индустриального пейзажа и затем блуждая по римским ‘Чертановым’, в одном из которых затаился один из «Хилтонов». (Уехавшая в сардинскую вотчину *Julienne* не была в игре.)

Остановиться по пути на два-три часа в Перудже и Губбио порекомендовали мы сами, когда-то эти места посетившие на заре наших итальянских путешествий, но повторять этот опыт не следовало: неповторим. Врагу не пожелаешь разезжать по Перудже в поисках парковки, вытряхиваться на полчаса и – снова в машину, высматривая себе очередной объект *sightseeing*'а.

Что касается небольшого поднебесного Губбио, там неприятность обещала не суета с парковкой, а просто несовместимость его головокружительного образа с внутренним миром нашего автомобиля. Слава богу, время вымыло начисто из моей памяти этот второй, ненужный, Губбио – спасибо психической самозащите организма.

Перуджа и Губбио – яркие эпизоды в моей жизни, а Рим – сама жизнь, и на два дня она была осквернена судорожным ритмом передвижения в машине, вываливанием в гущу толпы, далее воистину везде: наш спутник намеревался провести *sightseeing* по полной. Когда нам ‘бавезло’ и мы запарковались наверху Испанской лестницы у самой балюстрады, я попросила разрешения отпустить меня на все четыре стороны. Коллега не возражал, мои римские страдания не могли не отравлять ему единственный день в Вечном городе.

Произошло, однако, непредвиденное, но и неизбежное: Рим вокруг перестал быть *моим* Римом, а у нас было назначено свидание еще в прежнем Риме. Ни в какие «Артишоки» идти не хотелось, видеть Букаловых не могла в своем раздавленном состоянии, да и не имела права. Витя позвонил Алексею с извинениями, с полуслова был прощен. Разыскать пригородный «Хилтон», где остался наш багаж, подвернувшееся такси сумело не без проклятий (звучавших для меня сочувствием моей идиосинкразии), утром мы сменили отель на другой, рядом с Термини, железнодорожным вокзалом. Теперь – ноги в руки и лети по городу как птица.

Мы и полетели – прежде всего, предстать, как лист перед травой, перед Алексеем и покаяться нетелефонно. Святой человек, он вызвался приехать к нам сам, на метро, встретились на привокзальной круглой площади *Piazza della Repubblica*. Привокзальная не подразумевает сниженный статус в европейских старинных городах: в Риме здесь, на месте развалин бань Диоклетиана, находятся Национальный Римский музей (одно из лучших собраний античного искусства), микеланджеловская Церковь Мучеников, стремительный в камне и воде Фонтан Четырех Наяд, рядом Оперный театр, художе-

ственные галереи. Родные с 1976 года места. Добрейший Алексей спросил нас только о конференции в Кортоне, ни слова о моей отмене ритуальных артишоков накануне; я предложила зайти в trattoria тут же на площади, и Алексей вел себя с владельцем так по-свойски, словно они были знакомы, – таки были. Весь Рим, включая Папу, знал Букалова. Через день он уезжал на Венецианский кинофестиваль – место его ежегодных репортажей для России. Мы простились до встречи в Нью-Йорке, куда он регулярно ездил к сыну и внукам.

У нас оставалось всего полдня в Риме до отлета завтра. Надо было срочно избавиться от осадка вчерашнего автомобильного Рима, накрепко запомнив урок: Рим – пешеходный город. Направившись от Республики через знакомые улицы к Траяну и делая круг у Колизея на пути к Термини и к отелю, я стряхивала с себя вчерашнюю мороку, но ведь она, как и красота, в глазах смотрящего. Неожиданно, без всякой видимой причины (какая соринка попала не в глаз, а в мозговые извилины?) Римский форум выломился из моей сокровенной реальности, явившись зрению, как он есть: груды обломков, мизерабельные руины в пыли – без исторического ареола в моем воображении. Призывала прежнее магическое видение, но новое обыденное не исчезало... Прокол в ноосфере? Засиделась в мифе, и действительность восторжествовала? Или прав Пастернак: «всего сильнее тяга прочь, и манит страсть к разрывам»?

Но разрывов с Италией за прошедшие годы хватало, мы не только в Италию наведывались. Научный туризм Виктора уводил нас в Индию, в разные европейские города, Южную Америку. Только три недели назад вернулись из Перу, вот уж разрыв так разрыв! И Россия каждый год. Подсчитала, сколько к 2008 году у меня было поездок в Италию: 11 за 32 года, начиная с 1976-го. Я думала, больше. Возможно, учитывала те короткие пребывания в Риме, когда останавливалась в нем на пути в другие страны – Грецию, Израиль, Россию – с целью просто увидеться с Julienne и взбежать по двум лестницам на Капитолийский холм. Mai più. Nevermore.

XVII. ИТАЛЬЯНСКОЕ ТАНГО

В Нью-Йорке с Алексеем Букаловым мы встречались у нашей общей подруги Нины Бейлиной, известной скрипачки, получившей признание на Международном конкурсе им. Чайковского. К всеобщему ужасу, у Алексея начала развиваться агрессивная глаукома, и осенью 2015-го на грандиозной выставке скульптуры Пикассо в MOMA, он уже Пикассо не видел, а ‘слышал’ в нашем описании. Переходя от скульптуры к скульптуре, слушал вроде бы с интересом и – определенно с мужеством. Раза два мы водили Алексея, по его выбору, в «Русский самовар», что-то там грело его душу, там он даже видел

лучше, казалось мне. Как раз там я задумалась, почему Алексей всегда был ласков с Витей, хотя их мало что связывало в текущей жизни и виделись они раз в году? Должно быть, воскресший дачный дружок внес ноту детского безмятежного веселья в ностальгические сферы его очень взрослого мира (российский международный журнализм, римские папы, активная светская жизнь). Недаром он одернул меня с несвойственной ему резкостью, когда в застойной беседе я назвала В. с ничем не значащим смешком 'nostre professore' (наш профессор). Не тут-то было! – «Да, профессор. Distinguished professor. Запомни!» – почему-то серьезно встал он на защиту пришельца из детства от почудившегося ему непочтения. Тот случай, когда окрик стоит благодарности.

В последний раз мы встретились с Алексеем и Галей в сентябре 2017 году, в Риме, после еще одной конференции в Кортоне, организованной Дарио Бини. Если в прошлый раз (2008) мы жили в уютной обветшалой гостинице в центре средневекового городка, то сейчас нас поселили в palazzo, во дворце XVI века – столь огромном, что для строений подобных размеров итальянский язык выделил суффикс 'ne': Palazzone. В конце XX в. эта частная собственность была передана владельцем (очередным герцогом) в интересах науки университету Пизы для встреч ученых. Разместили нас с Виктором в гигантской комнате под крышей дворца с видом на долины и взгорья Тосканы. На горизонте просматривалось Тразименское озеро, на берегах которого произошла битва римлян с Ганнибалом во второй Пунической войне в III веке до н.э. На один из островов, где сохранились античные руины и памятники средневековья, в завершение конференции состоялась интересная экскурсия. Интересно и то, что на острове, где не было пляжа, купались в озере только русские математики. И их жены. Хорошая загадка для культурной антропологии. (Julienne, ничья жена и не русский математик, надо сказать, лезла купаться в озерах при первой возможности. Как-то взяла меня поплавать в каком-то озерке под Римом, а когда была у нас в конце 1990-х, просто потребовала, чтоб ее отвезли «на озеро», независимо от того, находилось ли оно в округе или нет. Любовь к плаванию в диких водоемах – бассейны она не признавала, разумеется, – еще одна ее черта, роднившая с 'русским интеллигентом', мое сравнение с коим неизменно вызывало у нее безудержный хохот.)

В своем новом итальянском состоянии после девятилетнего 'разрыва' с Римом, пока В. кантовался на конференции, я бродила по Кортоне и окрестностям, бывшим поселениям этрусков, владевших тосканской землей до римлян, ездила в их центр – Ареццо, который определенно не затеряется среди звезд Тосканы. Уютнейшая Кортоне менее значительна, но городской музей этрусков, выстроенный по последнему слову музейной культуры, был открыт к 2017 году, и там

я провела многие тихие часы, умножая познания, но не умножая скорбь, вопреки мудрости царя Соломона-Екклезиаста.

Невроз утраты Рима как сокровенной реальности (диагноз мой собственный) возник в одночасье в сентябре 2008-го. В одночасье и сгинул – в январе 2017-го, в Аргентине. Подобные процессы высшей нервной деятельности требуют больших затрат психических энергий, черпаемых из самых разных, информационно насыщенных источников, природных или культурных.

Источником энергии обновления и возрождения ‘реальности моего Рима’ стала Огненная Земля вкупе с аргентинским танго. Звучит вычурно, если не смехотворно, но на самом деле всё здесь просто, прозрачно, понятно – судите сами.

Главной целью нашего путешествия в Аргентину было, в двух словах, очутиться, очутить себя, если угодно, в Патагонии и на Огненной Земле. Поймут те, кому, по обстоятельствам, не чуждо видеть Огненную некой точкой в пейзаже земного странствия.

В Буэнос-Айресе мы уже были мельком в середине 1990-х, и впечатление осталось светлое, особенно в сравнении с Рио-де-Жанейро, измочаленным бразильской поп-культурой, не представляемой без полуголых толп, трясущихся в ритме самбы – национального танца Бразилии.

На сей раз, наконец, открылись глаза: да ведь это же итальянцы спасли Аргентину от участи ее северной соседки, сыграв направляющую роль в становлении аргентинского танго – национального танца этой самой культурной страны Южной Америки. Дважды, с разрывом в 22 года, были мы на театральных представлениях танго в Буэнос-Айресе. За эти годы артистизм выступлений вырос неимоверно. Танцевали всегда великолепно, но сейчас постановщики творят прямо-таки эпос танго. Зрителю подробно и внятно рассказывают историю массовой эмиграции из Италии в последней четверти XIX века, искусно иллюстрируя нарратив танцем. Боже, каким! Таким, что одновременно со смертельным наслаждением зрителя не оставляет мысль о совсем уж непостижимом наслаждении танцоров *так* владеть искусством танго.

Аргентинец Луис Браво – создатель и руководитель проекта, хореограф и режиссер шоу «Forever Tango» («Вечное Танго») – по образованию музыкант, изучавший игру на виолончели, гитаре и бандонеоне в университете Буйэнос-Айреса и игравший в Национальном Симфоническом оркестре Аргентины, – подытожил в эссе те догадки, что не могли не приходиться мне на ум после первого спектакля: «Танго – это музыка тоски, созданная тысячами мужчин, которые бросили свои дома в Неаполе и Генуе, Марселе и Гамбурге, чтоб попытаться счастья в Америке. *Танго – это музыка эмигранта*, который покинул свой дом, но не нашел другого».

Размышляя дальше самостоятельно (в литературе мне эта тема не попадалась), можно додуматься, почему эротика танго – особенно в сравнении с бразильской животной самбой – столь же страстна, сколь и целомудренна: танцуется любовь (а не секс-акт), причем не только к партнеру, но и к прошлому, старому дому, неповторимому времени. Этот перенос на прошлое подчеркивается частым представлением сцены немолодым танцорам. Чего мы не увидим в бразильской самбе.

Сублимация, ‘возгонка’ – краеугольный камень любого искусства – в танго проходит через две стадии. Согласно классическому психоанализу, животная элементарная сексуальная потребность сублимируется в искусство (любовную лирику, живопись, музыку, песню, танец). В аргентинском танго происходит вторая ‘возгонка’: эротическая любовь, уже высокого уровня эмоция – ее высота выражается в изысканности танцевального рисунка, не сниженной животной страстью, – захватывает переживания более масштабные, включающие не одного лишь партнера, но и родную землю, время, судьбу человечества. ‘Архитектурные излишества’ танго (к примеру, в движениях ногой назад, ничуть не эротических) усиливают формальный изыск танго, работающий на отталкивание от того культурного хаоса, в который высаживался европейский (в большей части, итальянский эмигрант) на достаточно диких берегах Южной Америки. Проще говоря, танго повышает культурный уровень населения, а самба снижает.

Среди немногих исследований происхождения танго мне недавно попалось одно, где автор-музыковед*, специально отправившийся из Австрии в Буэнос-Айрес копаться в газетных архивах, переписях населения и прочей исторической пыли, делится новой, добытой им информацией о том, что среди эмигрантов итальянцы превалировали в большей степени, чем считалось раньше, а также, что не только бедные эмигранты, вытанцовывая свою тоску-кручину по Неаполю–Генуе, развивали культуру танго, но и высшие классы Аргентины (они якобы противились укоренению танго) довольно скоро к новой танцевальной культуре приобщились, придавая танго лоск, идущий от образования.

Со мною же вот что произошло. В начале 2017 года животворная энергия походов по Патагонии (ее бешеные ветры отмассируют мускулатуру и тела, и души), морских прогулок по Магелланову проливу и вокруг архипелага Огненная Земля, походов по ее суше, вкупе с откровением итало-аргентинского танго, весь этот мощный симбиоз природы и культуры вызвал новый всплеск притяжения к Италии.

* *Mattia Scassellati*. The Italian Influence on Tango Argentino. Reconsideration of the pre-Golden Age Period. Gratz, 2018.

Вернувшись из Аргентины, я делилась своими впечатлениями от 'итальянского танго' со всеми подряд, мне тут не надо было ничего придумывать, я была переполнена. Вскоре пришло официальное приглашение Виктору от Дарио Бини в Кортону на конференцию.

Наше пребывание в пешеходных Кортоне и Риме в сентябре 2017-го прошло на том подъеме, что самым естественным путем вернул меня в реальность моего Рима, в живой его плоти и в моем возродившемся воображении его прошлого. Включая логово нашей римской волчицы Julianne Travers. Сама она к тому времени уже блаженствовала на лоне Сардинии в узком кругу учениц и учеников.

Нью-Йорк

Вадим Жук

* * *

Льву Р-ну

Интересно, из чего эти золотые пуговицы
На морских шинелях?
Мама ела вареные луковицы,
А мы их не ели.
Отец приезжал на выходные
Привозил угрей или подлещиков.
Угри плавали в ванной быстрые и живые,
Подлещики – серебряные вещи.
Серебро любило бывать в ломбарде,
Длинные вилки, плоские ножи.
Домой возвращалось завернутым в «Правде».
Слышу, как оно там дребезжит.
На «Тарзан» меня сводила соседка тетя Клава.
Кинотеатр «Арс», архитектор Белогруд.
Муж тети Клавы, кавалер ордена «Славы»,
Напротив, выписывал газету «Труд».
Он носил неприятную пижаму.
Плохо спал. Принимал люминал.
Поглядывал на маму.
Слова «поглядывал» я не понимал.
По коридору можно было кататься на велосипеде.
Велосипеда у меня не было никогда.
Краны на кухне сначала сипели
Потом переставала идти вода.
Меня никогда не ставили в угол.
Я долго живу в одной и той же стране.
И вот – попалась золотая пуговица
С маленькой железной петлёй на спине.

11 августа 2023

* * *

Не снаряд, не ворона, не метеорит.
Это платой за тачку и за ипотеку.
В синем воздухе быстро и страшно летит
Килограмм человека.

Этот чел из воронежских или тверских,
Он в охотку за водкой мотался,

Он сегодня за завтраком ел за троих,
А к обеду гляди – разлетался.

Мне сдается, он больше невосстановим,
Ни для Гали, ни для алкоголя.
Притяженьем навеки оставлен земным
На окраине минного поля.

Подавивши зевок, дозвонится комбат
До испуганных папы и мамы.
И положит в мешок санитарный солдат
Остальные его килограммы.

7 августа 2023

* * *

Прекрасные дикторские голоса
Из стен и шкафов рокотали.
Глухая картошка на синих весах,
Причесанный дедушка Сталин.

Пятнашек и жмурок дворовый разбег,
На рельсы подложенный капсюль,
И Райкин тебе, и Орлова тебе.
И глядь, Тарапунька и Штепсель.

Пещерный союз коммунальных квартир,
Артист Фернандель в «Казимире»,
И будь вы неладны – отличный пломбир.
Чего вам плохого в пломбире?

И что же – мне хлястик теперь выдирать
Из юношества и взросленья?
И думать – как жестче себя покарать
За все не мои преступленья?

И став на обломки недожитых лет,
На их каменеющей груди,
Отечество славлю, которого нет,
И больше, надеюсь, не будет.

6 августа 2023

* * *

За подлое время, за прятанье глаз,
За весь обиход наш наскальный,
За умных, за предусмотрительных нас,
Ответил Алеша Навальный.

За пойманный шанс, за спасительный рейс,
За все мировые столицы,
За преданных нами вразнос журавлей
В угоду дрожащей синице.

И ты ни при чем, да и я ни при чем,
За нас он несет свою ношу.
Дождусь. Мы еще города наречем
Негромким названьем – Алеша.

4 августа 2023

* * *

Просил вчера, чтоб ничего не снилось.
Проснулся. Мне не снилось ничего.
Теперь это неслыханная милость,
Кто знает, может быть, от Самого.

«Спал со всех ног» – см. у Пастернака,
Спал, как бревно на ленинском плече.
Как муж с женой после столетья брака,
Усталые игрушки, смерть в клеще.

Как весь универмаг у Джона Донна,
Как дети спят, когда солдат не спит.
Как слуги и супруги фараона
В ограбленных постелях пирамид.

Мне никакая и никто не снился,
Ни кошелек, ни гвоздь, ни огурец.
Ни перелёты гуселюба Нильса,
Ни полный одалисками ларец.

Затеплю снова огонек у Спаса,
Придвину нежно пламя к фитилю.
Отстаньте. Я еще не отоспался.
Я сплю.

3 августа 2023

БОЛЬШОЕ КИНО

Рифеншталевы солдаты
Бреются и моются
И в шеренги, и в квадраты
Аккуратно строятся.

Рифеншталевы солдаты,
Хорошо питаются
И своим немецким матом
Вовсе не ругаются.

Рифеншталевы солдаты
Ясно улыбаются,
За минуту автоматы
Ими собираются.

Красный флаг четырехлапый
На ветру трепещется,
Им Хатыни, им блокады
Даже не мерещатся.

Марта, Марта, будут детки,
Белые и милые.
Тарахтят мотоциклетки
С лошадиной силою.

Рифеншталевы солдаты
Совестью не маются.
Знайте, б-дь, дегенераты,
Что кино кончается.

1 августа 2022

* * *

Ты, мальчик, для чего убил лягушку?
Ты ее сделал? Ты ее кормил?
Ты украшал ромашками опушку –
Она вдруг помешала? Ты убил.

Ты Божье совершенство, радость Божью
Своей тупой кроссовочной ногой
Взял, походя, и уничтожил.
Ты знаешь способ для создания другой?

– Я лишь дитя! Подумаешь – лягуха.
Что вы кричите? Мама! Он кричит!
Она сама сейчас сожрала муху...

– Мужчина! Вас такое не личит.
Вы посягнули на права ребенка
И конституционный постулат.
Ребенок – нежной жизни перепонка
И никогда ни в чём не виноват.
Ее тяжелозвонкое скаканье
Могло его в тревогу привести.
Когда б владели вы образованием,
Я бы могла примеры привести.

Прости! Пучиноглазое созданье.
Усни! В объятья вечности приди.
Твои малютки в смысле пропитанья
Уже не припадут к твоей груди.

Валяется в траве твоя корона
Среди тобой возлюбленной земли.
Подобные шмелям мелькают дроны,
Подобно дронам рыскают шмели.

1 августа 2023

* * *

Возможность сказать моей радости: «Моя радость».
Пожимать дверные ручки знакомым домам.
Мысленно ориентироваться на третьем этаже Прадо.
Знать все стрекозиные мостики по именам.
Видеть за окном электрички Эльдorado,
Аккуратно блевать при виде афиши «Шаман».
Называть тебя моей радостью, моя радость,
Сняв с тебя лабутены и кардиган.
Слыша в отдалении грызню автострады,
Оставляя улитке диетическую еду.
Отправлять моей радости телеграмму: «Моя радость».
И получать в ответ шепот и ерунду.
Играть в шашки черешней и виноградом,
Хранить сборник «Поэты Советской Колымы».
И обняться с тобой – моей радостью – моя радость,
На глазах несмолкаемой, вязкой, непобедимой тьмы.

30 июня 2023

* * *

И ни белых ночей, ни косого пробора дождя.
Город стался ничей без тебя, и тебя, и тебя.

А живёшь ты иль учишь траву под землею расти
Всё равно. Потому что тебя, и тебя, и тебя не найти.

Ни в тридцатом, ни в тройке, ни в шашечном доме такси.
Ни в Казанском, ни в Троицком, хоть иконы из них выноси.

Оттого-то молитва, будь то Ксения или Иисус,
Без тебя, и тебя, и тебя горьковата на вкус.

Старо-Невский налево, а Лиговка вправо. Вокзал
Их непрочною ниткой в общей памяти нашей связал.

А в Варшавский нет ходу. Нам с тобой, поездам, голубям.
Да и что мне Варшава без тебя, без тебя, и тебя.

К Мариинке-театру невеселый идет голубой
Его сложные мысли не понять нам с тобой нам с тобой,
нам с тобой.

И ни белых ночей, и ни белого света теперь.
Лев застыл у Невы. Неприрученный каменный зверь.

– Принесите нам водки. Я водки с лимоном хочу.
Да не лезь ты в карман. Я спросил, значит, я заплачу.

Всё же дождь. Зарябил. Застучал по трубе.
Для меня одного. Ни тебе, ни тебе, ни тебе.

27.07.2023

Игорь Померанцев

Из цикла «Самоволка»

ВДОХ И ВЫДОХ

После смерти все писатели становятся почвенниками,
так сказать, земляками.
Но выбор почвы у каждого свой.
Я объездил десятки стран,
писал о них путевые заметки,
но только делал вид, что мной движет любознательность.
В каждом городе я искал кладбище по себе
Скажем, в Стамбуле я проводил дней десять, не меньше,
потому что там есть на что поглядеть:
армянское кладбище Пангалты
греческое, ильинское, католическое,
православный некрополь в районе Кадыкёй,
православное Святого Игнатия,
протестантское Ферикёй,
штук пять еврейских,
не считая караимского.
Близким я говорил, что путешествую
в поисках вдохновения. Я не врал.
Я видел своими глазами, как кладбища дышат,
как вздымается их грудь,
а вдохновение – это вдох и выдох.
Но повсюду меня что-то смущало,
то ли компания, то ли запущенность,
то ли всякие формальности.
Например, чтобы тебя закопали в Черновцах,
необходимо иметь прописку.
Но кто же меня там пропишет,
если я живу в другой стране?
Правда, в Триесте и в тех же Черновцах
пока что не искоренена коррупция,
но по естественным причинам я не смогу удостовериться,
что муниципальные чиновники
выполняют предварительные договоренности.
Короче, поиски продолжаются,
и я не теряю надежды,
поскольку она умирает... предпоследней?

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ

Играем с внуками в города:

- Dallas
- Sacramento
- Oakland
- Denver
- Reno
- Odessa
- Дед, это где?
- В Техасе.

Вспомнил, как мы играли.

– Алушка, Алушта, Авдеевка...

Не могу слушать украинские песни.

Горло перехватывает.

СТЫДО

Как ни посмотри, но война унижает.

Даже в мелочах.

Вот читаю дискуссию поэтов
по поводу выступления политологов.

Это ж надо, до чего докатиться!

Поэты цитируют политологов!

Люди вечности

перебирают однодневный хлам!

Будь ты неладна, война.

СОЛДАТ ЖИВ, РОДИТЕЛИ УБИТЫ

Из книг вернулось слово «похоронка».

Прям расцвело. По-украински также.

Но еще до похоронки матери что-то чувствуют:

«Звонил каждый день и вдруг перестал».

Ищут сына через сети, делятся «фоткой».

Звонит друг сына и молчит.

Особое гробовое молчание.

Но есть и другие случаи: родители солдата
погибли под завалами в Харькове.

Он звонит, они не отвечают.

Соседям звонит,

но они тоже под завалами.

Минобороны о смерти близких

солдатам не сообщает.

Нет инструкции.

КАК-ТО НЕЛОВКО

Потому, если теперь сказать об этом прямо,
то получится косвенно.
Замороженный Киев.
Целый квартал КГБ (ул. Владимирская).
Ночная машина
с льдиной страха в багажнике.
Теперь об этом как-то неловко,
да и не модно.
Но всё-таки я хочу
прокричать фальцетом.
Что? Что прокричать?
Ну это...
Нет, косвенно, как-то неловко.

В ДРУГОМ ПОЛУШАРИИ

Таксист-курд спросил, какой у меня бизнес в Зальцбурге.
Я, как мне показалось, остроумно ответили:
Poesie.
Он спросил, что означает это слово.
Я задумался и ответил:
Literatur.
Он кивнул.
Благодаря курду, я вспомнил,
как ничтожна наша община («секта»),
даже не баптистов, их в мире навалом,
а, скажем, хлыстов.
Их было с гулькин нос, но визжали и выли,
словно их тьмы и тьмы.
Надо, подумал я, чаще разговаривать с людьми
из других полушарий мозга.
Подумал о словах «радения», «самобичевание», «кружение»,
и поступках: после кружения
свадьных половых актах
прямо на полу.

Алла Ходос

* * *

Тебе, иностранка на удалёнке,
и бомбежки, и похоронки
в снах, а им наяву.
Сплю. Всё еще живу.

* * *

У ворот Иерусалима
солнце черное взошло.
О. Мандельштам

Есть солнце черное – ну, помнишь, иудеи...
И солнце желтое,
которое страшнее...
Которое звездою станет желтой
на рукаве.
Моя же мать по крайней мере
не в лагере, а дома умерла.
Я не увижу Мариуполь старый,
откуда мама родом.
(Из высей безграничных
ты видишь, что осталось от него?)
Мы с матерью лет до семи моих друг друга обожали.
А после – нет, до самого конца.
А перед тем, как я сама умру,
поеду в новый Мариуполь,
хоть прах твой в Минске.
Может, тополь, как привиденье, трепетный,
а может, клен-подросток
прошепчет что-то, пролепечет
на украинском языке, и я пойму.

* * *

Ходит девушка по Москве, шепчет:
нет возне, нет вобле, нет водке,
нет волне.
Голова в огне.
Грипп или ковид?

Природе поставить на вид.
Чтобы так не играла нами,
а то мы ее – сами.
Да мы ее уж и так загубили.
И она к нам взывает из гнили.

Сегодня Сережу забрили.
Она ему говорила: поедем в Тбилиси, в Анталию,
в Астану.
Он отвечал: Да ну!
Тронешься с места, побежишь,
будто мышь, а *она* и закончится!
А тебе, любимая моя пророчица,
возвращаться ведь не захочется.
Я не могу без тебя, но еще и без этих радуг, гроз и берёз!
И каждый час он ее доводил до слез.

Не дорос ты до смысла, – она отвечала ему.
Что вообще я в тебе нашла – не пойму!
Сначала ты станешь убийцей, потом и тебя убьют.
Чем жить мне? Пусть дело пришьют!
Вот и выход – мне дело пришьют.

Дома жажнула аспирина она.
Картонку взяла, серьезно бледна,
и опять пошла она по Москве
с плакатиком: «Нет воле!» в руке...

* * *

Ты помнишь, друг, я выживала.
К тому ж словами вышивала
там... на салфетке, на обёртке
(я не курила папирос).
А как я выжила случайно –
сие есть тайна для меня.
Но это личные вопросы.
А тема общая сильнее,
Она до ниточки вбирает
всю музыку,
все голоса.
Как черная дыра. Как прежде,
стремится всё в одну воронку.
На воронке придут ночью.
Твоих соседей заметут.

И даже если ты не слишком
любил соседей, – может, пили,
ругались матом, проходили,
не глядя, в целом, на тебя, –
ты тихо воешь в теплом доме,
как сын собачий на соломе, –
тебе почти уж безразлично,
что и тебя придут топить.
Ведь каждый в зоне отчуждения
живет. И облачко озона
вдруг возникает в атмосфере.
Но ты боишься миражей.
А ночью – тюрем теоремы.
И тихие метеориты
летят с нездешней высоты.

* * *

Ноября сырая кома.
Эта тема мне знакома.
Гольый золотой урод.
Болдино наоборот.

Ярко-пламенный денёк.
Розы мертвой уголек.
Мертвой Розы или Лилии.
Но не разузнать фамилии.

Кто-то, кто стоял у дома,
старый Костя, юный Рома,
перед домом тихо лег.

Кто-то в поле плодородном
пал бессмертным и свободным.

Кто-то в том же чистом поле
лег бесславно поневоле.

От земли живой и черной
сладкий запах тошнотворный.

В светлом граде волчья мгла.
Где кощеева игла?

* * *

Спасешься – подернется радость стыдом –
стремнина бурлящая –
утренним льдом.
Страх за бесстрашных,
к бездне влекомых
старых приятелей и незнакомых.
В страхе подумать,
вслух не сказать:
вздохом – унижить, страхом – связать.
И суеверно молчать о любимых –
спасшихся или судьбою гонимых.

* * *

Когда случится радость,
я не могу поверить.
Как зверь взметнется, прыгнет
на стиснутые плечи.
Насмешливо утешит: не бойся,
я на вечер.
Ну что ж, до новой встречи,
вино уже прогоркло, –
я отвечаю гордо.
А радость, как ребенок бессовестный, бесенок,
всё ластится, божится,
в кроватку не ложится.

* * *

Марсианских камней
послежизненный вид.
Кто законы сновиденья
мне объяснит?
Розоватых окошек
неверная весть.
Этот свет земляничный
у Брэдбери есть.
Хорошо бы сквозь эти окошки смотреть
хоть на что – хоть на жизнь, хоть на смерть.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Игорь Горский

Неизвестное письмо Максимилиана Волошина Алексею Толстому

Максимилиан Волошин принял Первую мировую войну как неизбежное последствие духовной деградации европейского общества начала XX века. Накануне вступления России в эту кровавую бойню Волошин приехал в Швейцарию, где стал трудиться на строительстве антропософского храма в «коммуне» философа Рудольфа Штейнера¹. Еще по дороге в Европу Максимилиан писал: «Казалось что я переживаю фантастический сон, что я кинут в неведомые века и в неизвестную страну, быть может европейскую, но после ее завоевания монголами». И это в пока что мирном Будапеште. Война была в воздухе и манифестировала себя срочным закрытием границ всех европейских государств. Волошин же говорил, что на всем его пути ему удавалось попасть на последний поезд или пароход. В конце концов в еще мирный день, 31 июля, он приехал-таки в Дорнах. В этой швейцарской деревне многонациональная община исповедовала религиозно-мистическое учение современного «пророка» и учителя Рудольфа Штейнера, называемое им антропософией. Позже из Дорнаха Волошин перебрался в Париж, где начал писать статьи для российских газет. В следующем же 1915 году он написал более десятка проникновенных стихотворений, вошедших в книгу «Anno mundi ardentis 1915», которая была издана в 1916 году. В этой поэтической книге В.М. Жирмунский² увидел «темный бунтующий хаос, разорвавший покровы современного сознания»³. Сам Волошин повторял в письмах к близким, что «это война не национальная, не освободительная <...> Это борьба нескольких государственно-промышленных осьминогов <...> Идут на войну и святые и мученики. Но всё это для того, чтобы стать желудочным соком в пищеварении осьминога». В дни всеобщего безумия поэт призывал к спокойствию: «Надо теперь не судить, кто прав, кто виноват. А понять, исчислить, анатомировать, расчленив те силы, что составляют войну <...> И корень всего этого лежит в сознании своего культурного превосходства и того одичания морального, которое ведет за собой современная промышленность (как можно больше дешевых и безобразных предметов), торговля (завоевание рынков – покупай или убью!) и политика (право сильно-

го, институт компенсаций)»⁴. В начале апреля 1916 г. поэт возвращается обратно в Россию. Интересно его высказывание того же времени о целях российского участия в мировой войне и одновременно выражение согласия с ними: «Единственное желание – определенное и ясное, которое у меня есть в этой войне, – это чтобы Константинополь стал русским. Что это внесет в Россию, страшно думать <...> В Константинополе я вижу, прежде всего, религиозный центр для России, именно там вижу моральное кипение, из которого выплывает нравственный лик славянства»⁵. Непонятно, что это было – смятение ли, всплеск русскости, отклик на притязания русского правительства? А может быть, это было влияние Тютчева, который еще в 40-х годах XIX века мечтал об образовании «великой Православной Империи, законной Империи Востока <...>, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя», и об объединении Восточной и Западной Церквей⁶.

И это при том, что в целом Волошин относился к войне с отвращением, и перспектива стать ее участником ему безусловно была противна. К тому же физически он не был готов к военной службе, в том числе из-за травмы правой руки. Волошин повредил ее при падении с велосипеда еще в 1905 году⁷. А волноваться было о чем. Как писала его наставница А.М. Петрова⁸, «было распоряжение <...> после осмотра и отпуска уже <...> брать всех, <...> кроме явных калек». Поэтому-то в связи с предполагавшимся призывом на военную службу он и обратился в отдельном письме к своему близкому другу той поры – Алексею Николаевичу Толстому. В собрании сочинений оно упоминается как невыявленное⁹. Мы подготовили его первую публикацию. Письмо печатается по современной орфографии с сохранением отдельных особенностей авторского стиля.

1. Рудольф Штейнер (1861–1925), австрийский доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор; эзотерик, оккультист, ясновидящий и мистик XX века, автор многих сочинений, прочитавший тысячи лекций по всей Европе; основоположник антропософии и антропософского движения.
2. Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971), лингвист и литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР.
3. «Биржевые ведомости». 1916. 9 сент. № 16791. Утр. вып.
4. *Волошин, М.А.* Из литературного наследия: [в 3 вып.]. СПб., 1999. Вып. 2. С. 132.
5. *Волошин, М.А.* Собрание сочинений: [в 13 т.]. М., 2011. Т. 10: Письма 1913–1917 гг. (Письмо А.М. Петровой, 1915 г.). С. 323.
6. *Тютчев, Ф.И.* Россия и Запад. М., 2007.
7. *Волошин, М.А.* Собрание сочинений: [в 13 т.]. М. 2010. Т. 9: Письма 1903–1912 гг. (Письмо А.М. Петровой, 1905 г.). С. 188–189.
8. *Волошин, М.А.* Собрание сочинений. Письмо А.Н Толстому от 14 октября 1916, Коктебель (№ 213). Прим. 2. С. 530.
9. Письмо от 3 октября 1916 года, впервые представленное в этой публикации.

Переписка Максимилиана Волошина и Алексея Толстого

М.А. ВОЛОШИН – А.Н. ТОЛСТОМУ

3 октября 1916 г.

Коктебель 19 3/X 16.

Милый Алехан,

пожалуйста не ленись ответить на мои вопросы и исполнить мою просьбу. Дело в том, что следующий призыв ратников ополчения II разряда коснется и меня. По-новому «разъяснению» ни моя астма, ни мое «искривление» правой руки не могут меня освободить от военной службы, т. к. и такие теперь должны зачисляться для тыловой службы. Если не ошибаюсь служба в «союзе городов» освобождает от призыва. Так ли это? И если не ошибаюсь, то весной ты предлагал мне именно зачисление на службу в «союзе городов», чтобы ехать в Азию корреспондентом? Можно ли это сделать теперь и каким образом? Нужно ли зачислиться для (*Зачеркнуто: это*) того, чтобы быть освобожденным реально (с работой и жалованьем) или фиктивно как корреспонденту? Можешь ли ты мне оказать протекцию в таком зачислении, как предлагал весной? Если нет, то куда и к кому следует за этим обратиться?

Всё это для меня весьма важно, т. к. я давно уже решил, что ни в каком случае на военную службу не пойду и принимать участие в войне не стану, так, что, если меня призовут и возьмут это будет для меня связано с отказом от отбывания воинской повинности (*Исправлено: ями*), со всеми последствиями его. Мученичества я вовсе не ищу и предпочитаю принять все меры раньше, чтобы не быть вынужденным к таким крайним мерам.

Хотел бы я ехать только на Азиатский фронт, к Багдаду ли, в Трапезунт¹ ли – всё равно, но только в Азию.

Пожалуйста ответь мне не медля. Для того чтобы ты не забыл прилагаю конверт с адресом и маркой.

Привет Наталье Васильевне² и Марье Леонтьевне³.

МАХ

1. Трапезунт – совр. Трабзон, турецкий город на берегу Черного моря.

2. Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (урожд. Крандиевская, 1888–1963), русская советская поэтесса и писательница, мемуаристка, третья жена писателя Алексея Николаевича Толстого.

3. Мария Леонтьевна Толстая (Тургенева, 1857–1938), тетка Алексея Николаевича Толстого.

* * *

Толстой, будучи в это время уполномоченным Всероссийского земского союза, ответил Волошину в недатированном письме (видимо, около 7-10 октября 1916 года).

А.Н. ТОЛСТОЙ – М.А. ВОЛОШИНУ

Начало октября 1916 г.

Москва¹

Октябрь 1916, Москва

Милый Макс, спешу ответить тебе кратко и только по делу: должности в Союзе городов и в Земском союзе не освобождают от призыва. Исключениями являются только те случаи, когда Союзы сами возбуждают ходатайство о непризыве такого-то лица (точнее, о закреплении его на занимаемой должности как военного чиновника), но для этого нужно: 1) стать Союзам необходимым, 2) занимать такую должность, которая по закреплении дала бы офицерский чин (заведовать госпиталем, летучим отрядом или отрядом земляных рабочих). Тебе необходимо немедленно приехать в Москву и хлопотать. Если ответственная должность тебя страшит, то можно будет записаться вольноопределяющимся в московскую дружину, где офицерами напр. Н.Н. Званцев и много твоих знакомых. Во всяком случае твое присутствие в Москве необходимо.

Привет Пра². Жму руку.

А. Толстой

1. Переписка А.Н. Толстого: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 258.

2. Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (урожд. Глазер, 1850–1923), мать М.А. Волошина, которую в Коктебеле традиционно называли Пра (от «прародительница», «праматерь»).

Ровно 19 3/8 16.

Милый Александр,

Пожалуйста не пользуйся отвлеченными
моими вопросами и не обращай моего вопроса
Дело в том, что апогусты призыва рамки
новое общество II разряда косметика и белья. По ко-
волю «разделение» не моя астма, не мое «искри-
вление» правой руки не могут меня освободить
от военной службы, т.к. и также теперь должны
записаться для военной службы. Если же ошиба-
юсь служба в «союз городов» освобождает от призыва.
Так ли это? И если же ошибаюсь, то все-таки
ты предлагаешь мне именно записаться на службу
в «союз городов», что бы прийти в Агиткорпусе-
конфетам? Можно ли это считать теперь и
каким образом? Нужно ли записаться для ~~этого~~
того, что бы быть освобожденным реально (с рабо-
той и с жалованием) или фактически как профес-
сионисту? Можно ли мне лишь фактически
протекцию в таком-то зачислении, неже предлага-
ешь военной? Если нет, то куда и к кому

Сможете ли вы с нами обратиться?

Все это для меня весьма важно
т.к. я давно уже решил, что ни в каком
случае на военную службу не пойду и принимать
участие в войне не стану, тем более, если меня
призовут и выслушать это будем где-нибудь
на острове или в какой-нибудь военной
команде, со всеми последствиями. Мура-
шкинства я вовсе не пишу и предпочитаю писать
вот такие письма, тогда не надо бояться
и таким образом писать.

Копию вы и будете полюбо на Азиат-
ский фронт в Багдад и в Франкфурт -
все равно, но только в Азию.

Нужна ли опись или не надо.

Для чего вы не забыли приложить
конверт с адресом и маркой?

Привет Натану Васильевичу и
Марат Леонидовичу

МАХ.

М.А. ВОЛОШИН – А.Н. ТОЛСТОМУ

14 октября 1916
Коктебель¹

Дорогой Алехан,
большое спасибо за быстрый и точный ответ².

Я был только что в Феодосии и советовался с врачами. У меня все шансы быть освобожденным совершенно, благодаря невладению правой рукой (по ст[атье] 80). Так что я решил являться здесь. Это верно будет уже в конце октября. Еще раз благодарю.

Мах.

1. *Волошин, М.А.* Собрание сочинений: [в 13 т.]. М., 2011. Т. 10: Письма 1913–1917 гг. (Письмо А.Н. Толстому, 1916 г.). С. 530.

2. Имеется в виду ответ на публикуемое здесь письмо. Оно упоминается в Собрании сочинений Максимилиана Волошина (Т. 10, С. 530) как «неизвестное нам письмо в связи с призывом на военную службу».

* * *

Около 28 октября Волошин снова отправился в Феодосию, где прошел медицинский осмотр в военном присутствии. Ситуация усугублялась тем, что местный исправник М. Солодилов¹, имевший личные счеты с поэтом, вопреки мнению врачей твердил: «Годен!». После этого осмотра Максимилиан Александрович получил предписание на обследование в Керченском госпитале. В ожидании поездки в Керчь он много рисовал, читал лекции в Феодосии, устраивал вечер памяти Сурикова и готовился к участию в очередной выставке «Мира искусства». Наконец, 10 ноября Волошин прибыл в Керченский госпиталь. Через шесть дней, пройдя обследование, он написал Кандаурову в Москву, что в Керчи признан для военной службы «негодным из-за невладения правой рукой». На этом призывная «эпопея» Волошина была закончена.

Нужно, правда, заметить, что между Феодосийским и Керченским обследованиями он написал очень яркое антивоенное письмо военному министру Д.С. Шуваеву², где заявил о своем отказе от военной службы, «как европеец, как художник, как поэт». Он писал, что «тот, кто убежден, что лучше быть убитым, чем убивать <...>, не может быть солдатом». И дальше: «я преклоняюсь перед святостью жертвы гибнущих на войне», но «для меня, от которого не скрыт ее космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением»³. Неизвестно, отправил ли Волошин это письмо, получил ли его министр и какая была реакция. Но копия этого послания осталась в архиве поэта, а сама история не имела продолжения.

В феврале 1917 г. в России произошел перелом. Русская и мировая история вступила в новую эпоху, когда Февральская революция была подавлена Октябрьским переворотом.

Как и прежде, Волошин оставался над схваткой, и такая позиция требовала внутренней твердости, огромного мужества и философского подхода к происходящему хаосу. «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали; я их ожидал давно и в формах еще более жестоких»⁴, – констатировал поэт. Взгляд художника улавливал не столкновение социально-экономических и политических сил, а глубокий метафизический изъян в самой человеческой истории. Но мировые потрясения наложили неизгладимый отпечаток на поэтическое творчество Волошина – его историко-революционный цикл можно назвать поэтическим протоколом стыка двух эпох, по силе превосходящим другие литературные произведения этого времени⁵.

1. Михаил Иванович Солодилов – феодосийский исправник, с которым у Волошина были натянутые отношения (см. рассказ Викентия Вересаева «Коктебель»).

2. Дмитрий Савельевич Шуваев (1854–1937), русский военачальник, генерал от инфантерии, военный министр Российской империи во время Первой мировой войны, расстрелян во время Большого террора.

3. *Волошин, М.А.* Собрание сочинений: [в 13 т.]. М., 2011. Т. 10: Письма 1913–1917 гг. (Письмо Д.С. Шуваеву, 1916 г.). С. 539.

4. Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: «Советский писатель». 1990.

5. *Епанчин, Ю.Л.* Над схваткой: Пацифизм как позиция христианского гуманизма (Максимилиан Волошин в годы Первой мировой войны) / Освободительное движение в России. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2007. Вып. 22. С. 140-145.

Публикация, комментарий – Игорь Горский

Лариса Вульфина

«И все-таки искусство – это единственное пристанище...»

Переписка М. Добужинского и А. Рязановской (1943–1946)

О КОЛЛЕКЦИИ М.Е. ЮППА

Цитата, вынесенная в заголовок настоящей статьи, звучит в одном из нижеприведенных писем Мстислава Добужинского, адресованном писательнице Русского Зарубежья Нине Федоровой¹. Удивительным образом суждение выдающегося художника совпадает как с жизненным девизом его корреспондентки, так и с творческим кредо нашего современника – поэта, художника, библиофила Михаила Юппа, любезно предоставившего из своего богатейшего архива письма М. Добужинского для публикации в «Новом Журнале».

Собрание М. Юппа, формировавшееся на протяжении четырех десятилетий, постоянно пополняясь за счет обмена, покупки артефактов и даров, безусловно, заслуживает в будущем отдельной публикации. Вкратце рассказать о «сокровищах» филладельфийского коллекционера – задача непростая. Родившийся на берегах Невы в предвоенное время (1938) и впитавший в себя еще при жизни в Ленинграде уроки старых петербургских собирателей, М. Юпп с начала 80-х гг. живет в США и все эти годы посвятил собирательству и изучению зарубежного наследия трех волн русской эмиграции. Еще в 2004 году итогом большой кропотливой работы стал составленный им библиографический указатель «Роспись книг поэзии российского зарубежья XX века (1917–2000)», который до сих пор не потерял актуальности для литературоведов, библиофилов, специалистов по эмигрантике. С тех пор количество указанных в каталоге Михаила Евсевиевича изданий книг поэзии значительно увеличилось и приближается сегодня к двум с половиной тысячам единиц хранения (более шестисот из которых – с автографами). К разряду сверхраритетов этого уникального указателя следует отнести и около четырехсот изданий Ди-Пи (1949–1951). Диапазон интересов неутомимого исследователя, отметившего в этом году 85-летний юбилей, помимо поэзии, живописи, графики и книг, включает также филокартию, нумизматику и бонистику. Собирательство, несомненно, дарит коллекционеру, пережившему в детстве ленинградскую блокаду, годы

жизни; он же, в свою очередь, продлевает жизнь книжным, живописным и прикладным редкостям, приводит их в порядок, реставрирует, спасает от разрушения и забвения. Тем, кто вхож в домашнее «пространство» Юппа, не раз доводилось наблюдать, как мастерски «одевались» им нуждающиеся в переплете или футляре книжицы (будь это всего лишь брошюрка в несколько страниц) и как заботливо подыскивалось каждому новому приобретению место на полках бесчисленных книжных стеллажей в этой удивительной «квартире-музее».

Обширные собрания единственной в своем роде библиотеки Юппа дополняет редкий архив рукописей, фотографий и писем. Среди эпистолярных ценностей – письма Марка Алданова, Александра Бенуа и его супруги (Анны Карловны), их старшей дочери (Анны Бенуа-Черкесовой), Мстислава Добужинского, Алексея Ремизова, Бориса Пантелеймонова, Михаила Чехова. Все они были переданы в дар коллекционеру его многолетним другом, профессором русской истории, поэтом А. Рязановским², первым русским, с которым М. Юпп познакомился на американской земле:

«Попав в США, в красивейшее предместье Филадельфии Свартмор (Swarthmore), я попросил русского переводчика. Им оказался профессор истории Пенсильванского университета Александр Рязановский. Мы подружались, потому что, как выяснилось, Александр оказался поэтом, пишущим и по-русски, и по-английски. Помимо поэзии, наши интересы оказались родственными в области русской истории, искусства, философии, православия и церковнославянских древностей. За долгие годы наша дружба переросла в братство <...> Видя во мне дотошного собирателя и коллекционера, Александр передал мне на хранение многие книги, изданные в дореволюционной России, в русском Китае и других странах русского рассеяния, а также и уникальную переписку его родителей с выдающимися деятелями культуры Русского Зарубежья»³.

Документы эти пока еще не введены в научный оборот и потому, безусловно, привлекут внимание исследователей. Письма М. Добужинского к А. Рязановской представляют особый интерес благодаря возможности дополнить их ответной корреспонденцией, хранящейся в фондах Бахметевского архива. Таким образом двусторонний эпистолярный диалог позволит проследить, с чего начиналась дружба героев переписки, когда и где случилась их первая встреча, как очень скоро деловой тон писем стал меняться на дружеский, превращаясь в доверительную беседу на самые разные темы – о трудностях эмиграции, бытовых неурядицах, воспитании детей и, конечно же, об искусстве, театре, литературе, – «единственном пристанище», помогающем жить и выжить в эпоху перемен. Письма рисуют и дорисовывают портреты не только участников переписки, но и их родных и близких друзей.

* * *

Одна из главных задач этой публикации – вернуть сползающее в безвестность громко звучавшее когда-то в Америке имя писательницы Нины Федоровой, литературным стилем которой восхищались Александр Бенуа, Владимир Набоков, София Прегель, Алексей Ремизов. Среди «читателей-почитателей» ее писательского таланта были Игорь Стравинский, Сергей Кусевицкий, Игорь Сикорский. По художественной силе и значимости роман Н. Федоровой «Семья», переведенный на двенадцать языков, заслуженно ставят в один ряд с «Домом в Пасси» Б. Зайцева и булгаковской «Белой гвардией». Действие многоплановой семейной саги охватывает несколько десятилетий и рассказывает о жизни русских беженцев в Китае. Китайский период эмигрантской жизни в русской литературе до сих пор мало исследован, поэтому история русской дворянской семьи, оказавшейся в изгнании в Тяньцзине, представляется уникальной.

О жизни Нины Федоровой (Антонины Подгориновой) в большинстве источников сообщаются скудные и не всегда точные факты, часто допускаются ошибки в написании фамилии, отчества, датах биографии. Публикуемая переписка помогает устранить ряд разночтений, как и путаницу с именем нашей героини, которая возникла еще при крещении, когда новорожденную назвали Антониной. Будущей писательнице больше нравилось имя Нина, которое было выбрано позже в качестве литературного псевдонима.

Родилась Антонина в 1895 году в уездном городке Лохвица Полтавской губернии, свой 90-летний земной путь завершила в калифорнийском Окленде (1985). Сведений о родителях А. Подгориновой немного. Известно лишь, что вскоре после рождения девочки отец ее скончался, и мать со вторым мужем переехала в Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ, Бурятия). Нина воспитывалась в культурной свободомыслящей семье и, получив начальное образование в Забайкалье, продолжила обучение в Санкт-Петербурге. Окончив гимназию с золотой медалью, она поступила на историко-филологическое отделение Бестужевских курсов.

В первом женском университете страны преподавателями Антонины Подгориновой были выдающиеся ученые, настоящие корифеи гуманитарных дисциплин, – профессора-лингвисты А. Шахматов, Бодуэн дэ Куртунэ, историки И. Гревс и Е.Тарле. Еще студенткой, в совершенстве овладев английским и французским, она подрабатывала уроками и уже тогда понимала, что ее призвание – учительствовать. «Если бы не революция, – не раз повторяла она, – я в конце своей служебной карьеры, вероятно, стала бы начальницей женской гимназии»⁴. Любопытно, что юная бестужевка не ушла в революцию, как большинство ее сверстников; со многими из них она разошлась, главным образом, из-за религиозных убеждений.

Вероятно поэтому, получив накануне 1917 года диплом педагога, Нина приняла предложение преподавать русский язык и литературу в харбинской гимназии генерала Д. Л. Хорвата⁵ и уехала из Петрограда в самый русский город Китая, где в те времена проживало более ста тысяч русских, была своя печать, множество православных церквей и высших учебных заведений.

В 1923 году А. Подгоринова вышла замуж за В. А. Рязановского (1884–1968), ученика В. Ключевского, ученого-востоковеда, правоведа, крупного специалиста по китайскому и монгольскому праву. С 1920 года профессор Рязановский преподавал гражданское право на Юридическом факультете в Харбине (первом высшем учебном заведении для беженцев из России, так и не преобразованном в университет), совмещая педагогическую деятельность с работой декана факультета и, одновременно, с должностью главного адвоката на КВЖД⁶. В Харбине у Рязановских родились сыновья – Николай (1923) и Александр (1928). В 1936-м семья переехала в Тяньцзинь, а еще через два года (1938) на океанском лайнере «Empress of Asia» («Императрица Азии») они прибыли в Америку. Это решение переехать сохранило им жизнь. Те, кто после японской оккупации вернулись в Советский Союз, были сосланы в лагеря или расстреляны; страшная судьба ожидала и тех, кто остался, когда в Харбин и Маньчжурию вошли советские войска, передавшие позже власть китайским коммунистам под председательством Мао Цзэдуна.

В США Рязановские поселились в университетском городке Юджин (Eugene, штат Орегон). Здесь, в Орегонском университете, Антонина Федоровна продолжила преподавание русского языка и литературы. В остальное время она работала над романом, замысел которого зародился еще в Тяньцзине.

Роман «Семья» был опубликован в Америке в 1940 году в журнале «Atlantic Monthly» на английском языке («The Family») и вошел в десятку самых популярных художественных произведений года⁷. Неизвестная ранее американскому читателю писательница-эмигрантка получила неожиданное признание и престижную литературную премию размером в 10000 долларов (значительную сумму по тем временам), которую американцы присудили Федоровой как автору, владеющему языком страны так, как должен владеть их соотечественник, претендующий на звание писателя⁸.

Очень скоро роман был переработан в пьесу американским драматургом Виктором Вольфсоном⁹ и поставлен в Нью-Йорке в 1943 году. Драма в трех действиях исполнялась на сцене Виндзорского театра (Windsor Theatre), известного ранее как 48th Street Theatre. Но коммерческого успеха пьеса не имела, критики дали постановке слабую оценку, назвав спектакль недостаточно зрелищным и драматическим для бродвейской сцены. В более снисходительных рецензиях

говорилось – «not a superb show but a good show». Пьеса, премьера которой состоялась 30 марта 1943 года, через неделю была уже закрыта. Положительно критики отозвались лишь об игре актеров – Арнольда Корффа, исполнившего роль профессора Чернова, Николааса Конте (Петя), Люсиль Уотсон (бабушка), хвалили и декорации театрального художника-эмигранта Бориса Аронсона¹⁰.

Во время постановки пьесы и начинается переписка Добужинского и Рязановской. Добужинский приехал в США на год позже Рязановских (летом 1939-го) по приглашению М. Чехова для завершения работы над постановкой «Бесов» и был вынужден остаться в Америке из-за начавшейся войны в Европе. Первое время он жил в Бостоне, много рисовал с натуры и даже устроил две выставки. Через год, благодаря протекции С. Рахманинова, он был приглашен работать в Нью-Йорк в Метрополитен Опера.

Перебравшись окончательно в Нью-Йорк, художник старался при первой же возможности скрыться подальше от «отвратительных нью-йоркских миазмов и шумов». В 1940-е годы вместе с супругой Елизаветой Осиповной несколько месяцев в году они проводили на севере – в штате Род-Айленд, Коннектикуте или в Канаде.

Последнее письмо заканчивается 1946-м годом. Продолжалась ли переписка далее – пока не установлено. Всего представлено пятнадцать писем – шесть писем М. Добужинского (Собрание М. Юппа) и девять писем А. Рязановской (Бахметевский архив)¹¹.

Публикуемые письма приведены в соответствии с современными синтаксическими и пунктуационными нормами с сохранением некоторых особенностей авторского стиля; без изменений оставлена авторская передача топонимов и фамилий. В квадратных скобках раскрыты сокращения.

Автор выражает признательность за предоставление архивных материалов и помощь в работе Михаилу Юппу (Филадельфия), Татьяне Чеботаревой (Бахметевский архив Колумбийского университета), Елене Дубровиной (Филадельфия), Михаилу Ковнеру (Бостон).

1. Нина Федорова – литературный псевдоним писательницы Антонины Федоровны Рязановской (1895–1985), автора популярных в середине XX века романов *The Family* (Boston, 1940; рус. пер. «Семья») (Нью-Йорк, изд-во Михаила Чехова, 1952), *The Children* (Boston, 1942; рус. пер. «Дети») (Франкфурт-на-Майне, 1958), трилогии «Жизнь» (Вашингтон, 1964–1966).

2. А.В. Рязановский (1928–2016), младший сын Антонины и Валентина Рязановских, получил американское и европейское образование (сначала в Орегонском университете, затем в Оксфорде в качестве стипендиата Фонда Родса (Rhodes Scholar)). Международная стипендия Родса предоставляется с 1902 года самым талантливым выпускникам. Во время обучения в Европе Рязановский много путешествовал, часто бывал в Париже (как раз тогда, в середине 1950-х, он подружился с Александром Бенуа и Алексеем

Ремизовым). А. Рязановский преподавал в Пенсильванском университете 35 лет. Лекции «самого артистичного» профессора всегда проходили в переполненных аудиториях. В стенах Стэнфордского университета А. Рязановский получил степень PhD по истории Древней Руси. Многие годы А. Рязановский, автор нескольких сборников стихов («20/20», 1987; «Строчки с того берега», 1992) был также членом редколлегии филладельфийского поэтического альманаха «Встречи». Еще большей известности в научной среде достиг его старший брат – Николай Рязановский (1923–2011), профессор русской истории 19-го века. Окончив учебу в Орегонском университете, он продолжил обучение в Гарварде (был слушателем семинаров Михаила Карповича) и Оксфорде. С 1949 года преподавал в Университете штата Айова, с 1957 года – в Калифорнийском университете (Беркли). Николая Рязановского называют одним из выдающихся специалистов по истории России. Библиография трудов Н.В. Рязановского насчитывает более двухсот названий. По учебнику Н. Рязановского «История России» (1963) училось не одно поколение американских студентов. Более подробно о научной деятельности всех членов семьи Рязановских см.: *Крымская, А.С.* Русские компатриоты среди американских стажеров в СССР / Эмигрантика / Emigrantica: Периодические издания русского зарубежья: вопросы источниковедческой критики: Труды международной конференции к 85-летию Р.Ш. Ганелина. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2012. С. 104-113.

3. Из интервью М. Юппа газете «Русская Америка» (2005, № 352) URL: <https://www.rusamny.com/archives/352/352.htm>

4. Нина Федорова. *Жизнь*. Роман-газета. 2005. № 6 / Вместо послесловия к роману «Жизнь» / С. 79.

5. Дмитрий Леонидович Хорват (1858–1837), генерал-лейтенант, участник Белого движения, управляющий КВЖД с 1903 по 1922 гг., внес огромный вклад в развитие Северной Маньчжурии; один из лидеров русской эмиграции в Китае. По имени генерала Хорвата русскую колонию в Маньчжурии называли «Счастливой Хорватией».

6. КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). Подробнее о жизни В.А.Рязановского в харбинский период см.: *Хисамутдинов, А.* Профессор В.А. Рязановский / «Россия и АТР», 2001, № 1.

7. В России роман «Семья» впервые опубликован в 1989 в журнале «Роман-газета для юношества», № 12, затем в 1992 году («Роман-газета», № 10).

8. В интервью корреспонденту газеты *Eugene Register-Guard* в 1940 году А. Рязановская рассказала, на что она собирается потратить полученную сумму. Ее муж был серьезно болен и находился в то время в госпитале, поэтому одной из первоочередных задач была покупка дома в Юджин. «Поскольку Валентин Александрович будет прикован в период выздоровления к инвалидному креслу, в доме не должно быть ступенек, затрудняющих ему выход и вход», – делилась планами писательница (*Cummings Winner of \$10,000 Novel Prize Would Help Husband* by Ridgely. *Eugene Register-Guard*, July 12, 1940, № 12. P. 6-7). Дом должен был иметь две веранды и сад, в котором профессор Рязановский мог быть на солнце или в тени в любое время, когда он захочет. На оставшиеся деньги планировалось дать образование сыновьям – Николаю и Александру.

9. Виктор Вольфсон (Victor Wolfson, 1909–1990), сын еврейских эмигрантов, покинувших Россию в 1894 году.

10. Борис Аронсон (1900–1980) родился в Киеве, ученик Александры Экстер, с 1923 года жил в Америке. Более сорока лет в качестве сценографа оформлял бродвейские мюзиклы и спектакли, балетные и оперные постановки в Метрополитен Опера. Скончался в Нью-Йорке. Фото декораций Б. Аронсона к спектаклю В. Вольфсона *The Family* в Виндзорском театре представлены в книге *The Theatre Art of Boris Aronson* by Lisa Aronson and Frank Rich. 1987. С. 298.

11. Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Mstislav Dobuzhinskii Papers. Вох 9. Помимо указанных писем, в комментариях к первому письму М. Добужинского приводится также полный текст вложенной в это письмо записки М. Алданова (архив М. Юппа).

ПИСЬМА М. ДОБУЖИНСКОГО и А. РЯЗАНОВСКОЙ

1. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ

200 W. 58 NY.

2 фев[раля] 1943.

Глубокоуважаемая Нина Федоровна, простите, что позволяю себе беспокоить Вас большой просьбой. Прилагаю записку М.А. Алданова по поводу ее¹.

А.М. Жилинский, о котором идет речь, был одним из любимых учеников Станиславского в Моск[овском] Худ[ожественном] театре.

В бытность свою директором Литовского Госуд[арственного] Театра (1930–1935) он там и режиссировал, и сам выступал на сцене (м[ежду] проч[им] с Мих[аилом] Чеховым). В Н.-У. он с 1937 года. Английским владеет в совершенстве. Тут имеет студию и неоднократно показывает спектакли своих учеников. Роль профессора в пьесе, переделанной из Вашего романа, кажется подходящей именно ему, но может быть и не только эта роль². По внешности это высокий и статный человек с очень красивым голосом.

Если бы Вы были добры сказать свое слово в театре и если Вы считаете, что Жилинский должен тоже что-нибудь со своей стороны сделать – не откажите сообщить непосредственно ему (А.М. Jilinsky 1131 Halsey Str. Brooklyn N-Y).

Примите уверения в искреннем уважении и преданности.

М. Добужинский.

1. Текст записки М. Алданова: «Дорогая Нина Федоровна. Я узнал, что Ваш прекрасный роман переделан в пьесу и скоро будет показан в Нью-Йорке. Искренне Вас поздравляю и желаю большого успеха. В связи с этим просьба к Вам. Вы, верно, знаете артиста Московского Художественного Театра и уже давно живущего в Нью-Йорке. Он друг нашего знаменитого художника

Добужинского, который чрезвычайно его рекомендует как актера для пьесы по Вашему роману (А.М. Жилинский вполне владеет английским языком). Знаю, что распределение ролей не всегда и не полностью зависит от автора, но если бы Вы могли способствовать предоставлению роли этому талантливому артисту, то очень обязали бы и М.В. Добужинского, и меня. Пользуюсь случаем, чтобы послать Вам самый искренний привет и лучшие пожелания. Преданный Вам Марк Алданов. Адрес А.М. Жилинского: 1131 Halsey St., Brooklyn, NY. 1 февраля 1943 года».

2. Совместная работа Добужинского с приятелем и соратником Михаила Чехова, литовским актером и режиссером Андреем Жилинским (Андрюсом Олека-Жилинским, 1893–1948) переросла в крепкую дружбу еще в Литве, когда художник оформлял в каунасском театре спектакль М. Чехова «Гамлет» (где главную роль играл А. Жилинский). В письме к А. Рязановской речь идет о роли профессора Чернова, одного из героев пьесы, написанной по роману «Семья».

2. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

*1855 Olive Str.
Eugene Ore[gon].
7 февраля 1943.*

Глубокоуважаемый Мстислав Валерианович.

Вчера получила Ваше письмо относительно господина Жилинского и немедленно написала г-ну Oscar Cerlin, который является хозяином театра. Мне очень жаль, но надежды мало, т.к. пьесу уже репетируют и состав артистов готов.

Здесь совершенно иное отношение к авторам. Пьесу переделали без моего участия. В моем контракте есть параграф, по которому все права принадлежат издателям. Таким образом, в письме моем к господину Церлину (я думаю, так по-русски) я имела ставку не на мои права, а на его любезность. Я видела его однажды – но зато как на ладони, – старый знакомый культурный русский еврей (из Одессы)¹. В обращении он очень приятен. Я ему написала адрес господина Жилинского, таким образом господин Церлин пошлет свой ответ или г-ну Жилинскому, или же мне. В последнем случае я перешлю Вам немедленно. Пользуюсь случаем прибавить, что мы – Рязановские – все Ваши поклонники, и среди того небольшого имущества, которое мы вывезли в U.S.A., есть и «Графика М.В. Добужинского» – Маковского².

Мой муж одинок и болен. Мы здесь одни русские – и я очень жалею, что мы не имеем счастья встречать людей, подобных Вам и г-ну Алданову. «Руси – веселие есть поговорить» – особенно теперь – не правда ли?

Привет.
 Антонина Рязановская.
 Семья шлет Вам привет.

1. На самом деле, театральный продюсер Оскар Серлин (Oscar Serlin, 1901–1971) родился в еврейском местечке Гродненской губернии и был вывезен семьей в Чикаго в 1910 году. В Америке О. Серлин прошел путь от театрального швейцара до актера, драматурга и успешного бродвейского продюсера. Пьеса «Жизнь с отцом» (*Life with Father*), постановщиком которой был Серлин, принесла ему славу и большие деньги. Пьеса не сходила со сцены с 1939-го по 1946 гг. и была признана рекордсменом по количеству показов на Бродвее. Постановка «Семьи» не принесла Серлину финансового успеха, и он был вынужден закрыть спектакль без особого ущерба для своего бизнеса.

2. Речь идет о редком библиофильском издании (*Маковский, С.К., Нотгафт, Ф.Ф.* Графика М.В. Добужинского. Л., 1924) тиражом всего 400 нумерованных экземпляров; книга отпечатана в берлинском издательстве «Петрополис» (бывшем филиале ленинградского «Петрополиса») к 50-летию М.В. Добужинского. Большая часть тиража не сохранилась, т.к. оригинальные литографии изымались из альбома, обрамлялись и продавались владельцами галерей и арт-дилерами поштучно.

3. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ

200 W 58 NYC.
 17 фев[раля] [19]43.

Многоуважаемая Антонина Федоровна, большое спасибо за Ваше такое милое письмо и еще раз простите, что бесполезно Вас потревожил, – конечно, было уже поздно. Мой Жилинский был все-таки приглашен в контору, но просто так, для знакомства. Может быть это ему будет полезно для будущего, но для этой пьесы он уже не применим. Он просит передать Вам сердечную благодарность за доброе желание и хлопоты¹. То, что Вы пишете мне, и то, что я узнал из письма Вашего М.А. Алданову относительно переделки Вашего романа, – очень жутко, действительно жесткие нравы, и представляю себе, как Вам обидно, если нельзя и протестовать.

Эта пошлость и развязность, которые тут царят, – весьма отвратительный и неожиданный американский сюрприз, а сколько тех, как мы (я, по крайней мере) совсем иначе представляли себе эту страну! (а может быть это только такой Нью-Йорк?) Мы здесь с женой 3½ года, и я никак не могу привыкнуть и не привыкну. Приехали как «визиторс» перед войной и застряли, а двое сыновей в Европе.

И я очень жалею, что, кажется, маловероятно встретиться с Вами и познакомиться лично. Я же очень тронут Вашими милыми словами. Шлем с женой сердечные приветы Вам и Вашим.

Искренне предан Вам.

М. Добужинский.

(*Притиска на полях:*) Если Вы будете в N-Y, непременно дайте знать!

1. Роль профессора Чернова в спектакле «Семья» исполнил голливудский актер Арнольд Корфф (Arnold Korff, 1970–1944).

4. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

1855 Olive Str.

Eugene. Oregon.

15 авг[уста] 1943.

Глубокоуважаемый Мстислав Валерианович,

Хотя и неловко мне Вас затруднять, но приходится обратиться к Вам с просьбой. Больше не вижу никого, кто бы мог мне помочь.

Мой сын Александр (15 лет) начал рисовать с 3 лет. В его первых рисунках было что-то наивно-пронзительное и трогательное. Учиться рисовать никогда не хотел, да и не мог. Рисовал «налетом», разрывая рисунки, если не нравились ему. В Америку его привезли на 10-м году. Что-то появилось в его рисунках тяжелое, грубое, веское. Школа ему не помогла. Был какой-то там учитель, заставлял рисовать там плакаты. Шурка же это ненавидел. Выходили [неразборчиво]. Показывала я его работы одной француженке-художнице. Она говорит, что у Шуры талант несомненный и большой. Но как тут верить! Я завтра пошлю Вам пачку его рисунков. Будьте добры, посмотрите и скажите Ваше слово.

На случай, если бы у него был талант, я готова отдать остаток моей жизни для добывания средств и возможностей, чтоб его учить и не допустить коммерческого подхода, какой обычно в этой стране. Простите за беспокойство. Поверьте, мне очень неловко.

Привет Вашей семье.

А. Рязановская.

P.S. Я бросила писать. Поступила учительницей. Работаю тяжело. А домашнее всё это – посуда, стирка – прямо добивают меня. Всегда остается – всё еще! – какой-то эстетизм – и если увижу застывший жир – в этот день и аппетита ни к чему нет. Не смешно ли?! Это после всей жизни моей...

P.S. Рисунки посылаю без выбора, то, что мне удалось или случилось увидеть и сохранить. Шура не умеет и не любит рисовать с натуры или копировать. Всё рисует без всяких пособий с ужасной какой-то быстротой.

5. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

*1855 Olive Str.
Eugene, Oregon.
17 авг[уста] 1943.*

Глубокоуважаемый Мстислав Валерианович,
сегодня отправила Шуркины рисунки на Ваш суд. Здесь прилагаю марки на обратный их путь.

Очень прошу извинить за беспокойство. Что я прошу, сводится к следующему: есть ли у него талант? Если да – как и где учить?

Если есть возможность для меня отблагодарить Вас, скажите, как я могу это сделать.

Привет Вашей супруге и Вам.

А. Рязановская.

6. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ¹

*200 W. 58 NYC.
11 сентября 1943.*

Глубокоуважаемая Антонина Федоровна,
Я пишу Вам только что поднявшись с «одра болезни»: на следующий день, как я Вам послал открытку, я слег, оказалось воспаленные легкие (но в легкой форме) и вот до сих пор провалялся. Первым долгом пишу Вам.

Я с большим интересом и удовольствием рассматривал рисунки Вашего мальчика. Я вообще обожаю детские рисунки и, как мой отец хранил мои чуть ли не с 3-х летних каракуль, так и я собрал большую коллекцию моих собственных детей.

В присланных рисунках мне многое напоминает мое детское рисование в том же приблизительно возрасте – такие же битвы и драки, только у меня были рыцари и добрые и злые ангелы, а у Вашего художника, конечно, всё современнее и, между прочим, как было и у меня, такие же неловкости в передаче движения – что в этот период естественно. Но эти рисунки меня не столь забавляют, как те, где больше фантазии или смешного и больше легкости в приемах (очень заняты китайские пейзажи и некоторые головы).

Вы ставите мне очень трудную и даже ответственную задачу решить вопрос «таланта». Я очень тронут, что Вы так доверяете моему глазу, но меня смущает, что на моем отзыве Вы как будто хотите строить будущность мальчика...

По совести говоря, после того, как я имел столько учеников и в свое время даже увлекался преподаванием – сейчас я совершенно не

знаю, с чего надо начать учить (если это надо)². Потому труден этот вопрос, что дети вообще совсем по природе не реалисты, и именно то, что у них наивно и неловко, когда они стараются изображать видимость, – и есть прелести детского рисования и «исправлять» это не надо – это придет само собою. Как всегда бывает, наступает рано или поздно самокритика, когда неизбежно в юноше проснется реалист и наступает робость и беспомощность. Это очень болезненно. Я помню, как я приходил в отчаяние, что у меня ничего не выходит, и сколько мальчиков в этом возрасте бросало рисование и сколько дарованый так и глохло (знаю много примеров). С этой «болезнью» приходится справляться самому и трудно найти общее лекарство. У меня было так, что самостоятельно вдруг ловя позывы рисования с натуры, я стал старательно внимательно вглядываться в то, что я срисовывал. Конечно, именно тут и важны советы, собственным умом найти всё – очень полезно, но это очень трудный путь. Эти же советы сводились бы к самому главному – чтобы «открыть глаза» и научить смотреть. Увы, учителя обыкновенно приносят лишь свои готовые рецепты и потому наводят одну тоску и подсказать самое нужное – не умеют. В этом кризисе утрачивается, тоже неизбежно, наивная смелость рисунка, которая так положительна и завидна в детских рисунках! Как удержать эту смелость при столкновении с натурой? Обычно она воскресает лишь гораздо позже вместе с художественной зрелостью, а иногда робость перед натурой так и остается. У Вашего мальчика есть потребность рисования, по-видимому, очень упорная, и это и есть пока что самое главное и ценное для развития его таланта. Дайте ему прежде всего это проявлять самым свободным образом, а остальное придет в порядке общего развития. И, конечно, чем разностороннее он будет развиваться, тем больше это поможет развитию его таланта, – но это азбучная истина! И чем больше он будет знать искусство – это только будет его обогащать, – это такая же истина. Не беда, если он найдет своего «бога» и станет ему подражать, – бояться не нужно, это может преломиться у него по-своему (видно, что он уже что-то почувствовал в китайских рисунках!). А выйдет из него фантазер или реалист – сказать нельзя.

Каким образом направить его художественное развитие – я, конечно, сказать не могу, вопрос это сложный, но я думаю, что именно Вам как матери и человеку искусства очень многое подскажет Ваш вкус и Ваше внутреннее чувство. По поводу техники – и в конечном итоге «мастерства» – можно было бы сказать очень много. Меньше всего мастерства – в современной живописи – тут всё допустимо, случайность, даже неумение, принимается как что-то ценное. «Уметь рисовать» кажется ненужным и «правильное» и «точное» признается за vieux je (Старомодное. – Л.В.) и презираемо. Но не всё, конечно, искусство – в чистой живописи есть области, которые существуют

только на мастерстве (возьмите гравюру, которая сейчас стоит очень высоко), и куда направится дарование Вашего сына – будет зависеть от него самого и с этим никогда не надо торопиться! Разные школы и академии, конечно, снабжают разными техническими знаниями, но как часто они сушат и даже мертвят самый талант (сколько вреда приносила наша Академия!). Теперь даже кажется истиной, что школу надо, так сказать, преодолеть, т.е. научившись, многое забыть и найти свои собственные приемы. Конечно, какие-то полезные сведения удерживаются, вообще же в школе учатся и на примере товарищей, но по-настоящему ценно то, на что сам набрел и что сам изобрел.

Теперь мальчик Ваш бессознательно и случайно (как всегда у них бывает) рисует и штрихом (карандашом и пером), и кистью – краской и тушью, и если даже он будет развиваться самоучкой, наверное, он и без школы найдет такие приемы, которые будут ему по душе и по вкусу, а не навязанные школой. Как видите, я в искусстве анархист, и больше всего верю в самостоятельное развитие. Вспоминая, как оно шло у меня (довольно медленно и с перерывами), – я вижу, что меньше всего обязан школам, и счастлив, что единственным, деликатнейшим и умнейшим моим руководителем в детстве был лишь мой отец. Я вообще думаю, что стать художником есть дело самого художника.

То, что Вы не хотите процветающего в сей стране «коммерческого подхода» – меня страшно радует. Настоящее искусство поэтому еще и не появилось тут. Не знаю – такого ли ответа Вы ожидали от меня, и ясно ли я изложил мои мысли? Был бы рад ответить Вам, если у Вас появились бы вопросы.

Вы очень грустно кончаете письмо. Но надеюсь, что этот отход Ваш временный, хотя так понимаю, что можно придти в отчаяние от всего безумия, которое творится. И все-таки искусство – единственное пристанище, единственное дело.

От души желаю Вам всего хорошего и уверен, что сын Ваш и художник, который в нем, наверное, будет расти, даст Вам много радостей. Так досадно, что из-за болезни так задержалось мое письмо. Мы с Леной шлем Вам и Вашей семье наш самый сердечный привет. Когда же мы встретимся?

Искренне Ваш М. Добужинский.

1. В Бахметевском архиве в фонде М. Добужинского сохранился черновик этого письма с пометкой художника: «начал 27 авг[уста] [19]43 перед вос-
пал[ением] легких. Окончил и послал 11 сентября [19]43». В настоящей статье воспроизводится чистовой вариант письма из архива М. Юппа.

2. Во время жизни в Петербурге, Париже и Каунасе художник не прекращал педагогической деятельности. Среди известных учеников М. Добужинского – Н. Акимов, В. Набоков, Г. Нарбут, В. Милашевский, Г. Верейский, С. Калмыков, А. Шендеров, Р. Криницкас.

7. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

28 сентября [1943]

Глубокоуважаемый Мстислав Валерианович,

Извините за мою непростительную медлительность. Но, как говорил Гоголь, «тому следуют пункты»¹.

Даже и это письмо пишу между уроками – так занята. У нас экзамены, а для солдата они имеют еще большее значение, чем для обычного ученика. Затем мой сын приехал из армии погостить, всего на пять дней². Дом опять наполнился молодежью (отставной, так сказать), и моя роль была угостить их всех по-русски. Хотя Коля приехал здоров и весел («кутузик» мы его теперь называем, раньше он, случилось, бывал величаем «тузиком»), так что как будто бы нет причин огорчаться, но я поплакала и долго и вволю, ибо «всякая житейская в мире сем сладость душевной печали бывает причастна»³.

Сейчас прошу меня извинить и принять мою благодарность за всё, что Вы написали об Александре. Я его так и предоставляю самому себе. Относительно общего руководства – у нас в семье все более или менее чутки к красоте, а мой муж даже писал об иконах, – и его книга была учебником в Харбине в семинарии – для батюшек. Меня интересует: есть ли у Александра талант, но я понимаю, что есть грубая наивность в задавании таких вопросов. Что у него несомненно есть – чуткость. Как-то я его повезла в Портланд. Там были беженцы-картины (из Франции). Шура неожиданно – при повороте – увидел автопортрет Сезанна (Bowler hat) (Автопортрет в котелке. – Л.В.) и – поверите ли? – он чуть не упал в обморок, побледнел как полотно. «Я что-то понял навсегда», – он сказал. «Что же?» – «Как надо рисовать. Не приемы, а то, что не надо зависеть ни от кого. Что это – как жизнь» – что-то совершенно свое собственное. Признаться, эти его слова были основанием моей надежды на его талант более, чем на его рисунки. Вторая картина – Автопортрет Веласкеса – о которой он сказал: «Встретились! Вот мой знакомый!» Но в общем это может быть лишь повышенная чуткость, – 15 лет – это сезон для фантазий. Итак, пусть растет – а там будет видно.

Не будучи знакомой, не считаю удобным очень к Вам навязываться с вопросами и соболезнованиями, но слова о Вашей болезни очень огорчили меня и моего мужа. Даст Бог, Вам будет совсем хорошо. Еще раз благодарю Вас от всего сердца. Письмо Ваше мы всегда будем хранить. Александр понимает, что это честь для него – побыть минутку в поле Вашего зрения. Сердечный привет Вам, Вашей супруге и детям от меня, мужа и сыновей.

С благодарностью и глубоким уважением,

А. Рязановская.

1. Здесь приводится цитата из произведения Н.В. Гоголя «Повесть о том, как

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты...). По воспоминаниям Николая Валентиновича Рязановского, любимым писателем его матери был Н.В. Гоголь: «В первую голову Гоголь, – <...> это была для нее Звезда Вифлеемская, ведущая к истине». (Рязановский, Н.В. Вместо послесловия к роману «Жизнь» [О творчестве писательницы Нины Федоровой (А. Ф. Подгориной)] / «Роман-газета». 2005. Март (№ 6). С. 80.

2. Николай Рязановский служил во время Второй мировой войны в американской армии в Европе.

3. Из Акафиста Пресвятой Богородице перед иконой «Всех Скорбящих Радость».

8. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

1855 Olive Str.

Eugene. Ore[gon].

3 декабря 1944.

Глубокоуважаемый Мстислав Валерианович, надеюсь Вы здоровы и благополучны.

Я собираюсь быть в N-York-е с 19-го по 27 декабря. Очень бы хотела с Вами познакомиться. Приеду я с сыном, нашим «художником» Александром. Ему очень бы хотелось Вас увидеть. Может быть, Вы разрешите к Вам зайти. Но если почему-либо это затруднительно, я бы хотела пригласить Вашу супругу и Вас где-либо с нами пообедать. Я знаю хорошее место возле Carnegie Hall. Я бы хотела Вас и на концерт пригласить, если только достанем билеты. Не считите меня навязчивой, но мы, русские, Вас любим. Хотим Вас видеть. Не трудитесь писать ответ. Я по приезде в New York пошлю Вам телеграмму, и мы условимся, где встретиться. Но если хотите написать, буду рада. Я в Eugene до 13 декабря. Тогда, может быть, напишите и номер Вашего телефона. Но если Вы почему-либо не хотите видеть «поклонников», то и не отвечайте на все эти предложения. Я не обижусь. Я часто тоже хочу только тишины и одиночества. Жизнь превращается в какое-то мелькание вещей и лиц, имен, событий и известий. Я даже Гр. Сковороду стала читать, чтобы «откинуться» назад. «Духовный богочтец» – и этот его торжествующий возглас: «Мир ловил меня, но не поймал», по его просьбе написанный на его могиле. Хочу, чтоб и меня не поймали. Учусь у Сковороды. Простите за болтовню.

Привет.

А. Рязановская.

1. Григорий Саввич Сковорода (1722–1794), украинский философ, просветитель, поэт, педагог, музыкант.

9. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

*1855 Olive Str.
Eugene. Ore[gon].
10 января [1945].*

Дорогие Добужинские,
Мстислав Валерьянович
и Елизавета Осиповна,

приехали мы домой. Рассказываем нашему папе о поездке, вспоминаем Вас и Ваше милое радушие. Папа (Ваш, Мстислав Валерианович, горячий поклонник) немного нами (т.е. мной и Александром) недоволен. Говорит, что мы были навязчивы. А я – в частности – очень болтлива. Что правда, то правда. Но что делать – «вторая натура». Пишем от сына нет. Последнее было из Германии 11 декабря. На карту просто не могу смотреть. «Стала на работу». Опять этот просто нечеловеческий труд. Впадаю в малодушие! Да – думаю – умру! Но кто же тогда будет варить обед, мыть окна и рассказывать истории, когда скучно. Дай – думаю – еще поживу. Доживу до лета – там посмотрим.

Надеюсь, у Вас всё хорошо. Все-таки Вы на десятом этаже. Не всякая печаль станет подыматься так высоко. Застрянет где-нибудь на шестом или седьмом. Так и вспоминаю: рояль, Елизавета Осиповна (о Вас восторженно!), Мстислав Валерианович (любуюсь и с некоторым страхом), картины (радость для глаз и сердца) – за нами тайна, под нами – subway, вверху – звезды, кругом – магазины – и в этой ничем не связанной, всесторонней нелегкости жизни иногда вдруг любовь к прекрасному согревает сердце («над вымыслом слезами обольюсь») – и – «Ан встану, пойду еще, Отче Протопопе», – как говорила жена Пр[отопопа] Аввакума.

Извините. Это глупое письмо. Пишу в Колледже, между уроками. В Колледже я глупею. Всегда глупею в присутствии ученых. Но мне всегда казалось, что счастье в вещах веселых и слегка глупых.

Еще раз привет и большое спасибо. Когда получу письмо от Коли, приду в себя и напишу толково, умненько.

Ваша Нина Рязановская.

10. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ

*NY.
11 марта 1945.*

Дорогая Антонина Федоровна, Ваш чудно-вкусный (как говорит

Ел[изавета] Ос[иповна]) подарок пришел в наше отсутствие (мы гостили почти три недели у Ал[ександры] Льв[овны] Толстой на ее ферме¹), и теперь он улаживает нашу жизнь, а то, что Вы нас вспоминаете, еще и усугубляет приятность сюрприза. Большое спасибо!

Мы уезжали из-за здоровья Елиз[аветы] Ос[иповны], ее бронхита и сердечных осложнений, но после полного отдыха вдали от отвратительных нью-йоркских миазмов и шумов – всё, слава Богу, пока прошло. Там было очень мило, и эта пора – когда еще боится наступить весна, а зимы нет, – какая-то нежная, и я люблю эти бледные краски и узорчатость голых деревьев (а там она оказалась особенно изобретательной) – для меня это «очей очарование».

Жили мы среди разных старушек, почти как в богодельне, по субботам и воскресеньям – служба в домово́й церкви, где служит попик-монах Инна и хорошо поет старинные мотивы маленький хор. С Александрой же Львовной всегда было отрадно поделиться грустными мыслями насчет того и сего, пятого и десятого... Она же читала однажды интересные воспоминания, нигде не напечатанные. Там я чуть-чуть рисовал, но много писал пером: я вздумал вспомнить все мои встречи с писателями и поэтами в России, и это меня так далеко увлекло, что, оказалось, были встречи с Пушкиным и Достоевским!! (потом как-нибудь Вам объясню).

Теперь опять начинается прерванная нью-йоркская жизнь. Когда же Вы приедете? Очень надеемся, что Вам удалось уладить с Вашим издателем, чтоб не калечить Ваших героинь.

Наш сердечный привет Вам, Вашему мужу, и мы так надеемся, что у Вас хорошие вести от Вашего старшего сына.

Сердечно Ваш, Добужинский.

1. Ферма, на которой гостили Добужинские, находится в 30 милях севернее Нью-Йорка в городке Valley Cottage. Ферма была основана в 1941 году графиней Александрой Львовной Толстой, младшей дочерью писателя, и служила первым пристанищем для русских беженцев; там же был построен и дом престарелых для эмигрантов.

11. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

[открытое письмо]

Б/д [предположительно начало мая, 1945]

Христос Воскресе!

Дорогие Добужинские, будьте здоровы и счастливы!

Н. Рязановская

P.S. – мой Коля в Париже.

Постил («приложился») Александра Бенуа.

Он и его жена живы и здоровы.

12. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ

16 мая 1945.

Newport, Rhode Island.

[*Ньюпорт, штат Род-Айленд*]

Дорогая Антонина Федоровна – Воистину Воскресе! Простите, что с опозданием. Мы на лето выехали в чудное место – Newport, Rhode Island, – у меня здесь интересная работа: рисую особняки, парки и сады и самый городок для будущего издания. Newport – запоедное место: – совершенно замкнутый круг богатых людей в Америке, их резиденции, которые уже почти «Вишневы сад»¹. Неожиданно попадаю в такую среду. Вот бы Вам кладезь для наблюдений! Радуюсь за Вас, что Ваш сын, может быть, скоро придет. Как хорошо, что он был у Бэнуа.

Шлем Вам всем наш сердечный привет.

Ваш М. Добужинский

1. В то лето (как и в последующее лето 1946 года) Добужинский с женой жил в Ньюпорте, выполняя заказ финансовой корпорации города – запечатлеть сады и интерьеры богатейших вилл и дворцов американской знати, возведенные во второй половине XIX века на Род-Айленде. Работа велась в поместьях банкира Гарольда Сэнда и оперного певца Максима Каролика (бывшего тенора Мариинского театра), в знаменитом мраморном дворце семьи финансиста Фредерика Принса и замке *Elms* (*Вязы*. – англ.) угольного магната Бервинда, в резиденциях Вандербильтов, Стюарта Дункана, графини де Коцебу. Изначально планировалось издать альбом с воспроизведенными работами; судьба этого проекта неизвестна. Всего Добужинский создал более ста пейзажей и интерьеров, оказавшихся, согласно договору, собственностью заказчиков. Половина работ была представлена на выставке в Ньюпорте осенью 1946 года.

13. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

1855 Olive Str[eet].

Eugene Ore[gon].

15 июня [1945].

Дорогие Добужинские,

«во-первых строках моего письма» шлю Вам привет и наилучшие пожелания. Надеюсь, Вы здоровы, благополучны и имете хорошие вести от родных и дорогих Вам людей.

Мой сын еще в Париже. Наслаждается Мольером. Мы ему еще в детстве читали (помните, экзамен на доктора):

Solo: Знает он не хуже всех и вступить достоин в цех.

Chorus: Верно! Верно! Удивительно!

И сделали из этого прелестную детскую игру.

Как Ваша работа? Между прочим о «Вишневых садах» – в изучении литер[атуры] я ставлю в преемственность:

1. «Вишневый сад»

2. «Without Cherry Blossom» («Без черемухи») и

3. Этот изумительный рассказ (плачу, когда читаю) «The Cherry Stone» by Olesha¹. Я считаю, что Олеша (sic! – Л.В.) лучший писатель в России, но пишет (вернее, печатает) очень мало, не в милости, но в моде.

Если бы случилось, что Вы не читали «The Cherry Stone» – я бы могла Вам прислать для прочтения, но он у меня по-английски только. Я думаю, Вы читали Олешу по-фр[анцузски]. Я читала по-фр[анцузски] его роман «Зависть».

И уж если говорить о чтении – не подумайте, что я советую. Я просто ужасно люблю литературу. Есть изумительный для художника материал в книге Lady Murasaki – *The Spirit of Genji* (XI век. Перевод с япон[ского] здесь найдется)². Я всегда рисую, когда читаю эту книгу. Просто не могу удержаться – беру карандаш или перо и рисую, хотя вообще не рисую никогда. К сожалению, эта книга-роман (как и все «классики» в Японии) совершенно неприлична (я думаю, Елизавете Осиповне нельзя читать!) и ее невозможно рекомендовать, но если бы кто догадался сделать выдержки – рисовальный материал – главным образом – пейзаж, убор, виньетка, веер, жест – просто сокровище бы вышло!

Я стесняюсь Вам – художнику – писать больше о Вашем искусстве, т.к. я его только люблю, но не имею в нем никакого образования. Но если бы случилось, что книги, подобные Murasaki, Вам могут быть интересны или полезны, я бы могла написать и о других.

Мне приходилось довольно много читать, и изредка попадалась книга, поражающая живописностью, видно, писал не писатель (тот бы внес «диссонанс»), а художник. Это бывает, правда, довольно редко. В моем классе о русской культуре немножко «проходили» и Вас. Показывали и Ваши рисунки, гл[авным] обр[азом] графику. Даже как бы «создали школу» (я смеюсь, конечно), т.е. кое-кто копировал, напр[имер] Зимнюю канавку, где этот плащ на ветру – «черный!» – есть суть:

«Что наша жизнь?

Игра!»

Немного коснулись Лескова – и тут Ваши рисунки к «Блохе» очень понравились. Одна студентка сделала несколько копий. Я думаю, довольно хорошо. И на доске красовалось Ваше имя «M.V. Dobujinsky».

Как дорогая Елизавета Осиповна поживает? Женщинам очень трудно в Америке – русским женщинам. Ужасно как-то одиноко. И притом работа! Я не могу (6 лет!) заработать даже на прачку. Так и стираю и полы мою – ужасно!

Но на R[hode] I[sland] – я надеюсь – Вас обставили комфортом и Ел[ена] Осип[овна] отдыхает.

Желаю Вам здоровья и счастья. Семья шлет Вам привет.

А. Рязановская.

Копаясь в коллекции старых стихов, нахожу – о цветах – на-пр[имер]:

Желтый цвет – женский привет. Цвет отцветает – привет пропадает.

Глупо-мило. Не правда ли?

1. Рассказ Юрия Олеши «Вишневая косточка» (1929).

2. Мурасаки Сикибу (978–1014/1016 или 1025/1031), англ. – Леди Мурасаки (Lady Murasaki, точное имя неизвестно), японская писательница X–XI вв., автор одного из первых романов, написанных на японском языке, – «Повесть о Гэндзи» (*The Tale of Genji*).

14. М. ДОБУЖИНСКИЙ – А. РЯЗАНОВСКОЙ

*c/o Mr. P. Shulgin*¹.

1806 Lake St. S. Francisco, California].

17 июля 1946.

Милая Антонина Федоровна.

Я Вам недавно собирался писать по соседству – мы всё лето провели в Голливуде, а сейчас находимся в S. Francisco! Но мало того: собираемся в Канаду, и является мысль, не захватить ли к Вам в Eugene???

Как Вы на это смотрите и есть ли возможность найти на несколько дней дом, а то и одну комнату в отеле? Если мы увидимся, то будем очень счастливы. Пожалуйста, будьте милы поскорее ответить нам. Пока я пишу только это и откладываю подробности о прожитом времени до свидания или до следующего письма.

Елиз[авета] Ос[иповна] и я шлем Вам и Вашей семье наши сердечные приветы.

Ваш М. Добужинский.

1. Вероятно, Добужинские останавливались в Сан-Франциско в доме музыканта Павла Николаевича Шульгина (1897–1952). Наиболее полные сведения о П. Шульгине собраны в книге исследователя русской эмиграции в Калифорнии А.А. Хисамудинова («Кто есть кто в истории русского Сан-Франциско». С. 82).

2. В 1946 году Добужинские провели в Голливуде почти полгода (с февраля по июль). Художника пригласили для работы над двумя фильмами компании Metro Goldwyn Mayer – «Обесчещенная леди» и «Странная женщина». В августе того же года Добужинский с супругой уедут в Монреаль по приглашению канадской компании Concerts and Artists.

15. А. РЯЗАНОВСКАЯ – М. ДОБУЖИНСКОМУ

1855 Olive Street.

Eugene, Oregon.

19 июля 1946.

Дорогие Добужинские, мы были рады услышать о Вас. Комнаты здесь в отелях достать невозможно, т.е. надо всё это устраивать очень заранее. Но мы приглашаем Вас остановиться у нас. Есть комната, в ней зеркало, стол, стулья, большая кровать. Мы – в общем – живем бедновато, неказисто и по-русски, т.е. довольно бестолково. Если Вас это не пугает – приезжайте к нам, а мы все будем очень рады. Я узнаю между тем о наших чудесах природы, чтобы сразу же Вы могли составить план. Главное «чудо» – Crater Lake и около него пропасть, где есть «статуи» – от Eugene туда часов восемь на автомобиле, но очень стоит смотреть. Итак – дайте знать, когда приедете, и наши мальчики (оба дома) Вас встретят. Лучше пошлите телеграмму – если приедете скоро, т.к. письмо может задержаться в пути.

Привет. Наилучшие пожелания. Ждем.

Все Рязановские.

Публикация, комментарий – Лариса Вульфина

КУЛЬТУРА. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ

Сергей Бычков

«Свободы сеятель пустынный...»

*Жизнь и труды русского мыслителя Георгия Федотова**

Глава девятая. ПАРИЖСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Признанным центром русской литературы в изгнании в начале 1920-х годов стал Берлин. Сюда перебралась значительная часть российских литераторов, журналистов и издателей. Жизнь колонии эмигрантов была сосредоточена в западной части города, в районе Шарлоттенбург, который многие, по словам А. Белого, называли либо Петербург, либо Шарлоттенград. В Шарлоттенграде действительно было царство русских: насчитывалось двадцать книжных лавок, шесть банков, в разное время от 30 до 86 издательств, несколько русских школ и других учебных заведений, несчетное количество ресторанов и кафе; кроме того, по городу разъезжало около сотни русских таксистов. Были и различные организации помощи беженцам, клубы и общества (политические и культурные), партии – от эсеров до монархистов.

Широкому распространению издательского дела в Берлине способствовало несколько факторов: 1) относительная дешевизна издательского дела в Германии в условиях инфляции; 2) скопление русских издателей, готовых вложить свои деньги в печатное дело. В 1922 году в Берлине насчитывалось 48 русских издательств, которые выпускали 145 наименований журналов, газет и альманахов. Самыми крупными из них были издательства «Слово», «Геликон», «Скифы», «Петрополис», «Медный всадник», «Мысль», «Знание», «Эпоха», «Беседа». Крупнейшими издателями были З. И. Гржебин, И. В. Гессен, О. В. Дьякова, И. П. Ладыжников, С. Я. Эфрон.** В основном

* Продолжаем публикацию книги российского исследователя, историка религии С.С.Бычкова о жизни и научном наследии Г.П. Федотова (1886–1951), религиозного мыслителя, историка, русского эмигранта первой волны, автора «Нового Журнала» с 1942 года. Начало см. № 311, 2023. © С.С. Бычков.

** Данные об издательской деятельности русской эмиграции в Германии в межвоенный период незначительно разнятся в зависимости от источников. См. например: Каталог книг вышедших вне России по июнь 1924 года (Союз русских писателей и книгопродавцов в Германии, Берлин, 1924); *Базанов, П.Н. и И.А. Шомракова, И.А.* Русские издательства в Берлине, 1920–1924 гг. (Вестник СПбГУКИ, № 4 (33) декабрь 2017); Русская зарубежная литература (<https://booktracker.org/viewtopic.php?p=56236>) и др. (Ред.)

издательства выпускали книги гуманитарного характера (детская и художественная литература, мемуары, учебники, произведения филологов, литературоведов, искусствоведов). Возникла парадоксальная ситуация, когда в Берлине литературы на русском языке выходило больше, чем на немецком.

В это время в эмиграции начинают распространяться идеи сменовеховства. Между советской Россией и эмиграцией в середине 20-х годов не было «железного занавеса». Существовали даже совместные издательства. На некоторых книгах, вышедших в первой половине 1920-х годов, место издания формулировалось как «Берлин–Москва», «Петроград–Берлин». Глеб Струве в своей книге «Русская литература в изгнании» объяснял:

«Эта кажущаяся сейчас странной рядовому зарубежнику обстановка советско-эмигрантского сожительства и общения отчасти объясняется тем, что в советской России в это время еще существовала относительная свобода мысли и печати... Отчасти тем, что многие писатели, как из того, так и из другого лагеря, в это время окончательно еще не самоопределились, а отчасти, наконец, тем, что советская власть, думавшая извлечь свои выгоды из сменовеховства и разложения эмиграции, на такое общение смотрело сквозь пальцы, если даже ему не потворствовало»¹.

Для отдельных писателей (евразийцы, сменовеховцы) создавался в этом контексте режим наибольшего благоприятствования. Им разрешалось свободное издание их книг в СССР, беспрепятственный пропуск через границу их сочинений, публикации в советских газетах и журналах. Около двух лет просуществовал в Берлине русский «Дом искусств». За этот короткий срок в нем было проведено 60 различных выставок и концертов, выступали русские и немецкие знаменитости, в основном, из литературных кругов (в том числе Томас Манн, Владимир Маяковский, Борис Пастернак).

Осознав бесперспективность своего существования в Советской России как ученого, Федотов принимает решение об эмиграции. Французскую визу он получил благодаря помощи старого друга профессора Гревса – академика Фердинанда Лота. Мотивируя свой отъезд из России перед властями, Георгий Петрович заявил, что ему необходимо поработать по средневековой истории в европейских библиотеках. Месяц он пробыл в Берлине, работая в библиотеках, но уже в конце 1925 года поселился в Париже. Поначалу он надеялся, что ему удастся завершить работу над магистерской диссертацией «Меровингское государство перед судом Церкви» и опубликовать ее во французских исторических журналах. В Париже он посещал лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс в надежде со временем найти свое место во французской медиевистике. Однако его надеждам на преподавание в университете не суждено было сбыться.

Елена Николаевна с дочерью не смогли сразу уехать – на руках оставалась старая больная мать. Мать Федотова, Елизавета Андреевна, жила вместе с ними. Лишь похоронив в 1926 году Ольгу Константиновну на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря, Елена Николаевна через полгода смогла уехать с дочерью Ниной в Париж. Елизавета Андреевна перебралась к сыну Борису, на Каляевскую улицу. Судьба второго брата, Николая, неизвестна.

Георгий Петрович не только посылал о себе весточки брату Борису и матери, но и помогал им материально. До отъезда из Советской России Елена Николаевна занималась переводами и литературной работой. В 1927 году вышли рассказы Дж. Джойса «Дублинцы» в ее переводе и с ее предисловием. Она и в эмиграции продолжала заниматься литературной и общественной деятельностью.

У Федотова сложились добрые отношения с молодыми французскими литераторами, близкими к семье Шарля Пегги². И всё же главной аудиторией для него стала русская эмиграция. Зарабатывать на жизнь он надеялся переводами. Однако школа Фердинанда Лота, как и профессора Гревса, вырастила слишком много медиевистов. Поэтому Федотову как иностранцу со слабым знанием французского не удалось получить места в университете. В это время продолжал издаваться лишь один-единственный исторический журнал – так что свою работу ему не удалось опубликовать.

В письме к Гревсу из Парижа Федотов, вскоре после отъезда из Петрограда, пишет:

«Простите мне бесконечное молчание. Ради Бога не думайте, что это означает отсутствие памяти. Мне, вообще, трудно писать, но о Вас я часто думаю в Париже: думаю всё о том, как Вы были бы счастливы, если бы Вы могли опять увидеть этот прекрасный город. На меня и сейчас, после двух месяцев, самый вид улиц, тонкое благородство архитектуры действует освежающе. Всякая прогулка по Парижу – теперь, увы, всегда деловая – точно хороший душ, восстанавливает душевное равновесие. Париж ни в чем не изменился после войны – т. е. если говорить о самом городе. Пропали лошади, почти совершенно. Метро напоминает об аде людям, дорожащим своим временем. Но автобусы бегают по-прежнему и дают возможность любоваться городом. Люди сами изменились, но к лучшему: стали скромнее, серьезнее. Нигде не видишь блестящих туалетов. Служащему и интеллигенции нелегко в годы быстрого падения франка. Но пережитая трагедия наложила свой облагораживающий отпечаток. Я был приятно удивлен, когда услышал немецкую речь, – теперь она уже не обращает ничьего внимания. Думаю, что острая ненависть уже прошла или проходит. Иностранцев очень много: англичан, славян, монголов и негров. Последние, впрочем, не очень заметны.

По моим профессиональным обязанностям, мне приходится следить за новой литературой, к сожалению, довоенной и в смысле формального мастерства, и в смысле построений... У Лота³ я бывал в семинаре, на правах гостя – человек он остроумный и основательный и умеет заражать студентов, так что работают хорошо; это не мешает ему жаловаться на упадок научной работы во Франции. Познакомился с Мазоном⁴, он читает в College de France о Тургеневских рукописях, желая делать из своего курса род семинария. Передал ему Ваш поклон, а он мне для Вас свою работу о ‘Нови’, которую высылаю одновременно. Он говорит, что он писал Вам этой осенью... Относительно русских издательств здесь и в Германии, с ними дело обстоит очень плохо. Дышат на ладан. Журналы выходят, а серьезных книг почти нет. Очень просил Вам кланяться Сергей Сергеевич (Безобразов). Мы с ним очень сблизились здесь, он живет замечательно»⁵.

В парижскую зиму 1925/26 годов Федотов дебютировал в эмигрантской прессе как публицист под псевдонимом Е. Богданов. Его дебют состоялся в евразийском журнале «Версты», где были опубликованы его блистательные эссе «Трагедия интеллигенции» и «Три столицы». С евразийцами в Париже его познакомил давний приятель по Саратову В. Э. Сеземан⁶, в доме которого они часто собирались. Присутствуя на собраниях, Георгий Петрович выступал с критикой идеи евразийцев.

Еще в 1921 году вышло первое издание евразийцев, получившее громкое название «Исход к Востоку». В кружке евразийцев объединилась талантливая молодежь – П. Сувчинский, П. Савицкий, Н. Трубецкой, П. Бицилли, Н. Алексеев⁷. В раннем периоде этого движения его поддерживали Л. Карсавин и только начинавший свою деятельность молодой Г. Флоровский⁸.

Оценивая взгляды евразийцев, Николай Зёрнов писал:

«Евразийцы предлагали признать в русской культурной и духовной жизни наличие азиатских элементов и не смотрели на татаро-монгольское нашествие как на варварскую и враждебную силу, нарушившую развитие исконной русской культуры. Они не считали Западную Европу носителем единственно возможной прогрессивной культуры и не видели в подражании Европе единственно возможный для России путь культурного развития... Почитание Русской Церкви не мешало им, однако, высоко ценить культурные достижения азиатских народов, которые также участвовали в создании русского государства. Евразийцы утверждали, что монголы научили русских строить многонациональное государство на основе национальной и религиозной терпимости. Они считали также, что опыт коммунистического строительства является органическим звеном в цепи развития евразийских народов, и признавали положительными некоторые достижения нового строя»⁹.

Появление статей Федотова в «Верстах» стало возможным благодаря его знакомству с Сеземаном, в доме которого в середине 1920-х годов нередко бывали евразийцы. Заявленная редакцией позиция издания – объединить лучшее, что возникало в культуре в Советской России и в эмиграции, – не могла не привлечь Г. П. Федотова – впрочем, как и многих других авторов, не имевших ничего общего с евразийской идеологией. Так, в «Верстах» издавались стихи Марины Цветаевой, с которой Федотов познакомился в доме Бердяева и поддерживал дружеские отношения, помогая с публикациями.

Федотов, проживший при советской власти восемь лет и на себе испытавший все «прелести» нового режима, вряд ли мог согласиться с евразийцами в вопросе о том, что положительного дали России большевики. В эссе «Трагедия интеллигенции», полемизируя с евразийцами, Федотов замечает:

«Неизбежны ли самоубийственные формы опричнины Грозного, коммунизм большевистской революции? Откуда эта разрушительная ярость всех исторически обоснованных процессов русской истории? Они протекают с таким ‘запросом’, что под конец не знаешь – что это, к жизни или к смерти?»¹⁰

Восхищенные блеском мысли, евразийцы предложили ему опубликовать эссе в их журнале, пообещав полную свободу. Они сдержали обещание, и эссе Федотова были опубликованы без какой-либо редактур. Однако жить на заработки от публицистики в Париже было невозможно и приходилось думать о постоянной работе.

Его первые публицистические статьи в эмиграции появились почти одновременно в трех изданиях – «Пути», «Верстах» и «Вестнике Русского студенческого христианского движения», с членами редколлегий которых у него оказались те или иные личные связи. Дружеские отношения с Бердяевым, уютный дом которого в парижском предместье Кламаре стал местом частых встреч, положили начало многолетнему сотрудничеству Федотова в «Пути». С Бердяевым его связывала дружба, основанная на общности взглядов и жизненной позиции, сутью которой было отстаивание свободы личности. Неизменность этой установки стала залогом прочных дружеских отношений, которые хотя иногда и омрачались расхождениями в определении способов борьбы за свободу, но сохранились до конца жизни. Основные теоретические религиозно-философские работы Федотова появились именно в «Пути».

Федотова волновали те же вопросы, которые наиболее четко первыми были поставлены в эмиграции именно евразийцами: о самобытности русского исторического пути, о необходимости духовного преодоления революции и о месте интеллигенции в этом процессе.

Однако уже первая программа движения «Евразийство: опыт систематического изложения», увидевшая свет в том же 1926 году, когда появились статьи Федотова в «Верстах», убедила его, что ему с евразийцами не по пути. Несмотря на отдельные элементы евразийской риторики, присутствовавшей в его статьях в «Верстах», в оценках этапов исторического прошлого он существенно расходился с евразийской исторической концепцией. Это отчетливо проявилось уже в следующем году, когда была опубликована брошюра Н. С. Трубецкого «Наследие Чингисхана», обобщавшая евразийское видение прошлого России. После этого Федотов неоднократно подчеркивал свое критическое отношение к евразийству.

Третьим изданием, где появились первые «эмигрантские» статьи Федотова, стал «Вестник Русского студенческого христианского движения». Это не было случайностью, поскольку возрождение РСХД за рубежом в значительной мере предопределило создание Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В нем читали лекции давние знакомые Федотова – А. В. Карташев и С. С. Безобразов. Сергей Безобразов, друг по братству «Христос и свобода», предложил Федотову преподавать в только что открывшемся Свято-Сергиевском богословском институте.

В статье «Зачем мы здесь?» Федотов четко сформулировал цель российской эмиграции:

«Быть может, никогда ни одна эмиграция не получила от нации столь повелительного наказа – нести наследие культуры. Он диктуется самой природой большевистского насилия над Россией. С самого начала большевизм поставил своей целью перековать народное сознание, создать в новой России на основе марксизма совершенно новую пролетарскую культуру. В неслыханных размерах был перенят опыт государственного воспитания человека, лишённого религии, личной морали и национального сознания, – опыт, который дал известные результаты. Обездушение и обезличение новой России – факт несомненный... И вот мы здесь за рубежом, для того, чтобы стать голосом всех молчавших ТАМ, чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа... чтобы стать живой связью между вчерашним и завтрашним днем России»¹¹.

Постепенно Париж в течение 1920-х становится признанным центром российской эмиграции. В Париже издавались самые популярные среди эмигрантов газеты: либеральные «Последние Новости» и консервативное «Возрождение». «Последние Новости» – ежедневная газета либерально-демократического направления – стала выходить с 27 апреля 1920 года и просуществовала вплоть до 11 июня 1940 года. Первый год издания редактором был бывший

киевский присяжный поверенный, редактор петербургской газеты «Вечернее время» М. Л. Гольдштейн. В передовой статье первого номера прозвучало его кредо: «Девиз газеты – служение объективной правде, участие в работе по созданию фундамента для Новой России, где не может быть места ни угнетению, ни насилию». Через год после появления первого номера издатель газету продал, 1 марта 1921 года редактором стал – и оставался на этом посту до закрытия газеты – кадет П.Н. Милюков, один из лидеров Парижской демократической группы Партии народной свободы (с 1924 года – Республиканско-демократическое объединение). «Последние новости» начали выходить под редакцией П.Н. Милюкова (главный редактор), М.М. Винавера, А.И. Коновалова и В.А. Харламова.

Газета завоевала подписчиков в других странах Европы и даже в Новом Свете и на Дальнем Востоке. Для многих тысяч читателей газета стала важнейшим источником информации. Газета информировала читателей о том, что происходит и в Советской России, и в мире. На литературной странице по четвергам печатались И. Бунин, Б. Зайцев, А. Куприн, М. Алданов, Г. Адамович, А. Бенуа, В. Вейдле, С. Минцлов, М. Осоргин, А. Ремизов, Н. Тэффи, В. Сирин (Набоков); поэзия была представлена именами Дон-Аминадо, К. Бальмонта, Саши Черного, Г. Иванова, М. Цетлина. В ней печатались молодые прозаики и поэты: Н. Берберова, Г. Кузнецова, Л. Зуров, И. Кнорринг, А. Ладинский, Д. Кнут, И. Одоевцева.¹²

Последний номер от 11 июня вышел с сообщением: «Подобно прочим парижским газетам, ПН вынуждены прервать свой выход. В ближайшее время издание газеты возобновится в одном из провинциальных городов Франции». Этот же номер заканчивался извещением: «В пятницу 14 июня в 4 часа в годовщину смерти В.Ф. Ходасевича будет отслужена панихида на Бьянкурском кладбище...» 14 июня 1940 года немецкие войска вошли в Париж.

Нельзя не упомянуть и другие издания русской эмиграции того периода.

Создателями либерально-консервативной газеты «Возрождение», издававшейся в течение 15 лет, вплоть до вступления в Париж немецкой армии, были нефтепромышленник и издатель А.О. Гукасов и экономист, историк и литератор П.Б. Струве. Он был главным редактором с 1925 по 1927 годы. С августа 1927 его заменил Ю.Ф. Семенов, товарищ председателя Парижской группы Партии народной свободы, член Русского национального объединения, представитель либерально-националистического направления, отстаивающий программу т.н. «просвещенного национализма». В передовице первого номера газеты Струве определил политические ориентиры издания: «Освободить и освободиться, дабы возродить и возродиться на основах либерализма, понимаемого как вечная правда человеческой свободы, положенная в

основание реформ Екатерины Великой, Александра I и Александра II, и консерватизма, понимаемого как великая жизненная правда охранительных государственных начал и любовная преданность великим началам и великим образцам родной истории»¹³.

Петр Струве стремился сформулировать общенациональную идею, которая могла бы объединить вокруг себя значительные силы русской эмиграции во имя освобождения России. «Идеал сильной и свободной России, – писал он, – должен стать объединяющим политическим идеалом русской эмиграции» (3 июня 1926 года). Струве, отстаивая позицию непримиримости к большевистскому строю, придал газете то направление и характер, которые она сохраняла на протяжении всей своей истории. К решению задач единения духовной жизни Русского Зарубежья во второй половине 20-х годов в газету были привлечены И.А. Бунин, А.И. Куприн, И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, П.П. Муратов, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Ф. Ходасевич, И.И. Ильин, И.С. Лукаш, А.В. Карташев и другие видные представители русской мысли в эмиграции.

Близость идеям «возрожденчества» была высказана И.С. Шмелевым, который оказался одним из самых ярких ностальгирующих по дореволюционной России писателей. Творчество его, идеализировавшее утраченную родину, вызывало не только читательскую любовь, но и жесткую критику леворадикального лагеря. Православные взгляды Шмелева, его религиозная интерпретация исторических процессов в России претили социалистам из ведущих периодических изданий – газеты «Последние Новости» и журнала «Современные Записки». «Возрождение» яростно критиковала Свято-Сергиевский богословский институт. Особенно доставалось профессорам института за экуменизм. Последний номер газеты «Возрождение» вышел с редакционным отчетом о пятнадцатилетнем юбилее, отмеченном 3 июня 1940 года: «Нас мало, но мы правы, и злу не восторжествовать. Газета будет стоять до последнего дня, до возможного физического уничтожения – но с поста своего мы не сойдем и не сдадимся»¹⁴.

Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал «Современные Записки» был основан в 1920 году и сразу же стал наиболее влиятельным литературным журналом. Он издавался коллективно, группой членов партии социалистов-революционеров Николаем Авксентьевым, Ильей Фондаминским, Вадимом Рудневым, Марком Вишняком и Александром Гуковским (скончавшимся в 1925 году). Издательство журнала «Современные Записки», работавшее с 1929 по 1940 год, считается одним из самых популярных книгоиздательств Зарубежной России. Оно публиковало, в основном, авторов журнала и потому серию «Библиотека журнала 'Современные Записки'» читатели рассматривали как книжное дополнение к периодическому изданию. Были опубликованы книги И.А. Бунина

«Избранные стихи. 1900–1925» (1929), роман «Жизнь Арсеньева», «Истоки дней» (1930), «Божье древо» (1931) и «Тень птицы» (1931); Б.К. Зайцева «Анна» (1929); Л.И. Шестова «На весах Иова» (1929); Ф.А. Степуна «Николай Переслегин» (1929); В.Ф. Ходасевича «Державин» (1931); М.А. Осоргина «Повесть о сестре» (1931), «Чудо на озере» (1931) и «Вольный каменщик» (1937); М.А. Алданова «Десятая симфония» (1931), «Ключ» (1939); В. Сирина «Подвиг» (1932) и «Камера обскура» (1932); Ф. Шаляпина «Маска и душа» (1932); З.Н. Гиппиус «Сияния» (Стихи, 1938) и другие. Всего в издательстве вышло 35 книг.

Начиная с 1936 года в Париже издавался журнал «Новая Россия». Он выходил один раз в две недели. Всего вышло 84 номера журнала. Главным редактором и издателем был Александр Керенский. В нем он публиковал тексты из политического дневника. Назвав первую статью дневника «Новая Россия» (1936. № 1. 8 марта), Керенский указал, что это не только заглавие основанного им издания, но и «общее знамя в нем пишущих». С этого времени Керенский, как и в журнале «Дни», выходившем с 1928 по 1932 годы, под рубрикой «Голос изда-лека» печатал во всех (за редким исключением) выпусках по несколько дневниковых записок, нумеруя каждую публикацию. Последняя из них, «О войне, о Кремле и о патриотизме», вышла 10 марта 1940 года.

Федотов регулярно публиковал свои статьи в журнале «Новая Россия», не чуждаясь самых острых проблем. Поражал его анализ событий, происходивших в СССР. Он никогда не заблуждался относительно большевиков и не питал никаких иллюзий относительно скорого падения сталинского режима. Политическая и литературная жизнь эмиграции в довоенный период протекала очень бурно. Бытовала даже пословица: «Там, где двое русских, там три партии».

Глава десятая. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ

Россию после революции 1917 года покинуло от двух до трех миллионов человек. Основной контингент русских беженцев составляла молодежь. Их образование было прервано войной и революцией, и многие стремились продолжить его в изгнании. Чехословацкое и югославское правительства, а также многочисленные филантропические организации Франции, Бельгии и Америки предоставили русским студентам места в университетах. С 1921 по 1925 годы тысячи эмигрантов заполняли лекционные залы и лаборатории европейских высших учебных заведений. София, Белград, Загреб, Любляна, Прага, Брно, Братислава, Берлин, Брюссель, Лувен, Лилль и Париж стали основными центрами студенческих объединений. Возобновление занятий давалось русским студентам нелегко. Они должны были обучаться на иностранных языках, приспосабливаться к новым усло-

виям жизни, при этом часто жили в тяжелой нужде. Большинство стремилось к профессиональному образованию, чтобы впоследствии оказаться полезными в России. Так что для российских мыслителей открывалось огромное поле для просветительской и миссионерской деятельности.

Наиболее многочисленными были русские колонии в Европе. Заметное место принадлежало русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года – Королевство Югославия). Большинство исследователей считают, что 44 тысячи российских эмигрантов осело в Королевстве в период с 1922 по 1923 годы, когда русская колония была наиболее многочисленной. В последующие годы она сократилась, а в конце 20-х – начале 30-х годов в Югославии насчитывалось около 30 тысяч. К этому времени специалистов с высшим и средним образованием среди русских эмигрантов в Югославии было более 75%. Самой многочисленной группой оказалась наиболее социально активная и трудоспособная часть эмигрантов от 19 до 45 лет. Квалифицированные и активные специалисты нашли применение своим знаниям и способностям в молодом югославском государстве. Оно проявило искреннюю заинтересованность в том, чтобы привлечь их к научной, педагогической и хозяйственной деятельности. Правительству, и прежде всего королю Александру Карагеоргиевичу, удалось достичь этой цели и создать в стране статус наибольшего благоприятствования для русских эмигрантов. Сам Александр Карагеоргиевич учился в России в Пажеском корпусе, хорошо знал русский язык и культуру. Он прекрасно понимал, какой интеллектуальный потенциал представляет собой Зарубежная Россия. В глазах эмиграции он всегда был «Королем-витязем» – олицетворением православного монарха.

Отношение к русским эмигрантам в Югославии, и прежде всего в Сербии и Черногории, было особым. Многовековая защита Россией интересов православных славян и, в особенности, роль России в событиях Первой мировой войны не могли остаться без ответа. Общее настроение выразил председатель совета министров Никола Пашич на заседании Скупщины 25 января 1922 года:

«...Что касается России, дело вам хорошо известно. Мы, сербы, а также и другие наши братья, которых нам довелось освободить и объединить, мы все благодарны великому русскому народу, поспешившему нам на помощь от погибели, которой нам угрожала Австро-Венгрия, объявив войну. Если бы Россия не совершила этого, если бы не встала на нашу защиту, мы бы погибли... Россия увлекла своих союзников, и мы были спасены от смерти. Мы этого не можем забыть. Мы сейчас приняли русских эмигрантов, и мы их принимаем без различия, к какой партии они принадлежат, мы в это не вмешиваемся. Мы только желаем, чтобы они остались у нас, мы их примем, как своих братьев, и пусть они располагают свободой...»¹⁵

Около 10 тысяч русских осело в Белграде (в 1920 году население столицы составляло 200 тысяч человек). Около 10 тысяч расселилось на северо-востоке Сербии, в Воеводине – преимущественно сельскохозяйственном районе. В центральных промышленных районах Боснии и Сербии нашли работу многие русские инженеры, строители, офицеры. Руками бойцов Русской армии были проложены многие километры горных дорог. Бывшие части Кавалерийской дивизии несли пограничную службу на опасных рубежах с Австрией, Италией, Албанией. К февралю 1921 года на территории Югославии возникло 215 колоний русских беженцев. Большая часть приходилась на православные земли, в то время как в Словении и Хорватии насчитывалось лишь 30 русских колоний. Для оказания помощи была создана Государственная комиссия по устройству русских беженцев. Всеми вопросами, связанными с прибытием и пребыванием на территории Югославии армии генерала Врангеля, ведало военное министерство. В отличие от многих стран, въезд русских в Югославию не был ограничен какими-либо квотами, визами и прочими формальностями. Государственная комиссия выделяла денежные пособия и расселяла вновь прибывших. Отделения трудовой подкомиссии занимались вопросами трудоустройства и организацией курсов по приобретению различных профессий, в которых было заинтересовано югославское общество.

В 20-е годы были созданы Общество славянской взаимности, Русский народный университет, Русская матица в Любляне (и ее филиалы), Союз ревнителей чистоты русского языка, Комитет русской культуры. К важнейшим общенациональным праздникам создавались специальные объединения – Юбилейный Пушкинский комитет, Комитет к празднованию 950-летия Крещения Руси. Эмигранты считали Югославию страной, где существовали условия для создания системы образования российской молодежи. К 1924 году в Королевстве находилось 5317 русских детей. Треть детей были сиротами. В сложных послевоенных условиях, когда на нужды собственных школ едва хватало средств, Государственная комиссия югославского правительства ежемесячно выделяла крупные суммы на русскую систему образования. В середине 20-х годов в Югославии было около 30 начальных русских школ и ряд специальных средних учебных заведений. В них преподавали русские учителя, по русским программам и методикам. В соответствии с югославской программой были добавлены сербский язык и литература, а также история и география народов Югославии.

В системе образования особое место занимали кадетские корпуса. Они стояли ближе к военным академиям, хотя и считались средними учебными заведениями. Так же, как и девические институты, воссозданные в условиях эмиграции в Югославии, эти учебные заведения

основывались на традициях имперской России. Они просуществовали до начала Второй мировой войны. С марта 1920 года в местечке Нови Бечей начал работу эвакуированный из Новороссийска Харьковский девичий институт под руководством М.А. Неклюдовой. В том же году в городе Белая Церковь разместился Мариинский Донской девичий институт, которым долгие годы заведовала Н.В. Духонина. В стенах этих двух институтов получили образование 975 девушек. Школы, гимназии, институты и корпуса позволили сотням русских молодых людей получить полноценное образование в условиях эмиграции. Из этих стен вышли отличные специалисты. После революции русские кадетские корпуса и девические институты сохранялись только в Королевстве Югославия. Большая часть русских студентов училась в Белградском университете и его филиалах в Скопле и Субботице, несколько меньше – в Загребе и Любляне. Принимали русских из Югославии и в Русский народный университет, и на Русский юридический факультет в Праге.

Чехословацкое правительство во главе с президентом Томашем Масариком, министром иностранных дел Эдвардом Бенешем и премьер-министром Карелом Крамаржем подготовило и приняло специальную программу «Русская акция» по поддержке беженцев из России, направленную как на их ассимиляцию в стране, так и на развитие их собственной культуры и науки. Интересно, что программа «Русская акция» была государственной. Важную роль в ее реализации играли первый премьер-министр и президент Чехословакии. Томаш Масарик был человеком рационального склада, симпатизировал эсерам и кадетам. У него еще до революции было много друзей среди русской интеллигенции. Он был лично знаком с П.Н. Милюковым и А.Ф. Керенским, многих приглашал в Чехословакию, в частности, Питирима Сорокина и Бориса Яковенко. Благодаря Масарику Прага стала центром эсеровской эмиграции. Жизнь в Чехословакии была недорогой, поэтому русским эмигрантам долгое время там было легче выжить.

Карел Крамарж был русофилом. Первый премьер-министр женился на русской из рода богатых купцов – Надежде Абрикосовой, которая из-за него развелась с супругом. Благодаря ее связям, Крамарж установил деловые отношения с русскими предпринимателями. То были два непохожих друг на друга политика: Масарик ратовал за демократию и республику, Крамарж, член национально-демократической партии Чехословакии, придерживался монархических взглядов. Оба были диссидентами в то время, когда Чехословакия входила в состав Австро-Венгерской империи. Их почитали как героев чешской нации.

Они поддерживали «Русскую акцию», в том числе, из собственных средств. Суммы пожертвований доходили до восьмидесяти миллионов крон в год! Масарик пользовался большим авторитетом: это

был президент-аскет и идеалист. Ему доверяли все – поэтому в его распоряжении был особый финансовый фонд, которым он распоряжался по своему усмотрению. К нему обращались за помощью эмигранты, жившие не только в Чехословакии, но и во Франции: Бунин, Ремизов, Шмелев, Гиппиус, Мережковский. В архивах сохранились письма с их благодарностями за поддержку. У Крамаржа тоже был свой фонд. С женой они устраивали званые ужины, на которых собиралась чешская знать и русские эмигранты. Во время ужинов регулярно проводились сборы денег на помощь русской эмиграции.

При Карловом университете в Праге был организован Русский юридический факультет. Занятия проходили в стандартных аудиториях университета на Альбертове, а вручение дипломов – в Каролинуме. Также был создан Русский педагогический университет имени Яна Амоса Коменского, технические институты и, конечно, Русский Народный (РНУ), позже – Русский Свободный университет (РСУ), в который мог записаться любой желающий. Открывались средние школы, самыми известными из которых стали русские гимназии в городе Моравска-Тршебова и в Праге. Русский Заграничный исторический архив в Праге (РЗИА) располагался в красивом здании на Малой Стране*.

Чехословакия была средоточием русского академического корпуса; местом, где преподавали бывшие профессора русских университетов и академии, где подвизались историки, библиографы, архивисты. Сюда ехали учиться русские из других стран рассеяния.

История создания Института имени Н.П. Кондакова в Праге связана с деятельностью выдающегося историка церковного искусства Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). Эмигрировав в 1922 году в Прагу, он начал читать в Пражском Карловом университете курс лекций о роли восточноевропейских славянских и кочевых народностей в истории образования общеевропейской культуры, по истории античного быта и культуры и по проблемам орнамента. Он воспитал значительное количество учеников, которыми в 1925 году был создан в Праге «Семинарий имени Н.П. Кондакова» (*Seminarium*

* РЗИА был создан постановлением Комитета Земгора от 17 и 19 февраля 1923 года как «Архив русской революции» в составе библиотеки при Культурно-просветительном отделе Пражского отделения Земгора. Руководящим органом архива являлся Совет; председателем Совета был А.А. Кизеветтер, первым управляющим – В.Я. Гуревич, с 1928-го – В.Г. Архангельский, в 1933 году Совет возглавил чешский историк Ян Славик. Все сотрудники архива были русскими эмигрантами. После 1945 года коллекция документов и видеохроники была конфискована представителями СССР и перевезена в Москву, где находится и в настоящее время. На основе книжной коллекции и архива периодики в Праге была создана Славянская библиотека, работающая по настоящий момент. В 2005 году коллекция Славянской библиотеки была признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Собрание периодики 1918–1945 годов включено в список Всемирных памятников культурного наследия ЮНЕСКО в июле 2007 года. (Ред.)

Kondakovianum), переименованный в 1931 году в «Археологический институт имени Н.П. Кондакова». Институт издавал «Сборники статей по археологии и византиноведению» и «Анналы» (до 1940 года было опубликовано 11 выпусков научных трудов института). Главной задачей института была публикация рукописного наследия Кондакова, изучение древнерусского искусства, педагогическая деятельность. Институт просуществовал до 1952 года.

В Чехословакии осели остатки эсеровской партии, деятели Земгора; здесь зародились идеи евразийства. Очевиден специфический характер издаваемых в Праге отдельных книг по философии, исследований по истории и лингвистике, экономике и статистике. На первом – месте имена П. М. Бицилли, П.Г. Богатырева, В.Ф. Булгакова, С.Н. Булгакова, С.И. Варшавского, Г.В. Вернадского, В.В. Зеньковского, Г.А. Острогорского, П.А. Остроухова, П.Н. Савицкого и других. В Праге и окрест жили и издавались Д.М. Раггауз, М.И. Цветаева, В.Ф. Булгаков, и другие. Некоторые писатели-эмигранты (Ходасевич, Амфитеатров, Бунин, Зайцев, Шмелев, Бальмонт, Степун, Куприн, Ремизов, Мережковский, Гиппиус, А. Черный и др.) активно печатались в Праге на деньги Русской акции. Бальмонт издал здесь две книги, а Мережковский – три. Огромным успехом пользовалась русская литература у хозяев страны – в предвоенные годы появилось множество переводов на чешский язык. На чешском языке русская литература и наука представлены в значительно большем объеме, нежели на русском. Достаточно вспомнить Аркадия Аверченко, Евгения Чирикова, Василия Немировича-Данченко, а также ученых – византолога Никодима Кондакова, основателя Славянской библиотеки Владимира Тукалевского, историков Александра Кизеветтера и Ивана Лаппо, литературоведа Альфреда Бема и многих других, обретших необходимую академическую среду в стенах Карлова университета и русских факультетов.

Конечно, «русский мир» Чехословакии состоял не только из знаменитых писателей и ученых – здесь жили и работали тысячи людей самых разных профессий. Несмотря на трудности, через три-четыре года немало русских студентов получило высшее образование. Начиная с 20-х годов в Берлине, Праге, Париже и Харбине издавались на русском языке газеты и журналы, а также успешно развивалось русское книгоиздательство. Везде, где оказывались белые эмигранты, они выпускали газеты, журналы, основывали издательства и печатали книги. В Берлине, в Париже, в Праге, в Белграде, в Варшаве, в Софии, в Риге, в Ревеле, в Выборге, в Таллине, в Харбине, в Шанхае появлялись сотни периодических изданий, были напечатаны тысячи книг на русском языке. Многие периодические издания оказались недолговечными, выходили нерегулярно, другие прожили долгие годы и оставили свой след в культуре XX века.

Аспекты всех проблем обсуждались в различных студенческих собраниях. Один из самых активных кружков христианской молодежи возник в 1921 году в Белграде, где в университет приняли сотни русских студентов. Участниками кружка была, в основном, двадцатилетняя молодежь, пережившая ужасы революции и Гражданской войны. Кое-кто из них уже нашел ответы на волнующие вопросы в Православной Церкви. На собраниях, происходивших в частном доме семьи Зёрновых в Сеньяке, на окраине Белграда, сначала присутствовали только студенты, но постепенно к ним примкнула профессура, а позднее – епископы и священники. Впоследствии семья Зёрновых стала активной участницей экуменического движения. Аналогичные студенческие кружки в Париже, Праге и Софии основали либо сами студенты, либо вожди дореволюционного Русского студенческого христианского движения. Оказавшись в изгнании, они продолжали евангельскую проповедь в новом окружении, помогая студенчеству обрести веру. Другие религиозные группы были созданы при содействии Всемирной студенческой христианской федерации и секретарей американской YMCA (Young Men's Christian Association), имевших серьезный успех в России в дореволюционные годы и продолжавших работу в эмиграции.

Вначале эти религиозные кружки не подозревали о существовании друг друга. Но постепенно, благодаря усилиям иностранных друзей, посещавших центры русской эмиграции, удалось устроить встречу руководителей кружков. С 1 по 8 октября 1923 года, при финансовой поддержке YMCA и ВСХФ (Всемирная Студенческая Христианская Федерация), в Пшерове (Чехословакия) прошел первый съезд русских студентов в Европе – знаменательное собрание, из которого выросло Русское христианское движение в изгнании, давшее немало деятельных членов Православной Церкви. Первый день Пшеровского съезда был напряженным, поскольку в этом королевском замке собрались три русские группировки, относившиеся друг к другу с недоверием. Первая состояла из выдающихся представителей старшего поколения, таких как священник Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Антон Карташёв, Василий Зеньковский, Павел Новгородцев и другие. Эти представители русского религиозного возрождения, вернувшиеся в христианство на заре революции, высланные в 1922 году из России вместе с двумя сотнями представителей интеллектуальной элиты, образовали отдельную группу. Испытав на себе все прелести коммунистической системы, они не разделяли оптимистических надежд на скорое возвращение в Россию и критически относились к идеологии вождей Белой Добровольческой Армии, проповедовавшей военную борьбу с коммунизмом из-за границы. Приезд высланных русских христианских мыслителей явился одним из решающих событий в жизни русской эмиграции: они воз-

главили интеллектуальную жизнь диаспоры и Православной Церкви и стали самыми известными ее представителями.

В Пшерове состоялась первая встреча с послереволюционным студенчеством – второй, самой многочисленной секцией на съезде. Это были молодые поборники Церкви, в большинстве своем недавно принявшие христианство и с энтузиазмом новообращенных ратовавшие за чистоту Православия. Третью группу составляли члены предреволюционного Студенческого движения – либо протестанты, как богослов и общественный деятель В. Марцинковский или М.Л. Бреше (ученица барона Павла Николаи, организовавшего в дореволюционной России несколько библейских кружков), либо склонявшиеся к протестантизму.

Кроме русских на Пшеровской конференции присутствовали иностранные гости, советники и наблюдатели, члены ВСХФ и YMCA: Ральф Холингер, Руфь Рауз и Д. Лаури. Самый выдающийся из них – доктор Г.Г. Кульманн, швейцарец, секретарь американской YMCA, работавший среди русских студентов в Берлине.

Вначале представители каждого направления пытались переубедить друг друга и провести в жизнь свою программу. Главным на Пшеровском съезде был вопрос о богослужении. Пражская группа, включавшая представителей предреволюционного Студенческого движения и принимавшая наиболее активное участие в организации съезда, предлагала последовать примеру студенческих объединений в протестантских странах. Они хотели устроить импровизированную медитацию и чтение Библии, считая ее основным выражением молитвенной жизни. Подобное решение не могло удовлетворить тех, кто считал, что центром съезда может быть только Евхаристия. Священник Сергей Булгаков поддержал эту точку зрения и каждое утро перед началом заседания совершал Божественную литургию. Эти богослужения определили дух съезда и движения. Литургия стала событием дня и помогла большинству осознать себя членами Церкви. Русское студенческое движение в изгнании, в отличие от предреволюционного в России, утвердилось в Православии и в таинстве Евхаристии. Однако оно продолжало принимать студентов всех вероисповеданий. Пшеров стал не только полем сражения и победы Православия, но и местом признания двух поколений русской интеллигенции.

Другая важная черта этого исторического конгресса – встреча, диалог Православной Церкви с Западом. В Пшерове были заложены основы большого и трудного пути, вылившегося в дальнейшем в экуменическое движение и повлиявшего на жизнь всемирной Церкви. Квинтэссенцию этого настроения, которым прониклась вся конференция, передал в заключительной речи священник Сергей Булгаков:

«Мы провели напряженную и трудную неделю и будем помнить о ней, как о чем-то значительном и знаменательном... Константиновская эпоха церковной истории, начавшаяся в IV веке, продолжалась для нашей страны до 1917 года. С отречением императора Николая II в истории Русской Церкви начался новый период... Бог удостоил нас жить в трудную эпоху. Мы прошли через гибель и познаем через это свет»; «Православие выражает вселенскую правду, а его главным хранителем в настоящее время является Русская Церковь. Но мы должны отказаться от позиции главенства, если мы действительно хотим выполнить свое назначение. Пришло, наконец, время вступить в живой контакт с другими Церквями»¹⁶.

Как православный священник, Булгаков приветствовал на этой конференции представителей западных исповеданий. В течение последующих двух лет в различных частях Европы собирались съезды, укрепившие единство Студенческого христианского движения. Они проходили в Пшерове – 1924 год (второй общий съезд); Аржероне, Франция, – 1924 год; Моравска Тшебове, Чехословакия, – 1924 год, Штернберге, Германия, – 1925 год; снова в Аржероне – 1925 год; Хопове, Югославия, – 1925 год (третий общий съезд). Русские студенты также приглашались на конференции Всемирной студенческой федерации в Англию, Францию, Центральную Европу и на Балканы. Федотов, после того как окончательно обосновался в Париже и начал преподавать в Свято-Сергиевском институте, активно включился в молодежное движение.

Одним из самых значительных был первый местный съезд в 1924 году во Франции, в замке Аржерон (Нормандия). В нем участвовали выдающиеся философы и богословы: священник Сергей Булгаков, Н. Бердяев, князь Г. Трубецкой, Б. Вышеславцев, священник Александр Ельчанинов и Л. Зандер. Прибыл на этот съезд и митрополит Евлогий (Георгиевский). Центральная тема съезда – «Христианство и современность». Высокий философский уровень и глубина обсуждений произвели на всех сильное впечатление. Основные ораторы пробыли в изгнании менее двух лет и на основании своего недавнего опыта дали глубокий анализ отношения к христианству в России. По мнению Карташёва,

«в русском благочестии нас первым делом поражает почти суеверная чувствительность к присутствию Бога в материи, выражающаяся в любви и почитании священных предметов... Отсюда рождается задача внешнего благочестия и стремления оцерковить весь быт. Это требование сплошности святости отражается даже в характере нашего храма, который не мирится с большими пустотами голого камня <...>, русская душа ищет заполнить священным всё, что ее окружает, – стремится создать небо на земле»¹⁷.

Священник Сергей Булгаков продолжил и развил эту мысль:

«Православие есть любовь к красоте <...>, любовь к ней требует, чтобы

вся жизнь была пронизана ею, что и составляет суть православия. Это стремление выражается в богослужении, которое нужно понимать как переживание небесной красоты, как теургическое пресуществление жизни. Отсюда желание видеть освященным всё, до государства включительно, которое должно быть не ‘кесаревым’, а ‘царским-миропомазанным’. Энергией благочестия всегда является аскетизм... Русский аскетизм исходит из мотива явить на земле Царство Божие <...> он не отрицает мира, но всё объемлет. Символом его является икона Богородицы на нивах (осеяющая сжатые снопы), стоявшая в келье старца Амвросия Оптинского (1812–1891)»¹⁸.

Съезд ознаменовался важнейшим решением основать Богословский институт в Париже. Незадолго до этого митрополиту Евлогию чудом, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, удалось приобрести землю на улице Крымской, № 93, с помещениями бывшей немецкой миссии.

На Аржеронском съезде было много дискуссий о том, как лучше сохранить православный образ жизни в эмиграции. Некоторые считали, что тесное содружество единомышленников поможет русским углубить и расширить духовную жизнь. Другие пошли дальше и предложили создать христианские братства, поставив их под прямой контроль епископата. Вопрос об основании братств живо обсуждался на третьем съезде Студенческого движения в сентябре 1925 года. Съезд собрался в русском женском монастыре, основанном игуменьей Екатериной в Лесне и нашедшем приют в Хопове, в Сербии. Знаменательный факт, что вновь созданное Движение собралось под крестом монастыря, символизируя возрастающее взаимопонимание между представителями традиционного православия и теми, кто недавно открыл истину Нового Завета. На съезде присутствовал митрополит Антоний (Храповицкий) и другие епископы. Работа съезда сопровождалась участием в монастырских богослужениях. Хозяева съезда – студенты братства Серафима Саровского из Белграда – высказались за подчинение Движения контролю епископата и предложили организовывать православные братства везде, где существуют студенческие кружки.

Их предложение было одобрено. Внимание собравшихся привлек интерес протестантов к Православию. Доктор Г.Г. Кульманн произнес речь, которая произвела сильное впечатление на присутствующих:

«Нам, протестантам, легко с вами, православными, ибо мы не чувствуем у вас ни враждебности к нам, ни агрессивности. Мы не видим у вас постоянного осуждения, которое делает невозможным наше общение с католиками. Перед вами раскрыты величайшие возможности, о которых вы сами знаете, говоря, что Святая Русь несет спасение всем народам. Разве можем мы не любить вас за эти слова. Но кому много дано, с того много и взыщется. И перед вами лежит огромная опасность подмены живой жизни, творчества

нового – обоготворением мертвых форм, замыканием в своей самобытности... Люди духовно подходят ближе друг другу только в совместном покаянии перед Богом; для нас полное религиозное общение возможно только в том случае, если вы почувствуете наши грехи как свои собственные, и возьмете их на себя, а мы сделаем то же самое в отношении вас. Не замыкайтесь же в себе, примите и поймите нашу помощь вам в лучшем смысле как шаг Запада в вашу сторону и, в свою очередь, сделайте шаг к нам»¹⁹.

Съездом в Хопове завершился первый период в истории Русского студенческого христианского движения (РСХД). Его участники были твердо убеждены, что православные братства быстро распространятся во всех слоях русской эмиграции и что новообращенная интеллигенция и епископат, представленный Карловацким Синодом, будут плодотворно сотрудничать. Безоблачная атмосфера Хоповского съезда продержалась недолго. Следующее лето принесло с собой приближение бури. Причиной послужило неожиданное осуждение Собором русских епископов в изгнании протестантских организаций, помогавших Русскому студенческому движению. В июне 1926 года в Сремских Карловцах состоялся Архиерейский Собор Зарубежной Церкви, на нем присутствовали и письменно выразили свое мнение 27 архиереев. 17 июня (ст. ст.) архиепископ Полтавский Феофан (Быстров) сделал Собору доклад об обществе христианской молодежи YMCA, где указал на якобы связь общества с масонством, а также связь Парижского Богословского Института с обществом YMCA и дал критический разбор экуменических взглядов преподавателей богословского института – профессоров о. Сергия Булгакова, Карташева, Бердяева, Зеньковского. В итоговом протоколе Священного Собора архиереев РПЦЗ от 17/30 июня 1926 г. за № 8 было зафиксировано решение: «...признать эти организации явно масонскими и антихристианскими, и потому 2) не разрешать членам Православной Церкви организовываться в кружки под руководством этих и подобных им неправославных и нецерковных организаций и быть в среде их влияния»²⁰. Собор подчеркнул готовность руководить студенческими кружками, считающими себя православными и порвавшими с интерконфессиональными группами. Решение это – результат нарастающих разногласий между двумя направлениями внутри Русской Церкви.

В то время как представители одного из них, возглавляемые Булгаковым, Бердяевым, Карташёвым, Зеньковским и другими, провозглашали всемирную миссию Русской Церкви, освободившейся, наконец, от контроля светских властей, другие с возрастающим упорством настаивали на возвращении к старым порядкам и с нескрываемой враждебностью следили за установлением дружеских связей между Православной Церковью и западным христианством. Резолюция 26 июня ознаменовала победу антизападнических

настроений. Николай Зёрнов, избранный генеральным секретарем конференции в Хопове, вместе с доктором Львом Липеровским, лидером предреволюционного Движения, в открытом письме митрополиту Антонию (Храповицкому) выразил чувство недоумения, охватившее членов Движения. Большинству молодых православных деятелей казалось нелепым, что епископат пытается подорвать единственное христианское движение, организованное среди русских студентов, лояльное по отношению к Церкви, настроенное миссионерски и успешно способствующее перемене отношений западных христиан к Православию. Особенно необъяснимым казался тот факт, что епископы даже не попытались предложить представителям Студенческого движения или интерконфессиональной организации объяснить их цели и политику. Всё решение Собора, как писал Н.М. Зёрнов в «Русском религиозном возрождении XX века», основывалось на материалах, собранных болгарским богословом Петковым*.

Удар, обрушившийся на студенческие кружки, мог оказаться роковым для Движения, если бы не несколько смягчающих факторов. Самый важный из них – оппозиция митрополита Евлогия соборному порицанию. Именно они, канонические русский митрополит в Европе вместе с северо-американским митрополитом Платоном (Рождественским), разорвали отношения с Собором Зарубежной Церкви и отказались признать его решения. Митрополита Евлогия поддерживало большинство духовенства и прихожан в Париже, в особенности профессора и студенты недавно возникшего Богословского института преподобного Сергия. Многие из них были членами Христианского студенческого движения. Создав единый сплоченный фронт, они придерживались идеи, что подлинная верность Церкви совместима с сотрудничеством с западными христианами, живо интересующимися восточной традицией.

Еще осенью 1925 года некоторые члены братства преподобного Серафима Саровского переехали из Белграда в Париж – еще один фактор, благоприятный для Движения. Новые встречи с западным миром помогли им освободиться от налета нетерпимости.

На четвертой генеральной конференции в Шато-Бьервиль в Буасси-ла-Ривьер, недалеко от Парижа, 1-5 сентября 1926 года некоторые делегаты предлагали в названии Движения заменить слово «христианское» на «православное», чтобы пойти навстречу консервативно настроенному епископату. Ценой отказа от миссионерства они готовы были признать контроль Синода над своей деятельностью. Другие участники считали, что Движение может выполнить евангельскую миссию только при условии автономности и свободы и не хотели терять имени «христианское». Назревал конфликт, способный привес-

* Доклад об УМСА и Богословском институте делал архиепископ Полтавский Феофан (Быстров). (Ред.)

ти к новому расколу – к счастью, его удалось избежать. Старое название сохранили, а в качестве подзаголовка к нему добавили «Федерация православных братств и библийских кружков».

Важным событием в этом соглашении стало письмо митрополита Антония (Храповицкого) участникам Движения. Он истолковывал в примирительном духе недавно подписанную им резолюцию, выразил личное уважение к деятельности секретарей УМСА, работавших среди русских, и благословлял членов Движения на продолжение сотрудничества с ними. Однако достигнутый компромисс был непрочен. В Русской Церкви наступил период разброда и внутренней борьбы.

В СССР «Живая Церковь», заручившись поддержкой правительства, яростно атаковала православных, оставшихся верными патриарху Тихону, а после его смерти в 1925 году – арестованному местоблюстителю, митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому). В Европе раскол между митрополитом Евлогием и Синодом Зарубежной Церкви становился всё очевиднее. 26 января 1927 года отношения были окончательно прерваны из-за несогласия митрополита Евлогия признать себя подвластным Синоду.

Перед началом пятого общего съезда, проходившего в Клермоне (Аргонн, Франция) 12-19 сентября 1927 года, секретари Студенческого движения получили письмо от Братства преподобного Серафима в Белграде, в котором было объявлено об их решении выйти из РСХД. Это не было большим ударом. Движение насчитывало около 600 членов и около 1000 студентов были так или иначе с ним связаны, поэтому количественная потеря 50 членов была не столь болезненной. Но раскол изнутри существенно изменил характер Движения. Наступил поворотный момент в его истории и в церковной жизни эмигрантов. Студенческое движение возникло как миссионерское православное служение, призванное, в том числе, вернуть в лоно Церкви остатки русской интеллигенции и стремившееся в кружках и братствах сформировать мировоззрение на основах традиционного православия. Первоначальный энтузиазм участников Движения основывался на вере в скорое возвращение эмигрантов в Россию. Многие деятели РСХД были уверены, что поворот в христианству уже происходит в умах молодежи в СССР. 1926–1927 годы – время крушения многих надежд, но и время новых задач и новых возможностей. Как в начале века, когда Мережковский и его сподвижники вели дискуссии с духовенством и профессурой духовных академий, так и теперь, четверть века спустя после гибели империи, разные стороны Православной Церкви в эмиграции не понимали друг друга. Вожди интеллигенции и их молодые последователи видели в Церкви динамическую силу, призванную преобразовать русскую социальную и культурную жизнь. Они верили, что эта задача выполнима только в атмосфере полной свободы. Их стремления и идеи оказались неприемлемыми для кон-

сервативно настроенной части духовенства и мирян. Для них храм оставался местом совершения таинств и богослужений, а Церковь – хранительницей Православия. Они мечтали о восстановлении самодержавия, которое, по их мнению, единственное могло обеспечить нормальную церковную жизнь. Они жаждали вернуться на родину и увидеть ее такой, какой она была до революции.

Глава одиннадцатая. СВЯТО-СЕРГИЕВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

Осуждение Архиерейским Синодом Студенческого движения не отвратило его членов от Церкви. Они сознавали себя православными и твердо верили, что не только духовенство, но и миряне могут и должны говорить от имени Церкви. Дух преданности и свободы воодушевлял деятелей Движения. Эта молодая поросль русского православия научилась делиться своими идеями с западным миром на языке, доступном и католикам, и англиканам, и протестантам. Хотя миссионерскую работу среди широких кругов русской молодежи осложняли условия эмиграции, Студенческое движение провело успешные опыты в тех странах Европы, где существовало многочисленное русское православное население: в Польше, Латвии, Эстонии и Подкарпатской Руси. Больше всего православных находилось в Польше, но антиправославная политика ее правительства препятствовала миссионерской деятельности Движения.

В конце 1920-х начали возникать студенческие кружки в Латвии. Их рост вызвал подозрения правительства, и вскоре на работу Движения был наложен запрет*. Исключение составляла Эстония, где удалось добиться положительных результатов. Восточная часть Эстонии, расположенная вокруг Псковского озера, оставалась православной и русской. Эстонское правительство разрешило Движению созывать в этой области конференции. Студенческие съезды устраивались ежегодно и собирали до 300 участников. Деятельность Движения приобрела популярность и среди рабоче-крестьянской молодежи, для которой в Ряпино в июне 1934 года был созван съезд. Темы, предложенные участникам для обсуждения, мало чем отличались от вопросов, поднимаемых в антирелигиозной литературе того времени: наука и религия, истина христианства, коммунистическая этика и загробная жизнь. Преображающая сила Евхаристии и церковные песнопения помогли большинству участников оживить в душе веру и глубже, по-новому воспринять христианство. Движение продолжало свою деятельность в Эстонии вплоть до включения страны в состав СССР.

* «Русское студенческое православное единение» (часть РСХД) было создано в 1928 году, в 1934-м закрыто латвийскими властями. (Ред.)

Плодотворной оказалась деятельность Студенческого движения и на Карпатах, где после Первой мировой войны многие униаты вернулись в Православие. Наиболее успешная конференция православной молодежи на Карпатах, где присутствовало около двухсот человек, состоялась в августе 1938 года в Липчанском монастыре. В последний день конференции все участники приобщились Святых Тайн, и тогда же была принята дальнейшая программа работы. Однако раздел Чехословакии в 1938-м, оказавший влияние на всю ситуацию в мире, и начало Второй мировой войны положили конец этой деятельности.

Причина успеха Движения — удачное сочетание традиционного литургического богослужения, его мистического и эстетического воздействия на человеческую душу с откровенным обсуждением спорных насущных религиозных вопросов. Представители русской интеллигенции, вернувшиеся в лоно Церкви, нашли, наконец, общий язык с другими христианами и помогали молодежи в поисках истины. Представители религиозного возрождения предсказывали огромные возможности, таившиеся в союзе Церкви и интеллигенции. Сотрудничество не ограничивалось Студенческим движением и Богословским институтом преподобного Сергия. Возникли и другие христианские организации, например, «Религиозно-философская академия» под руководством Н. Бердяева, собравшая интеллектуальный цвет эмиграции. В 1930 году, по замыслу Г. Федотова, активно включившегося в молодежное движение, была основана «Лига православной культуры». Ее конференции проходили на высоком академическом уровне. Федотов многое сделал для экуменического движения, был активнейшим членом Братства святого Албания и преподобного Сергия.

После окончания Гражданской войны в России количество русских эмигрантов во Франции постоянно возрастало. Во время богослужений собор Александра Невского на рю Дарю не вмещал всех желающих. В январе 1924 года во Францию прибыл Михаил Осоргин (младший), который, благодаря упорству и финансовой поддержке, помог русским православным приобрести дополнительное подворье на Крымской улице в Париже.

Получив благословение от митрополита Евлогия (Георгиевского), Осоргин занялся поиском подходящего участка и помещения. Удача ему сопутствовала. Согласно Версальскому мирному договору, после окончания Первой мировой войны германское имущество во Франции, в том числе недвижимость, подлежала ликвидации. Участок земли с церковью, бывшая усадьба немецкого протестантского пастора Фридриха фон Бодельшвинга, была выставлена на торги с начальной стоимостью в 150000 франков — суммы немалой по тем временам. Узнав об этом, Осоргин пошел за советом к митропо-

литу Евлогию, который одобрил его выбор. После войны времена были тяжелые, а для русских эмигрантов особенно. Скинуться всем миром, чтобы собрать необходимую сумму, как это было в дореволюционной России, было нереально, так как большинство эмигрантов прибыло во Францию без денег. Многие не имели хорошей работы – здоровье большинства после двух войн было подорвано. Михаил Осоргин на торгах выкупил этот участок, благодаря помощи доктора Джона Мотта, который выделил 8000 долларов. Материальную поддержку оказали также общественные организации Англии и США. За участок с кирпичом было заплачено 321000 франков. По стечению обстоятельств торги проходили 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Осоргин, увидев в этом Божье благословение, сказал митрополиту: «Владыка, мы будем выступать на торгах в день памяти преподобного Сергия, он нам поможет, и храм должен быть посвящен ему»²¹. А секретарь владыки Т.А. Аметистов добавил: «А всё владение должно называться Сергиевское Подворье». Митрополит перекрестился со словами: «Предстательством преподобного Сергия дал бы нам Бог успеха».

18 августа 1924 митрополит Евлогий был введен во владение, а также создал комитет по изысканию средств для Подворья под председательством князя Бориса Васильчикова. 22 сентября 1924 года на Сергиевском подворье протоиереем Иаковом Смирновым была совершена первая православная служба. 15 января 1925 года, в день памяти праведной Иулиании Лазаревской, священником Георгием Спасским была отслужена первая литургия. 1 марта 1925 года, в Прощёное воскресенье, состоялось освящение храма. 30 апреля 1925 года, после Пасхи, начались учебные занятия для первых десяти студентов. Этот день стал официальной датой начала работы Богословского института.

Весной 1925 года балерина Александра Балашова пожертвовала подворью Тихвинскую икону Божией Матери XVII века. Великая княгиня Мария Павловна в память о погибшей от рук чекистов в Алапаевске Великой княгини Елизаветы Федоровны пожертвовала на внутреннюю отделку Сергиевского храма 100000 франков. Уже через два года после покупки бывшая немецкая кирха была превращена в настоящий православный храм благодаря росписям в стиле русской иконописи художника-декоратора Дмитрия Семеновича Стеллецкого. Художнику приходилось учитывать архитектонику здания романоготического стиля с витражами, чтобы превратить его в православный храм, следуя канонам православной живописи и определенной литургической программе. Купленные у антиквара за 15000 франков вывезенные из России Царские врата XIV века были вставлены в многоярусный иконостас храма.

Митрополит Евлогий позже вспоминал:

«Мысль о создании Богословского Института созрела у меня не сразу. Сначала я не знал, открыть ли пастырскую школу или высшую богословскую. К окончательному решению я пришел на Конференции Русского христианского студенческого движения. (Имеется в виду II съезд РХСД во Франции, проходивший с 21 по 28 июля 1924 года в замке Аржерон в Нормандии. – С.Б.) Я стоял близко к этой организации, объединившей вокруг себя группу наших профессоров. В эту группу вошли: А.В. Карташёв, В.В. Зеньковский, С.С. Безобразов, молодой профессор, только что прибывший из Сербии, и др. Я устроил совещание с ними и, в результате наших переговоров, решил открыть высшую богословскую школу, которая должна была отвечать двум заданиям: 1. продолжать традиции наших академий – нашей богословской науки и мысли; 2. подготавливать кадры богословски образованных людей и пастырей. Одновременно мы постановили пригласить в состав профессоров о. Булгакова и Флоровского, которые тогда проживали в Праге... Созданию Богословского Института – единственной богословской школы за границей – я придавал огромное значение. В России большевики закрыли все духовные академии и семинарии, богословское образование молодежи прекратилось, образовалась пустота, которую наш институт, хоть в минимальной мере, мог заполнить. Ряды духовенства там тоже сильно поредели, а мы могли готовить резервные кадры священства, потребность в образованных священниках чувствовалась в эмиграции, могли они понадобиться и для будущей России. Открытие Богословского Института именно в Париже, в центре западноевропейской – не русской, но христианской – культуры имело тоже большое значение: оно предначертало нашей высшей богословской школе экуменическую линию в постановке некоторых теоретических проблем и религиозно-практических заданий, дабы Православие не лежало больше под спудом, а постепенно делалось достоянием христианских народов»²².

Характеризуя первый профессорский состав Богословского института, митрополит Евлогий вспоминал:

«Среди профессоров Института по праву первое место занял А.В. Карташёв, бывший доцент Петербургской Духовной Академии по кафедре русской церковной истории, которую он вынужден был покинуть из-за своего либерализма... О. Сергей Булгаков, занявший в Институте кафедру догматического богословия, – крупная величина, богослов большой образованности и дарования... О. Сергей отдался служению Церкви Божией со всем пламенем очищенной страданиями души. Он сделался ревностным пастырем-молитвенником, прекрасным проповедником и духовником, священником, с трепетным благоговением совершающим таинство св. Евхаристии. В области богословской науки он оказался плодотворнейшим писателем. Им написано несколько замечательных богословских книг. На всех богословских трудах о. Сергия лежит печать большого таланта. Его произведения вызывают критику – упреки за уклон от чисто-православного мирозерцания, главным образом в области софиологии...

Эти уклонения о. Сергия от традиций нашего богословия объясняются отсутствием у него «школы», того фундамента, который закладывался в наших духовных академиях. Мирская философия от Платона и Плотина до

В. Соловьева оказала на о. Сергия большое влияние, хотя святоотеческую литературу он знает превосходно... В должности инспектора Богословского Института о. Сергей имел большое влияние на студентов. Он стал их духовником, другом, советчиком, и авторитет его в студенческой среде огромен...

Курс патрологии был поручен Г.В. Флоровскому... «Св. Писание Нового Завета» преподает о. Кассиан (С.С. Безобразов), серьезный и глубокий профессор, пользующийся большой популярностью среди студентов... Философию читает В.В. Зеньковский, сильный, незаурядный философ, ученый-педагог (организатор Педагогического кабинета), посвятивший себя и широкой общественной деятельности. В эмиграции он состоит председателем Русского христианского студенческого движения. Опытный руководитель, любящий молодежь, он очень популярен среди юношества. Человек золотого сердца, жертвенно преданный своему долгу.

Г.П. Федотов читает: 1. историю западных исповеданий и 2. агиологию. Даровитый, вдумчивый ученый с тонким аналитическим умом. Архимандрит Киприан (Керн) – пастырское богословие. Очень образованный, культурный человек, строгий монах. Б.П. Вышеславцев – нравственное богословие. Н.Н. Афанасьев – каноническое право. В.Н. Ильин – литургику и философию. П.Е. Ковалевский и Б.И. Сове – древние языки. Кроме того, в числе преподавателей: иеромонах Лев Жилле (французский яз.), монахиня Евдокия (английский яз.), В.В. Вейдле и К.В. Мочульский²³.

Более всего Г.П. Федотова страшило то обстоятельство, что преподавание в духовной школе будет проходить под давлением церковной цензуры. Но Свято-Сергиевский институт был в то время подлинным островом свободы в Православном мире. Сомнения, связанные с опасением духовной цензуры в преподавании, отступили на задний план перед теми возможностями, которые открывались перед Федотовым. Читая лекции по агиографии, он вернулся к научным исследованиям и начал публиковать их в «Трудах» института. Преподавание, а также участие в съездах РСХД, позволило непосредственно включиться в воспитание молодежи, которой в будущем предстояло вести работу по национальному возрождению России на основе христианских идеалов. Знакомство Георгия Петровича с Елизаветой Юрьевной Скобцовой (впоследствии, после пострига, монахиней Марией) и Ильей Фондаминским на съезде РСХД в Клермоне в 1927 году положило начало их дружеским отношениям, ставшим основой для сотрудничества Федотова с организацией «Православное дело». Оно оказывало действенную социальную помощь нуждающимся эмигрантам в тяжелые годы экономического кризиса. Активно включился он и в экуменическое движение – сначала в рамках съездов православных и англикан, а затем – участвуя в работе Содружества святого мученика Албания и преподобного Сергия, а также в экуменических съездах.

Протоиерей Алексей Князев позже вспоминал:

«Прошения желающих учиться поступали десятками, преимущественно из Праги, где тогда скопилась основная масса русского студенчества за рубежом. Но прием поневоле пришлось ограничить. К началу 1925 года из приглашенных профессоров в Париже собралось только четверо: еп. Вениамин (Федченков), бывший доцент СПб Духовной Академии, вызванный митрополитом Евлогием для инспекторства и для преподавания 'практических' предметов: церковного устава, гомилетики, пастырской практики; С.С. Безобразов (будущий епископ Кассиан, ректор Института с 1947 по 1965 гг.), бывший профессор Ташкентского Университета – для чтения Нового Завета и греческого языка; А.В. Карташёв – для чтения истории Церкви общей и русской, еврейского языка и Ветхого Завета (частично); П.Е. Ковалевский – для преподавания латинского, французского и немецкого языков. Было решено начать с принятыми студентами пропедевтический, подготовительный курс.

К началу Великого поста храм был освящен. Помещения были приведены в бедный, но жилой порядок (освещались еще газом, а не электричеством). Был поставлен убогий школьный инвентарь. Занятия начались после Пасхи, в четверг на Фоминой неделе 30 апреля 1925 года – дата начала работы Богословского Института. В 5 часов дня, после молебна перед началом учения, в присутствия Ректора Института, каковым был митрополит Евлогий, профессор А.В. Карташёв прочитал перед собравшимися профессорами и студентами вступительную лекцию в курс истории древней Церкви со специальным экскурсом по вопросу о проповеди св. апостола Андрея Первозванного в Скифии и о духовной связи с этим апостолом русского христианства.

Занятия шли без перерыва всё лето 1925 года. С осени в Институт стали прибывать крупные профессорские силы: о. Сергей Булгаков для преподавания догматики, проф. В.В. Зеньковский – для преподавания философии, апологетики и истории религий. В октябре состоялись проверочные экзамены, и, после того как отпали некоторые случайные или слабые элементы, пропедевтический курс превратился в первый академический курс. Началось чтение лекций по плану высшей школы.

Преподавательские силы возрастали. В подмогу В.В. Зеньковскому для преподавания философских предметов был приглашен В.Н. Ильин – его ученик по Киевскому университету. Читали эпизодические лекции С.Л. Франк, Н.О. Лосский, профессора Н.Н. Глубоковский и С.В. Троицкий. Прибыли из Праги и включились в преподавательский состав Института профессор Б.П. Вышеславцев (новая философия и нравственное богословие), Л.А. Зандер (логика и введение в философию), Г.В. Флоровский (патрология), Г.П. Федотов (агиология, история Западной Церкви). М.М. Осоргин стал преподавать церковный устав. Немного позже вошли в преподавательский состав Института русские питомцы Белградского Богословского факультета Н.Н. Афанасьев (церковное право) и архимандрит Киприан Керн (литургика, греческий язык, пастырское богословие, патрология). Регулярно преподавали в Институте также профессор К.В. Мочульский (русская религиозная мысль) и В.В. Вейдле (история христианского искусства). Этими людьми в период между двумя войнами было совершено огромное дело в области развития религиозной мысли, образования для Церкви нового поколения пастырей, ознакомления Запада с Православием»²⁴.

В Свято-Сергиевском институте Федотов оказался среди яркого созвездия богословов, историков и публицистов. Многие из них были близки ему по духу, но, несмотря на это, он держался несколько в стороне. Лучше всего об этом сказала Е.Н. Федотова, откликнувшись, уже после смерти мужа, на статью Юрия Иваска о Федотове:

«Что же касается того служения, о котором, как о тяжелом грузе, говорит г-н Иваск, то есть о преподавании в православной школе, то тут нужно устранить одно существенное недоразумение. *Это вынужденное обстоятельством преподавание отнюдь не было служением православию* – оно, как и всякое преподавание, было служением русской культуре. Не всегда можно найти вполне подходящую кафедру, особенно на чужбине, и профессор Тимашев отнюдь не служит католичеству, преподавая в католическом университете... Богословский Институт был единственной высшей или полувсшей школой в Париже, которая могла дать минимальное обеспечение и возможность продолжать научную работу. Его туда настойчиво приглашали, так как нужен был лектор по истории Западной Церкви и преподаватель латинского языка (агиология пришла позднее, после книги ‘Св. Филипп, митрополит Московский’). С большими колебаниями, можно сказать, стиснув зубы, Г.П. принял это предложение – он очень боялся православной цензуры и дал себе слово оставить Институт при первом же покушении на свободу преподавания. При тех условиях никто не мог даже интересоваться применением критических методов к житиям святых, как ко всякому историческому документу. К тому же коллеги Г.П. почти все очень высокого научного уровня, интересовались больше своими трудами, чем чужой работой»²⁵.

Оставались старые друзья еще по России, с которыми он занимался в семинаре Гревса, – Сергей Безобразов, Семен Штейн и Сергей Ольденбург. С семьей Ольденбургов, несмотря на разность позиций, Федотовы поддерживали дружеские отношения и, чем могли, помогали многодетной семье, воспитывавшей пятерых детей. Появились новые друзья и единомышленники – Илья Фондаминский, монахиня Мария (Скобцова), Федор Степун, живший в Германии, но иногда приезжавший в Париж, а также Николай Бердяев. Немало друзей и почитателей появилось у Федотова и среди парижской эмигрантской молодежи. Интересную зарисовку парижского периода жизни Федотова оставил один из его молодых друзей, талантливый писатель Василий Яновский:

«В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразой голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый, там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение... Такие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались, главным образом, на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европою. Печерин, Чаадаев, Герцен,

может быть, Соловьев... В Федотове внешне всё было переменчиво, противоречиво и неустойчиво; всё, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивавшее многих возможных союзников (но кое-кого из врагов привлекавшее)... К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу... Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским ранетом и бургундской грушею 'дюшес', прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства»²⁶.

В Париже Федотов сблизился с Николаем Бердяевым и его семьей, проживавшими тогда в Кламаре под Парижем. В 1927 году Федотов принимал участие в очередном съезде Русского христианского студенческого движения, который проходил во Франции, в Клермоне. Повествуя о Клермонском съезде, один из его участников, Лев Зандер, отмечал:

«Клермонский съезд был первоначально задуман как литургический, все доклады предполагалось посвятить литургии, осветив ее с исторической, мистической и богослужбной стороны. Однако – как всегда – в осуществлении своем съезд оказался не тем, чем был в замысле и предварительной разработке. Жизнь только отчасти допустила обсуждение намеченных вопросов, выдвинув другие проблемы... раскол Русской Церкви за рубежом и отношение к Движению Архиерейского Собора в Карловцах, а с другой стороны, ряд частных вопросов по апологетике, экзегетике и практическому Христианству...»²⁷

Характеризуя атмосферу съезда, Зандер писал: «Надо всеми этими речами царил удивительный дух спокойствия и мира – и то, что собравшаяся молодежь сумела сохранить спокойствие и внутреннюю свободу в тех вопросах, которые возбуждают страсти и в более зрелых людях, – воочию свидетельствовало о зрелости Движения, оправдывавшего то доверие и откровенность, которыми почтили его архипастыри». Высокая духовная атмосфера съезда захватила и Федотова, напомнив ему атмосферу нелегальных собраний в Петербурге, среди братчиков. С этого момента вплоть до середины 30-х годов он становится активным участником Движения. На Клермонском съезде он познакомился с Елизаветой Юрьевной Скобцовой, позже принявшей монашество, а также с Ильей Фондаминским.

С 1927 года Федотов получил известность в широких эмигрант-

ских кругах как талантливый публицист. Его статьи публиковались в журнале «Путь», который издавался Н.А. Бердяевым. Статьи Федотова охотно публиковали в «Современных записках» и двухнедельном журнале Александра Керенского «Новая Россия». Он регулярно встречался на квартире Фондаминского с молодыми поэтами и писателями и обрел друзей среди молодого поколения эмигрантов. Один из них, врач и писатель Василий Яновский, позже вспоминал:

«На крупном, смуглом лице Фондаминского не последнее место занимал нос с мягкими раздувающимися ноздрями, весь облик его был несколько чувственный, яркий, похожий на горца, чеченца, – статный, красногубый, с темным горячим взглядом из-под совиных дугою бровей... Для себя лично Фондаминский ничего уже не желал, никаких выгод не искал, что ставило его в роль почти беспристрастного арбитра. Мы и другие группы неукошительно выбирали его своим председателем, и было совершенно ясно, что без этого замечательного человека все немедленно перессорятся и гордо разойдутся по своим медвежьим углам... И все слабые попытки творческого объединения рассыпались под напором смут, интриг, вожделий очередных вождей и лидеров. Ценность Фондаминского стала понятной только теперь. Такие люди необходимы для возникновения культурного центра с положительной иерархией и руководящим общественным мнением. Их нам недостает, пожалуй, больше, чем Бердяевых или Герценов... главный гений Фондаминского заключался в его организаторском таланте. Если бы ему суждено было стать святым, то он избрал бы подвиг не философа, вроде Фомы Аквинского, и не мистика, типа Иоанна Креста, а скорее хозяина и строителя, Стефана Пермского, просветителя зырян»²⁸.

Энергия Ильи Исидоровича Фондаминского не знала пределов – он издавал совместно с Рудневым и Вишняком самый известный «толстый» журнал в эмиграции «Современные записки», создал в середине 30-х общество «Круг», а затем альманах «Круг». Благодаря ему в Париже выходили «Русские записки», «Новая Россия», «Православное дело», а с начала 30-х годов журнал «Новый град», в котором соредакторами вместе с ним были Федотов и Степун. Участник народнической организации «Земля и воля», он в 1905 году побывал на одном из восставших кораблей Черноморского флота и произнес пламенную речь. Его судил военно-полевой суд и приговорил к смертной казни через повешение. Он избежал ее чудом. Стержнем своей жизни считал «Православное дело», движение, которое в 1935 году он создал вместе с матерью Марией (Скобцовой) и священником Дмитрием Клепининым. Георгий Петрович стал одним из активных членов этого движения.

В журнале «Новый град» мать Мария так определяла цель этой организации, возникшей сначала в недрах РСХД, но позже выделившейся в самостоятельное движение:

«Христианство – это пасхальная радость, христианство – это со-трудничество с Богом, христианство – это вновь принятое человечеством обязательство возделывать Господень рай, однажды отвергнутое грехопадением... Может быть, мне труднее было бы писать этот призыв, если бы я не чувствовала около себя значительную группу лиц, уже сговорившихся и вошедших в общее дело, которое мы называем ‘православное дело’. Мы не только теоретизируем, но по мере наших слабых и очень недостаточных сил стремимся осуществлять наши теории на практике. Мы имеем общежитие, мужское и женское, мы имеем дешевую столовую, мы стараемся обслуживать русских больных, как во французских госпиталях, так и на дому, мы думаем в ближайшее время устроить дом выздоравливающих, мы организуем церковные службы, где их нет, воскресно-четверговые школы, доклады, собрания, конференции. Мы раздаем книги. Мы мечтаем среди огромного и чужого Парижа создать русский, православный городок»²⁹.

Почетным председателем «Православного дела» был избран митрополит Евлогий, а председателем – мать Мария.

Уже после трагической гибели матери Марии в концлагере во время войны ее сподвижник, писатель и мыслитель Константин Мочульский вспоминал о ее удивительных способностях и жертвенном служении в годы эмиграции:

«Мать всё умеет делать: столярничать, плотничать, шить, вышивать, вязать, рисовать, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, стряпать обед, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любит физический труд и презирает белоручек. Еще одна черта: она не признает законов природы, не понимает, что такое холод, по суткам может не есть, не спать, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт – материальный и духовный. ‘Особенно духовный, – говорит она, – всякие т.н. духовные пути в кавычках. Почти всегда это просто ханжество..’ Комната, в которой живет мать Мария – под лестницей, между кухней и прихожей. В ней большой стол, заваленный книгами, рукописями, письмами, счетами и множеством самых неожиданных предметов. На нем стоит корзинка с разноцветными мотками шерсти, ‘боль’ с недопитым холодным чаем. В углу – темная икона. На стене над диваном – большой портрет Гаяны. Книжные полки, плакары*, старое кресло с вылезавшей мочалкой. Комната не отапливается. Дверь всегда открыта. Иногда мать не выдерживает, запирает дверь на ключ, падает в кресло и говорит: ‘Больше не могу так, ничего не соображаю, устала, устала. Сегодня было около 40 человек и каждый со своим горем, со своей нуждой. Не могу же я их прогнать’. Но запираение на ключ не помогает. Начинается непрерывный стук в дверь. Мать открывает и говорит мне: ‘Видите, так и живу’»³⁰.

Немалую роль сыграла действенная поддержка Георгием Петровичем молодых парижских литераторов. Многих из них эмигрантские издания отказывались печатать. Лишь благодаря инициативе Федотова при поддержке Фондаминского возникло в середине 30-х

* Род шкафа, вделанного в стену.

годов творческое общение «Круг», а затем и альманах с тем же названием:

«По инициативе Георгия Петровича мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сэндвичи, фрукты. Вместо обычного доклада 'Круга' с прениями только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает... А время, между тем, приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам... все одинаково и каждый по-своему. Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребрениками, обеспечив себе место в обозе Гитлера. Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минуту позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными, византийскими глазами под гусеницами бровей»³¹.

Десятилетие парижской жизни, с 1925 по 1935 год, было для Федотова наиболее плодотворным в творческом плане. Первый год в Свято-Сергиевском институте он преподавал предмет «Западные вероисповедания». После того, как институт покинул епископ Вениамин Федченков, преподававший агиологию, этот предмет перешел к Федотову. Результатом изучения древнерусской святости стали его книги «Митрополит Филипп» (1928) и шедевр агиологии «Святые Древней Руси» (1931). Вскоре был издан блистательный анализ причин русской революции – книга «И есть, и будет (Размышления о России и революции)» (1932), а затем – «Социальное значение христианства» (1933) и «Стихи духовные» (1935).

Среди молодежи мыслитель нашел благодарную аудиторию, которая внимательно прислушивалась к его всегда неординарным суждениям:

«Поражение гуманизма кажется торжеством христианства и обратно. Гуманизм в эпоху краткого, но бурного существования действительно был преимущественно движением антихристианским. Таким он проявил себя не только в XVIII и XIX веках, когда он стал определенно антихристианским, но и в самом первом своем расцвете, в XV столетии, он обнаружился как сила отрицательная. Однако, можно и должно говорить о гуманизме христианском, ибо гуманизм по своему происхождению есть явление христианское. Антихристианский момент не входит с необходимостью в содержание и сущность гуманизма. Нельзя забывать, что Пушкин, Достоевский были великими гуманистами. Что такое гуманизм? Гуманизм делает особое ударение на человеке, человеческой личности, человеческом творчестве. Это ударение может быть так сильно, что подчеркивание красоты и достоинства человеческой личности, силы и значения человеческого творчества превращается в удар, направленный против Бога, – человек противопоставляется Богу. Тогда гуманизм становится безбожием. Но гуманизм может развиваться и внутри

религиозной сферы ценностей, может существовать в христианстве. Тогда это удареие на человеке противопоставит человека силам природы, социальному порядку, построенному на порабощении человеческой личности»³².

С Илеей Фондаминским и матерью Марией у Федотова не было существенных расхождений. Сложное дело обстояло в Богословском институте. Когда в середине 30-х годов Федотов выступил в полузакрытом собрании с докладом «О еврейско-русской дружбе», черносотенно-монархические круги начали травить его. Они считали, что православный богослов, преподающий в духовном заведении, не имеет права на подобные выступления. Митрополит Евлогий, который не выносил антисемитских выпадов, никак не отреагировал на эти нападки. В это десятилетие публиковались в многочисленных эмигрантских изданиях культурологические и исторические статьи Федотова, он стал широко известным в эмигрантских кругах православным публицистом. «Федотову пришлось вести полемику с теми, кто под влиянием апокалиптических событий нашего столетия пришли к обесцениванию культуры, истории, творчества. Многим казалось, что мир переживает эпоху заката, что Запад и Россия, пусть и по-разному, идут к своему концу. Понять такие настроения, свойственные не только русской эмиграции, было нетрудно. Ведь действительно, после Первой мировой войны началось последовательное разрушение тех институтов и ценностей, которыми жил XIX век. Нужно было изрядное мужество и стойкость, нужна была твердая вера, чтобы преодолеть соблазн 'ухода в себя', пассивности, отказа от созидательной работы. И Федотов этот соблазн преодолел»³³.

Глава двенадцатая. «БУДЕМ ВЕРИТЬ В РОССИЮ»

Одна из болезненных проблем, которая стояла в тот период как перед представителями старшего поколения эмиграции, так и перед молодежью, – осмысление произошедшей в России трагедии 1917 года. Этой проблеме Федотов посвятил свою книгу «И есть, и будет (Размышления о России и Революции)». Неудивительно, что название заимствовано из чина литургии, когда священник, совершающий это таинство, восклицает: «Христос посреди нас!», а участники литургии отвечают ему: «И есть, и будет!» Размышляя о причинах революционного переворота Федотов пишет:

«Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Всё это хилые попыт-

ки пересудов уже совершившегося Божия суда. Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление порванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре»³⁴.

Книга «И есть, и будет (Размышления о России и революции)», вышла в Париже в 1932 году. Она выросла из четырех статей, опубликованных в начале 30-х годов в журнале «Современные записки». Их объединяет общая тематика – проблемы свободы и демократии, а также социализма в его подлинном значении, очищенном от ядовитых примесей коммунизма. Она является ключевой для понимания историографии Федотова. Поначалу он публиковал статьи, в которых анализировал причины побед и неудач российских политических сил в революции 1917 года, а также в Гражданской войне, в журнале «Современные записки». Три большие статьи под общим названием «Проблемы будущей России» были опубликованы в трех номерах этого журнала за 1931 год. Эти тексты не устарели – более того, как нельзя современны, поскольку не только среди историков, но и среди мыслящей российской интеллигенции до сих пор не утихают споры о причинах великой трагедии, которая привела к развалу огромной империи, создававшейся в течение двухсот лет династией Романовых.

Сильнее всего мыслителя беспокоило будущее России. Этой проблемой мучились и в Советской России – достаточно вспомнить споры заключенных в сталинском лагере в романе А.И. Солженицына «В круге первом». В сегодняшней России, где понятие социализма безнадежно скомпрометировано 70-летним правлением большевиков, необходимо очиститься от примесей коммунизма. Нынешняя Россия, решительно вставшая на путь капиталистического развития, за последние два десятка лет не только не достигла освобождения от коммунистического наваждения, но вновь стоит на грани развала. Отсутствие всенародного покаяния в грехах коммунистического прошлого – основной тормоз развития страны. Об этом постоянно напоминал в своих статьях и книгах Федотов. Но он же указывает и на новые пути развития, коренящиеся в прошлом России, – пути христианской демократии, которые отчетливо проявились в народовластии Новгорода и Пскова.

К книге «И есть, и будет» Федотова можно было бы поставить эпитафией строки А.С. Пушкина из его «Путешествия из Москвы в Петербург»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...»³⁵ До сих пор, даже после крушения богоборческой империи большевиков, на про-

тяжении последних тридцати лет постоянно наблюдаются попытки идеализации предреволюционной России. Поскольку не произошло покаяния, а покаяние, прежде всего, – осознание греховности прошлой жизни и стремление во что бы то ни стало изменить ее, в первые десятилетия XXI века наблюдается попытка реставрации тоталитаризма и всех «прелестей» Советского Союза.

Рассматривая основы предреволюционной России, Федотов пишет:

«Две силы держали и строили русскую империю: одна пассивная – неисчерпаемая выносливость и верность народных масс, другая активная – военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного, как дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на вероотступников и полунемцев. Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идея царя – религиозная для одних, национальная для других. Нетрудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство – совершенно разные идеи»³⁶.

Вслед за славянофилами Федотов считает, что причина гибели России заложена преобразованиями Петра:

«Россия с Петра перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в московском царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось непрерывно в народных массах за два века империи. Россия такова, какой хочет ее царь. Это было подчинение по доверию, а не по убеждению, что не мешало ему быть безусловным и неограниченным. ‘Поляк ли бунтует’ или ‘наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем’, народ готов лить свою кровь, не считая, не спрашивая объяснений. Но он льет ее ‘за веру и царя’. Отечество здесь на последнем месте. Для дворянства оно на первом. У него и народа в обиходе даже разные имена для верховного носителя власти. Одни называют его государем, другие – царем». (Федотов, 9)

Федотов, анализируя прошлое России, говорит об уникальности ее государственного строя:

«Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории. Неограниченный государь Западной Европы на самом деле был ограничен личными и корпоративными правами, еще более – правовым чувством аристократии. Московский царь (как все деспоты Востока) был ограничен религиозными верованиями и бытовым укладом народной жизни. Петербургские самодержцы могли, опираясь на народ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, разрушать быт, оскорблять нравственное чувство народа. Религиозная концепция власти, в связи с невидимостью, нереальностью для народа ее носителей, сообщала им полную неуязвимость. Вся ненависть за поругание национальной правды направлялась на господ, на министров, останавливаясь у порога даже Екатерининского дворца».
(Федотов, 10)

Подобные мысли вызывали активное неприятие у большинства консервативно настроенной части эмиграции. «Святая Русь», многократно воспетая Иваном Шмелевым, по которой ностальгировали многие, стала неприкасаемым символом. «Русь святая, храни веру Православную!» Всякий, кто касался этого «рая на земле», пытаясь осмыслить произошедшую трагедию, воспринимался как кошунник. Федотов пристально рассматривает бытование на протяжении двух веков империи всех слоев российского общества: дворянства, бюрократии, интеллигенции и народа. Говоря о реформах императора Александра II, он подмечает важнейшие детали:

«Реформы Александра II, надломив бюрократический строй, но не перестроив государства на новых началах, оставили хаос, разброд в умах, междоусобную борьбу во всех колесах правительственного механизма. Уничтожая левой рукой то, что делала правая, царь вывел Россию из равновесия. С 60-х годов начинается последняя, разрушительная эпоха Империи. А между тем, вызванная ею к жизни так называемая общественность, т.е. дворянско-интеллигентские силы, были значительны, одушевлены идеализмом политической и культурной работы и далеко не всегда беспочвенны. Земская, позже городская Россия, плод самоотверженного труда двух поколений деятелей, доказывает положительные, созидательные способности новых людей. Государство оттолкнуло их, отвело им тесно ограниченный удел, создав из земщины как бы 'опричнину' наизнанку, вечно подозреваемую экспериментальную школу новой России. Эта изоляция от государства воспитала земцев-безгосударственников,

деятелей уездного и губернского масштаба, слепых к мировым задачам России». (Федотов, 53-54)

Парадоксальным казался и подход Федотова к событиям между двумя революциями:

«Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжелой болезни страна торопилась жить, чувствуя, как скупо сочтены ее оставшиеся годы. Промышленность переживала расцвет. Горячка строительства, охватившая все города, кидалась в глаза. В деревне совершалась большая работа, обещающая подъем хозяйства, предлагавшая новый выход крестьянской энергии. Богатевшая Россия развивала огромную духовную энергию. Именно в это время становился явен тот вклад в русскую культуру, который вносило русское купечество. Университет, получивший автономию, в несколько лет создал поколение научных работников в небывалом масштабе. В эти годы университеты Московский и Петербургский не уступали лучшим из европейских. Помимо автономии и относительной свободы печати, научная ревность молодежи поддерживалась общей переоценкой интеллигентских ценностей. Вековое мирозерцание, основанное на позитивизме и политическом максимализме, рухнуло. Созревала жатва духа, возросшая из семян, брошенных в землю религиозными мыслителями XIX века. Православная Церковь уже собирала вокруг себя передовые умы, воспитанные в школе символизма или марксизма. Пробуждался и рос горячий интерес к России, ее прошлому, ее искусству. Старые русские города уже делались целью паломничества». (Федотов, 56)

К 1914 году Россия входила в четверку, наряду с Англией, Германией и Францией, самых высокоразвитых промышленных государств мира. В этом была немалая заслуга двух российских государственных деятелей:

«Император Николай II имел редкое счастье видеть у подножия своего трона двух исключительных по русской мерке государственных деятелей: Витте и Столыпина. Он ненавидел одного и предавал обоих. Они были совершенно разные, особенно в моральном отношении, люди. Но оба указывали монархии ее пути. Один – к экономическому возрождению страны через организацию сил промышленного класса, другой – к политическому возрождению России в национально-конституционных формах. Николай II хотел принизить Витте до уровня ловкого финансиста, а Столыпина – до министра полиции. Он

лукавил с обоими и окружал себя политическими гадами, публично лаская погромщиков и убийц. Он жил реакционной романтикой, созвучной славянофильским идеалам, растоптаным его отцом и дедом. Лет сорок-тридцать тому назад они имели действительную силу. Теперь это была вредная ветошь, нелепый маскарад, облакавший гвардейского полковника в одежды московского царя. В Царском Селе императрица строила Феодоровский городок для задуманного ею духовно-полицейского ордена рыцарей самодержавия (старая идея 'опричнины'). В жизни рыцари оказывались наемными охранниками или бандитами. Во дворце жили в сознании войны со своими мятежными подданными и подменяли политику полицией. Это выпячивание полиции бередило уже зарубцевавшиеся раны, срывало дело национального объединения. Беспричинно и бессмысленно разрушалась автономия университетских корпораций. Кассо и Шварц сумели вызывать из потухшего пепла слабые вспышки студенческих забастовок. Но хуже всего было проституирование народного представительства». (*Федотов, 57*)

Книга «И есть, и будет...» рождалась постепенно. В статьях, созданных до 1929 года, года «Великого перелома» в СССР, еще брезжит надежда, рожденная НЭПом. Первая пятилетка, программа индустриализации, провозглашенная Сталиным, охарактеризована Федотовым как новая, более кровавая революция:

«Сейчас в России происходит не завершение октябрьской революции, а новая революция, которая хочет ликвидировать для деревни последствия Октября. 1929–1930 год – попытка восстания против крестьянства, освобожденного в 1917 году. Сталин понял (в этом и только в этом – логика с ним), что крестьянство медленно разлагает, рассасывает, обессиливает партию; что это единственная сила национальной России, перед которой остановился коммунизм. Неважно, какими путями он пришел к этой бесспорной истине. Завещанная ему программа троцкистов, растущие трудности выкачивания хлеба у крестьян в связи с бездонными прорехами индустриальной пятилетки – шаг за шагом привели его к новой, грандиозной задаче. Задача эта совсем просто формулируется так: уничтожить около 100 миллионов русского крестьянства, истребив физически миллионы 'кулаков' и заменив свободный труд в деревне земельным пролетариатом государственных 'хлебных фабрик'. Никогда еще столь дерзкая мысль не воплощалась в волю государственного деятеля. *Nic incipit dementia**. Но, может быть, никогда еще ни один правитель не наследовал такой сверхчеловеческой власти». (*Федотов, 125-126*)

* Здесь начинается безумие. (*лат.*)

К сожалению, Федотов не был понят ни современниками в эмиграции, ни сегодняшней мыслящей российской интеллигенцией. Преступления Сталина против России далеко не осмыслены. Так называемая «индустриализация», которую Сталин проводил с помощью иностранных капиталовложений и иностранных специалистов, привела к уничтожению российского крестьянства:

«Пятилетка есть азартная ставка на нервы. Ни ограбление деревни, ни немецкие займы сами по себе не могут обеспечить ее успех. Молох индустрии требует человеческих и притом вольных жертв. Но техническая удача пятилетки лишь ставит вопрос о новом костре для поддержания непрерывного горения революционных сил: будь ли то вторая промышленная пятилетка или война. Остановка означает выдыхание, буржуазное перерождение, новый НЭП. Коммунизм может жить лишь в постоянной войне, как саламандра в огне. Истощение горючего, т.е. революционного энтузиазма в последних (т.е. самых юных) слоях будет означать перерождение революционного деспотизма в деспотизм полицейский. Тогда духовные факторы все будут работать против коммунизма». (*Федотов, 127*)

Сталин начал с истребления партийной оппозиции, затем перешел к истреблению крестьянства, затем, в годы «Большого террора», был уничтожен командный состав армии. Уничтожение интеллигенции и верующих было начато еще Лениным и завершено Сталиным.

«Вторая окончательная победа большевиков – над совестью старой интеллигенции. Ряд показательных процессов инженеров, экономистов, меньшевиков показали, что террор сломил всякую волю к защите чести и достоинства, не говоря уже о политическом сопротивлении. С этой стороны тирании не угрожает никакой опасности. Таковую же победу над совестью власть одержала и в той среде, где ей до сего дня оказывалось самое стойкое сопротивление: в лице официального представителя патриаршей Церкви. Голос митр. Сергия присоединился к хору академиков, инженеров и меньшевиков, готовых подписывать всё, что угодно власти. Однако победа над верхами иерархии еще не означает победы над Церковью. Расколы в патриаршей Церкви и широкое недовольство митр. Сергием среди его собственной паствы показывают, что моральное сознание церковных кругов не сломлено. В подполье и ссылке, и в недолгом страстном служении священники и епископы всегда гонимой Церкви хранят твердость исповедания истины, возвышенной над всеми политическими злобами дня». (*Федотов, 127-128*)

Федотов знал о сопротивлении верных христиан, «тихоновцев»,

как их называли следователи ОГПУ и советская печать. Он понимал, огонь веры хранится в новых катакомбах. Хотя вряд ли предполагал, что тотальное истребление епископата, священников и мирян, верных заветам Христа, примет в новой России такие устрашающие размеры.

«Однако едва ли победитель удовлетворится надолго своими достижениями. Начало пятилетки совпало, не случайно, с массовым закрытием церквей. Впервые отчетливо вырисовалась в России опасность полного прекращения культа. ‘Безбожники’ формулировали эту программу как требование своей пятилетки. Темп ее осуществления заметно снизился за последний год, но угроза висит над Россией. И становится страшно: удастся ли? То есть не ‘построить социализм’, а разрушить все живые силы народа, обратить его в рабство, без хозяйственной воли, без быта, без Церкви, без России. Сейчас решается судьба России – быть может, на столетия. Что сильнее в душе народной: вековая инерция покорности, обездушенная с утратой вековой веры, или новое, свободное самосознание, выкованное революцией и ныне во имя революции разрушаемое? Будем верить в Россию. Иначе стоит ли жить?» (*Федотов, 128*)

В чем же видит Федотов залог будущего России? Он предвидел уничтожение большевиками всего, что мы вкладываем в понятие «Россия» – народа, нации, культуры, языка. Сегодня мы живем на руинах. На что можно опереться в созидании разрушенного?

«В России есть лишь один центр для духовного собирания народа. Есть сердце России, и пока оно не перестало биться, нельзя говорить о смерти нации. В Церкви, сжавшейся, сдавленной в темной, подземной темнице, сохранились огромные, еще небывалые духовные силы. Они ждут своей актуализации. Придет пора, когда эта актуализация предстанет для них не в личном подвижничестве, а во всенародном служении. Это будет началом воскресения России. Потеря ‘христианского народа’ имеет и свое положительное значение. Благочестивая старушка перестает быть идеальной представительницей православного мирянства. Вместе с ней отпадает и бесхитростная установка на темноту. Христианство снова становится – как в Киеве и в Москве, как в Византии и в Риме – религией духовной аристократии. Творящие культуру слои освящают ее в купели мистерий, и оттуда воды ее текут до самой глубины народной жизни. Восстанавливается истинная иерархия духовного творчества нации. Вместе с прекращением рокового разрыва между ‘духовной жизнью’ и ‘духовной культурой’ создаются предпосылки для оцерковления культуры. Оцерковление культуры – эта наша христианская утопия, которую мы противопоставляем всевозможным утопиям современности. Все остальные утопии реализуются в ней». (*Федотов, 192*)

Он понимал, что Русская Церковь обескровлена, что большевиками были уничтожены лучшие ее представители, но он верил, что только христианство способно сплотить разрозненные силы:

«Два недуга, которыми больно человечество – иные думают, смертельно, – ненависть классов и ненависть наций – принципиально разрешимы лишь на почве христианства. Не капитализм, т.е. анархия личного произвола, и не коммунизм, т.е. деспотия общества, а искомое и трудно определимое равновесие личных и коллективных хозяйственных воль. Кто же будет арбитром между личностью и государством? Нельзя сомневаться, что одним из существенных факторов решения социального вопроса является психологическая установка – на личность и общество одновременно. Но лишь в христианстве возможно парадоксальное равенство: часть = целому. И лишь в православии – о, конечно, в возможности – даны предпосылки соборной общности. Достоевский был прав, говоря, что Церковь – это наш русский социализм, прав в смысле предвидения грядущего. Тщетно многие обращаются к современной России за решением социальной проблемы: для этого в ней отсутствуют и материальные, и моральные предпосылки. Но невозможное сегодня отодвигается в будущее. Из обломков коммунистической и капиталистической стройки медленно воздвигнутся стены христианского града». (*Федотов, 192*)

Для Федотова уже в тридцатые годы прошлого столетия было ясно, что фашизм и коммунизм – близнецы-братья. В Германии и СССР были созданы тоталитарные государства, которые стремились к тотальному контролю над своими народами. Обе идеологии крайне агрессивны. Война – на своей или на чужой территории – это непременное условие существования тоталитарных государств. Размышляя о том, кто бы мог противостоять тоталитаризму, мыслитель приходит к парадоксальному выводу:

«Какие силы в мире противостоят этому натиску универсального деспотизма, на страже свободы? В течение полутора веков свобода во всех ее аспектах – как свобода политическая, экономическая и духовная – была связана с судьбой одного класса – буржуазии. Ее гегемония в современном обществе сообщает ему характер самого свободного из когда-либо существовавших на земле. По-видимому, это не было случайностью. Не раз в истории торжество буржуазии было отмечено расцветом свободы: в демократиях Греции, в средневековых коммунах, в вечевых народоправствах Руси. Ввиду различия духовных основ этих культур объединяющее их свободолюбие буржуазии следует объяснить ее своеобразной ролью в общественно-хозяйственной жизни. Буржуазия несет с собой начало личной ини-

циативы, сознательного расчета, свободной и личной организации производства. Пусть иногда она не отказывается от помощи и привилегий государства. В основном она держится на вере в собственные усилия экономически-творческой личности. Буржуазия проникнута известным недоверием к государству, к его вмешательству во все жизненные сферы. Она придерживается государственного минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственного творчества, она психологически приходит к признанию свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совести. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана с буржуазным сознанием – это свобода мысли. Мысль для буржуа есть неперемное и постоянное условие его собственного хозяйствования: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличает рационализм буржуазной экономики от других, традиционных и социально-связанных хозяйственных форм»³⁷.

Однако Федотов прекрасно понимал, что тоталитаризм в первую очередь стремится к уничтожению творческого и предпринимательского духа. В России коммунисты начали с уничтожения буржуазии. В своих статьях тридцатых годов Федотов стремится реабилитировать социализм, но отдает отчет в том, что необходимо отделить всё наносное, что привнесли в это течение коммунисты:

«Когда христианство явит себя миру как сила общественная, его малое, но крепкое верой ядро делается центром притяжения и кристаллизации всех живых в мире и творческих сил. Произойдет великая перегруппировка. В первую очередь призваны к положительному творчеству социалистические силы, ныне лавирующие бездейственно между либерализмом и коммунизмом. Зарождение религиозных групп в социализме – явление очень значительное и новое. Еще более значительно то, что религиозные группы в социализме проявляют всего более социальной (в отличие от политической) активности. Это указывает направление исторической магистрали. Среди буржуазии, особенно христианской, найдутся группы, способные поставить общественное или национальное спасение выше классовых интересов. Интеллигенция по природе и социальной чуткости своей должна идти за мощной и творческой идеей. Новая, третья социальная сила, подобно фашизму, не может быть классовой, но всенародной. И, подобно социализму, она не может быть только национальной. Для христианской совести, как и для современного хозяйства, земной шар уже стал единым живым телом»³⁸.

Федотов пророчески предрекает близкое будущее, когда, благо-

даря развитию техники, мир станет настолько тесным, что общение между народами и континентами максимально сблизит их. Но это сближение не приведет к уничтожению войн и кровавых конфликтов. Мыслитель видит выход из этого, переосмысляя понятие прогресса:

«И, поскольку можно говорить о прогрессе в христианском смысле, т.е. о движении к Царству Божию, он состоит в сужении власти Кесаря, т.е., с политической точки зрения, в расширении сферы свободы за счет сферы власти. В истории обычно отношение царства Божия и царства кесаря представлялось как отношение конкретной, социальной Церкви к государству, или, еще уже, священства к царству. В Церкви, как священнической организации, Царство Божие находит свое земное, хотя бы символическое, воплощение. Но если Бог обитает не только в храме, но и в каждой христианской личности, то каждая личность в своей изначальной глубине, в своем святой святых является престолом Божией славы. В последней глубине свобода человека совпадает со свободой Бога. Христианское творчество человека раскрывается, или должно раскрываться, по образу пророчества»³⁹.

Глава тринадцатая. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ

Взрыв возмущения против Федотова прозвучал после его статьи в «Новой России» от 15 октября 1936 года, посвященной Долорес Ибаррури. В 1936 году она появилась в Париже и несколько раз выступала на митингах. В Испании в это время полыхала Гражданская война, в которой принимали участие нацистская Германия и большевистская Россия. Характеризуя Пассионарию (так называли ее друзья и газеты), Федотов писал: «Передо мной портрет испанской героини, распространяемый во Франции друзьями испанской свободы. ‘Пассионария’ перед микрофоном. Не лицо, а маска, искаженная судорогой страсти. Не романтическая Марсельеза, не прекрасная Марианна, в которых еще живут черты Афины-воительницы, а подлинное лицо революции. Всё человеческое здесь сгорает: благородные чувства, идеи, идеалы... Остается страсть – бессмысленная и беспощадная. Такова несчастная Испания – не худшая из дочерей Европы...» Давая беспощадную характеристику Пассионарии, Федотов тем не менее заявляет: «...остаток политического долга, мысль о мировых отражениях испанской войны заставляет всё же занять позицию с внутренней дрожью и отвращением. Я с Пассионарией, потому что я с демократией»⁴⁰.

Сегодня нам трудно понять страсти тех лет и решить, кто же был прав в этом споре. Нам одинаково отвратительны и коммунисты, и нацисты. Роль генерала Франко, который однозначно казался совре-

менникам фашистским чудовищем, оценивается ныне историками неоднозначно. По инициативе короля Хуана Карлоса в Мадриде поставлен памятник жертвам Гражданской войны. Этот памятник един – сегодня испанцы не делят погибших соотечественников на победителей и побежденных.

В конце 1936 года монархические круги русской эмиграции возобновили травлю Федотова. В газете «Возрождение» от 17 февраля 1937 года появилось стихотворение Горянского⁴¹ «Богословский институт». Прочитую полностью, чтобы яснее стали упреки монархических и черносотенных кругов, адресованные Федотову:

Богословский институт
Пешеходы чуют носом.
Там ни шваброй не метут,
Ни уборки нет отбросам.
Нет хозяйственной руки,
Диво ли, что в мраке сизом,
Пауки-крестовики
Вьют мережки по карнизам.
Поразительный эффект:
Сколько знает изворотов
Этот пакостный инсект,
Например, мсье Федотов.
Всё с молитвой и крестом,
Напряженный в чутком слухе,
Он морит себя постом,
Он – аскет... до первой мухи.
В жадных глазках муть и ложь,
Вот он ждет, капкан наладя,
Конскую скрывая дрожь,
Он, Федотов, страстный дядя.
И ему – он кавалер –
Всё, что женственно, то близко.
На открытке, например,
Барселонская чекистка.
Богословский институт,
Я пою тебя в хоре.
То-то добрые пойдут
Из Парижа иереи!
В мир пойдут, чтоб поучать
Христианской вере твердой,
Ставить красную печать
С Карло-Марксовою мордой.

Феномен эмиграции отличался еще и тем, что многие образцы поведения, не столь резко проявлявшиеся в дореволюционной России, в атмосфере свободы расцвели пышным цветом. Вулгарная ругань, к которой прибегали оппоненты Федотова, призывы к расправе над инакомыслящими – это тоже одно из проявлений во всех волнах русской эмиграции. В 1934 году Федор Степун писал Федотову: «...Я в последнее время очень страдаю от чувства нашей бездеятельности и нашего бессилия. Мне кажется, что эмиграция консолидируется на каких-то фашистских основаниях, что по всему пореволюционному фронту намечается водораздел религиозно-этического сознания и звериной бессознательности, что сейчас необходимо откликаться на все вопросы и бороться за каждую отдельную, в своем маленьком кругу ведущую человеческую личность».⁴² Политические страсти проявлялись и среди первой волны эмигрантов. Достаточно вспомнить драку, которую устроил Борис Вышеславцев, разбив до крови лицо Максиму Ковалевскому во время обсуждения богословской проблемы «Софии».

Публикация в газете «Возрождение» вызвала негодование митрополита Евлогия, который обратился с письмом к Георгию Петровичу. Федотов ответил митрополиту спокойно и взвешенно, сославшись на данные епископальной Церкви о зверствах, которые учиняли войска генерала Франко над побежденными коммунистами. Неизвестно, убедило ли это письмо митрополита Евлогия, но Федотов по-прежнему продолжал работать в институте и публиковать свои статьи в газете Керенского «Новая Россия».

Жизнь Богословского института в Париже не была безбурной и благой, как это иногда кажется сегодня.⁴³ Богословский институт неоднократно подвергался резкой критике как слева, так и справа. Внутри института также не было единомыслия, что вполне естественно. Выделялись лидеры. С одной стороны – священник Сергей Булгаков, с другой – священник Георгий Флоровский. Он преподавал патристику и в довоенный период был настроен крайне консервативно. Недаром его предвоенный труд «Пути русского богословия» был метко назван Бердяевым в его рецензии «Беспутьями русского богословия». Часть профессоров, и в первую очередь сам отец Сергей Булгаков, прошли через искушение марксизмом и оставили довольно весомый след в его развитии в дореволюционной России. Это, в свою очередь, не могло не вызывать негативного к ним отношения со стороны более молодого поколения эмиграции.

Два самых серьезных конфликта были связаны с именами двух профессоров Свято-Сергиевского Богословского института – священника Сергея Булгакова и Георгия Федотова. И в одном, и в другом конфликте ключевую роль сыграл также профессор этого же института священник Георгий Флоровский.

В 1935 году разгорелся скандал, связанный с богословием протоиерея Сергия Булгакова. Застрельщиком этого скандала стал Владимир Лосский, сын известного богослова Николая Лосского. Он публично обвинил отца Сергия в том, что тот распространяет еретические суждения о Софии. Владимир Лосский написал обширное сочинение «Спор о Софии», которое позже, в 1936 г., вышло отдельной книгой.⁴⁴ Оно было отослано в СССР митрополиту Сергию (Страгородскому), который ознакомился с учением отца Сергия Булгакова не по его книгам, а в изложении Владимира Лосского. Из Москвы вскоре последовало церковное осуждение учения отца Сергия.

В Указе, адресованном митрополиту Литовскому и Виленскому Елевферию (который в отличие от митрополита Евлогия (Георгиевского), перешедшего в юрисдикцию Константинопольского патриархата, сохранил верность Московской патриархии), значилось:

«...по своему сану и по своей должности (Протоиерей, профессор догматики в Православном Богословском институте. – С.Б.) Булгаков является в некотором роде официальным представителем Православной Церкви, и последней отнюдь не безразлично, что проповедуется им в качестве ее учения... Система Булгакова создана тоже не только философской мыслью, но и творческим воображением. Это тоже есть поэма, увлекающая и высотой, и своим внешним видом: она оперирует терминами и понятиями, обычными в православной догматике, в Священном Писании и подобным. Но вот вопрос: церковное ли содержание влагает Булгаков в эту новую форму? Может ли наша Православная Христова Церковь признать учение Булгакова своим учением? Для решения этого вопроса не нужно излагать и разбирать всю систему Булгакова. Чтобы не быть ею загипнотизированными, подойдем к ней со стороны: возьмем несколько основных положений православной догматики и посмотрим, во что они превращаются в толковании Булгакова»⁴⁵.

Подобный подход весьма странен, поскольку митрополит Сергей, к этому времени получивший от Священного Синода титул митрополита Московского и Коломенского (до этого он был митрополитом Горьковским; митрополит же Петр, местоблюститель Патриаршего престола, томившийся в заключении, был лишь митрополитом Крутицким), имевший репутацию видного богослова, не имел возможности ознакомиться с книгами Булгакова, и осуждение было произнесено лишь по докладу членов парижского Братства Святого Фотия священника Алексея Ставровского⁴⁶ и Владимира Лосского. Указ митрополита Сергия гласил:

«Учение профессора протоиерея С.Н. Булгакова, своеобразным и произвольным (софианским) истолкованием часто искажающее догматы Православной веры, в некоторых своих пунктах и прямо повторяющее лжеучения, уже соборно осужденные Церковью, в возможных же из него выво-

дах могущее быть даже и опасным для духовной жизни, признать учением, чуждым Святой Православной Христовой Церкви, и предостеречь от увлечения им всех Верных Ее служителей и чад... О самом протоиерее С.Н. Булгакове, как состоящем вне общения с Православной Церковью Московского патриархата, особого суждения в настоящее время не иметь, но в будущем, в случае возникновения дела о принятии протоиерея Булгакова в общение, поставить условием такого принятия, а равно и разрешения священнодействий, письменный его отказ от своего софианского истолкования догматов веры и от других своих вероучительных ошибок и письменное же обещание неизменной верности учению Православной Церкви»⁴⁷.

Одновременно учением отца Сергия заинтересовались представители Зарубежной Церкви, неумолимые обличители митрополита Сергия (Страгородского). В том же 1935 году вместе с осуждением Москвы они также произнесли осуждение в его адрес. Никого не интересовало, что отец Сергей свою «софиологию» никогда не выдавал за церковное учение. Основные положения «софиологии» он сам считал лишь теологуменами, т.е. частным богословским мнением, которое никому не навязывал. В дискуссии были вовлечены преподаватели Богословского института. Хотя осуждение учения отца Сергия со стороны Московского патриархата и Зарубежного Синода состоялось, оно не повлияло на его преподавательскую деятельность, поскольку митрополит Евлогий (Георгиевский), являвшийся первосвященником Парижского экзархата (под юрисдикцией Константинопольской патриархии с 1931 года), относился весьма лояльно к отцу Сергию. И всё же он был вынужден создать комиссию, которая должна была рассмотреть учение Булгакова и вынести свое суждение.

Позже митрополит Евлогий вспоминал:

«Одновременно с этой комиссией (Она была создана, чтобы рассмотреть «Проект временного Управления Русской Церковью за границей», принятое «карловчанами» на Соборе в Белграде, где присутствовал митрополит Евлогий. – С.Б.) возникла в те дни другая – для разбора учения протоиерея С. Булгакова, под председательством протопресвитера И. Смирнова, в составе протоиерея И. Китарева и профессоров: архимандрита Кассиана, протоиерея Г. Флоровского, А.В. Карташёва, В.В. Зеньковского и Б.И. Сова»⁴⁸.

Наиболее видной и ключевой фигурой в скандале с Булгаковым, как, впрочем, и с Федотовым, был Георгий Флоровский, в 1931 году принявший священный сан и бывший одним из «столпов» консервативного крыла в Свято-Сергиевском институте. Позже он утверждал, что всячески пытался уклониться от участия в работе этой комиссии, поскольку в Богословский институт был приглашен из Праги отцом Сергием Булгаковым. Флоровский вспоминал о своем разговоре с митрополитом Евлогием: «Увольте меня от этого. Вы знаете, что я не только не согласен с учением Булгакова, но полагаю, что в нем

заклочена двусмысленность – не скажу, что ересь, но некое заблуждение. Не хочу обрушиваться на это учение, но я учу по-другому. Я бы предпочел не состоять в комиссии – если вы хотите полной реабилитации Булгакова, чтобы было сказано, мол, нет никаких оснований для озабоченности, то я этого сказать не могу, так как основания для озабоченности есть... Хочу, чтобы мое имя с этим никак не было связано; вы знаете мою позицию». Но митрополит сказал мне в ответ: ‘Вы должны быть в этой комиссии, иначе всё будет понапрасну.’».⁴⁹

Вынужденный принять участие в заседаниях этой комиссии, Флоровский вместе с отцом Сергием Четвериковым и еще одним членом комиссии нашли, казалось бы, компромиссное решение. Они пришли к выводу, что теологумены, высказанные отцом Сергием Булгаковым, не могут быть оценены как еретические. А поскольку Булгаков никогда не выдавал их за мнение Церкви, то их следует признать ошибочными. Другие члены комиссии так и не высказали своего мнения. С суждением трех членов ознакомился митрополит Евлогий и вынужден был созвать епископат. Епископы обратились к отцу Сергию с призывом отречься от ошибочных взглядов. Булгаков подчинился, и дело было закрыто. Однако Флоровского в кругах, близких к Свято-Сергиевскому институту, стали считать виновным в травле отца Сергия.

После участия в этой комиссии Флоровский вынужден был большую часть времени проводить в поездках, лишь изредка появляясь в институте. Позже он вспоминал:

«...единственным человеком, который никогда на меня не сердился, был отец Сергей Булгаков. Думаю, он очень страдал, но враждебности никогда не испытывал, и это главное мерило этого человека. Доказательством служит то, что когда он заболел – весной 1939 г. ему сделали операцию по поводу рака – и он не мог участвовать в заседаниях Комиссии по вопросам веры и церковного строя, он предложил, чтобы я, как лицо единственно компетентное, занял его место – к возмущению многих. Говорили, что отец Сергей из-за болезни, очевидно, не понимает, что он делает, если прочит на свое место собственного врага. Но я никогда не был его врагом. Его оппонентом – это верно, но оппонент и враг – вещи разные».⁵⁰

В 1971 году Русское Зарубежье скромно отмечало 100-летие со дня рождения отца Сергия Булгакова. Откликнулся на эту дату статьей «Три образа» в парижском «Вестнике РСХД» и профессор-проиерей, декан Свято-Владимирской семинарии Александр Шмеман:

«О нем писали и говорили, что он ‘еретик’. Но смотря на него, следя за ним или, по слову В.В. Вейдле о нем – ‘любуюсь’ им, я всем своим существом чувствовал: нет, этот человек не еретик, а напротив, весь светится самым важным, самым подлинным, что заключено в Православии. А вместе с тем, читая его, пытаюсь следить в толщенных его фолиантах за сложной диалек-

тикой 'Софии Божественной' и 'Софии тварной', 'ипостаси' и 'ипостасности', я также сильно чувствовал: не то, не так, не о том, хотя, конечно, не мог и не дерзнул бы выразить этого чувства с той 'легкостью необыкновенной', что присуща расплодившимся в наше время 'ересемахам'. И я знаю, что эту двойственность ощущал и переживал не я один, для многих она составляла своего рода загадку отца Сергия. Я верю, что настанет время, когда этой загадке, когда месту отца Сергия в истории русского богословия и, шире, русской культуры будут посвящены полновесные труды. В ожидании этого времени остается только приложить усилия к тому, чтобы остались от отца Сергия не только его труды, но хоть немного и от опыта его личности, от незабываемой для каждого, кто испытал ее, встречи с ним на своем жизненном пути»⁵¹.

Этим неординарным мнением отец Александр как бы подводит черту под споры о богословии и личности отца Сергия Булгакова, призывая обратить внимание на личную святость и его подвиг бескорыстного служения Русской Церкви.

Второй конфликт, связанный уже не с богословием, а с публицистикой другого профессора Богословского института – Георгия Федотова, относится к 1939 году. В нем принимали активное участие ведущие профессора – отец Сергей Булгаков, Георгий Флоровский и Василий Зеньковский. Первая вспышка негодования со стороны «правых» парижских кругов относится к осени 1936 года. В статье «Пассионария», опубликованной в 14 номере «Новой России» (15 октября 1936 года), журнале, редактируемым Александром Керенским, Георгий Федотов писал:

«Сравнивая лица генерала Франко и Пассионарии, мы понимаем разницу в характере белого и красного террора в Испании: холодная и организованная жестокость генералов против ярости безумной черни. Признаюсь, генеральское зверство для меня отвратительнее; в нем больше сознания и ответственности. А когда я узнаю, что эти палачи, убивающие врагов даже в церквах, выдают себя за защитников христианства, мой выбор окончательно сделан: я предпочитаю им одержимых, которые жгут монахинь и ругаются над трупами. Те, по крайней мере, не знают, что творят»⁵².

Особенно многих возмутило следующее утверждение Федотова:

«В прошлом номере 'Новой России' Ю. Фельзен признается, что он не может стать в испанской трагедии ни на чью сторону: он твердо и резко против обеих. Я непосредственно готов был бы присоединиться к его словам. Но остаток политического долга, мысль об отражении испанской войны заставляет всё же занять позицию – с внутренней дрожью и отвращением. Я – с Пассионарией, потому что я с

демократией. Эта позиция морально чрезвычайно облегчается сознанием обреченности Пассионарии и ее дела. Быть с побежденными – это завет русской интеллигенции»⁵³.

Жена Федотова позже вспоминала: «На этот раз сам митрополит (Евлогий. – С.Б.) поддался общему негодованию правой эмиграции и написал Г.П. возмущенное письмо. Г.П. ответил ему спокойно, сославшись на данные епископальной Церкви о зверствах со стороны Франко. Насколько это убедило митрополита, неизвестно, но он промолчал, и Г.П. продолжал писать у Керенского».⁵⁴

Стихотворение Валентина Горянского в газете «правых» с нападками на профессию и лично на Георгия Федотова, вызвало возмущение не только среди друзей мыслителя. 17 февраля 1938 года митрополит Евлогий направил в редакцию газеты «Возрождение» письмо, в котором выражал возмущение пасквилем Горянского. Одновременно с Федотовым нападкам вновь подвергся и отец Сергей Булгаков. Его обвинили в призывах «преклониться перед мировым еврейством», хотя Булгаков лишь изложил в одной из своих проповедей учение апостола Павла о судьбе еврейского народа.

Но с особой остротой конфликт разгорелся в начале 1939 года, когда в той же «Новой России» появилась другая статья Федотова «Торопитесь!» Даже Керенский, известный широтой взглядов, счел необходимым предуведомить статью: «Печатаю статью Г.П. Федотова, редакция считает нужным указать, что некоторые из выставленных в ней положений являются выражением личной точки зрения автора». В этой статье Федотов откликнулся на доклад генерала Антона Деникина, прочитанный в Париже. В ней были высказаны в парадоксальной форме глубокие, но шокирующие многих прозрения Федотова:

«Все подозревают Сталина в расчетах на мировую революцию, в том, что он предает Россию испанцам, китайцам, не знаю кому. Какая слепота! Что может быть бесспорнее предательства Сталиным революции в Европе! Предательства республиканской Испании, предательства чешских коммунистов. Думают, что если тиран душит Россию, то обязательно в интересах Интернационала, и не догадываются, что служение Интернационалу тоже требует самоотречения, жертвенности, т.е. тех добродетелей, на которые Сталин неспособен. Быть полновластным хозяином страны, связать навеки свое имя с ее историей и пожертвовать этой страной в интересах человечества, братства трудящихся, поистине для этого требуется сверххристианская жертвенность. Всякий бандит, овладевший государством, перестает отделять интересы этого государства от своих собственных. Сталин, как немецкие императоры в Петербурге в XVIII в., прежде

всего хозяин России. Но хозяин хищнический, варвар, головоотяп, который ради своих капризов или своей тупости губит землю, истощает ее силы. К естественному варварству прибавьте страх. Борьба за личную безопасность, за сохранение власти для тирана заслоняет всё. Накануне войны он разрушает армию, чтобы обезопасить себя от заговоров, – в этом весь Сталин»⁵⁵.

Обращенность работ Федотова о прошлом к современности и будущему была чутко отмечена священником Александром Менем:

«История научила его, позволила быть прогнозистом, давать точнейшие политические прогнозы! Все те характеристики сталинизма, которые сейчас наполняют публицистику, и серьезные исследования были даны Федотовым в то самое время, когда это происходило. На расстоянии! Я читал его статьи 1936–1937 годов – все прогнозы, все описания событий совершенно точны»⁵⁶.

Но прозрения Федотова были не поняты большей частью эмиграции. Особенно теми, кто считал себя монархистами. Им казалось кощунственным сравнение Сталина с императорами XVIII века.

Глава четырнадцатая. ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ

В 1939 году, впервые за пятнадцать лет работы в Богословском институте, Федотов получил полугодовой отпуск. Он решил его использовать для научной работы и поэтому отправился в Англию. В те годы в нем созрел замысел исследования о русской религиозности. Тогда эта отрасль науки только делала свои первые шаги. Незадолго до его отъезда Илья Фондаминский создал «Орден», о котором он мечтал всю свою жизнь.

«Теория ‘интеллигентского ордена’, творившего русскую культуру, была если не изобретением Фондаминского, то, во всяком случае, его любимым детищем. В его определение русского интеллигента укладывались все выдающиеся деятели. Тут и Новиков, и Ленин, Чернышевский, Достоевский и Федоров, Чаадаев и протопоп Аввакум. Всех их объединял жертвенный гуманизм, все они страдали за свою веру. Рыцарский орден, неорганизованно действовавший в истории... Иногда совершенно открыто, иногда под влиянием насилия уходивший в подполье. И опять наступает время, когда тайный духовный орден сможет спасти основные ценности христианской цивилизации. Это, пожалуй, учение Фондаминского». (*В. Яновский*⁵⁷)

Георгий Петрович, хотя скептически отнесся к затее Фондаминского, тем не менее, не желая его огорчать, вступил в этот «Орден». Будучи близким к христианству еще со времен своего дореволюционного заключения в крепости, Фондаминский до сентября

1941 года, когда он находился в лагере Компьень, не принимал крещения. Крестился он в лагере. В этом же нацистском лагере поначалу оказалась и мать Мария. Там он и погибл, как подобает христианскому мученику.

В новогоднем номере «Новой России» за 1939 год Федотов опубликовал статью «Торопитесь!». В ней дан блистательный анализ ситуации, сложившейся в Советском Союзе к началу Второй мировой войны:

«...коммунизма в России нет, а партия сохранила от коммунизма только имя. Все настоящие коммунисты или в тюрьме, или на том свете. Партия стала лишь необходимым аппаратом власти в тоталитарно-демагогическом режиме. Она лишь приводной ремень, передающий очередные приказы диктатора стране. Может быть, этот ремень излишен, и чекистско-пропагандистский государственный аппарат справится один с этой задачей. Но что выиграет страна от сосредоточения всей страшной власти диктатуры в одних чекистских руках?.. Значит, торопиться надо со Сталиным, а не с советской властью или с коммунизмом. ‘Долой Сталина!’ – сейчас единственный общенациональный лозунг для поработенной России...

А что, если после свержения Сталина один из сталинцев займет его место: какой-нибудь Каганович, Жданов, Берия? Россия, конечно, не выиграет от простой смены тирана. Должен быть убран не один Сталин, а вся клика, им созданная, его поддерживающая... Кто должен сейчас занять место сталинцев в интересах национальной России? Разумеется, в случае переворота власть будет принадлежать тем людям, которые его совершили. Но удержат ли эти люди власть и надолго ли, это зависит от того, кто они. И здесь мы можем выразить свое убеждение, что Россия устала от чекистов, что она не хочет видеть в Кремле специалистов застеночного цеха. Ради России мы должны желать в настоящий момент, чтобы власть перешла в руки честных и беспартийных людей, специалистов государственной работы, а не расправы. Правительство красных командиров и инженеров, отдавших все силы обороне и хозяйству страны, – вот о чем мы должны просить Бога для России. Будут ли они выходцами из народа, детищами революции, или сынами старой России и старой интеллигенции, это всё равно. Символично было бы прекрасно соединение двух слоев – старой и новой России – в одной правительственной команде. Численный перевес явно будет на стороне рабоче-крестьянской России, созданной Октябрем. Вероятно, сохранится и символика Октября, нам здесь одним чуждая, другим ненавистная. От нас потребуется усилие ума и воли, чтобы признать желанное воплощение национальной России в новой форме ‘советской власти’»⁵⁸.

Эта статья Федотова, а также последовавшие за ней в «Новой

России», вызвали бешенство в монархическом лагере. В газете «Возрождение» от 3 февраля 1939 года появилась статья Семенова, в которой с новой силой возобновилась травля Федотова. В этой статье Семенов прибег к передергиваниям. Строки Федотова о Сталине были поставлены ему в вину – якобы он увидел в Сталине «сверххристианскую жертвенность».

Статья Семенова стала последней каплей: митрополит Евлогий, прочитав статью в «Возрождении» и не ознакомившись со статьей Федотова, созвал правление Богословского института. Митрополит потребовал, чтобы Федотову было выражено самое резкое порицание, поскольку его публицистическая деятельность приняла «характер опасный и угрожающий существованию Института, вызывая смущение и соблазн в русском обществе». Из коллег Федотова по Богословскому институту никто не прочитал его статьи в «Новой России», но тем не менее все без исключения присоединились к порицанию. Жена Федотова, Елена Николаевна, позже вспоминала:

«Для него это нападение было тяжелым моральным ударом. Он с изумлением понял, что за годы его миролюбивых и корректных отношений с коллегами у них накопилось к нему недоброжелательство, которое только искало случая проявиться. По его словам, он за эти месяцы поседел и надолго лишился сна. Ему легко было вынести конфликт с Богословским институтом на страницы русской и английской прессы: ему были открыты и ‘Последние новости’, и ‘Путь’, отец Жилле предлагал ему свой листок в Англии, каноник Дуглас настойчиво добивался его откровенности. Но, щадя митрополита и не желая подводить под удары Богословский институт, Г.П. предпочел воздержаться»⁵⁹.

Более того, принадлежа в кружку монахини Марии (Скобцовой) (ныне причисленной к лику святых) и принимая активное участие в объединении «Православное дело», он не считал возможным предпринимать какие-либо действия без согласования с единомышленниками. Это особенно ярко прослеживается в письмах матери Марии и Ф.Т. Пьянова.

Живя в Лондоне, Федотов был лишен возможности вступить в полемику с коллегами. Порицание, вынесенное ему, неожиданно больно ранило его. Тяжелый и затяжной конфликт, связанный не с богословием, а с публицистикой профессора Богословского института Георгия Федотова, относится к весне-лету 1939 года. Волею судеб в нем принимали активное участие не только ведущие профессора института — отец Сергей Булгаков, Георгий Флоровский и Василий Зеньковский.⁶⁰ Проблемы, поднятые перед Второй мировой войной профессорами Свято-Сергиевского Богословского института, – не только история русской мысли. Должна ли Церковь вмешиваться в политическую деятельность и откликаться на нее? Можно и должно ли ограничивать публицистическую деятельность преподавателей

богословских школ? Могут ли преподаватели духовных школ принимать участие в светских форумах, посвященных важнейшим проблемам современности? Эти проблемы сохраняют свою актуальность и доныне.

Сегодня чрезвычайно трудно восстановить атмосферу тех далеких лет и понять, почему статья Федотова вызвала такую острую и болезненную реакцию. Безусловно, статья Федотова «Пассионария» не была достаточно объективной, поскольку сам он не принимал участия в гражданской войне в Испании. Сведения, которые поступали в Париж, были противоречивыми. Достаточно прочесть «Каталонский дневник» Джорджа Орвелла, который сражался на стороне коммунистов против Франко, чтобы понять, насколько далеки от реальности были представления Федотова о том, что происходит в Испании. Прозрение Орвелла произошло именно там, когда он увидел, как коммунисты, осаждаемые войсками Франко, вместо того, чтобы консолидироваться с теми, кто сражался вместе с ними в одних рядах, принялись за уничтожение троцкистов и других инакомыслящих. Писатель Василий Яновский, представитель молодого поколения эмиграции, живший в это время в Париже, вспоминал:

«Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие всё собирались туда. Кровно, идейно и традиционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством... Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие 'проклятые' вопросы, примиряя со злейшими противоречиями. Многие кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее»⁶¹.

Он же оставил блистательный портрет Федотова тех лет:

«Худое молодожавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинскую бородкою. Вкрадчивый, мягкий, уговаривающий голос с дворянским 'р'. Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время каждое слово точно гвоздь: прибывает мысль – ясную, определенную, смелую... И независимо от того, соглашались ли мы с 'лектором' или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая – Россия и Европа! <...>Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который в основном признавал ответственность православия за Русскую историю»⁶².

Федотов всегда занимал особую позицию в среде русской эмиграции. И не только потому, что прошел школу двух русских революций. Семь лет он прожил в Советской России и прекрасно изучил изгибы большевистской идеологии. Он глубоко и верно понял сущ-

ность сталинской политики. Большевики, захватив власть, вели себя в России как оккупанты в чужой стране. Разогнав Учредительное собрание, они поначалу не ощущали себя законной и легитимной властью, поэтому шли на самые жестокие репрессии, чтобы подавить внутреннее сопротивление русского народа. Этим объясняется массовый террор против народа, ради счастья которого они якобы совершили революцию.

Кульминацией конфликта стало письмо двух профессоров – отца Георгия Флоровского и Василия Зеньковского от 7 марта 1939 года, которое они написали Федотову по поручению Правления института. В нем они писали, что большинство преподавателей с отвращением отнеслись к травле Федотова газетой «Возрождение». Но в то же время они отмечали:

«...Боимся, что Вы, вращаясь в слишком узком кругу близких Вам людей, вообще не ощущаете того, как остро воспринимается различными кругами русского общества ваша публицистика. Мы не можем думать, что Вы относитесь без всякого внимания к русской эмиграции, что, увлеченный партийной психологией, Вы относите к мракобесам всех, кто не солидарен с Вами... Нельзя не считаться с тем, что весь мир, а русская эмиграция в особенности, проходит сейчас исключительно тревожную и острую фазу, что всюду сейчас бушуют страсти, – и потому конфликты такого рода действительно могут иметь место... И если мы все как деятели Института защищаем для себя свободу в церковно-общественной работе, то как раз в сфере политики мы полагаем, что при нынешней ситуации активная и особенно – боевая политическая работа очень трудно соединима с ответственным служением Церкви через участие в Богословском Институте. Это особенно верно для русской эмиграции, в которой задача Церкви заключается в том, чтобы освободить затуманенное страстями сознание русских людей от всего, что духовно снижает и ослабляет их благодаря политической борьбе. Мы вовсе не хотим этим отрезать для нас всех путь политической работы вообще, но, думаем, при нынешней ситуации боевая политическая работа (в форме публицистической или иной деятельности) всегда будет разрушительно действовать на жизнь Института <...> Но не будем входить здесь в полемику – мы хотим способствовать восстановлению нормальных отношений между нами, а не заострения их...»⁶³

В этот же день Зеньковский отослал Федотову личное письмо, в котором сообщал о том, что отцу Сергию Булгакову предстоит серьезная онкологическая операция на горле. Это известие отрезвило Федотова, и он 9 марта обратился с личным письмом к отцу Сергию, в котором уже не звучат нотки обиды, но прослеживается стремление к примирению. В то же время Федотов отмечает важность развернувшейся полемики:

«...Мы с Вами разошлись в вопросе о поведении, о тактике, так

сказать, церковного дела. Различие это может быть существенным или не быть – это покажет будущее. Но вот что хочется сказать мне Вам от души. Если в этом деле восторжествует свобода (хотя бы в таком третьестепенном для Вас виде, как свобода писать в журнале Керенского), то моя победа не может не быть и Вашей. Ибо свобода неделима. Одни и те же враги будут нападать и на свободное богословие, и на свободную науку, и на свободную проповедь, и на политику. То, что сейчас происходит мобилизация каких-то сил, для которых дорога церковная свобода, – это великое дело для Церкви и для всех нас. Просто судьбе было угодно, чтобы эта свобода (впрочем, до нее еще далеко) была куплена ценой унижения Богословского Института или Митрополита. Это очень грустно, но в конце концов от нее выиграет и Институт, поскольку каждый из его работников в своей сфере в свободе нуждается. А если бы меня съели сегодня, то завтра пришла бы Ваша очередь, а там еще другим...»⁶⁴

Федотов был прав – нападки в это же самое время продолжались и на отца Сергия. Но не все это понимали. Со стороны казалось, что споры слишком далеки от реальной действительности. В переписке священника Георгия Флоровского с одним из пяти редакторов «Современных записок» В.В. Рудневым это ярко прослеживается. Руднев, с которым отец Георгий был особенно близок, пишет Флоровскому о своих ощущениях по поводу развернувшейся полемики:

«...Я шел к Вам в среду, чтобы, кроме того, продолжить наш разговор на более общие темы, о судьбе Православной Церкви, хотя и в связи с конкретным поводом (истории с Федотовым). Но писать на эту тему пришлось бы целую диссертацию. А пока с печалью вижу растущее ожесточение на *обоих* полюсах. *Ничего* из этого хорошего не может произойти, из недобрых чувств не вырастает добра. Я не морализирую, поверьте, – только, как неискuschenный в церковной жизни, болезненно недоумеваю: где же дух христианства? Обе стороны считают себя правыми – пусть так. Но победить не внешне, а духовно может только та сторона, которая первая обуздает, смирит свои недобрые чувства и постарается с большей добротой понять других. Церковь нуждается, ох как нуждается, во всех своих силах, и все бескорыстные люди служат ей каждый по-своему. Не смею судить, – быть может, и очень возможно, если б довелось быть на Вашем или Федотова месте, – чувствовал бы и вел себя так же. Но в моем, для объективного наблюдения, выгодном положении, быть может, мне легче видеть *ненужность* ожесточения ни на одной стороне. Церковь в изгнании свободна, и она, слава Богу, *растет общими* усилиями, мы учимся быть только свободными от государственной опеки, какими, вероятно, нам придется быть в России. И даже борьба, – но идейная и в духе всё же если не любви, то широкой терпимости, – полезна для жизни свободной Церкви. И крайности даже мнений. Но только не впадать в бесплодное, личное ожесточение...»⁶⁵

Флоровский, который очень болезненно переживал, что вновь, как и в 1935 году, помимо своей воли был втянут в споры по поводу богословия отца Сергия Булгакова и что ему приходится, по благословению митрополита Евлогия, участвовать в развернувшейся полемике, ответил Рудневу только 14 июня 1939 года. Причем обвинил если не Руднева, то его «друзей», хотя тот в дореволюционный период был членом партии эсеров и не был монархистом: «...Сознаюсь, плохо работалось. Главным образом, из-за статьи Бердяева и 'дела Федотова'. Хотелось бы обменяться с Вами живым словом на эту тему. Во всяком случае, согласитесь, раздувание скандала публично есть дело рук Ваших друзей, а Богословский институт тут ни при чем...»⁶⁶ Более подробно Флоровский изложил Рудневу свою точку зрения на конфликт уже из Англии, куда в конце июня был приглашен на конференцию:

«...Здесь я только на два-три дня, в четверг у нас начинается Англо-русская конференция, на которой предстоит встреча с Г.П. Федотовым. Боюсь, что Вы неверно представляете нашу (в Богословском институте) точку зрения (и мою, в частности). Она очень просто выражена. (1) Мы считаем морально обязательным, чтобы член корпорации считался со своими коллегами, и если Г.П. [Федотов] этого не делает, то это в действительности объясняется просто тем, что он потерял живую связь с Богословским институтом, о чем мы очень скорбим, — 'политика' тут ровно ни при чем. И если Г.П. Федотов приписывает нам *bona fide** политические страсти, то это просто 'послушествовать на друга своего свидетельство ложно'. (2) Для меня лично (и отчасти для митрополита) было очень радостно, что в церковной (и религиозно-культурной) работе смогли объединиться люди разных 'политических лагерей', как говорил один мой чешский знакомый. В религиозно-культурной работе нет места политической *партийности*. Это означает для всех известное самоограничение. Г.П. Федотов преступает грань. Он именно заражается исключительностью. Ему хочется сделать Церковь злободневной. И когда И.И. Фондаминский или Сотак⁶⁷ начинают защищать свободу совести в Церкви, это *du ridicule*** . Нет и всё. Беда в том, что Федотов впал в сектантскую непримиримость и дал себя вовлечь в 'интригу', которая может погубить Богословский институт, сделать для нас невозможной нашу 'центральную позицию', *via media*. А с нее мы сворачивать не хотим. *Cui prodest?**** <...> Вы знаете, меня обычно обвиняют и подозревают в 'нетерпимости'. Верно лишь то, что я не люблю гнущаяся и не люблю двусмысленных суждений. Но я никого до сих пор не изгонял, а меня вот эти самые обличители давно уже стараются изгнать, отеснить, пугая других моей нетерпимостью, намекая, что без меня вообще будет лучше. Я несколько не преувеличиваю»⁶⁸.

Даже находясь в Англии, в атмосфере свободы, Флоровский не мог забыть о недоброжелательстве не только со стороны части коллег

* Чистосердечно (лат.)

* Смешно (фр.)

** Кому это выгодно? (лат.)

по институту, но и со стороны почитателей отца Сергия Булгакова, которые не могли ему простить участия в разбирательстве учения отца Сергия в 1935 году. К этому прибавилось недоброжелательство со стороны друзей Федотова, поскольку письмо Флоровского и Зеньковского было им переслано в Париж и читалось его друзьями. Связующим звеном всегда оставалась Елена Николаевна Федотова, которая приняла деятельное и не всегда, быть может, мудрое участие во всех событиях, связанных с этим конфликтом. А среди друзей Федотова в Париже были столь уважаемые люди, как мать Мария (Скобцова) и ее друзья, объединившиеся еще в 1935 году в «Православное дело», члены которого деятельно помогали русским эмигрантам, потерявшим работу, больным, вдовам и сиротам. Флоровский в одном из писем Рудневу пишет о своей депрессии, о невозможности писать, хотя его финансовое положение было настолько тяжелым, что сотрудничество с «Современными записками» было единственным источником скудного заработка.

Особенно тяжело Флоровский и преподаватели института переживали майскую статью Бердяева в № 59 журнала «Путь» «Существует ли в Православии свобода мысли и совести?» Большая часть профессоров Богословского института отказалась от сотрудничества с журналом и даже подумывала о коллективном ответе. Однако в статье Бердяев поднял вопросы, которые до сих пор не утратили своей актуальности:

«‘Правые’ православные все ждут ‘кесаря’, который будет их защищать и будет им покровительствовать, истребляя мечом их врагов. Это ожидание губит православие. Ждут ‘кесаря’ не во имя Царства Божьего, а во имя царства Кесаря, которому давно поклонились вместо Бога. Пусть успокоятся, желанный ‘кесарь’ может явиться, если христианские духовные силы не будут этому противиться, но он будет предшественником антихриста. Тогда пожалеют о свободолобивых демократиях. Ложное рабье учение о грехе, ложное понимание смирения, послушания и приведут к окончательному царству зла, торжеству антихристово духа в мире»⁶⁹.

Бердяев, всегда державшийся особняком, тем не менее напомнил о самых существенных проблемах Православия:

«Но никакая коллегия не смеет посягать на священные права человека, на свободу человека. Свобода реально существует у нас лишь в ‘модернизме’, лишь в течении, стремившемся к реформе, начиная с Хомякова, и, к несчастью, задавленным течением реакционным официальной церковности, казенного православия. Пора правду сказать на площадях, ничего не скрывая и не замазывая, правду бестактную. Православие нуждается в реформе, и без реформы оно начнет разлагаться и выделять трупные яды. То, что называют ‘истинным’, ‘ортодоксальным’ православием и есть это разложение, омертвление. Реформа совсем не означает реформы типа лютеранского или кальви-

нистического, она будет иной. Но свободу духа, свободу совести, свободу мысли она будет защищать более, чем Лютер и Кальвин, которые защищали ее недостаточно и непоследовательно. Реформа начнет с признания верховенства личной совести, не поддающейся отчуждению и экстериоризации, т.е. свободы духа и независимости духовной жизни от влияния 'царства кесаря'. Соборность не имеет никакого смысла, если она не заключает в себе свободы духа и личной совести. Без свободы соборность есть внешний авторитарный коллективизм»⁷⁰.

Статья Бердяева предельно обострила и без того нараставший конфликт. Федотов с благодарностью отозвался на публикацию в «Пути». Отвечая на письмо Федотова, Бердяев признавался ему:

«Боюсь, что моя статья очень ухудшила Ваше положение и создала Вам новые затруднения. Моя статья создала ряд затруднений для 'Пути'. Ряд сотрудников отпадает. Поэтому те, которые остаются верны 'Пути', должны более энергично писать в журнале, иначе журнал не может существовать <...> Меня глубоко тронуло Ваше письмо. Вы правы, что я человек одинокий и действую одиноко. Думаю, что Вы меня понимаете лучше других. Но у меня характер слишком страстный и склонный к действиям очень резким. Сейчас у меня создался конфликт с Андерсоном, который думает, что я нанес тяжелый удар Богословскому институту и 'Пути', и еще более резкий конфликт с Вышеславцевым, с которым придется в деятельности разойтись. Общество Защиты Христианской Свободы, по-моему, оказалось мертворожденным. Вялость, разногласия, неимение задач. Объединение со Струве было бы для меня невозможным. Франк отказался. С Вышеславцевым неприятное столкновение»⁷¹.

Уникальной оставалась финансовая ситуация института – его деятельность субсидировалась, в основном, иностранными религиозными организациями и, прежде всего, ИМКА. Именно поэтому так остро переживал конфликт Пол (Павел Францевич – так его называли русские эмигранты) Андерсон⁷², благодаря заботам которого финансовые поступления не прерывались вплоть до начала Второй мировой войны. Правление Богословского института так и не решилось исключить Федотова из преподавательского состава.

(окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Струве, Глеб*. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова. 1956. С. 34.
2. Шарль Пегги (1873–1914), известный французский христианский публицист, поэт и мистик.
3. Фердинанд Лот (1866–1952), выдающийся французский ученый-историк. С 1909 г. преподавал в Сорбонне. В том же году женился на своей студентке Мирре Бородиной-Лот (1882–1957), дочери известного академика-ботаника. Впоследствии его жена прославилась как богослов, регулярно публикуя свои

статьи в журнале «Путь». В 1911 г. Лот побывал в Петербурге и весьма лестно отзывался о школе ученых-медиевистов, созданной Гревсом. После Октябрьского переворота старался помогать русским ученым. Благодаря ему Г.П. Федотов получил возможность покинуть Советскую Россию и приехать в Париж.

4. Andre Mazon (1881–1967), известный французский славист. Преподавал в Харьковском университете (1905–1909), бывал в Петербурге. Профессор в Школе восточных языков в Париже (1909–1914), на филологическом факультете в Страсбурге, затем в *College de France* (1924–1952). В 1930 г. опубликовал парижские рукописи Ивана Тургенева: *Andree Mazon. Manuscrits parisiens d'Ivan Torgueniev, notices et extraits*. Champion, Paris, 1930.

5. Письмо Г.П. Федотова к И.М. Гревсу / Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XII. М., 2008. С. 257–261.

6. Василий Эмильевич Сеземан (1884–1963), российский, литовский философ-неокантианец. Профессор Каунасского и Вильнюсского университетов. В 1921 году был участником восстановления Петербургского Философского общества, работал в издательстве «Academia», принимал активное участие в редакции журнала «Мысль». Как гражданин Финляндии, перехал в Берлин, примкнул к движению евразийцев. В 1923 перебрался в Литву. В 1950 был арестован, осужден и отправлен в ГУЛАГ. После реабилитации до конца жизни – профессор логики Вильнюсского университета.

7. Сувчинский, Петр Петрович (1892–1985), музыкант, мирикусник, философ круга евразийцев. В эмиграции с 1918 года в Берлине, Софии, Париже. Умер во Франции;

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968), один из главных теретиков евразийства, геополитик, культуролог, философ, поэт. Эвакуирован с Армией Врангеля в Константинополь в 1920-м, переехал в Болгарию. Участник первого евразийского сборника «Исход к Востоку» (София, 1921). По линии организации «Трест» в 1927 году тайно посетил СССР. Один из создателей Евразийской партии в эмиграции (1932), один из создателей эмигрантского оборонческого движения (РЭОД) для борьбы с нацизмом. В 1945 году в Праге арестован СМЕРШем, заключен в ГУЛАГ, в 1956 году вернулся в Чехословакию. До конца жизни оставался верен идеям евразийства.

Трубецкой Николай Сергеевич, князь (1890–1938), лингвист, философ, публицист, этнограф и историк. В 1920 году эмигрировал в Болгарию. Издал труд «Европа и человечество», в котором была выработана идеология евразийства; участник первого сборника евразийцев «Исход к Востоку». В 1923 году переехал в Вену, преподавал в университете. В 1929 году в знак протеста против просоветской направленности газеты «Евразия» вышел из состава руководящих органов евразийского движения. Не участвовал в создании (1932) и работе Евразийской партии. Разработал фонологическую теорию; был лидером Пражского лингвистического кружка. В 1930-х гг. активно выступал в печати против национал-социализма. Скончался в Вене от инфаркта после ареста гестапо и конфискации научных рукописей.

Бицилли Петр Михайлович (1879–1953), историк, философ, литературовед. В 1920 эмигрировал в Сербию, в 1924-м переехал в Болгарию. Был профессором Софийского университета. После войны в советской Болгарии уволен из университета как «буржуазный специалист». Скончался и похоронен в Софии.

Алексеев Николай Николаевич (1879–1964), философ, правовед, один из идеологов евразийства. Одним из первых применил феноменологический метод в философии права. В Гражданскую войну заведовал литературной частью отдела пропаганды Добровольческой армии. Эвакуирован с Армией Врангеля. В 1922 году занял место ученого секретаря юридического факультета Русского университета в Праге. В 1940-м Алексеев переехал в Белград, принимал участие в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны. В 1945 году получил советское гражданство, но от репатриации отказался и уехал в Швейцарию в 1948 году.

8. Карсавин Лев Платонович (1982–1952), религиозный философ, историк культуры, медиевист, поэт. Участник петроградского «Братства Святой Софии» (1918–1922). Был одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфила, 1919–1924). В 1922 году выслан в Германию. Был товарищем председателя Бюро Русского академического союза в Германии, стал одним из организаторов Русского научного института. С 1926-го жил во Франции, был членом редколлегии газеты «Евразия» (1928–1929) и ее ведущим автором. В 1928–1940 г. преподавал в Каунасском, затем в Вильнюсском университетах. С установлением советской власти в Литве отстранен от преподавания, в марте 1950 года приговорен к десяти годам ГУЛАГа, скончался в заключении в Коми АССР.

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979), протоиерей, богослов, философ, историк, один из основателей Всемирного Совета Церквей. Эмигрировал в 1920-м в Болгарию, затем переехал в Прагу, после – в Париж. Профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1926-39; 1947-48); доктор богословия Университета св. Андрея в Эдинбурге, профессор догматического богословия и патрологии, декан Свято-Владимирской православной духовной академии в Нью-Йорке (1948-55), профессор Гарвардского и Принстонского университетов.

9. *Зернов, Н.М.* Русское религиозное возрождение XX века. М., 2019. С. 191-192.

10. *Федотов, Г.П.* Трагедия интеллигенции. Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. IV. М., 2012. С. 39.

11. *Федотов, Г.П.* Зачем мы здесь? Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. VI. М., 2013. С. 229.

12. Подробнее о «Последних Новостях» см.: *Кулен, Елена.* «Миссия честного историка. С. П. Мельгунов». НЖ, №№ 306-307, 2022.

13. *Струве, П.Б.* Освобождение и возрождение. «Возрождение», № 1, 3 июня 1925.

14. [Ред.] Сбор под огнем. «Возрождение». 7 июня 1940 года. «Возрождение» уже в формате журнала возобновило выпуски в послевоенные годы.

15. *Йованович, М.* Доселјаванј е руских избеглица у Кралевину СХС 1919–1924. Београд., 1996. С. 60; *Бондарева, Е., Мухачёв, Ю.* Русская эмиграция в Югославии. 1920–1945. Русское зарубежье: история и современность. Вып. 4. М.: ИНИОН, 2015. С. 47.

16. *Булгаков, С.* свящ. Духовный мир студенчества. 1923, № 3. С. 37-38.

17. *Зандер, Л.* Христианство и современная жизнь. Париж, 1925. С. 13-14.

18. Там же. С. 16-17.

19. *Зандер, Л.* Съезд в Хопове. «Путь». Париж, 1925, № 2. С. 121.

20. URL: <https://www.rocorstudies.org/ru/2019/11/03/letopis-tserkovnyh-sobytij-pravoslav-noj-tserkvi-nachinaya-s-1917-goda-chast-i-1917-1927/>

21. Сборник «Преподобный Сергий в Париже». СПб, 2010. С. 639.
22. *Евлогий (Георгиевский), митрополит*. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия. Париж, 1947. С. 447.
23. Там же. С. 448-451.
24. *Алексий (Князев), протоиерей*. Сергиевское подворье. Православный альманах «Путь», весна–лето 1985, № 5-6. С. 8-9.
25. *Федотова, Е.Н.* Цитата из рукописи «Протест», сохранившаяся в архиве З.О. Микуловской-Юрьевой. Архив автора.
26. *Яновский, В. С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 51-52.
27. *Зандер, Л.* Клермонский съезд. «Путь», 1927, № 6, январь. С.93-94.
28. *Яновский, В.С.* Поля Елисейские. С. 74, 77, 79.
29. *Кузьмина-Караваева, Е.Ю.* Избранное. М., 1991. С. 361, 363. Более подробно о задачах «Православного дела» см.: *Гаккель, С.* Мать Мария. Париж, 1980. С. 103.
30. *Мочульский, К.В.* Монахиня Мария (Скобцова). Журнал «Третий час». Нью-Йорк, 1946, № 1. С. 67.
31. *Яновский, В. С.* Поля Елисейские. С. 57.
32. *Федотов, Г.П.* О христианском гуманизме (Запись беседы Г.П. Федотова в «Воскресном собрании»). Собр. соч. Т. IV. М., 2012. С. 234-235.
33. *Мень, Александр.* «Возвращение к истокам». Предисловие к книге Г.П. Федотова «Святые Древней Руси». М., 1990. С 15-16.
34. *Федотов, Г.П.* И есть, и будет. Собр. соч. Т. V. М., 2011. С. 6.
35. *Пушкин, А.С.* Путешествие из Москвы в Петербург. Собр. соч. Т. VI. М., 1981. С. 196.
36. *Федотов, Г.П.* И есть, и будет. Указ. изд. С. 8.
37. *Федотов, Г.П.* Социальный вопрос и свобода. Собр. соч. Т. V. М., 2011 С. 212-213.
38. Там же. С. 224.
39. *Федотов, Г.П.* Основы христианской демократии. Собр. соч. Т. V. М., 2011. С. 248.
40. *Федотов, Г.П.* Пассионария. Собр. соч. Т. VII. М., 2014. С. 46.
41. Горянский Валентин (Валентин Иванович Иванов (1888–1949)). В дореволюционной России сотрудничал в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе». Известность ему принесли поэтические книги «Крылом по земле» и «Мои дураки. Лиро-сатиры» (1915). Был близок к поэтическому объединению «неокрестьянских» поэтов «Краса». Эмигрировал из России в 1920 году. Жил и работал в Париже. В 1936 г. ослеп. Придерживался монархических взглядов. Более подробно о нем см.: «Мы жили тогда на планете другой». Антология поэзии Русского Зарубежья. 1920–1990. М. 1995. Т 1.
42. Переписка Г.П. Федотова с Ф.А. Степуном и В.В. Рудневым. Собр. соч. Г.П. Федотова. Т. XIII, дополнительный. Готовится к печати.
43. Представление о многотрудной жизни Богословского института дает монография «Свято-Сергиевское подворье в Париже. К 75-летию со дня основания» (Париж, СПб., 1999) – первая попытка, робкий эскиз, едва очерчивающий историческую значимость института. В монографии совершенно не затронуты ни богословская проблематика, разработанная профессорами Богословского института, ни их вклад в экуменическое движение, ни богатейшее эпистолярное наследие. Более подробно история

Свято-Сергиевского института освещена в объемном томе «Преподобный Сергий в Париже» (СПб., 2010). Том составлен коллективом авторов под редакцией ректора Свято-Сергиевского богословского института протопресвитера Бориса Бобринского. В томе собраны бесценные сведения о возникновении и развитии института, даны биографические данные не только преподавателей, но и студентов, окончивших институт. Он богато иллюстрирован редкими фотографиями. До сих остается неизданным труд профессора Свято-Сергиевского института А.В. Карташёва, посвященный созданию и истории института, составленный им совместно с учениками в 1950 году к 25-летию юбилею. В нем 480 страниц, и он важен именно потому, что Карташёв участвовал как в создании института, так и в самых важных событиях его жизни.

44. *Лосский, В.Н.* Спор о Софии. Статьи разных лет. М., 1996.

45. Указ Московской патриархии преосвященному митрополиту Виленскому и Литовскому Елевферию. Спор о Софии. М., 1996. С. 81-82. Важные материалы о споре вокруг учения протоиерея Сергия Булгакова содержатся в журнале «Символ», № 39, 1998.

46. В 2000 году вышла монография «Братство святой Софии. Материалы и документы» (Москва, Париж). В ней содержатся весьма интересные характеристики священника Алексея Ставровского (1905–1972), бывшего студента Свято-Сергиевского богословского института (он его не окончил). Он считается основателем Братства святого Фотия. С 1931 г. был членом епархиального совета Виленской епархии. С 1948 по 1956 г. жил в Аргентине, затем переселился в Мадрид.

47. Спор о Софии. М., 1996. С. 90.

48. *Евлогий (Георгиевский), митрополит.* Путь моей жизни. Париж, 1947. С. 642.

49. *Блэйн, Эндрю.* Георгий Флоровский, священнослужитель, богослов, философ. М., 1993. С. 60-61.

50. Там же. С. 63.

51. *Шмеман, Александр, прот.* Три образа. «Вестник РСХД». № 101-102. Париж, 1971. С. 12.

52. *Федотов, Г.П.* Пассионария. Собр. соч. Т. VII. М., 2014. С. 47.

53. Там же. С. 46.

54. *Федотова, Е.Н.* Георгий Петрович Федотов (1886–1951). Сб. «Лицо России». Париж, 1988. С. XXIV.

55. *Федотов, Г.П.* Торопитесь! Собр. соч. Т. VII. М., 2014. С. 264-265.

56. *Мень, Александр, протоиерей.* Георгий Петрович Федотов. Сб. «Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы». М., 1995. С.568-569.

57. *Яновский, В.С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 92.

58. *Федотов, Г.П.* Торопитесь! Собр. соч. Т. VII. М., 2014. С. 264-265.

59. *Федотова, Е.Н.* Георгий Петрович Федотов. Указ. соч. С. XXV.

60. Впервые переписка, связанная с конфликтом в Богословском институте, была опубликована в 12-м томе Собрания сочинений Г.П. Федотова (М., 2008). В 1996 г. парижской исследовательницей Даниэль Бон в журнале «Звезда», № 10, было опубликовано 19 писем из этого свода, как письма самого Г.П. Федотова, так и несколько писем к нему. Часть писем дана лишь в отрывках. Это была первая попытка хотя бы фрагментарно осветить

события весны и лета 1939 г. В 2002 г. было опубликовано еще 18 писем, в том числе и часть писем, не вошедших в публикацию Даниэль Бон, в журнале «Вестник русского христианского движения», № 184. Публикация подготовлена Т.В. Викторовой и Н.А. Струве. Более полная публикация была подготовлена и осуществлена автором этих строк в журнале «Исторический архив» за 2003 год, №№ 1, 3 и 4. В двенадцатый том полностью, без купюр, включены письма митрополита Евлогия, обращения Правления Богословского института к Федотову, его ответы, а также письма Булгакова, Зеньковского и Флоровского. В нем же публикуются несколько писем Федотова к Н.А. Бердяеву, который не был профессором Богословского института, но принимал активное участие в религиозно-философской жизни русского Парижа. Впервые там же публикуется письмо сподвижника матери Марии (Скобцовой) Ф.Т. Пьянова. Переписка, посвященная конфликту в Свято-Сергиевском Богословском институте, хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. Елена Николаевна Федотова после смерти мужа приложила немало усилий, чтобы собрать, расшифровать (почерк Федотова крайне сложный) и упорядочить переписку. Она же собрала и передала ее в Бахметевский архив. К сожалению, во время войны погибла часть архива, в котором хранились письма самой Елены Николаевны (1884–1966). Немалую помощь при разборе и расшифровке писем оказали внучка Г.П. Федотова, Татьяна Федоровна Рожанковская-Коли, и председатель комитета Бахметевского архива, профессор Ричард Вортманн.

61. *Яновский, В.С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 51-52.

62. Там же. С. 53.

63. *Федотов, Г.П.* Собр. соч. Т. XII. М., 2008. С. 317-318.

64. Там же. С. 323.

65. Princeton Library. Georges Florovsky Papers. Series 2: Correspondence. Box 16. F. 4. Письмо В.В. Руднева священнику Георгию Флоровскому от 1 мая 1939 года.

66. Там же, письмо от 14 июня 1939 года.

67. Размежевание двух лагерей в среде христианской парижской эмиграции было настолько серьезным, что Флоровский в этом письме ставит на одну доску И.И. Фондаминского, который окончил жизнь мученически, и молодого студента Свято-Сергиевского института Р. Сотака, подписавшего вместе с другими студентами письмо в защиту Г.П. Федотова.

68. Princeton Library. Georges Florovsky Papers. Series 2: Correspondence. Box 16. F. 4. письмо от 28 июня 1939 года.

69. *Бердяев, Н.А.* Существует ли в православии свобода мысли и совести? «Путь». 1939. № 59. С. 51.

70. Там же. С. 52.

71. Выдержки из писем Н.А. Бердяева к Г.П. Федотову. «Вестник РХД». Париж, 1978. № 124. С. 118.

72. Павел Францевич Андерсон (Поль Андерсон (1894–1985)), один из деятелей американской YMCA, способствовавший созданию Богословского института и материально поддерживавший его, а также издание журнала «Путь».

О.А. Кравченко

Оправдание методом

Борис Айхенвальд о «Гидроцентрали» М. Шагинян

Книга «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян (1888–1982), опубликованная в 1930 году¹, входит в канон советской литературы как образец жанра производственного романа. Его агитационная сущность была вдохновлена ленинским проектом ГОЭЛРО, ставшим первым перспективным планом развития советской экономики. Большевистская директива «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны»² обретает у Шагинян художественную реализацию, оформляясь в многоплановый, сложно структурированный эпос о строительстве гидроэлектростанции на реке Мизинке – Мизингэс. Прототипом Мизингэса послужила Дзорагетская электростанция в Армении, в возведении которой писательница принимала непосредственное участие в 1926–1928 годах.

Советская «классичность» романа породила обилие как хвалебных (номенклатурно-партийных в СССР), так и уничижительных (эмигрантских) откликов. Как отмечал в рецензии на роман Г. Адамович, «этому произведению советская критика придает огромное значение, считает его вещью, на которой начинающие писатели должны учиться и по которой им следует ‘равняться’»³, «‘производственное’ сочинение – ‘Гидроцентраль’ Мариэтты Шагинян – скудно и вяло донельзя»⁴. Читательский интерес к роману давно угас, и сегодня «Гидроцентраль» интересует лишь немногих исследователей, усматривающих в нем проявления мифопоэтики соцреализма⁵. В общей же оценке романа современными литературоведами воспроизводятся суждения Г. Адамовича, обвинявшего символистку-декадентку Шагинян в приспособленчестве, а ее создание – в отсутствии художественности и усыпляющем воздействии на читателя. Д. Быков, включая «Гидроцентраль» в кодекс ста произведений русской литературы XX века, останавливается, как и Г. Адамович, лишь на одном фрагменте романа, описывающем сцену разговора с немецким писателем в вагоне поезда. Быков прочитывает данный эпизод как столкновение цивилизационных ценностей: «Роман ‘Гидроцентраль’ с его абсолютно бесчеловечным пафосом актуален потому, что, может, и человек-то кончился. Мне кажется, XX век был концом человеческой истории, истории личности. Наступила история коллективов, потому что коллективами

проще управлять, в коллективе менее возможны эксцессы. Да, может быть, не получилось тоталитарной вертикальной организации. <...> Но то, что век одиночек завершился, может быть, и есть самый печальный вывод, который может сделать читатель Мариэтты Шагинян»⁶.

О том, что человек – даже будучи физически уничтоженным тоталитарной вертикалью – всё же «не кончился», и что актуальность «Гидроцентрали» основывается на иных, пусть и не оптимистических, но экзистенциально значимых выводах, свидетельствует рецензия на роман младшего современника Мариэтты Шагинян Бориса Айхенвальда (1902–1938). Наша задача – осмыслить рецензию Айхенвальда как уникальное критическое явление советского времени, продолжающее традиции имманентной критики и, в то же время, утверждающее собственную независимую философскую перспективу рецепции романа, базирующуюся на идее «целого».

Борис Юльевич Айхенвальд был старшим сыном блестящего критика Серебряного века, автора критических сборников «Силуэты русских писателей» Юлия Исаевича Айхенвальда (1872–1928). В семейно-биографической подсветке рецензия в «Красной нови» оказывается сопряжена и с «Силуэтами...», один из очерков которых посвящен раннему творчеству М. Шагинян, и с опубликованной в «Вестнике просвещения» за ноябрь 1925 года заметкой «Школа Далем в Берлине», отражающей эпизод свидания Бориса с отцом в Берлине. Ю.И. Айхенвальд, высланный из России по решению советского правительства в числе пассажиров «Философского парохода», продолжил свою публицистическую деятельность именно в Берлине, в газете «Руль».

Как и отец, Б. Айхенвальд был не только литературоведом, но и профессиональным философом. Он учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета, представив по окончании учебы выпускное сочинение «Феноменализм и имманентизм в отношении к проблеме действительности»⁷. С 1927-го по 1930 год он работал научным сотрудником философского отделения (затем переименованного в отдел общего искусствознания и эстетики) Государственной академии художественных наук (ГАХН). До ареста 16 апреля 1937 года Б. Айхенвальд преподавал литературу в школе и во МХАТе имени М. Горького, подготовил к защите диссертацию «О лирике Пушкина»⁸. Б. Айхенвальд погиб в лагере на Дальнем Востоке в поселке Мальдяк: возвращаясь с работы в барак, он отделился от группы заключенных, лег в снег и замерз⁹.

Человек трагической судьбы, Борис Юльевич Айхенвальд, павший жертвой государственного строя, становление которого описывает М. Шагинян, оказался единственным критиком, постигшим не только философский замысел романа, но и болезненность внут-

ренной «перестройки», переживаемой автором и пережитой им самим в масштабах собственной семьи, разделенной географически и политически.

Рецензия Б. Айхенвальда «Метод ‘Гидроцентрали’» не нашла сколько-нибудь значимого отклика у исследователей творчества Шагинян. Не повторяя расхожих штампов о том, что «Мариэтта Шагинян в романе ‘Гидроцентраль’ предала сожжению буржуазные иллюзии своего прежнего творчества, но пришла к рационалистическому пафосу индустриализма социалистической эпохи»¹⁰, Айхенвальд предложил оригинальное прочтение романа, придающее самостоятельную значимость его критическому очерку. Опубликованная в феврале 1933 года в «Красной нови» – первом толстом литературном журнале, появившемся после революции, – его рецензия балансирует на тонкой грани, отделяющей методологию марксистского литературоведения от неопознанных редакцией немарксистских подходов, о чем специально сообщается в короткой приписке: «Редакция отмечает, что статья тов. Айхенвальда, давая верный, в основном, разбор ‘Гидроцентрали’ со стороны метода романа, обнаруживает, однако, опасность формалистского применения категорий материалистической диалектики»¹¹.

Редакционное замечание само по себе грешит против «материалистической диалектики», не до конца различая сущность и явление: «разбор» соответствует методу романа, то есть, как можно предположить, вскрывает его законы, но в то же время этот разбор представляет не «частности» романной природы, а некую новую и враждебную сущность, скрытую под формулой «формалистское применение». Эзоповым языком выражается мысль о том, что методология рецензента не соответствует официальному категориальному аппарату, и это несоответствие нельзя не заметить и, условно назвав «формализмом», невозможно до конца понять. Эта редакторская загадка, совмещающая одобрение и порицание, заставляет более внимательно изучить генеалогию критического метода рецензента, а одновременно всмотреться и в сам роман.

В дневниковых записях января 1928 года, фиксирующих строительство Дзорогетской ГЭС, М. Шагинян упоминает знакомство с книгой советского экономиста И.И. Скворцова-Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства»¹²: «Читаю книгу Ивана Ивановича ‘Электрификация РСФСР’, – упоительная вещь»¹³. В книге популярно излагались идеи электрификации, сущность новой экономической политики; были описаны перспективы восстановления народного хозяйства и роль в нем плана ГОЭЛРО. Можно предположить также, что стремящаяся к максимальной полноте понимания «предмета» М. Шагинян была знакома с работой еще одного советского экономиста – Александра Юльевича Айхенвальда

(1904–1941), автора труда «Советская экономика: Экономика и экономическая политика СССР»¹⁴.

Если в случае с интеллектуалкой М. Шагинян подобное знакомство является всё же предположением, то в отношении ее рецензента можно говорить о судьбоносном значении книги, составившей базу развития советской экономики. В то самое время, когда Шагинян изучала написанную по поручению Ленина работу Скворцова-Степанова, Александр Айхенвальд, член РКП(б) с 1920 года, будучи в начале 1928 года в партийной командировке в Берлине, подарил отцу свою книгу с надписью: «Неисправимому отцу со слабой надеждой ознакомить ‘Руль’ с настоящей русской действительностью»¹⁵.

О судьбе этой книги писатель и литературный критик Юрий Александрович Айхенвальд, сын ее автора, заметил: «С 1928-го по 1929 год книга отца выдержала пять (!) изданий. Николай Бухарин написал к ней одобрительное предисловие. Даже запрещенная, книга еще долго оставалась единственным капитальным трудом по советской экономике. Ее цитировали, разумеется, не приводя источника»¹⁶. В семейном архиве, хранимом Александрой Юрьевной Айхенвальд, находится уникальное свидетельство о «Советской экономике...», связывающее в один узел судьбы братьев – экономиста Александра и философа Бориса. Это адресованное Ю.А. Айхенвальду письмо М.П. Федотова – военного летчика, ставшего узником Мальдяжского лагеря. Федотов пишет Юрию Айхенвальду о его дяде Борисе, одновременно вспоминая и Александра: «Вашего отца он считал очень, очень талантливым юношей. Кстати, еще до знакомства с Б.Ю. я узнал о Вашем отце. Знал, что он был из так называемой ‘школы молодых’, а когда я учился, мы изучали в те времена ‘Экономическую политику СССР’ по Айхенвальду, не зная, что автор, по сути дела, был наш ровесник. Он очень сожалел о судьбе брата, но я не слышал ни единой ноты, чтобы он как-нибудь упрекнул брата, имея в виду свою судьбу, потому что, как я понял, он нес свой ‘груз’ исключительно из-за брата. Да это было очевидно»¹⁷.

Многослойный палимпсест книги судьбы, сплетающий триумфы и смертное отчаяние, армянскую реку и эвенский поселок, врагов народа Айхенвальдов и Героя Социалистического труда Шагинян, – образует особого рода целое. В этом событийном пространстве для нас ощутим ритм истории, воздух времени с его энтузиазмом и необоримым ужасом. Однако для самих героев нашей статьи идея «целого» обретала иные, на первый взгляд далеко разведенные друг от друга смыслы, проявленные как законы художественной логики, как принцип соотношения единичного и всеобщего, как идея центра.

Постижению целого, сплетающего всеобщность природы и частность, индивидуализм человеческого существования, посвящен

роман М. Шагинян, в котором образ гидроцентрали дан лишь в последней главе – как высшая точка художественного развития. Идея целого становится методологической установкой рецензента Б. Айхенвальда, выносящего в эпиграф сакрализованный эпохой текст о диалектике общего и частного: «Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее»¹⁸. Хозяйственная же модель целого представлена в параллельном роману и рецензии труде А. Айхенвальда, ставшем бестселлером советской экономики: «Вокруг электрификации будут группироваться отдельные работы по созданию материальной базы социализма. <...> крупные электрические станции являются центрами, вокруг которых располагается всё важное и значительное в хозяйстве данного района. Этим путем электрификация организует народное хозяйство на началах централизации...»¹⁹

Всё это позволяет осуществить деконструкцию «Гидроцентрали» как романа-иллюстрации успехов социалистического строительства. Роман особым образом реализует ленинскую установку: «Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. <...> Побольше проверки того, насколько коммунистично это новое»²⁰. Отказываясь не только от «интеллигентских рассуждений», но и от той «живой, остроумной, искрящейся формы», от «писательской изобретательности, выдумки, власти над вниманием читателя»²¹, которые приветствовал в ее раннем творчестве Ю.И. Айхенвальд, Шагинян стремится прежде всего к проверке, в какой мере «новое» действительно «иное» по отношению к прошлому и в какой степени оно «коммунистично».

Важно отметить, что сама «проверка» в эпизодах романа – суд над рабочим, ревизия на строительном участке, совещания – увлекает писательницу больше, чем коммунистическая природа этого «нового». На сюжетно-композиционном уровне это проявлено в том, что из шестнадцати глав романа пятнадцать рассказывают, почему строительство электростанции обречено на провал. И только последняя глава, дублируя название книги, трансцендирует конкретику неудач в целое, в идеальную «гидроцентраль». Электрификация народного хозяйства оказывается своеобразной вариацией на тему «что есть основа и центр мироздания», философским казусом.

Именно в философском ключе прочитывает роман М. Шагинян самый терпеливый из ее критиков. Если Г. Адамович называл чтение романа «занятием томительным», признавался в неспособности «сохранить в памяти <...> всю эту толчею лиц, слов и действий, всю эту бескостную путаницу, всю эту ‘кашу’...»²², – то Б. Айхенвальд считает, что «трудная книга» М. Шагинян «требует напряженного внимания и соответствующей культурной квалификации»; чтобы «понять и оценить ее, нужно медленно ее читать и прочитать два раза»²³. Культурная оптика восприятия романа, предложенная

Айхенвальдом, позволяет увидеть за «толчеей» и «кашей» предложенную писательницей модель вечного становления. Рецензент-философ находит ключ к стилистике и композиции романа: «Мариэтта Шагинян – писатель ненасытный, и книга ее – континуум слов и образов. Остановка, пауза, точка органически ей враждебны, потому что неизбежно разрывают сплошную ткань действительности, непрерывный поток гераклитовского пламени». (Айхенвальд, «Метод...», 195)

Б. Айхенвальд задает космогонический, восходящий к античной натурфилософии, ракурс восприятия. Образы реки-становления обращают к идее Фалеса о воде как первоэlemente, начале мирового многообразия. Это позволяет критику сформулировать тему романа вне ожидаемых славословий по поводу социалистического строительства: урок про воду. «И именно таким уроком, который автор дает читателям, является весь роман» (Айхенвальд, «Метод...», 196). Символ воды позволяет рецензенту осмыслить метод автора как непрерывный, потокоподобный захват в романное русло всё новых и новых героев и событий: «Одна ситуация органически включает в другую и так же органически включает в себя третью, деталь вращается в деталь <...> Метод Мариэтты Шагинян – и в тематике, и в композиции, и в языке – можно условно назвать методом ‘вводных предложений’». (Айхенвальд, «Метод...», 195)

Лингвистическая метафора вводных предложений рождается у рецензента не только как реакция на сложную структуру романа, но и как увлеченность его первостихией: вводные предложения в этой оценке, как можно предположить, – мысленная визуализация горной реки, постоянно меняющей русло, распадающееся на множество ручейков, вновь вливающихся в общее течение. Мизинка – река, на которой строится электростанция, утвержденная самим автором как главная героиня романа, – в философском видении Б. Айхенвальда предстает как аналог «мирового целого». Описывая природно-социальный прорыв электрификации, Шагинян стремится художественно воссоздать античный идеал космизма, включенности человека в тело мироздания. Рецензент улавливает эту глубинную установку, утверждая, что «роман Мариэтты Шагинян – именно организм»; целостность, подчиняющая хаотическое движение жизни «управляющему логосу». (Айхенвальд, «Метод...», 195) В то же время античный логос соприроден в айхенвальдовском прочтении концепции предустановленной гармонии Лейбница, ведь вода в романе – это «некая монада, в которой выражается и повторяется целое космоса и ценность которой в том, что, будучи включенной в целое, она одновременно включает его в себя». (Айхенвальд, «Метод...», 196) Как орган космического целого мыслится Б. Айхенвальдом изображенный в романе человек – во всей полноте его социальных инициатив и, в то же время, в некоем

обобщающем свете, ступенькующем индивидуальные черты на фоне массива эпохи.

Следует отметить, что для М. Шагинян и Б. Айхенвальда идея целого – поэтического, социально-природного, экономического – была важна как принципиальная мировоззренческая установка. Так, в воспоминаниях долгожительницы Шагинян, написанных много лет спустя, указывается на ее увлеченность одной марксистской формулой из главы «Процесс труда» в первом томе «Капитала»: «Как объясняет Маркс, что такое труд? Он исходит прежде всего из двух данных – природы и человека: ‘Труд есть <...> процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой’»²⁴. «Обмен веществ» происходит внутри кентаврического организма, черты которого Шагинян удалось запечатлеть в «Гидроцентрали».

Что же касается Б. Айхенвальда, то его увлеченность идеей целого – мирового природно-человеческого универсума – коренилась отнюдь не в томах «Капитала». Для Б. Айхенвальда, педагога по призванию, романский образ школьной учительницы Аннуш Малхазян, стремящейся с максимальной полнотой рассказать детям о воде, близок собственным раздумьям о том, как воспитать духовно-интеллектуальную цельность и достоинство человека. В заметках «Школа Далем в Берлине» Б. Айхенвальд описывает принципы работы частной школы, в которой на первом месте стоит задача научить ребенка мыслить самостоятельно. В качестве примера он приводит разговоры учителя и учеников о сказках братьев Гримм, об индийском ученом Уле-Буле: «Д-р Уле-Буле жил в Индии. Внимание детей <...> устремляется в Азию. Раскрывается атлас. Дети теснятся вокруг в самых разнообразных позах. Наперебой выкладывают свои географические познания. <...> Таким образом получается своего рода комплекс, но только не вокруг какой-нибудь общей темы, а вокруг конкретного материала. Этот материал исчерпывается до конца, из рассказа или сказки извлекается всё возможное, во все стороны, ко всем областям знания протягиваются нити медленно разматываемого клубка»²⁵.

Подобным образом рецензент прочитывает и роман, видя в раскрытии сложно сплетенного целого основной итог авторского усилия: «Основная задача Мариэтты Шагинян – взять и дать *целое* (Выделено Айхенвальдом. – *О.К.*)». Энтелехийное, одушевленное по своей природе, это целое динамично, задано импульсом самостановления. В силу этого сюжет романа не связан с какой-то единичной личностной историей. Как отмечает Б. Айхенвальд, М. Шагинян не выделяет героев из содержательного потока, не закрепляет центральную позицию и в равной мере никого не клеймит. Вместо этого река, отразившая в себе силы природы и законы нового общества, оказывается тем целым, которое смог «взять и дать» автор: «Именно Мизинка, а не

Рыжий (как может показаться на первый взгляд), – центральное ведущее лицо книги. Но Мизинку нельзя брать отвлеченно, механистически, как только географическую величину. Она служит той точкой, в которой скрещиваются различные общественные силы, и ‘героиней романа’ является именно эта Мизинка, нагруженная социальной проблематикой, знак, носитель и репрезент социального, своего рода символ, ‘формула’...» (Айхенвальд, «Метод...», 196)

Персонажи «Гидроцентрали» подчеркнута не героичны ни по личностному потенциалу, ни по итогам их труда; их образы не укладываются в осмысляемый сегодня «советский энергетический канон»²⁶. В этой связи сложно согласиться с мнением российского исследователя И.В. Саморуковой о том, что персонажи М. Шагинян исполняют «прогрессистскую миссию». Отметим, что ни Прометея, ни «труда-подвига» в романе нет, что герои Варган и Гурген придумывают затею с освещением горы, стараясь избежать увольнения («за пьянство и рвачество»²⁷. Да и само слово «подвиг» автор романа использует в ироническом ключе, компрометирующем не только организацию строительства, но и сам генеральный план электрификации. Так, в самооправданиях смещенного начальника участка Манука Покрикова раскрывается подноготная управленческого титанизма: «Кто, кроме него, мог в такое время, когда со всех сторон шли слухи <...>, что курс на электрификацию оскандалился и дан лозунг попридержаться, – кто смог бы выполнить задачу: не развалить строительство? <...> На отдалении подвиг казался почти грандиозным, хотя он сложился из переговоров по телефону, мельканья в машине полноватых ножек в крагах, спешно всходивших по лестницам, из пожиманья рук, голоса, полного значительных интонаций, спешки, спешки из того, может быть, что сам товарищ Манук Покриков очень мало спрашивал себя и других, что такое Мизингэс и как он задуман»²⁸.

Современное, легитимизированное историей советской литературы прочтение «Гидроцентрали» как типового производственного романа оказывается поверхностно-схематичным. В живом же отклике современника Б. Айхенвальда поэтика М. Шагинян прочитывается иначе – по эстетическим законам авторского замысла. Этот метод, впервые обоснованный в теоретическом введении к «Силуэтам русских писателей» Ю. Айхенвальда, предполагал духовную вовлеченность критика в авторский замысел: «Исследователь художественному творению органически сопричастается»²⁹. Парадоксальность ситуации состоит в том, что имманентная, экспрессионистская критика Юлия Айхенвальда удостоилась у современников едких упреков в субъективизме³⁰, тогда как следующая этому методу статья Бориса Айхенвальда заслужила комментарий редакции о «верности» прочтения романа. В сохранившихся корректурах рецензии видно, что

фраза редактора о верности прочтения «со стороны метода романа» была добавлена при окончательной, третьей вычитке³¹.

Что же позволяет увидеть в советском романе методология «подколенного эстета» Ю. Айхенвальда³², развиваемая его сыном? Б. Айхенвальд, на протяжении всей рецензии держащий читателя под гипнозом идеи «целого», не стремится вписать произведение М. Шагинян в готовый теоретический конструкт. Он творится напряженным усилием автора от первых до заключительных строк, описывающих энергетический «армянский куст»: сеть станций, связывающих горы и долины республики, ее север и юг, функционирующих летом и зимой, питающих каналы полей и станки заводов. Эта финальная, вполне пропагандистская, картина возводится к образам райской полноты, воплощающей высший замысел человека-творца. Но индустриальный Эдем, вспоенный водами Мизинки – «зеленоволосой девушки»³³, чье преобразование в гидроцентральной подобно рождению нового мира, – всё это намечает лишь некую post-романную перспективу. Сам же роман задан футуристическим импульсом.

Романный Мизингэс – это авантюра, разыгрываемый всеми участниками стройки спектакль, где, к примеру, суд над рабочим непременно должен происходить на эстраде и завершиться концертом. За кражу досок со стройки «Григор Сукасянц получил шесть месяцев тюрьмы»³⁴. «Юридические таланты» судьи Арусаяк и воспитание нового человека оказываются так же несовместимы, как тонкий запах ее духов и «громоздкий и громогласный аппарат судилища». (Шагинян, 348) Рецензент отчетливо слышит остроту романских диссонансов и осмысляет их как подрыв идеи целого: «Фальшивую социальную мелодию, ее оторванность от целого нельзя исправить методами, которые сами фальшивы, так как сами формальны, неконкретны и не вяжутся с целым, – они лишь усиливают фальшь»³⁵. Утрата чувства целого понимается Б. Айхенвальдом как причина извращенности идеи стройки. Так, рабочие, «начав борьбу во имя пролетарского строительства – борьбу нужную и правильную, <...> потеряли чувство целого и кончили тем, что приветствовали разрушение строительства...» В прочтении «Гидроцентрали», осуществляемом Б. Айхенвальдом, сохранено эстетическое напряжение между идеалом и его аберрацией. И потому «трудность книги», «трудность объекта» – в том, чтобы за бесконечным рядом иллюзий, искажающих целое и десакрализующих идею центра, всё же утвердить чаемый образ гармонии, логоса, космического порядка. В соответствии с этой логикой рецензия Б. Айхенвальда выстраивается как идущее вслед за автором разоблачение иллюзии отдельно взятой социалистической стройки.

Б. Айхенвальд сквозь марку производственного пафоса (закрепленный за советским романом 1930-х годов штамп) усматривает в

«Гидроцентрали» усилие автора к преодолению гоголевского по своей природе абсурдного мира, где «всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется»³⁶. Рецензия актуализирует ситуацию «Ревизора», и начальник канцелярии Захар Петрович предстает советским Держимордой, возводящим вокруг стройки непробиваемую канцелярскую броню. Строительство перерождается в «борьбу с системой, классовую борьбу за утверждение прав пролетарской общественности против зажима ‘держиморды-начканца’...» (Айхенвальд, «Метод...», 200), однако ярость борьбы растворяет в себе смысл строительства, ведет людей к утрате уважения к самим себе и плодам собственного труда. Момент крушения моста сопровождается всеобщим торжеством: «А это нормально, что рабочие радуются гибели моста?»³⁷.

«Видимостью, фикцией была советская система на строительстве; мнимой, бездейственной, ‘неработающей’ оказалась и общественность, зажатая, изолированная от целого, протекающая ‘вслепую’...»³⁸ Сформируется ли в итоге целостный природно-социальный организм, «оправданный только как ‘ветка для будущего куста’», – именно эти вопросы направляют мысль рецензента. Отсутствие готового ответа о перспективах строительства рождает ситуацию множественности исходов. Динамика отказа от устаревающих форм, от того, что не поспекает за новым уровнем хозяйствования, прописана в романе и осмыслена в рецензии в сопоставлении Чигдымской гидростанции, «той маленькой, захудалой, что дает энергию Чигдыму», и Мизингэса. Примечательно, что фрагмент-цитата о Чигдымской станции был вычеркнут в ходе редакторской корректуры статьи. Из главы VI рецензии был изъят следующий фрагмент: «Только четыре года прошли, товарищи, – говорит Рыжий, – а куда мы скакнули, как быстро мчимся, взгляните только. Всё уже переменялось. Возьмите тогдашний бюджет, стоимость рабсилы, кустарное начало строительства, ударный порядок (В новой редакции заменено на «штурмовой порядок». – *О.К.*), отсутствие плана, отсутствие экономических записок. Никаких в деле документов о загрузке, о потребителях энергии, никакого намека на кустование, на будущую сеть станций, – это не входило в радиус постройки, радиус был короткий, не плановый, кустарный, дело рождалось одиночкой»³⁹.

Как можно предположить, изъятие из корректуры речи о Чигдымской станции объясняется четко выстраивающимся образом дурной бесконечности станций-одиночек. При этом снятие цитаты всё же не искажает мысли рецензента, и Б. Айхенвальд доносит до читателей авторскую мысль о том, что еще не построенная Мизингэс также недостаточна для новых хозяйственных форм, и «в свою очередь оказывается ‘одиночкой’, ‘кастратом’ и <...> должен быть преодолен и снят целостным и плановым делом первой пятилетки». (Айхенвальд, «Метод...», 208)

Б. Айхенвальд следует художественным закономерностям романа, равно как и языку эпохи. Однако, никак не обозначая концептуальных истоков собственной интерпретации романа, Б.Айхенвальд всё же оставляет намек на тот строй мыслей, которым руководствовался его отец в трактовке раннего творчества М. Шагинян. В рецензии указано на родственность романа и поэтического сборника «Orientalia», проявленную в поэтизации армянской национальной идеи: «Беспомощность армянского народа, его грусть, робость, бессилие удручают автора, не отказавшегося от своей национальности. Глубокою органическую любовь к Армении, скорбь о судьбе ‘бездомного народа’, наполняющую ‘Orientalia’, принесла Мариэтта Шагинян и в ‘Гидроцентральной’»⁴⁰. Б. Айхенвальд «принес» в статью о романе отголоски «пантеистического» прочтения стихов М. Шагинян, предложенного Ю.И. Айхенвальдом. В «Силуэтах русских писателей» исследователь, отмечая в творчестве М. Шагинян и глубокое «понимание пленительной женственности», и «неподдельный ориентализм», добавляет, что помимо названного «есть и другое – есть философия». Философ-критик опознает родственную душу в писательнице, изучавшей философию в Гейдельбергском университете. Поэтическое выражение этой души, «центр мировоззрения» Шагинян – это сомнение и трудность выбора между общим и частным. При этом «общее» понято в параметрах, сходных с характеристиками «целого» у рецензента романа. Ю.И. Айхенвальд называет эту установку сознания «пантеизмом», когда автор благодарно соглашается «на то, чтобы бессмертное, всеединое небо ‘утопило’ меня ‘в своей лучезарности’, ‘поглотило своей синевой’ <...>, чтобы я был только частицей единой космической души и ослепил, заглушил в себе прихотливые желания своего личного сердца, чтобы я принял себя и других лишь за ‘геометрические схемы задачи, заданной Творцом’...»⁴¹

Таким образом, рецензия Б. Айхенвальда сама по себе является философским комментарием к советской эпохе периода индустриального строительства. Погруженная в реальность стройки журналистка М. Шагинян смогла передать в тексте хаос самой истории. В имманентном прочтении романа рецензент за «техникой и геологией, и гидрометрией, и экономикой, и психологией»⁴² усматривает абсолютные духовные законы, гармонизирующие человеческое самосознание и бытие вселенной. Только в такой перспективе «непонятное становится понятным, ненужное – нужным, многообразное – единым» (Айхенвальд, «Метод», 196). Только в перспективе большого времени становится понятно, что рецензия Б. Айхенвальда и в наши дни «оправдывает» роман, вскрывая иллюзорность его идеологических схем и усматривая за ними реальность духовно-природного целого. Рецензия Б. Айхенвальда создает такую герменевтическую перспек-

тиву, которая обеспечивает внеисторическое бытование романских смыслов, утверждая постулат имманентной критики: «Можно написать книгу, но нельзя ее прочесть: она бездонна и вечному подлежит восприятию»⁴³. Статья же Б. Айхенвальда не только осмысляет метод «Гидроцентрали», но и освещает путь в глубины культуры, достигнутой индустриальной мощи, но так и не достигнутой справедливости и уважения к человеку.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Роман печатался в №№ 1-7, 10 «Нового мира» за 1930 год.
2. *Ленин, В.И.* Полное собрание сочинений. Издание 5. М.: Издательство политической литературы, 1970. Т. 42. 606 с. С. 159.
3. *Адамович, Г.* «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян / *Г. Адамович.* Собрание сочинений. Литературные заметки. Кн. 1 («Последние новости» 1928–1931). Предисл., подг. текста, сост. и примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 2002. 786 с. С. 582-583.
4. *Адамович, Г.* По советским журналам / *Г. Адамович.* Собрание сочинений. Литературные заметки. С. 374.
5. *Саморукова, И.В.* Памятник великому плану: тема электрификации в литературе советской эпохи / «Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология». Том 23. № 4. 2017. С. 59-68.
6. *Быков, Д.* Время потрясений. 1900–1950 гг. / Москва: Эксмо, 2018. 544 с. С. 343.
7. РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 2 Ед. хр. 145. Личное дело Айхенвальда Бориса Юльевича.
8. Там же.
9. Подробнее об этом см.: *Айхенвальд, Ю.А.* Последние страницы: Воспоминания, проза, стихи. М.: РГГУ. 2003. С. 45.
10. *Храпченко, М., Розенфельд, Б., Гудзий, Н. и др.* Русская литература / Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929–1939. Т. 10. [М.: Худож. лит., 1937]. Стб. 88-397. С. 378.
11. *Айхенвальд, Б.* Метод «Гидроцентрали». «Красная новь». 1933. № 2. С. 208.
12. *Скворцов-Степанов, И.И.* Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства. М., Л., 1923.
13. *Шагинян, М.* Дневники (1917–1931). Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. С. 257.
14. *Айхенвальд, А.Ю.* Советская экономика: Экономика и экономическая политика СССР. Предисл. Н. И. Бухарина. М., Л.: Гос. изд-во, 1927. С. 370.
15. *Айхенвальд, Ю.А.* Последние страницы: Воспоминания, проза, стихи. М.: РГГУ. 2003. С. 306.
16. Там же.
17. Семейный архив А.Ю. Айхенвальд. Письмо М.П. Федотова Ю.А. Айхенвальду от 10.05.1962.
18. *Ленин, В.И.* К вопросу о диалектике / *В.И. Ленин.* ПСС. 5-е издание. М.: Издательство политической литературы, 1967. Т. 29. С. 318.
19. *Айхенвальд, А.Ю.* Советская экономика... Указ. издание. С. 341.
20. *Ленин, В.И.* О характере наших газет. <https://leninism.su/works/76-tom-37/1365-o-xaraktere-nashix-gazet.html>

21. Айхенвальд, Ю.И. Силуэты русских писателей. В 3-х выпусках. Вып. 3. М., 1906–1910; 2-е изд. М., 1908–1913.
22. Адамович, Г. «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян. Указ. издание. С. 582.
23. Айхенвальд, Б. Метод «Гидроцентрали» / «Красная новь». 1933. № 2. С.195-208. С. 195.
24. Шагинян, М.С. Человек и время. История человеческого становления. М.: Советский писатель. 1982. 658с. С. 540.
25. Айхенвальд, Б. Школа Далем в Берлине. «Вестник просвещения». 1925. №11. С. 144.
26. Саморукова, И.В. Памятник великому плану... Указ. изд. С. 59.
27. Шагинян, М. Гидроцентральный / М. Шагинян. Избранные произведения. Т.1. М. Художественная литература. 1978. С. 428.
28. Там же. С. 541-542.
29. Айхенвальд, Ю.И. Силуэты русских писателей. Вып. I. М.: Издание «Научного слова», 1911. 268 с. С. XVI.
30. Чуковский, К.И. О короткомыслии / Чуковский, К. И. Собрание сочинений: в 15 тт. М.: Агентство ФТМ. Т. 6. 2012. С. 534-539.
31. РГАЛИ Ф. 602 оп.1ед.хр. 1513.
32. Так был охарактеризован автор «Силуэтов русских писателей» в статье Л. Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?» (газета «Правда», 1922, 2 июня, № 121), послужившей поводом для ареста Ю. Айхенвальда и последующей высылки его из Советской России.
33. Шагинян, М. Гидроцентральный. С. 396.
34. Там же. С. 358.
35. Айхенвальд, Б. Метод «Гидроцентрали». С. 200.
36. Гоголь, Н. В. Невский проспект / Гоголь, Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 тт. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 3. Повести. 1938. С. 45.
37. Шагинян, М. Гидроцентральный. С. 513.
38. Айхенвальд Б. Метод «Гидроцентрали». С. 201, С. 196.
39. РГАЛИ. Ф. 602 оп.1ед.хр. 1513.
40. Айхенвальд, Б. Метод «Гидроцентрали». С. 206.
41. Айхенвальд, Ю.И. Мариэтта Шагинян / Ю.И. Айхенвальд. Поэты и поэтессы. М.: Северные дни, 1922. С. 82-83.
42. Айхенвальд, Б. Метод «Гидроцентрали». С. 196-197.
43. Айхенвальд, Ю.И. Силуэты русских писателей. Вып. I. М.: Издание «Научного слова», 1911. 268 с. С. XXI.

К 100-ЛЕТИЮ С.Л. ГОЛЛЕРБАХА

Ренэ Герра

Певец Бродвея

Моя первая встреча с Сергеем Львовичем Голлербахом состоялась в Нью-Йорке. Летом 1975 года я перелетел через океан, чтобы встретиться с русскими эмигрантами – писателями и художниками. К Голлербаху я пришел с рекомендательным письмом от его старого друга, художника Сергея Петровича Иванова, переехавшего во второй половине 1960-х годов из США во Францию и осевшего в Париже. Голлербах дружил в Нью-Йорке с главным редактором «Нового Журнала» Романом Гулем, которого называл своим «крестным отцом» в литературе. Ведь по его совету для этого журнала им была написана серия статей об искусстве. Так появилась первая книга Голлербаха «Заметки художника». В США я провел почти два месяца. Мне удалось познакомиться с писателем и журналистом, личным секретарем И.А. Бунина Андреем Седых (наст. Яков Цвибак), с философом Николаем Арсеньевым, с писательницей Ниной Берберовой, с поэтессой Лидией Алексеевой, с писателем Николаем Ульяновым, с поэтами Иваном Елагиным, Николаем Моршеном, с учеником Репина художником Михаилом Вербовым. Моя встреча с Романом Гулем – событие незабываемое (в 1977 году по моей просьбе Сергей Львович Голлербах написал в Нью-Йорке портрет Романа Гуля и, приехав в Париж, подарил мне эту работу).

Чуть ли не с первой встречи с Сергеем Львовичем обнаружилась общность наших душ и художественных пристрастий. Вот что вспоминает сам художник: «Ренэ Юлианович и я сразу же подружились, и в 1976 году мы с женой навестили его в Париже, в предместье Медон. Вскоре Ренэ Герра переехал на жительство в свой дом в Иссиле-Мулино, тоже предместье Парижа, и там я имел возможность познакомиться со многими сокровищами его коллекции. Во Франции я часто бывал и до моего знакомства с Ренэ Герра, так как моя жена – тоже дочь старых русских эмигрантов – родилась в Париже. Почти каждый год мы проводили наш отпуск в Париже или на юге Франции, в Каннах, где жил ее дядя... На своей маленькой машине Ренэ отвез меня в Барбизон, показал старинный замок в Рамбуйе, а главное, на юге Франции, город Ниццу и все прекрасные места Лазурного берега Франции, откуда семья Герра была родом. ‘Мы – из кулаков’, – говорил он, смеясь. Какие-то злые языки пустили слух, что он не француз,

а русский, и настоящая его фамилия – Герасимов, и поэтому он так хорошо говорит по-русски. Опровергну этот слух, так как я имел удовольствие познакомиться с его родителями, чистокровными французами...» (С. Голлербах. Встречи с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым / Послесловие А. Сенкевича. СПб, «Аврора», № 6, 2018. С. 172-179). Впоследствии Сергей Львович Голлербах посвятил мне стихотворение: «О, город прекрасный Ницца...»

В 1980-м я основал в Париже издательство «Альбатрос». Марку для издательства сделал Сергей Голлербах, неизменный и бескорыстный оформитель всех обложек изданных мною книг: *Дмитрий Кленовский*. Собрание стихов (1980), *Русский альманах* (1981), *Тамара Величковская*. Цветок и камень. Стихи (1981), *Анатолий Величковский*. Нерукотворный свет. Стихи (1981), *Александр Давыдов*. Воспоминания 1881–1955 (1982), *Ирина Одоевцева*. На берегах Сены (1983), *Сергей Рафальский*. За чертой. Стихи (1983), *Николин бор* (1984) и *Их памяти...* (1987), *Борис Закович*. Дождь идет над Сенной. Стихи (1984), *Екатерина Таубер*. Верность. Пятая книга стихов (1984), *Сергей Мамонтов*. Сказание (1986), *Татьяна Фесенко*. Двойное зрение. Стихи (1987), *Валерий Перелешин*. Три родины. Стихи (1987), *Юрий Терапиано*. Литературная жизнь русского Парижа за полвека 1924–1974 (1987), *Николай Ульянов*. Атосса. Роман (1988), *Александр Глезер*. Миражи. Стихи и венки сонетов (1989), *Татьяна Фесенко*. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным. Воспоминания (1991).

Сергей Голлербах – автор десятка книг, выходявших на русском и английском языках в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Петербурге, и более ста статей и эссе, посвященных современному искусству, а также многочисленных литературных набросков мемуарного характера. Я горжусь тем, что в моем издательстве «Альбатрос» вышли три его книги: «Жаркие тени города» (1990), «Пляж» (1992), «Мой дом. Воспоминания и эссе» (1994).

В 1991-м мы с братом Аленом создали в нашем родовом гнезде в маленьком средневековом городке Бер-лез-Альп на Лазурном берегу первый в истории русско-французских отношений частный Дом творчества для писателей и художников, назвали его Франко-Русским Домом. С этой целью мы перестроили наш семейный дом в гостевой, для проживания русских гостей. В результате получился своеобразный Дом творчества русских художников и писателей со всего мира, призванный содействовать встречам и культурному диалогу между «постсоветской» Россией и Францией.

Торжественное открытие Дома состоялось 3 июля 1992 года. Логотип Франко-Русского Дома спроектировал Сергей Голлербах. Этот фирменный знак, изображающий мольберт и палитру, олицетворяет место встречи двух культур: с одной стороны – французский

живописный средневековый городок Бер-лез-Альп, с другой – православный русский собор Святого Николая в Ницце.

Под эгидой Франко-Русского Дома состоялись три замечательные выставки с участием Голлербаха: «150 лет русского присутствия в Ницце на Лазурном берегу» (июль-август 1992, музей Жилетта Espace Jean Giletta), «Пляж: рисунки, акварели и акриловые картины Сергея Голлербаха» (к 75-летию художника, Вильфранш-сюр-Мер), «С. Голлербах» (муниципальный выставочный зал в порту Сен- Жан-Кап-Ферра Salle des fêtes).

Благодаря существованию Франко-Русского Дома, колыбель нашей семьи – городок Бер-лез-Альп, по словам Сергея Львовича, стал «Абрамцевым в Приморских Альпах». Среди статей и эссе С. Голлербаха, опубликованных в «Новом Журнале», были и «французские» – «Россия на юге Франции» (№ 189, 1992); «Прогулки по русской Ницце» (№ 198-199, 1995); «О встречах кратких и не только» (№ 223, 2001), «На юге Франции: Ренэ Герра» (№ 243, 2006).

В 1997 году на Лазурном берегу произошла знаменательная встреча двух великих петербуржцев, которую Сергей Львович Голлербах увековечил в своей статье «Встречи с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым». Обращусь к его воспоминаниям:

«А теперь о моей встрече с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Оказалось, что Ренэ Герра познакомился с ним еще в 1992 году в Венеции, где открылась выставка ‘Русский символизм и Дягилев’. Многие картины на ней поступили из коллекции Герра. Академик Лихачев был, по словам Герра, ‘петербургским потомственным интеллигентом’ и сразу же покорило сердце французского слависта. Между ними завязались дружеские отношения, и Ренэ Герра был гостем у Дмитрия Сергеевича в Петербурге. Особенно знаменательна была их встреча в 1997 году. Академик Лихачев прибыл на юг Франции, на самую ее границу с Италией, для получения премии за его книгу ‘Поэзия садов’. Она издана была годом раньше в Турине на итальянском языке в издательстве Giulio Einaudi. Вот что писал Ренэ Герра в своей статье, изданной в Петербурге по случаю Лихачевских чтений в 2008 году: ‘Церемония вручения происходила 12 июля в Giardini Hanbury, в знаменитых садах Лигурийского побережья’... Дмитрию Сергеевичу было тогда уже девяносто один год и приехал он вместе со своей внучкой, художницей Зинаидой Курбатовой, и малолетней правнучкой Верочкой. Остановился он в доме своей старой знакомой Марины Бенцони в маленьком городке Эз. Там я и встретил знаменитого гостя. Высокого роста, худощавый, он опирался на палочку, но держался прямо. Его манеры, речь выявляли человека еще старой, дореволюционной формации, хотя всю свою жизнь он провел в Советском Союзе. По предложению Ренэ Герра Дмитрий Сергеевич любезно согласился позировать мне

для быстрых портретных набросков акварелью. Один из них я подарил ему, другой – Ренэ Герра. Надо сказать, что Ренэ Герра был глубоко впечатлен личностью академика Лихачева и высоко ценил все его труды. Но и Дмитрий Сергеевич чувствовал глубокую симпатию к любящему русскую культуру французу. В письме, датированном 19 февраля 1998 года, он писал: ‘Дорогой Ренэ Юлианович, я восхищаюсь вашей деятельностью, вашим умом и принципиальностью’, в письме рукой Лихачева были нарисованы два цветка. Что же касается меня, то, как я уже сказал выше, знакомство со знаменитыми людьми обогащает человека, и я благодарен судьбе, что встретил этих двух людей. С Ренэ Юлиановичем Герра у меня продолжается крепкая дружба, а личность Дмитрия Сергеевича Лихачева для меня – напоминание о том, что даже в самые тяжелые минуты жизни надо помнить о красоте природы, о цветах – и это помогает нам жить».

Портрет Дмитрия Сергеевича Лихачева я публиковал несколько раз: в статье-интервью под названием «На перекрестке культур: Д.С.Лихачев на Лазурном берегу» в парижском еженедельнике «Русская мысль» от 28 августа 1997 года, а также в каталоге «Образы Пушкина в творчестве русских художников-эмигрантов» (1999), и в своих книгах «Они унесли с собой Россию... Русские эмигранты – писатели и художники во Франции (1920–1970)» (СПб.: Блиц, 2003), «Когда мы в Россию вернемся...» (СПб.: Росток, 2010), «Семь дней в марте: беседы об эмиграции с А. Ваксбергом» (СПб.: Русская культура, 2010).

В 1995 году Министерство культуры РФ предложило мне организовать в Государственной Третьяковской галерее выставку картин русских художников-эмигрантов из моей коллекции при содействии Министерства культуры и франкофонии Французской республики, под эгидой ЮНЕСКО. Я отправил в Москву 220 работ, среди которых было пять картин С.Л. Голлербаха. Выставка открылась 14 апреля и проходила до 15 мая. Для каталога этой выставки под названием «Они унесли с собой Россию... Русские художники-эмигранты во Франции: 1920–1970-е. Из собрания Ренэ Герра» Сергей Голлербах написал прекрасную статью «Встреча, предрешившая многое» и специально прилетел в Москву на открытие. Для каталога были написаны статьи академиками Д. С. Лихачевым и Д. В. Сарабьяновым. В начале июня того же года Выставка переехала в Париж, в Оранжерею Сената (Люксембургский дворец), а затем в Ниццу – в Музей современного искусства (МАМАС) – и просуществовала там с 30 июня по 30 сентября. Был издан еще один каталог на французском языке «Изгнание русской живописи во Франции: 1920–1970». Его авторами стали академики Анри Труайя (Лев Тарасов), Дмитрий Лихачев, Дмитрий Сарабьянов и, конечно, Сергей Голлербах.

В 1999 году, к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, я пред-

ставил из принадлежащих мне работ большую выставку «Images de Pouchkine dans l'œuvre des peintres russes émigrés» / «Образы Пушкина в творчестве русских художников-эмигрантов» в Исси-ле-Мулино под Парижем. В каталоге выставки вместе с предисловием писателя Анри Труайя и моей беседой с Д.С. Лихачевым представлены четыре работы Сергея Львовича Голлербаха.

В 2021 году в издательстве «Дэн» вышел в свет мой четырехтомник «Художники Русского Зарубежья в искусстве книги», над которым я работал несколько десятилетий. В этой исследовании я представил созданную за пятьдесят лет книжную графику русских художников-эмигрантов, где работам Сергея Голлербаха посвящено несколько десятков страниц, увидеть которые он так мечтал. Как больно, что художник не дожил до выхода этого богато иллюстрированного издания из печати.

В моем собрании хранятся десятки работ Сергея Голлербаха (масло, карандаш, акрил, акварели, гуаши, тушь), в том числе его автопортрет и два моих портрета (1981 и 1994 гг.), а также три его оригинальных эскизистических рисунка: с книжным натюрмортом (с кириллическими надписями), с фантастическим пейзажем, объединяющим на двух берегах символической реки Эйфелеву башню и шпиль Петропавловской крепости (с надписью латиницей), и с моим портретом.

Сергей Львович был не только замечательный художник, но и уникальный писатель, автор очерков, заметок и воспоминаний о жизни русской эмиграции в США в послевоенный период. Он печатался в русской зарубежной прессе и периодике – в газетах «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Русская мысль» (Париж) и журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне, под псевд. Сергей Львов) с 1960 года, в «Новом Журнале» с 1976 года, в журнале «Стрелец» (Париж) с 1984 года.

Живые рассказы Голлербаха, летописца жилых кварталов Нью-Йорка, похожи на красочные зарисовки и интересны для художников, историков, писателей и психологов. Об этих особенностях его прозы писал мой друг, поэт, прозаик и индолог А.Н. Сенкевич в своих многочисленных статьях о Сергее Голлербахе.

Наша дружба длилась почти полвека, а в последние годы, когда Сергей Львович уже почти ослеп, мы часто звонили друг другу. До конца своих дней он сохранял ясный ум, тонкое чувство юмора и завидный оптимизм. Я благодарен судьбе, которая свела меня с Сергеем Голлербахом, выдающимся художником и писателем. Несмотря на широкую известность и награды от самых престижных художественных учреждений США, он мне всегда казался человеком не от мира сего. Таким и остался в моей памяти.

Ницца

Людмила Оболенская-Флам

Сереза

Вот уже более двух лет как его нет в живых, а я так ясно слышу бодрый голос в телефонной трубке: «Вас беспокоит Сергей Голлербах. Хочу узнать, как Вы?» После этого, уже называя друг друга «Серезей» и «Люсей», начинались долгие разговоры о том о сем.

Дружба наша была поздней и преимущественно заочной, но фамилия «Голлербах» знакома мне с детства по рассказам мамы о поездках из Петербурга в Царское Село к бабушке Екатерине Карловне Якоби. В Царском маму, ее братьев и сестер непременно водили в кондитерскую Голлербаха. Пирожные там были особенно вкусные. Сереза, потомок этого немецкого кондитера, тоже родился в Царском Селе, переименованном большевиками в Детское Село, а позже – в город Пушкин. К тому времени семья Голлербахов, полностью обрусев, уже прочно вошла в круг интеллигенции, высоко ценившей литературу и искусство. Дядюшка Серези, Эрих Федорович Голлербах, – он же и его крестный отец – был известным искусствоведом, знатоком Серебряного века и автором книги о Царском Селе «Город муз». В детстве, как полагалось хорошему «советскому» мальчику, Серезе очень нравились передвижники, тогда как дядюшка ценил художников «Мира Искусства». Однако тонкое понимание искусства Эриха Федоровича не могло не сказаться на формировании будущего художника, в чьих произведениях от передвижников и духом не веет. В биографическом словаре Е.А. Александрова «Русские в Северной Америки» говорится, что Голлербах писал «в жанре неоэкспрессионизма». Подчас его работы граничат с абстрактной живописью. Но неважно, к какому направлению его причислять; важно то, что, увидав его картину, по краскам, линиям, композиции сразу определишь – это Голлербах.

Годы сталинского Большого террора семья Голлербаха провела в Воронеже, куда их отправили после убийства Кирова. Там Сереза стал рисовать; однажды его рисунок получил первый приз, если не ошибаюсь, на пионерском конкурсе. Потом они смогли вернуться домой. А вскоре началась война. Отец ушел на фронт, был тяжело ранен и, позднее, от ранений умер. Мать с сыном ничего о нем не знали, к тому времени город Пушкин был оккупирован немцами.

В 1942 году начался новый этап: отправка в Германию. Выяс-

нилось, Сережу с матерью немцы вывезли одновременно с моей девяностолетней прабабушкой и ее двумя дочерьми, сестрами моего деда, с которыми Людмила Алексеевна, мать Сережи, в молодости дружила. Репатриантов поселили в беженском лагере города Кёниц, а Сережу отправили в принудительном порядке на сельские работы. Он считал, что ему повезло. О сравнительно вольном режиме лагеря Кёниц можно судить по книге Ольги Раевской-Хьюз «Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов»¹, охватывавшей и Кёницкий период писателя. Было там голодно, но люди, по своему составу преимущественно из интеллигенции, могли свободно общаться друг другом, вести умные разговоры, обмениваться книгами, переписываться с эмигрантами, оказавшимися в пределах германского рейха... В лагере Людмила Алексеевна возобновила дружбу с моими двоюродными бабушками.

Прабабушка моя умерла еще в Кёнице, а дочери ее встретили окончание войны в Австрии. Покуда они пробирались в Австрию, Людмила Алексеевна и Сережа добрались до американской зоны и осели в Мюнхене. Там он работал на американской военной базе, быстро освоив английский язык, и, одновременно, учился живописи в Мюнхенской художественной академии. Потом судьба снова свела этих царскосельчан, теперь уже в Нью-Йорке. Хотя жили они в разных районах гигантского города, Людмила Алексеевна часто навещала своих пожилых подруг, иногда вместе с сыном. Именно у них я и познакомилась с Сережей. Было это, страшно подумать, в 1959 году!

Жизнь послевоенных эмигрантов в Новом Свете на первых порах оказалась нелегкой. Не всем удавалось устроиться по своей специальности или по призванию. Некоторым приходилось работать грузчиками, фабричными рабочими, прислугой... Так, Сережа, в поисках случайных заработков, одно время выгуливал собак. Потом появилась работа печатника галстуков в мастерской шелкографии, основанной бежавшими из нацистской Германии евреями, где уже работало несколько других русских художников-эмигрантов, в их числе – сын Мстислава Добужинского, Всеволод, «Додик» как его звали в семье. Голлербах вспоминал, как Всеволод Мстиславович рисовал собачьи головки, главным образом, немецких овчарок, а остальные печатали головки на галстуках. Дружба с русскими из мастерской привела к созданию Объединения русско-американских художников, которое стало устраивать в Нью-Йорке свои выставки.

Надо заметить, что до расселения эмигрантов по пригородам Нью-Йорка, русская общественная и культурная жизнь в городе действительно, как говорится, «была ключом». И Сережа в нее окунулся: он посещал литературные салоны, танцевал на русских балах, оформлял обложки русских книг... Но он не ограничил себя русской средой, что было свойственно многим его собратьям. Напротив, Сережа стал

сразу осваивать здешний мир: он выставляет свои работы в коммерческих галереях, становится членом американских художественных обществ и академиком престижной Национальной академии дизайна. Там у Сережи появились свои преданные ему ученики, а студентки, похоже, были в него поголовно влюблены.

Мало кому из художников, тем более прибывших в США после войны, удавалось прокормить себя живописью. Голлербах в этом преуспел; начиная с середины семидесятых годов прошлого века он не должен был искать себе других заработков. И не только в Нью-Йорке: его приглашали проводить семинары живописи в разных городах и университетах Америки. Продажа картин, преподавание и семинары его обеспечивали и давали возможность часто ездить в Европу. Имя Голлербаха становилось в США всё более известным, его работы получали награды, включая престижную Золотую медаль Американского общества акварелистов.

Когда, материально оперившись, русские стали покидать Нью-Йорк и селиться по окрестностям, Сережа не поддавался соблазну загородной жизни. Он был неисправимый горожанин. Ему нравился пульс большого города, он ценил его многообразие, обилие культурных возможностей, его удобства: рестораны, предлагающие кухню разных стран мира, удобный городской транспорт, возможность общения с кругами интеллектуалов, связанных с миром искусства... Со временем Сережа обзавелся прекрасной квартирой в одном из лучших районов города, где и прожил до своих последних дней. Вторым его домом был эксклюзивный клуб «Лотос» на Пятой авеню, членом которого он был принят за свои заслуги художника. В этот особняк вблизи музея Метрополитен он любил приглашать гостей отведать изысканной кухни клубного шеф-повара. Но самое главное, город питал Голлербаха сюжетами – городскими пейзажами и населявшими город людьми. Их он и любил писать. Причем, это были люди самые простые, порой нищие и обездоленные. Их силуэты он зарисовывал на улицах, в вагонах метро, вплоть до заведений сомнительной репутации. Голлербаха-художника привлекала, как он говорил, «обратная сторона медали». Так, в предисловии к альбому «Улица», сюжет которого – бездомные, он писал, что нищета обладает для художника известной эстетической притягательностью. Даже когда он писал людей, отдыхающих на Брайтонском пляже, то были явные горожане – гротескные фигуры в вальяжных позах и в отнюдь не «гламурных» купальниках. И только один его альбом, из многих, воспринимается, как отражение солнечного характера автора: это серия умильных зарисовок собак всевозможной породы и мастей, подмеченных им на нью-йоркских улицах. Хозяева, выгуливающие своих питомцев, его не интересовали, от них иногда оставались на картинке только ноги.

Хотя знакомы были мы с незапамятных времен, наши дружеские отношения сложились гораздо позже. Вот что послужило поводом: как-то мой бывший коллега по «Голосу Америки», собиратель картин и друг Голлербаха Сергей Зорин, привез мне огромный фолиант больших его работ для передачи в Художественный музей Нижнего Новгорода, откуда Зорин был родом. Половину картин Зорин разрешил подарить Дому Русского Зарубежья им. А. Солженицына в Москве, с которым я тогда сотрудничала. Что я и сделала, прилетев в Москву. Там дар Зорина окантовали и обрамили, и выставили перед отправкой картин, предназначавшихся для Нижнего Новгорода. Та выставка была приурочена к презентации моей книги «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции»² – для сборника я, как составитель, попросила Сережу написать очерк о русских художниках Америки. Презентация прошла 9 ноября 2006 года. Прилетевший из Нью-Йорка в Москву Сергей Голлербах выступал там в двойной роли – в качестве автора картин и участника сборника, вызвав к себе этим особый интерес публики.

Тот визит был не первым возвращением Голлербаха в Россию; еще ранее ему удалось побывать в своем родном Царском Селе, где был издан большой сборник «Свет прямой и отраженный», в который вошли его эссе, написанные за долгие годы жизни в Америке. Первоначально они публиковались в различных эмигрантских журналах, преимущественно в «Новом Журнале». Там я и прочитала однажды очерк, посвященный уже упомянутому сестрам моего деда, дочкам сенатора Н.Б. Якоби и внучкам известного физика Бориса Якоби. Старшая, Анастасия Армадерова, была художница, другая – Елизавета Якоби – искусствоведом. До войны обе работали в Эрмитаже и слыли «эрмитажными старушками». Свой интерес к искусству они пронесли через всю свою жизнь и многие невзгоды, но, описывая их, Сережа не мог воздержаться от «изюминки», услышанной от своей матери: по ее рассказам, злые языки в Царском Селе судачили, что «девушки Якоби ведут себя совершенно неприлично: они не носят корсета и играют в теннис!» Сережа любил вводить такого рода мелкие, иногда пикантные, подробности в описание своих знакомых, а знал он очень многих, простых смертных и людей выдающихся.

Наладившееся в те годы общение с Домом Зарубежья способствовало росту известности имени Голлербаха на родине. Первоначальная дюжина картин, которую я протащила через таможенню, не декларируя, выросла со временем в самое большое собрание его работ не только в России, но, думаю, и в США: по последнему счету там находится 218 его работ, законченных картин, альбомов и эскизов. Старший сотрудник Дома Зарубежья Инна Розанова рассказывала о многих российских выставках С.Л. Голлербаха: первая, «Новый свет», прошла в уже далеком 2010 году; к 90-летию Голлербаха в 2013–2014 гг. была орга-

низована его персональная выставка «Нью-Йоркский блокнот», по названию его книги эссеистики, изданной «Новым Журналом», в 2018-м часть работ Голлербаха была доставлена на выставку в Областной художественный музей Крамского в Воронеж; в 2020-м персональная выставка живописи и графики Голлербаха состоялась в стенах Дома Зарубежья – она была приурочена к открытию нового здания Музея Русского Зарубежья; но самая необычная экспозиция Сергея Голлербаха открылась в Москве в феврале 2020 года под названием «Жаркие тени города» (одна из первых его книг): в виде больших планшетных листов копии с его самых интересных живописных и графических работ висели на станции московского метро «Выставочная».

К сожалению, Сережа не мог присутствовать на открытии последних его выставок в Москве. Из-за проблем со зрением он даже не мог разглядеть фотографий оттуда. Я старалась, как могла, рассказать о них по телефону. Он вздыхал и говорил: «Кто бы мог подумать...» Известность в России Сереже явно льстила, хотя он и делал вид, что это для него всего лишь приятная неожиданность. Однако он признался поэтессе Валентине Синкевич, что, начав ездить в Россию, он ощутил себя «более полным человеком».

По мере ухода из жизни наших современников, учащались его звонки из Нью-Йорка ко мне во Флориду. О чем мы только ни говорили: вспоминали общих друзей, делились анекдотами, обсуждали последние новости... обо всем, кроме обычной стариковской темы – болезни. А ведь ему было на что пожаловаться: почти совсем слепой, с ослабевшими ногами (приходилось пользоваться ходунком) страдавший и другими недугами, он до конца оставался оптимистом; его живой ум продолжал следить за происходящим в мире. Как бы он отнесся к событиям сегодняшнего дня? Мы не во всем бывали согласны, но, думаю, не ошибусь, предполагая, что пережив, как и я, Вторую мировую, Сережа – так любивший жизнь и в душе пацифист – воспринял бы новую войну, разразившуюся уже после его смерти, как великую катастрофу. Зато вспоминаю, что ему непременно хотелось дожить до результатов последних президентских выборов в Америке. И он дожил. А за три дня до того, 1 ноября 2020 года, он отпраздновал шампанским и икрой свой 97-ой день рождения. Икра была черная, а шампанское – «царское», Veuve Clicquot. По высшему разряду. Другого он не признавал ни в жизни, ни в искусстве.

1. Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов / Ред.-сост. Ольга Раевская-Хьюз. Москва, Париж: «Русский путь»; YMCA-Press, 2001.

2. Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции: Очерки и воспоминания / Ред.-сост. Людмила Флам. Москва: «Русский путь». 2006.

Иван Елагин

Сергею Голлербаху

Я с вами проститься едва ли успею.
Ракета на старте и близится запуск.
Меня высылают на Кассиопею,
В какую-то звездно-туманную зябкость.

Еще я случившимся всем потрясен.
Себя донимаю вопросом невольным:
Зачем я отправился на стадион?
Как я очутился на матче футбольном?

Ракета рванется – и был я таков,
Меня понесет к фантастическим высям.
Не ждите моих телефонных звонков,
Не ждите моих телеграмм или писем.

Трагически выбросив руки вперед,
В толпу нападавших ныряет голкипер.
Сто тысяч людей на трибунах орет,
Сто тысяч качается с ревом и хрипом!

Как будто гремит на трибунах хорал,
И сто Ниагар низвергаются дико...
И как же случилось, что я не орал,
Что я не издал ни единого крика?

Умильно глаза к небесам возведя,
Мне так говорил на прощанье судья:
Я счастья желаю вам в мире ином.
Вам нечего делать на шаре земном.

Вокруг меня злобою воздух сожжен,
Мотаются лица, гримасами пенясь,
Орут мне – стилига! Кричат мне – пижон!
Шипят – тунеядец! Вопят – отщепенец!

Уже адвокаты меня не спасут,
Уже отреклись от меня адвокаты,
Уже надо мной показательный суд!
Повсюду собранья, повсюду плакаты,

Я враг человечества! Я не орал,
Когда человечество дружно орало.
Меня посадили в тюремный подвал.
Я ночью на звезды гляжу из подвала.

И вот среди звездной сверкающей пыли
Уже я лечу небосводом ночным,
Как будто меня ослепительно вбили
В ворота Вселенной ударом штрафным!

«Новый Журнал», № 87, 1967

Прот. Кирилл Фотиев*

С. Л. Голлербах. «Заметки художника»

Посылая мне свою книгу «Заметки художника», С. Л. Голлербах скромно назвал ее «книжицей», подразумевая под этим, что звания «книги» этот сборник заметок – часто отрывочных, всегда лаконичных – не заслуживает. Такое отношение к «Заметкам художника» оправдано, если под книгой понимать «солидный трактат», который будет «принят с должным вниманием», подвергнется критическим разборам специалистов, а затем... затем очень скоро станет мертвым произведением типографского станка, обреченным на то, чтобы пылиться без движения на книжной полке. К счастью, С. Л. Голлербах написал не «трактат» – он собрал воедино то, что он написал в разное время как словесный комментарий к тому, что составляет сущность его «духовного жизненного порыва» (это выражение принадлежит Бергсону) – как художника, который лишь изредка откладывает в сторону кисть для того, чтобы взяться за перо. Не то ли самое перо, которым он пользуется для своих графических работ?

В своем предисловии к книге «Заметки художника» Б.А. Филлипов называет Голлербаха «ироническим реалистом», который жизнь «принимает <...> любовно, но с горькой усмешкой». Возможно, что это справедливо, но даже те произведения Голлербаха, которыми иллюстрирована книга, говорят о чем-то большем и значительном, чем только ирония, даже любовная. Налет полунасмешливого шаржа с ясностью проступает на человеческих лицах, как их изображает точное и легкое перо Голлербаха-графика. Но взглянем на его работы, исполненные в иной, не графической манере. Лица исчезают – мы видим людей в странных, напряженных позах; композиция картин тревожна, мрачны сгущающиеся, суровые краски и

остается лишь примыслить ангела смерти, который уже поднял свои крылья над бездомными мексиканскими музыкантами или отчаявшимися обитателями нью-йоркских трущоб. Легкая ирония отлетает, уступая место тяжелой поступи трагедии.

Одно великое сиротство,
Одна великая тщета...

В соответствии с этими двумя ликами Голлербаха-художника происходит и тематическое деление вошедших в книгу заметок. Голлербах сознательно их перемешивает – размышления, подчас печальные, о судьбах современного искусства («Инфантилизация искусства», «Смерть живописи», «Грех заимствования», «Балласт культуры») перемежаются с зарисовками жанровых сценок Нью-Йорка («Живу в Нью-Йорке», «Летний Нью-Йорк»), Испании, Португалии и Мексики. Если бы первая группа заметок была собрана воедино, скажем, в заключительной части книги, то получилось бы подобие «трактата», но это автору книги претит. В его размышлениях о судьбах искусства в современном мире нет системы, что отнюдь не означает, что мысли об искусстве вообще и об искусстве нашего времени, в частности, не продуманы Голлербахом до конца.

В заметке «Смерть живописи» Голлербах пишет, что сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что живопись умерла, ибо живопись есть воспроизведение живой природы, создание определенных образов, имеющих эстетическую и этическую ценность для человека, а сейчас отпала потребность в живописании жизни. Что же – необратима и окончательна эта смерть искусства? – Нет, отвечает Голлербах, живопись умерла ровно в той степени, в какой «умер Бог», в степени отхода от Него людей. «Ее (живописи) воскресение будет таким же таинственным, как и ее смерть.» А пока чудо воскресения живописи не наступило, не следует обольщаться ее подменами – инфантилизация искусства есть попытка усталых людей утешиться побрякушками и не имеет ничего общего с евангельским славословием дару детской непосредственности. Не спасет искусство и «возвращение к иконе», ибо духовный мир иконописцев возвышается над нашей суетой, как заведомо нам недоступная альпийская вершина. Нет, говорит Голлербах, лучше, ибо честнее, признать временную смерть живописи и смиренно молить о чуде, чем гоняться за «новизной форм», рядиться в чужие одежды и выдавать подобный маскарад за творчество.

Искусство умерло в той мере, в которой умер для сознания современного человечества Бог... Голлербах повторяет эту мысль не раз.

Позволю себе короткое отступление, чтобы развить эту мысль Голлербаха, – в надежде, что он согласится со мной в моем убеждении, что живопись, которая жива в той мере, в которой она питается

«водой, текущей в жизнь вечную», не раз умирала и не раз воскресала вновь, припадая к различным ручьям, текущим из единого источника.

Уже в течение многих лет, со времен студенческой молодости, я каждую осень навещаю Тоскану, перемежая старательное посещение церквей и музеев с далекими прогулками по сельской Тоскане, пейзаж которой – не меньшее чудо красоты, чем творения ее прославленных художников. Во Флоренции я смотрю фрески в соответствии с хронологией их написания – Джотто в Санта Кроче, Мазаччо в базилике Мадонна дель Кармине, фрески Фра Беато и его учеников в Сан Марко и, наконец, Беноццо Гоццоли в часовне дворца Медичи. Беноццо Гоццоли в молодости был учеником Фра Беато, но между учителем и учеником пролегла та таинственная грань умирания искусства, о котором писал в своей книге под этим названием мой учитель В.В. Вейдле и о котором говорит С.Л. Голлербах.

Муратов, вслед за Беренсоном, называет Фра Беато «художником с простым и веселым сердцем» – для них он отнюдь не мистический визионер, под которого его пытались стилизовать. Но его обращенность к небу, и земля, которую он изображает, есть земля, удостоившаяся небесного посещения. А уже его ученик Гоццоли вполне счастлив на этой, себе доверяющей, праздничной и веселящейся земле. Изображая, на радость себе и нам, великолепное шествие волхвов и их многокрасочной свиты (с помощью этой аллегии он изобразил латинян и византийцев, съезжающих на Флорентийский собор 1441 года), Гоццоли старается заразить нас своей верой в то, что этот праздник будет длиться вечно, что нет и не может быть горечи на дне кубка жизни. В этом антропоцентрическом оптимизме вся двусмысленность Возрождения (как и секулярного гуманизма) перед судом новозаветного откровения, которое столь недвусмысленно говорит нам, что нет иного пути к «радости совершенной», чем тот, что ведет через Гефсиманский сад и Голгофу... Значит ли это, что после Гоццоли омертвели питавшие искусство корни религиозного откровения? За о. Сергием Булгаковым, для которого встреча в Дрездене с Мадонной Рафаэля была перевернувшим его душу религиозным переживанием, я последовать не могу. А драматические и скорбные фрески Синьорелли? Христианство, понятое в его трагическом аспекте, как «день гнева», – не это ли спасло искусство позднего Возрождения от измельчания и умирания, которые готовили ему оптимистические лжепророки антропоцентризма?

Свидетельствуя о постигшей современную живопись (и только ли живопись?) смерти, Голлербах целомудренно молчит о том, что ее воскресение может придти только через возрождение чувства трагичности бытия: больной, отказывающийся признать себя больным, исцеления не получит. Лишь из глубин трагедии может воссиять надежда. Оптимизм же, как показывает нам Голлербах в своей книге

и еще убедительней – в своей живописи, может лишь тешить нас маревом новаторства, но не спасет нас от отчаяния.

«Новый Журнал», № 154, 1984

*Рецензия протоиерея Кирилла (Фотиева) была опубликована на одну из первых книг эссеистики Сергея Львовича Голлербаха «Заметки художника» в НЖ, № 154, в 1984 году. За свою долгую жизнь он написал десяток книг эссеистики и мемуаров, прослав «певцом Города Большого яблока» – Нью-Йорка.

Кирилл Васильевич Фотиев – известный церковный и общественный деятель русской эмиграции, протоиерей Православной Церкви Америки (ОСА), член НТС. Он родился в Москве в 1928 году. После смерти матери был усыновлен родственниками А.А. и Н. С. Рар, живущими в Латвии. После оккупации Латвии Красной армией, в 1941 году семья переселилась в Германию в Любек, затем – в Бреслав. После Второй мировой войны Фотиев окончил русскую гимназию в диппийском лагере Мёнхегоф, учился на философском факультете Гамбургского университета. В 1947-м вступил в НТС. В 1949 году семья в статусе Ди-Пи переехала в Марокко, в том же году Фотиев уехал в Париж, получив стипендию в Свято-Сергиевском православном богословском институте. Его учителями были А.В. Карташёв, прот. Василий Зеньковский, еп. Кассиан (Безобразов), архимандрит Киприан (Керн), литературовед В.В. Вейдле и другие. По окончании института он работал в Риме в НТС, затем в редакции подпольной радиостанции НТС «Свободная Россия» в Германии, участвовал в разработке учебных материалов НТС, писал статьи в «Посеве». В 1961-м был рукоположен; служил военным священником при Американском оккупационном корпусе в Германии, в 1963-м был назначен в Монреаль, потом в Нью-Йорк. Вел религиозную программу на радио «Голос Америки», дружил со свящ. Александром Шмеманом, Иоанном Мейендорфом, Михаилом Меерсон-Аксеновым и др. Протоиерей Кирилл Фотиев состоял в редколлегиях журналов «Вестник РСХД» и «Посев». В 1984 году вернулся в Мюнхен, где вместе с двоюродным братом Г.А. Раром вел религиозные передачи на Радио Свобода. Служил разъездным священником Архиепископии русских приходов Константинопольского Патриархата в Западной Европе. Скончался на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 1990 года в Мюнхене, похоронен на кладбище Сент-Женеьев-де-Буа.

* * *

В редакции «Нового Журнала» можно приобрести книги
Сергея Голлербаха:

Размышления недоволившегося человека

New York: The New Review Publishing, 2020, 186 с., цвет. илл.

Последняя книга академика американской Национальной академии дизайна Сергея Голлербаха (1923–2021) посвящена русскому философу Василию Розанову; она воссоздает розановский тип литературного героя и в чем-то навеяна его «Опавшими листьями». Вослед философу старый художник, многое испытавший в своей жизни эмигранта, предлагает собственные «заметки на манжетах» – этот спонтанный, интимный, глубоко личный слой наблюдений и фантазий. Его «Размышления недоволившегося человека» погружают читателя в ЛИЧНОЕ и ВОЗМОЖНОЕ, предлагают ОБРАТНЫЙ ХОД ВРЕМЕНИ и ставят ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ; заставляют выслушать НЕГАТИВНУЮ ИСПОВЕДЬ и размышления о беспризорном добре и заразных дурных примерах... Стал ли автор жертвой самообмана, поддался ли искушению просто высказаться *Urbi et Orbi?*.. Или он верно

нащупал самые болевые точки нашего современника и вызвал его на неприятный, чересчур откровенный, но крайне важный разговор?

«Вспоминая... с улыбкой». Воспоминания

New York: The New Review Publishing, 2019, 172 с., цвет. илл.

Книга эссеистики Сергея Голлербаха дополняет его предыдущую книгу воспоминаний о Русском Нью-Йорке («Нью-Йоркский блокнот». 2013). Это коллекция частных историй и анекдотов о многонациональной русскоязычной диаспоре Города Большого Яблока. В книге впервые представлена графика художника, ранее не публиковавшаяся.

«Нью-йоркский блокнот». Воспоминания

New York: The New Review Publishing, 2013, 252 с., цвет. илл.

Книга посвящена Нью-Йорку. В 1950-х годах 20 века началась «американская история» русского мальчика из Царского Села. Книга – это история и его жизни, и жизни тех, «кто уж далече», но кого всё еще помнят улицы этого города. Из книги вы узнаете, как обживали «лучшую Америку» и «город греха» русские эмигранты первых послевоенных лет – так называемые дипи, Displaced Persons, Второй мировой войной «перемещенные лица»; что представлял из себя «русский Бродвей» в 1950-е; вы узнаете историю «русской Кармен», «кроликов с коротким дыханием» и «козлокота»; перед вами предстанет нью-йоркский «портрет Осипа Мандельштама» и великолепная Валентина Шлее, диктовавшая свой стиль послушной ей Пятой Авеню; вы услышите истории Рудольфа Нуреева; узнаете, как творил свои романы и писал свои полотна русский Нью-Йорк во второй половине XX века. Книга богато проиллюстрирована художником, одним из лучших «летописцев в красках» города Большого Яблока.

New York on My Mind: Memoirs of a Displaced Person

New York: The New Review Publishing, 2015. 160 p., ill. In English

During WWII, as a Russian teenager, Serge Hollerbach was sent to a work camp in Nazi Germany; after the war, he refused to return to the USSR. He immigrated to the U.S., where he went from being a worker at a tie-making factory to an academic and national award laureate. The book is a distinctive story of post-war and long-forgotten New York. Serge Hollerbach writes about exploring the Big Apple – his stories portray a brilliant sense of style, with the subtle humor of a real New Yorker. Hollerbach is a true artist of the City, both in painting and in word. There are many illustrations – the artist's drawings created during the last 65 years.

From the Personal Point of View

New York: The New Review Publishing, 2016, 112 p., ill. In English

This book is a collection of essays – paradoxical and contradictory answers of a famous American artist to the main questions of contemporary art and society. All essays were illustrated by the author – his best reflections upon the City of Big Apple. *“It is indeed very difficult to find reasons for optimism in the turbulent world of today, with many wars going on, genocides, corruption, population explosion and global warming. Yet... this optimism cannot be called naïve because it is existentially abstract and life enhancing. It is the glass that is always half full and never half empty.”* ~ *Serge Hollerbach, From the Personal Point of View*

НА СТЫКЕ КУЛЬТУР

Валентина Синкевич: «Иностранный и странный великоросс»

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРЫ ДИАСПОРЫ

Для живущих в XXI веке, захваченном глобализацией и, увы, процессом унификации индивидуальностей, как никогда прежде становится актуальным вопрос экстерриториальности культурного текста. Как нам, современникам, в вавилонском столпотворении не потерять окончательно способность к взаимопониманию и приятию чужих ценностей, идеалов и уникальности?..

Здесь видится нам одна из основных сегодняшних проблем в создании и изучении литературы многонациональной русскоязычной диаспоры в ее рассеянии. Два столпа, на которых выстраивается художественный текст диаспоры: экстерриториальность и интертекстуальность. Не признавая этих онтологических свойств феномена «Культура», можно лишь разрушить ее текст до основания. Эти свойства особенно прочувствованы писателями-иммигрантами, на них выстроены литературы национальных диаспор, нарратив которых вкладывается в общее пространство культурного гипертекста, а творческий процесс включает не только развитие, но и преодоление языка и матрицы оригинальной, родной культуры и установление свободно-диалога с многозвучным гипертекстом культуры мировой.

Каждый из художников слова выбирает свой путь в этом пространстве; но открытый хронотоп их индивидуальных текстов неизбежно вбирает вышеобозначенные принципы. Часто писатель-иммигрант отказывается от использования родного языка, сохраняя его мелодию лишь в ритме самого произведения. Другие же выбирают иной путь – перевод оригинального русского текста на язык своего нового отечества, тем самым создавая альтернативный текст, – подобно тому, как многовариантна сама жизнь иммигранта.

Проблема перевода осознавалась всеми потоками русскоязычной иммиграции как одна из важнейших в процессе формировании литературы диаспоры.

Косноязычен сын, потерпевший крушение.
...Иностранный и странный великоросс.
Что ты хочешь сказать с иностранным акцентом?
Кончен бой. И сирены отвыли отбой.

У судьбы ты зачислен вечным студентом
По прапамяти с ниточкой голубой.

– написала Валентина Синкевич (1926–2018) в своем последнем сборнике. Ее творчество ярко отразило всё своеобразие положения «поэта в межкультурном пространстве», в котором «между нами есть музыкальное понятие земли» – то главное, что создает мировую культуру. Поверх барьеров.

В этом контексте особый интерес представляет творческая работа поэта по созданию автопереводов своих стихов в ситуации поэтического билингвизма автора, когда он намеренно создает варианты текста на двух языках. Авторский перевод становится попыткой творческого расширения текста. Практически все представители литературы многонациональной русскоязычной диаспоры на протяжении столетней ее истории пускались в плаванье в это языковое безбрежное, безграничное море. Нам было интересно обратиться к опыту автоперевода известных писателей диаспоры, представлявших «русский текст» в пространстве мировой культуры.

Редакция

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДВУХ КУЛЬТУР

Где береза могучая с головою кудрявою
По-английски о чем-то мне шелестит...
(*В. Синкевич. «В Норвичском университете»*)

В этом году исполнилось пять лет со дня смерти Валентины Алексеевны Синкевич (1926–2018), постоянного автора и члена редколлегии «Нового Журнала». Мы знаем и помним Валентину Алексеевну как замечательную поэтессу, издателя поэтического альманаха «Встречи», мемуариста, критика, но мало кому известно, что В. Синкевич была прекрасным переводчиком.

Оказавшись в 1950 году в США без знания языка, она успешно впитала в себя иную культуру. Первая книга стихов поэтессы «Наступление дня» вышла в 1978 году на двух языках. В нее вошли переводы ее поэзии, сделанные пианисткой Иоландой Кулик-Болотиной, дочерью известного американского гитариста и скрипача Леонида Болотина; поэтом и переводчиком поэзии Александром Бекон; известным переводчиком И. Бродского Жоржем Клайном; поэтом Вильямом Сандерсом и самим автором книги.

Валентина была дружна с такими американскими писателями, как Роберт и Сюзанна Масси, авторами книг о царской семье; поэтессами Маргарет Беррингер, председателем «Центра американских поэтов» в Филадельфии; Робертом Энгсом, ученым-историком, борцом за права

афроамериканцев; Питером Кроком, Александром Рязановским, Эриком Селлином и другими. Валентина часто читала вместе с ними свои стихи в собственном переводе на английский язык для американской аудитории, принимала участие во встречах поэтов, организованных Маргарет Беррингер (1980-е годы). В конце жизни Валентина Алексеевна также преподавала русскую литературу в американском колледже. Лекции были высоко оценены ее постоянными слушателями.

Часто считают, что на творчество Валентины Синкевич повлияла американская поэзия: оно состоялась как бы на стыке двух культур – американской и русской. По определению известного переводчика Серебряного века М.Л. Лозинского, «самым глубинным, самым мощным организующим началом поэзии» является ритм поэтического произведения. Стихи поэтессы отличают особый «побитый» ритм, неровная музыкальная основа, свобода формы и четкая линия повествования. Для переводчика, не знакомого с биографией поэтессы, переводить ее стихи было задачей трудной, так как к их своеобразной поэтике привел Валентину Синкевич сложный духовный опыт, опыт пережитого: от сталинских репрессий, немецких трудовых лагерей, беженства в послевоенной Германии – и до иммиграции в США; от тяжелых первых лет выживания в новом отечестве – и до заслуженной славы поэта... Умение сочетать поэтическое переживание со стройной логикой нарратора, создавая при этом особую поэтическую форму и ритм, давали мало места для свободного перевода.

Ценность перевода заключается в создании самостоятельного произведения; это процесс свободный, творческий, но, в то же время, находящийся в тесном контакте с оригинальным текстом. Стихи переводимого поэта – отправная точка, которая дает ту канву, по которой переводчик должен создать новое поэтическое произведение, не искажая смысл, музыкальную и ритмическую основу и строфику оригинала, сохранить поэтическую форму, интонации, манеру; пережить заново судьбу поэта, выраженную в глубоких музыкальных строфах.

Валентина Алексеевна переводила не только свои стихи, но и стихи друзей-поэтов. Так, например, в издаваемом ею альманахе «Встречи» в конце 1970–1980-х гг. постоянно печатались в переводах Валентины Алексеевны стихи современных американских поэтов Питера Крока (1978, 1980, 1984), Эрика Селина (1985), Винфред Раулинс (1986), Ламонта Стэто (1987), Маргарет Беррингер (1988), Роберта Энгса (1989), Ли Уэй (1990), китайской поэтессы, писавшей по-английски, и других.

Стихи Валентины Алексеевны Синкевич – это возвращение в прошлое, в трагедию человека, оторванного от родного и привычного бытия; дневник, воспроизведение ее жизненного опыта. В них нет ни выдумки, ни красоты – одна правда, преображенная поэтическим словом и окрашенная силой человеческого духа. Сложность перевода

поэзии В. Синкевич заключается и в том, что сама ткань ее поэзии кажется жесткой, но за скупыми словами и внешней оболочкой читатель чувствует психологический накал, который трудно передать на чужом языке. Очевидно поэтому ее собственные переводы своих стихов более точно воссоздают поэтическую и эмоциональную ткань оригиналов.

Елена Дубровина

ПОРТРЕТ

Я насильно вдвинута в эту тяжелую раму.
Я красивым пятном вишу на стене.
Здесь я живу, переживая странную драму –
в этой комнате, в этом городе, в этой стране.

Меня создал художник, списывая с нарядной дамы –
мертвой, только говорить и двигаться умела она.
А я живая – с понимающими и видящими глазами,
но на безмолвие и неподвижность обречена.

Кто дал ему право на это, дал живые тона и краски?
Знает ли он, как кровь моя кипит на холсте?
Он при мне обо мне говорил нелепые сказки
про любовь, про искусство, о недостижимой их высоте.

Всё это бред. Сам художник не верил в это.
Был он жесток и лжив. Но умел творить чудеса.
Вот и создал меня. Я живу – которое лето! –
Я смотрю на всё, не в состоянье закрыть глаза.

Я кляню его, ночью не давая ему покоя.
Он кошмарные видит сны, предо мной ощущая вину.
Я его вдохновенье, двигаю его послушной рукою...
Всё же он спит, а я никогда не усну.

Мне годами висеть в этой тяжелой раме.
Он умрет, а я еще долго буду жива –
сотворенная им в трепетной, красочной гамме,
с неподвижной рукой, лежащей на кружевах.

PORTRAIT

I am squeezed forcefully into this heavy frame.
 I hung on the wall like a beautiful patch.
 Here I live, surviving a strange drama –
 In this room, in this city, in this country.

A painter created me, coping a dressed-up lady –
 Dead – who could only move and speak,
 But I am alive – with the eyes that could see and understand,
 But I am doomed for stillness and for silence.

Who gave him the right for this, the vivid tones of colors?
 Does he know how my blood is boiling on the canvas?
 He spoke those absurd tales about me in my presence,
 About love and art and their height out of reach.

This is all delirium. The artist himself did not believe in it.
 He was cruel and mendacious. But he could create miracles.
 And he created me. I live – many summers! –
 I gaze at everything, not being able to shut my eyes.

I curse him, not giving him peace.
 He sees dreadful dreams, feeling his guilt to me,
 I am his inspiration that moves his obedient hand...
 And still, he sleeps, and I will never sleep.

For years, I am doomed to hang in this heavy frame.
 He will die, and for a long time alive, I will remain –
 Created by him in this anxious, colorful gamut,
 With my motionless hand, resting on lace.

1.

Дай мне силу прожить этот год!
 Каждый день опускаюсь под лед
 глубже. Глуше гул голосов.
 Над покровами льда
 дай мне силу всплывать иногда.
 Дай мне силу для вдоха,
 дай мне, как хлеба, воздуха,
 голубую райскую вспышку,
 подари, как детям дарили книжку.

Кто сказал, что пора на вокзал?
 К телефонам бежать – кто сказал –

по крутым небоскребам,
разлучившим меня и с землею,
и с небом.
Дай мне силу прожить этот год!

* * *

Give me strength to survive this year!
Every day, I plunge under the ice
deeper. The rumble of voices is hollow.
Above the surface of ice
give me strength to float now and then.
Give me strength for a breath,
give me, like a loaf of bread, some air,
the blue flash of a paradise
present to me as a book given to children.

Who said that it's time for departure?
To run to the phone – who said –
along the steep skies,
separated me from the earth
and the sky?
Give me strength to survive this year!

2.

Здесь одинаковы души и лица
летом на улице этой не душно,
зимой не холодно.
И манекен на витрине
Похож на проходящую мимо
женщину с лицом и душой манекена,
идущую уверенно
в свой дом.

У женщины дом красивый
на улице без порыва
ветра весеннего.
В гостиной и в сердце пусто,
мерцает красивая люстра,
мебель, глаза и волосы.
Женщина ровным голосом
говорит, сидя в гостиной...
И манекен на витрине
красиво глядит в пустоту.

* * *

Faces and souls are identical here,
 in summer it is not hot in the street,
 in winter it is not cold.
 And the mannequin in the window shop
 looks like a passing by
 woman with the face and soul of a mannequin,
 walking confidently into her home.

The woman's house is beautiful
 on the street without a gust
 of a spring wind.
 It is empty in the living room and in her heart,
 a fancy chandelier shimmers,
 and so the furniture, her eyes and her hair.
 The woman speaks
 in a flat voice while sitting in a living room...
 and the mannequin in the window shop
 beautifully stares into void.

3.

С берега дальнего – всё ни звука.
 Океан – это только волна,
 океан – это лишь глубина,
 океан – это только разлука

и пустая в парке скамья.
 Вечер закрыт на цепочку.
 Стол, бумага, строчки.
 На бумаге в строчках я.

И тогда в моей комнате странно,
 будто кто-то рядом поет,
 будто кто-то еще не живет
 на другом берегу океана.

А прислушиваюсь – в доме ни звука.
 Только в берег бьется волна,
 а от берега в даль – глубина,
 и от дали в берег – разлука.

* * *

There is still not a sound from a distant shore.
 The ocean – is only a wave,
 the ocean – is only depth,
 the ocean – is only a parting

and an empty bench in a park.
 The evening is locked on a chain.
 Desk, paper and stanzas.
 On a paper in those stanzas I am.

And then, it is odd in my room,
 as if somebody sings near by,
 as if somebody still lives
 on the other side of the ocean.

I listen – there is not a sound in my house.
 Only the wave knocks against the bank,
 and far from the shore – is depth,
 and far from the shore – is a parting.

4.

Пора принять нам свой жребий
 и честно с собой говорить.
 Тоска? Что бывает нелепей!
 Не лучше ль покорно поплыть
 к единственной видимой цели –
 к перу и бумаге в столе.
 Когда-то нас вспомнят: мы пели
 на этой красивой и страшной земле.

* * *

It is time for us to accept our lot
 and to speak honestly with yourself.
 Melancholy? What could be more odd!
 Maybe it's better to obediently sail
 towards a pen and paper on a desk.
 Someday, we will be remembered: we sang
 in this beautiful and dreadful land.

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

Марк Уральский

Илья & Emilia Kabakov из окрестностей Нью-Йорка

Художник и мыслитель Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепрпетровске и скончался в Нью-Йорке 27 мая 2023-го. Мировую славу уже в позднесоветскую эпоху ему принесли его инсталляции, в которых он раскрывал экзистенциальные состояния человека, обретающегося в советской коммунальной повседневности. В словарях и энциклопедиях о Кабакове пишут как об американском художнике, ярком представителе концептуализма.

Долгие три десятилетия, до самой его кончины, с ним рядом шла жена Эмилия Григорьевна, художник, концептуалист, филолог и музыкант.

Илья Кабаков как личность – явление такого масштаба, что если писать о нем сегодня, то, как минимум, солидную монографию. Поэтому данный текст – это не более, чем наброски к литературному портрету ушедшего недавно из жизни художника. Этот текст создавался в процессе непосредственного общения в 2016 году с Эмилией Кабаковой, и оттого он приобретает статус документальной публицистики.

Главным биографическим следствием решения Ильи Кабакова перебраться в США стало изменение личного статуса – женитьба на Эмили; но, одновременно, изменился и его художественный имидж. Бренд «Илья Кабаков» («Илья Кабаков»), к тому времени уже устоявшийся и хорошо известный в Европе, в 1989 году сменился на «Илья и Эмилия Кабаков» («Илья & Emilia Kabakov»)¹.

«Удвоение» личности уже весьма известного к тому времени художника особого внимания к себе не привлекло. Оно заявлялось как творческий симбиоз, что для западных авангардистов было явлением достаточно обыденным: Эдвард Кинхольц, Христо, Клас Ольденбург²... Из русских же художников нонконформистов, обретавшихся на Западе, в качестве примера назовем бывших товарищей Кабакова по борьбе с «совковым» официозом концептуалистов Герловиных³ или чисто творческое содружество отцов-основателей «соц-арта» «Комара и Меламида»⁴, чей бренд на западном арт-рынке к концу 1990-х годов обрел солидную известность⁵.

Однако в случае Ильи Кабакова, мастера, прославившегося еще в 1970-е созданием автономных персонажей художественных личностей⁶ со своими биографиями и стилистикой, которые, как ни крути и не дистанцируйся от них, являются плоть от плоти состояниями его собственного Эго, акт смены бренда имел и символическое значение. Вступив в духовно-творческий союз с Эмилией, человеком ему по жизни близким, но уже давным-давно «отмывшимися» в США от советчины, он как бы принимал «американский постриг», превращающий его из советского художника-нонконформиста с «пятым пунктом» в знаменитого во всем мире «русского» представителя американского арт-сообщества.

Эмилия Кабакова рассказывает, что, будучи родственницей Ильи (ее мать приходилась ему кузиной), «[она] всегда интересовалась его творчеством. Живя в Москве, я часто бывала у него в мастерской на Сретенском бульваре (в доме 'Россия'), а уехав в 1973 году Америку, следила за публикациями о его неофициальных выставках в западноевропейских галереях. В 1987 году мы встретилась с ним на его выставке в Цюрихе. В 1988 г. Илья приехал в США. Здесь же состоялась его первая выставка в Ronald Feldman Gallery⁷, и я немного помогала ему в ее организации. Мы оба, наконец, осознали, что нам следует быть вместе. А с 1989 года мы стали вместе не только жить, но и работать. Илья настоял, чтобы мое имя так стояло на всех наших реализованных проектах. Так появился бренд 'Илья и Emilia Кабаков'. В 1992 году мы поженились, и Илья переехал на постоянное жительство в США, ко мне в Нью-Йорк. Мы приобрели помещение на верхних этажах дома в Манхэттене, в районе Трайбека, но через пару лет решили, что нам следует поискать более тихое место, и купили дом в Лонг-Айленде на побережье залива...»

С этих пор, рассказывает Эмилия, «мы всегда всё делаем вместе: прорабатываем до мельчайших подробностей все концепты, детали, планы, по которым затем в пространстве музеев или на арт-площадках городов строятся инсталляции. В своем ателье Илья рисует, делает живописные работы, отдельные скульптуры. Я тоже могу рисовать, но не хочу. Я считаю, что у Ильи необузданная фантазия. У меня, впрочем, тоже. Он даже норовит меня в этом плане обуздывать».

Если Эмилия не любит рисовать, то Илья ненавидит организационно-финансовую рутину. Поэтому в их партнерских отношениях Эмилия переложила на себя основной груз такого рода проблем, взяв, в частности, в свои руки отношения художника с арт-рынком. Таким образом, «у Ильи появилась возможность творить, не отвлекаясь на бытовые детали. Многие мне не верят, но на самом деле он абсолютный идеалист, он никогда не знает, сколько у нас денег в банке, есть ли у нас вообще деньги. Он отдал мне все права и всё управление. Кабаков привез из СССР большое количество работ, но максимальная

цена, по которой их на первом этапе удавалось продавать, составляла \$50000, а большая часть работ ушла по цене около \$15000 – позже мы старались выкупать эти работы обратно. В 1994 году я решила соотносить наши цены с ценами на других художников и увеличить их до \$250000-450000 за инсталляцию и \$200000-350000 за картину. Наши дилеры с этим согласились, и с тех пор мы очень медленно увеличивали цены. При этом мы считаем, что наших работ на рынке не должно быть много»⁸. По ее словам, из восьмисот с небольшим картин и свыше двухсот инсталляций, созданных Кабаковым за всю жизнь, около половины до сих пор находится в их семье.

Зная, что Илья никогда не работает на заказ, Эмилия приняла твердое решение не просить его делать какие-либо вещи ради денег. «Мы с самого начала понимали одну вещь: мы выживем вместе как пара, если я не буду говорить: сделай, надо продать. Если у нас нет денег, это моя проблема, мы будем сокращать расходы, но не пойдем продавать, за исключением экстремальных ситуаций.» Финансовые отношения с музеями выстраивались ими по дифференциальному принципу. Крупные художественные центры, продвигающие на своих площадках бренд «Илья и Эмилия Кабаков» – Музей современного искусства и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Центр Жоржа Помпиду в Париже, Музей Людвига в Аахене и Кёльне, Кунстхалле в Гамбурге, галерея Тейт Модерн в Лондоне – всегда покупают их работы. В 2013 году 40 работ И. Кабакова было приобретено для новой экспозиции арт-центром «Гараж» в Москве. В коллекцию входят также его альбомы (в том числе восемь альбомов из знаменитой серии «10 персонажей»); еще два хранятся в парижском Центре Помпиду) и инсталляции. Эмилия Кабаков считает, что это одна из самых больших, качественных и художественно значимых коллекций работ ее супруга в мире. По ее словам, раньше их беспокоило, что «столь ценное собрание долгое время находилось на рынке, а значит, могло распасться, но теперь оно спасено»⁹.

С маленькими провинциальными музеями, существующими во многом благодаря кипучей деятельности отдельных энтузиастов, взаимодействовать Кабаковым было гораздо сложнее. Эти институции часто принимают работы «в дар» – как правило, с условием, что они будут выставлены в постоянной экспозиции. Но, по словам Эмилии, сам процесс дарения очень сложен, обставлен целым рядом формальностей. При каждом музее существует специальная комиссия, которая решает, какую работу нужно купить, а какую приобрести в качестве дара. В последнем случае сама акция дарения со стороны художника всегда является ответом на обращение руководства конкретного музея.

Известно, что многие художники часто готовы подарить свои работы тем или иным музеям из соображений престижа, т.к. включе-

ние их в музейные коллекции напрямую влияет на стоимость художественной продукции художника в целом. «Но на Западе, – утверждает Эмилия, – ни музей, ни фонд, ни какая-либо иная институция ничего ‘просто так’ ни у кого из художников в свои собрания не берет!» К моменту, когда в середине 2000-х годов цены на современное искусство начали бешено расти, Кабаков, безусловно, был самым известным его российским представителем на международном уровне. «Цены на его работы держались примерно на одном уровне в несколько сотен тысяч долларов, не совершая резких скачков вниз или вверх, – говорит Эмилия Кабакова. – А когда современное искусство стало опережать по темпам роста и количеству звезд не только рынок импрессионистов и модернистов, но и соседний рынок шоу-бизнеса, вот тут-то он и вознесся на небывалую высоту <...>. Не один Кабаков вдруг резко подорожал – резко подскочил вверх весь рынок современного искусства»¹⁰.

Что касается Кабакова, то на лондонском аукционе Phillips de Pury & Company его картина «Номер люкс» (1981) в 2004 году была продана за 4,1 миллиона долларов, в 2007 году инсталляция «Коммунальная кухня» (1991) там же ушла с молотка за 1,2 миллиона, а в 2008 году картина «Жук» (1982) – за 5,84 миллиона долларов. В апреле того же года альбом «Полетевший Комаров» (31 лист, 1974) был продан на нью-йоркских торгах Sotheby's за 445 тысяч долларов¹¹. Вплоть до настоящего времени «Жук» и «Номер люкс» остаются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства. Международный ценовой рейтинг бренда «Илья и Эмилия Кабаков» сегодня находится на уровне самых дорогих произведений современного искусства в мире¹².

Существует мнение о наличии у Кабакова какой-то особой «стратегии», позволившей ему достичь столь ошеломительного успеха. Автору этих строк не раз приходилось слышать подобные высказывания от бывших товарищей Кабакова из московского художественного андеграунда, например, Э. Штейнберга¹³ или В. Немухина¹⁴. Эдуард Штейнберг заявлял: «Я думаю, кто-то ему подсказывал. Он использовал, конечно, и Комара с Меламидом, и русский авангард. Но ведь никого же не было больше! А у него нюх на критиков. Он понял, что нужно всё время много говорить. Бесконечно говорить и тем самым создавать ауру. И Кабаков стал болтать бесконечно, хотя он и неглупый человек»¹⁵. Все эти разговоры, мнения и «сведения» – не более, чем досужие вымыслы. Художники, как известно, народ ревнивый и чужой успех прощают с трудом. Независимое художественное движение в СССР было родным детищем коммуналок, хотя и «блудным», а посему страсти в нем кипели те же¹⁶. На самом же деле «стратегия» Кабакова состояла лишь в том, что он ориентировался, в первую очередь, не на престижные галереи, а на крупные музеи и

другие государственные институции, поддерживающие искусство. Такой «тренд» проистекал отнюдь не по чьей-то подсказке, а из сущности творческих амбиций, которые заявлял Кабаков. Для реализации его грандиозных проектов в области тотальной инсталляции требовались очень большие выставочные площадки. Обеспечить их могли только крупные музеи, в которые попасть было намного сложнее, чем в коммерческие художественные галереи. Кабакову действительно удалось привлечь к своему искусству интерес референтных кругов западного арт-сообщества – кураторов, директоров музеев и арт-критиков, но исключительно благодаря новизне и значимости своей художественной продукции!

Тем не менее успех бренда «Ilya & Emilia Kabakov» российские арт-критики склонны были объяснять «русскими деньгами», т.е. активностью русских коллекционеров. Эмилия Кабаков с этим мнением не согласна: «Я не думаю, что этот фактор сыграл какую-то особую роль в продвижении нашего искусства. До того момента, когда на аукционах появились русские коллекционеры, мы уже продали одну тотальную инсталляцию за 11 миллионов, несколько обычных инсталляций за 1,2 миллиона и целый ряд живописных работ по цене от 400 до 800 тысяч. Мы просто не считали нужным излишне афишировать этот успех. Более того, наши работы к тому времени были приобретены крупнейшими мировыми художественными музеями в Англии, Германии, Норвегии, Италии, Швейцарии, США, Южной Корее и Японии. В одной Германии было нами реализовано около 12 публичных проектов. А среди коллекционеров, которых мы знаем, русских, к сожалению, очень мало». На основании всего можно однозначно утверждать: переселившиеся в Америку в конце XX века Илья и Эмилия Кабаковы именно в этой стране стали «международными художниками», звездами первой величины, чей бренд не только активно демонстрируют на всех континентах, но и инвестируют в него значительные капиталы. Несомненно, одной из составляющих столь ошеломительного успеха Ильи Кабакова в США являлось то, что в Новый Свет он прибыл отнюдь не с пустыми руками. Помимо идей и большого числа работ, художник привез с собой так же довольно звучное на европейской арт-сцене «имя». «В 1987 году Кабаков получил первый грант – австрийской некоммерческой организации, поддерживающей художников, затем был грант французского правительства, затем – немецкой службы обменов. [В конце концов] Кабаков <...> решил не возвращаться совсем: дома у него не было и малой доли таких возможностей, как за рубежом»¹⁷.

Когда Кабаков вступил на американскую землю, он был уже не «главный идеолог» советских нонконформистов, представлявших «независимое художественное движение» (НХД) в СССР, – реноме для американского арт-истеблишмента достаточно экзотическое, а

ведущим европейским концептуалистом¹⁸, за плечами которого насчитывалось 26 персональных выставок в Германии, Франции, Австрии, Италии и Японии. Его бренд активно продвигали в числе прочих теоретиков искусства и арт-критиков и бывшие соотечественники, давно эмигрировавшие на Запад и завоевавшие там серьезные позиции в реферативной художественной среде, – в первую очередь, конечно, Борис Гройс. К тому времени само НХД приказало долго жить. Еще до начала перестройки официальные ограничения на выставочную деятельность художников-нонконформистов в СССР и за рубежом были смягчены, а ко второй половине 1980-х годов и вовсе сошли на нет. Все бывшие нонконформисты, как и Кабаков, пользуясь повышенным интересом Запада к перестроечным процессам в СССР, начинают выступать на международной арт-сцене индивидуально, заявляя каждый только себя. Здесь наблюдалось интересное с психологической точки зрения явление: художники-нонконформисты, независимо от направления, к коему они принадлежали, в массе своей считали, что Кабаков, к тому времени достаточно утвердившийся на Западе, будет там репрезентировать *всё* их движение. Когда этого не произошло, причем по причинам сугубо объективного характера – ни движения уже не существовало, ни страны, где оно возникло, – Кабакова незаслуженно стали упрекать в эгоцентризме, игнорировании интересов «товарищей по борьбе» и прочих грехах подобного рода. Как образно выражался покойный Владимир Немухин, к слову сказать, вполне успешно выставившийся в Германии: «Вот один жирный гусь-вожак оторвался от стаи и полетел, и все остальные теперь предоставлены сами себе»¹⁹. Ревнивец Немухин – один из крупнейших, наряду с Кабаковым и Штейнбергом, художников-нонконформистов старшего поколения – свое недовольство Кабаковым даже визуализировал в концептуалистском ключе: в туалете его квартиры в Ратингене²⁰ у него висел рулон белой туалетной бумаги, расписанный монограммами «Илья Кабаков» – саркастический намек на «элементарность темы в 'Белых' альбомах» Кабакова²¹. Демонстрируя его, Немухин, иронически улыбаясь, говорил: «Вот у меня тоже объект. Называется 'Кабаков'».

Будучи человеком умным и наблюдательным и, кроме того, состоя в близких личных отношениях с супругами Виктором и Маргаритой Тупицыными²², Немухин хорошо понимал, как формируется художественный процесс на Западе и каковы лично у него шансы стать «международным русским художником». Общаясь с ним многие годы, я никогда не слышал от него сетований на то, что Тупицыны, мол, продвигают Кабакова, а не его.

Впоследствии сам Кабаков самоуничтожение советского нонконформистского сообщества переосмыслил как тотальную парадиг-

му Новейшего времени. По его мнению, во всем мире «разрушились отношения среди художников. Чтобы искусство росло, художники должны общаться с художниками и иметь свой гамбургский счет – как теннисисты должны мериться силами с теннисистами, а скрипачи со скрипачами. До какой-то поры это происходило и в арт-мире. Но случилось страшное – прекратились взаимоотношения художников, каждый из них имеет отношения скорее с нехудожниками: бизнесменами, медийными людьми, людьми успеха... Это страшнейшая трагедия, потому что искусство может вырасти, как музыка или балет, только в пределах своей профессии. Происходит полная депрофессионализация искусства, отсюда – культ звезд... Художник не соревнуется с другими художниками, а говорит о своем успехе в социуме»²³.

Что же касается темы «взаимоотношения художников», то здесь, в связи с вышеприведенными текстами об отношении к Кабакову бывших товарищей-нонконформистов, не лишне вспомнить, что Малевич, с которым Кабакова прямо сопоставляют уже с 1993 года²⁴, в зените своей славы был в ссоре с большинством своих старых товарищей – знаменитых художников из стана Первого русского авангарда (Матюшиным²⁵ и Татлиным²⁶, например).

Кабаков принимал участие в коллективных выставках советских нонконформистов с 1965 года²⁷, т.е. с самого начала их организации на Западе, представляя свое искусство, например, на таких престижных арт-площадках, как Galerie Gmurzynska-Bargera (Кёльн, 1970), Galerie Dina Vierny (Париж, 1973), в Музее изящного искусства в Берне (Швейцария), в Kunstmuseum Bochum (ФРГ, 1974), в Künstlerhaus (Вена, 1975), в Palais des Congres (Париж, 1976), в Institute of Contemporary Art (Лондон, 1977) и многих других. С конца 1980-х годов Кабаков начал выставляться и в США – помимо отмеченных выше индивидуальных выставок в галерее Р. Фельдмана, укажем выставки в Филадельфии (Institute of Contemporary Art, 1989) и в Krannert Art Museum and Kinkead Pavilion (Иллинойс, 1992). Участвовал он и в коллективных экспозициях московских концептуалистов – в нью-йоркском New Museum of Contemporary Art (1991) и в American Fine Arts (1992). Нельзя не отметить, что удивительно высокий по сравнению с деятельностью большинства современных художников выставочный «темп» – не менее 10-12 выставок в год – Кабаков задал уже с конца 1980-х годов, а в содружестве с Эмилией неизменно, вплоть до 2014 года, делал по 12-15 персональных выставок в год, одновременно участвуя в 25-30 групповых экспозициях, организуемых по всему миру. Это свидетельствует о необыкновенной энергии и поразительной работоспособности Ильи и Эмилии Кабаковых – художников, которые уже с начала их совместной деятельности никак не подпадали под определение «молодые».

Кабаков привез в Америку артефакты русского концептуального искусства, формальный язык которого был американцам хорошо знаком, ибо концептуализм, как оформленное манифестами художественное направление, возник именно в США²⁸. Один из основоположников американского концептуализма художник Джозеф Кошут²⁹ видел его значение в «коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства – или как функционирует сама культура <...>, искусство – это сила идеи, а не материала»³⁰. Классическим образом концептуализма стала композиция Кошута «Один и три стула» (1965 г.), включающая стул, его фотографию и описание предмета из словаря. Первой программой-манифестом концептуального искусства многие критики считают выставку, состоявшуюся в январе 1969 г. в Нью-Йорке, в которой приняли участие Дж. Кошут, Д. Хьюблер, Р. Берри и Л. Вейнер³¹. В СССР, естественно, ничего об этих изысках буржуазного искусства не сообщалось. Но, несмотря на информационный вакуум, новые идеи, как вспоминают многие московские концептуалисты, как бы носились в воздухе. Кабаков был одним из первых, кто благодаря своей интуиции сумел прочувствовать актуальную ситуацию в мировом арт-пространстве. За ним потянулись и другие. Борис Гройс проинформировал международное художественное сообщество о существовании в советском «независимом» художественном движении самобытного направления – «Московский романтический концептуализм»³². Сам Кабаков полагал, что возникший в условиях тоталитарной идеологической опеки «...Московский концептуализм синхронен и по времени, и по идеям со всем, что было в мире»³³.

С конца 1960-х годов Кабаков начинает иначе интерпретировать живопись – некий рабочий инструмент: «мазал» – используя его собственное выражение – не по холсту, а по зрителю. Все живописные категории – фактура, цвет, колорит и т. п. – для него теперь не имеют никакого значения. Он ориентируется лишь на вербальность, на форму текста. Художник метит структуры коммунального пространства различного рода вербальными «знаками»: цитатами, плакатными заголовками, текстами почтовых открыток, выписками из протоколов собраний, товарищеских судов и домовых книг... В полном соответствии с программными заявлениями Кошута *текст* (вербальность) становится у него основой всех его визуальных проектов³⁴.

Кабаков прибыл в США не только как художник-концептуалист особого «советского разлива»³⁵, но и как автор фундаментальных теоретических исследований в области современного искусства. Он претендовал – и, как показало время, небезосновательно – на звание крупнейшего художника-теоретика второй половины XX в. после Каземира Малевича. Как мыслитель Кабаков работал на стыке художественных, социологических и культурологических полей, что без

труда можно проследить по текстам его книг с Борисом Гройсом³⁶. Присвоение ему почетных степеней «доктора философии» университетов Сорбонны и Берна является отнюдь не только данью уважения по отношению к имени выдающегося современного художника, но и оценка его личности как незаурядного мыслителя. В американский период жизни Кабаков подтвердил свои амбиции «теоретика» изданием целым рядом книг по теории искусства, в которых подробно анализировались сформулированные им метафизические, по своей сути, концепции «персонажности», «коммунальности», «утопии», «скуки», а также принцип «тотальной инсталляции». Вот, например, формулировка концепта «персонажности»:

«...каждый человек является персонажем. <...> Понятие персонажа связано, прежде всего, с абсолютным недоверием к такой возможности. Предполагается, что мы, начиная жить на этом свете, вынуждены говорить на том языке, на котором уже говорят другие вокруг нас. Мало того, культура, которую мы застали и которую не мы придумали, уже диктует нам те формы и те конвенциональные способы, которыми мы будем общаться с внешним миром. Трагедия, или, скажем, разрыв между тем, что мы думаем внутри себя, кто мы есть внутри себя, сталкивается с тем, что мы узнаем, кем мы должны быть для других. Я не знаю, как построена эта психологическая пьеса у других людей – у тех, которые хотят быть искренними, но для себя я узнал интересную вещь: я начал говорить языком, которого от меня ждали, раньше, чем я начал говорить внутри самого себя. Вот этот разрыв внутреннего текста с тем, каким я должен быть в каждой ситуации, является стабильным; это постоянное противостояние внутреннего голоса, внутреннего видения себя и того, каким ты должен быть для того, чтобы тебя приняли, существует как стабильное и постоянное состояние внутри, так сказать, персонажа. Персонаж – это как раз тот выращенный монстр, которыми мы все, как мне кажется, являемся в ситуации – в столовой ли, на улице, на нашей работе, – мы есть полное соответствие тому языку, который уже сформирован в национальном, каком угодно обществе. Как правило, человек не рефлексировал об этом, считает, что это вполне естественно, – быть такой промокашкой, которая адаптируется к внешней жизни. Мало того, в этом невероятная угроза: страх выпасть из этой конвенции, страх не быть персонажем настолько силен, что мы считаем, что мы есть те, кем мы являемся для внешнего существования. Если же смотреть на это как на проблему художественности, то мы поставлены в следующую ситуацию: быть видным (что значит быть художником? – это быть видным. Продукты, которые мы создаем, должны быть видны. Тем самым и мы становимся видными) или не быть видным? Это страшная альтернатива, и каждый художник решает ее в том смысле, что раз мы существуем для этой видности, мы должны выполнить все условия этого общества и этой ситуации ‘сегодня и здесь’ для того, чтобы быть видными. Но быть видным – это значит всё время быть персонажем. И персонажем бесконечно, который никогда не прорывается. Мы становимся для других непрерывным объектом – с непрерывной кожей, с непрерывной поверхностью. И тот, кто мы есть, или кого мы не знаем, не имеет языка, но он находится внутри этого персонажа. Вокруг чего я сейчас кручусь – разрыв между

нашим внутренним неясным и амебообразным чем-то (страдающим или каким угодно) сталкивается с нашим твердым персонажным яйцом, в котором каждый из нас заключен. Об этом можно говорить с печалью или радостью, но всё это говорится для того, чтобы еще раз подкрепить мысль о том, что никакая идентика невозможна. Пока мы хотим быть, мы становимся персонажами»³⁷.

Коммунальность – подневольное совместное проживание людей в некоем замкнутом пространстве, являющим собой «телесность» советской коммунальной квартиры, стала основным исследовательским полем Кабакова. На нем несколько десятилетий разворачивалась вся его художественная деятельность: инсталляции, графические альбомы и «комнаты», объекты, картины... «Коммунальность представляет собой некий собирательный образ, в котором фокусируется и наглядно проявляет себя вся разношерстность, разноэтажность нашей действительности. Коммуналка для меня оказалась тем самым центральным сюжетом, которым для Горького была ночлежка в пьесе 'На дне'. Ночлежка – чрезвычайно удачная метафора, потому что это как бы заглядывание в яму, где копошатся мириады душ. В пьесе ничего не происходит – там все говорят. Наша советская жизнь, русская, точно так же тяготеет к местам, являющимся зонами говорения. И вот коммуналка оборачивается такой советской версией 'На дне'»³⁸. «Коммунальная квартира для концептуалистов – наиболее емкая модель советского образа жизни – арена формирования и действия его центрального персонажа – «гомо советикуса». <...> коммунальная квартира осознается в московском концептуализме как пространство, структурирующее мирочувствование советского человека, его образ мысли и систему поведения. И шире – идеология коммунальности предстает как универсальная структура, – подобная языку, – помимо воли человека заданная ему природой»³⁹.

По утверждению Кабакова,

в «условиях доминирования словесного океана неизбежен высокий уровень реакции общественного тела на тотальное присутствие текста. И возникают лакуны безмолвия, потребность в этих щелях и окнах, гравитация в сторону бессловесности. Бессловесность в общем репрессивном словесном море воспринимается как откровение. Молчание и неговорение идентифицируется с магическим существованием. Художники <...> – чудесная находка этих лакун, лишенных слов. Т.е. прямо противоположное тому, что ты говоришь. Внутри себя они искали выход за речевой барьер. Коммунальная артикулированная речь – тяжелая, злобная, негативная. Попытки выхода за речь повседневности (а в русской культурной традиции было много таких попыток, в частности, визионерское искусство <...>) – это опыняющая возможность не говорить, а делать что-то по наитию сладких видений, магических зрелищ и подлинных миров, которые как бы открылись твоему взору. <...> Я полон почтения к опыту визионерства, но считаю, что речь, будучи вездесущей, проступает не только на коммунальном уровне.

Коммунальность является одной из арен репрессивной, оголтелой демонстрации этой речи, которая звучит и на других уровнях вплоть до уровня 'сверх-я'. И то последнее, истинное слово, которое произносится 'честным и нравственным' человеком, многократно проиерархизировано – в зависимости от того, какой этаж речи устраивает данного индивида. <...> я вслушиваюсь в коммунальное тело, предполагая, что оно окружено молчанием. Я не верю и в его тотальность, в то, что оно всемирно. Я его очерчиваю Советским Союзом – словесной помойкой от Чопа до Камы, но за пределами страны – для меня полная неясность. Коммунальное тело – как рой пчел, но рой имеет края. За крайями шума коммунальной речи – тишина. Шум оглушающий, но он не тотален. <...> я живу, пока говорю, а пока я живой человек, я могу изъясняться только на коммунальном уровне. И мои надежды, что через меня будет вещать высший голос, – минимальны. Даже если вдруг это случится, он заговорит на языке коммуналки. <...> Выйти за пределы коммунальной речи. Но одновременно, и заговорить ее, поучаствовать в ней и не быть выброшенным, потому что для меня это жизнь, я не представляю себе жизни вне коммуналки. Трансцендировать за пределы коммунальности – это стать ангелом⁴⁰. Пока я реальный человек, я обречен на говорение, но это говорение только в пределах коммунальной словесности. У меня нет другой речи. <...> Я нахожусь под давлением жуткого объема нарративов с учетом того, что я *вижу* каждого из говорящих. Когда я делаю рисунок, я помещаю его на стену и одновременно как бы растворяюсь в толпе зрителей, прислушиваясь к тому, что говорят об этом другие. И я, слыша подобные голоса, стараюсь сделать рисунок таким образом, чтобы он активно участвовал в этой голосовой полифонии. Контакт – это ведь не обязательно ответ или вопрос другому. Это порой всего лишь участие. Я стараюсь не отключать «микрофон» другого. Это важный момент! Я очень хорошо настраиваюсь на тексты, поступающие от других людей. Рисунок в моем случае есть истерический феномен, обладающий свойством 'слышать', что в этот момент о нем говорят. То есть не я слышу, а он. И он не остается равнодушным. <...> Если не говорят обо мне, значит я мертв. Смерть воспринимается как неучастие в голосовом контакте. В музее я сгораю от зависти, когда смотрю на Вермеера. Причина в том, что при виде его картин зрители всегда говорят, издают голоса; плохих художников не обсуждают, их как бы нет. Словом, быть в виде картины – это участвовать в разговоре. Качество разговора безразлично. <...> *Всё, что человек сказал, – это коммунальный текст*, и с ним я могу обращаться как с мусором. По сути, это и есть антимодернизм или постмодернизм – отказ верить в великое слово, которому 'предначертано' построить светлое будущее. Вообще, отказ от придания речи онтологического статуса. В этом смысле мое понимание глубоко органично»⁴¹.

Здесь необходимо сказать о восприятии западным зрителем кабаковского концепта «коммунальности» – достаточно для Запада непривычного, экзотически-диковатого. В Европе на выставках «Шуа & Emilia Kabakov» искусствоведы нередко даже проводили со зрителями разъяснительные собеседования. Дело в том, что хотя визуально язык кабаковских инсталляций вполне «узнаваем», их смысловое наполнение крайне специфично. Оно и знаково, и символически, и

сюжетно отражает тотальную атмосферу общества «развитого социализма» – огромного общежития, коммунальной квартиры, где, по словам Кабакова, «каждый знает, какого цвета у другого говно». Что касается США – страны, славящейся своим безудержным индивидуализмом, то здесь концепт «коммунальности», по всей видимости, не должен бы быть интересен публике. Однако, как вспоминает Эмилия Кабаков, уже: «...На первых выставках Ильи американцы выказывали живейшую заинтересованность. Они внимательно рассматривали все детали инсталляций, задавали множество вопросов». Кабаков рассказывал: «Когда музей Hirshhorn в Вашингтоне реконструировал мою инсталляцию ‘Десять персонажей’, там произошло нечто неожиданное. Служители музея, по преимуществу – черные, которые, как мне сказали, обычно достаточно индифферентны по отношению к тому, что выставляется в музее, в данном случае оказались кровно заинтересованными в происходящем, активно пропагандируя мою инсталляцию, объясняя ее посетителям и т.п. И всё это по той причине, что им было легко идентифицироваться с репрезентацией коммунального мира, в котором они тоже выросли. И это доказывает, что коммуналка знакома западному человеку»⁴².

Как пример, подтверждающий правоту точки зрения Кабакова, приведу воспоминаниями об осмотре мною его инсталляции «Лечение живописью» («Healing with Painting»), экспонирующейся в постоянной экспозиции гамбургской художественной галереи Кунстхалле. Экспозиция представляет собой «коммунальное пространство», в котором обшарпанная белая дверь открывается в комнату со скрипучим дощатым полом и грязновато-белыми стенами. На доске объявлений вывешено отпечатанное на машинке убористым мелким шрифтом расписание часов приема больных и сеансов терапии. Здесь можно также ознакомиться с методикой лечения, согласно которой пациент, не раздеваясь, ложится в кровать, откуда под аккомпанемент классической музыки рассматривает картины. Зрителю дозволяется полюбоваться двумя кабинетами, оснащенными кроватями с панцирной сеткой, жалкими тумбочками и огромными картинами в золоченых рамах, написанных в манере «плакатного» соцреализма начала 1950-х годов. На одной картине представлен «западный» пейзаж: старинный замок на фоне горного озера, на другой – «восточный»: Парк культуры и отдыха (псевдоантичная колоннада на возвышении, помпезная лестница в обрамлении каскада фонтанов). Всё это – врачевный кабинет, где практикуется «Лечение нервных болезней по методу доктора И. Д. Лункова».

В инсталляции всё сделано «взаправду», но образы реального мира – «дверь», «коридор», «деревья в парке», «кровать и табуретка», «облака на небе», «текст в рамке», «картина», «пятна солнечного света» и просто «пятна» – существуют сами по себе, как «пустой

знак». Согласно определению, данному по отношению к искусству Кабакова поэтом Всеволодом Некрасовым: «Это не форма и не содержание, а связующий их процесс». Здесь, на глазах у зрителя и при его соучастии «...Художник творит процесс, цель которого, – выделить из совокупности многозначных структур, объектов и знаков некую ‘вещь’, тот самый ‘философский камень’ <...> [который] одновременно абсолютен и относителен <...> Он абсолютен как целое, но относителен в своей фрагментарности»⁴³. Покинув пространство инсталляции, я на выходе еще раз обратил внимание на входную дверь – подобная дверь была в моей московской коммуналке на Покровке, где мне суждено было прожить 25 лет! Теперь, находясь в зале музея, она являла собой не банальный атрибут советской «коммунальности», а художественный объект, и я поразился ее эстетическому своеобразию. В это время ко мне подошла смотрительница, у которой я до этого поинтересовался, где именно размещена инсталляция Кабакова. Признав во мне по акценту русского, она стала рассказывать, что и у них тоже были такие двери! Особенно в ее детстве, после войны. И по всему было видно, что эти воспоминания, спровоцированные одной из «структур» кабаковской инсталляции, ей приятны, возможно, как память о детстве, о чем-то давным-давно канувшим в небытие, но глубоко родном и милом.

Одна из проблем рецепции концептуального искусства заключается в его элитарности. Обычный зритель охотно рассматривает произведение искусства, но очень немногие способны включиться в процесс его творческого постижения, особенно когда текстуальная часть выставочного экспоната, предполагающая акт «прочтения», нечитабельна, т.к. написана на чужом и непонятном для зрителя языке. Вот, к примеру, любопытные свидетельства о рецепции кабаковских инсталляций немецкими зрителями, сделанные одним из интеллектуальных противников концептуализма: «В 1998 году в Берлине состоялась презентация очередной инсталляции Кабакова. В музейном зале были выстроены каморки, изображавшие советские больничные палаты, штук шесть или восемь. Входные двери настоящие, советские⁴⁴, с многослойной облезавшей масляной краской. Внутри тумбочка, железная кровать с панцирной сеткой, больничным бельем и байковым одеялом. В каждой палате работающие в автоматическом режиме диапроектор и магнитофон. На стене за кроватью непрерывно демонстрируются слайды – старые фотографии из семейного альбома Кабаковых под комментарий кого-то из членов семьи⁴⁵. Немецкая публика переходит из комнаты в комнату с тем же выражением, что и десять лет назад, – молчаливо-скупачуще-подавленным»⁴⁶.

Говоря о «коммунальности» – осевой теме искусства Кабакова – нельзя не отметить, что его интересует в этом социальном феномене

только ее «репрессивная форма». «Коммунальность» как форма добровольного общежития по взаимному соглашению, – например, земледельческие коммуны толстовцев, уничтоженные большевиками, кибуцы в Израиле, религиозные коммуны шейкеров, амишей и раппитов в США, или же коллективные жилищные товарищества в Германии, остаются вне поля его внимания.

В контексте «репрессивности» выступает у Кабакова такой важный и колоритный персонаж советского коммунального пространства, как «еврей». И хотя в диалогах с Гройсом⁴⁷ художник поднимает тему своего еврейства, она всегда отражается в его работах косвенно – путем включения в массу знаковых персонажей типично еврейских фамилий (Шарль Розенталь, или Игорь Спивак, например). Впрочем, одна из самых трогательных серий картин Ильи Кабакова – «Они смотрят», своего рода живописная ретроспекция фотографий из семейного альбома, – по совокупности своих знаковых характеристик и специфическому настроению вполне может быть отнесена к разряду «еврейских». По мнению Бориса Гройса,

«...в контексте русско-советского искусства выделить некую еврейскую идентичность весьма трудно, если не невозможно. В то же время попытка выявить ‘русскость’ в творчестве русских художников-евреев кажется далеко не столь бесперспективной. [В неконформистской среде] наиболее интересные художники еврейского происхождения использовали свою относительную, говоря языком Бахтина, ‘внеаходимость’ в отношении советской действительности как шанс, позволяющий рассмотреть и проанализировать эту действительность со стороны. <...> тогдашний полуофициальный статус евреев как потенциальных эмигрантов создал психологическую дистанцию между ними и остальным советским населением <...>. Это положение ‘на краю’ или ‘в углу’ было эксплицитно тематизировано в работах Ильи Кабакова. Но существование ‘в углу’ было понято им не как приглашение к поискам еврейской национальной идентичности, а, скорее, как стартовая площадка для выхода в универсальное, космическое, ‘чисто белое’»⁴⁸.

Концепт «коммунальности» в самых различных его аспектах был более чем за четверть века совместной работы визуализирован Эмилией и Ильей Кабаковыми на арт-площадках США, Европы, Азии и Австралии. В первую очередь, здесь следует говорить о его «тотальных инсталляциях» – особо крупных пространственных объектах, впервые в истории искусства теоретически заявленных⁴⁹ и внедренных в выставочную художественную практику именно Илеей Кабаковым. «Тотальную инсталляцию» Кабаков сделал «визитной карточкой» всего своего искусства. Идея тотальной инсталляции, вспоминает Илья Кабаков, «мне пришла в голову еще в Москве, в 1984–1985 годах, когда я уже проектировал разные инсталляции, которые нельзя было сделать в Москве. Как только я выехал, там это стало возможно...»⁵⁰ Согласно Кабакову, «тотальная инсталляция» –

это «инсталляция, построенная на включении зрителя внутрь себя, рассчитанная на его реакцию внутри закрытого, без ‘окон’, пространства, часто состоящего из нескольких помещений. Основное, решающее значение при этом имеет ее атмосфера, аура, возникающая из-за покраски стен, освещенности, конфигурации комнат и т.д., при этом многочисленные, ‘обычные’ участники инсталляции – объекты, рисунки, картины, тексты – становятся рядовыми компонентами всего целого»⁵¹. Примером наиболее цельного воплощения подобной синкретической художественной идеи является, в частности, храм, где действительно достигается синтез всех жанров искусства. Вот как Кабаков описывает свое посещение знаменитого Баптистерия Св. Ионна во Флоренции в 1993 году: «...Я стоял в центре мира. Не внутри знаменитого храма Римской эпохи и не внутри одного из множества других памятников, рассыпанных по Флоренции. Я стоял внутри мира, как я его свернутым видел внутри себя, как если бы я хотел его видеть как ясную, хорошо представленную модель. И теперь она была не в мечтах и предположениях, а дана во всей материальной реальности, в блистательной и совершенной инсталляции»⁵².

Кабаков всегда предлагает зрителю быть не пассивным потребителем художественного продукта, а войти с ним в контакт и, более того, включиться в концептуально сформулированный и визуализированный художником дискурс. Ранние концепты Кабакова, с которыми он вышел в западноевропейское арт-пространство – это «Вдоль краин» («Along the Margins», 1985), «Концерт для мухи» («Concert for a Fly», 1986), «Перед ужином» («Before Supper», 1988), «Где эти маленькие белые человечки?» (Where Are These Little Men?, 1989), «10 альбомов: 10 персонажей» («10 Albums: 10 Characters», 1989), «Бездарный художник и другие персонажи» («The Untalented Artist and Other Characters», 1989), «Выставка одной книги» («Exhibition of a Book», 1989), «Семь выставок одной картины» («Seven Exhibitions of a Painting», 1990), «Корабль» («The Ship», 1990), «Цели» («The Targets», 1991), «Моя родина. Мухи» («My Motherland. The Flies», 1991), «В память о приятных воспоминаниях» («In Memory of Pleasant Recollections», 1992), «Жизнь мух» («The Life of Flies», 1992). Под брендом «Ilya & Emilia Kabakov» ряд концептов был почти на порядок расширен, однако их метафизическое наполнение и лейтмотив «коммунальности» остались: «Маленький человек и ужасающий Социум», вырастающий из экзистенциальной проблематики гоголевского Акакия Акакиевича и несчастного таракана «в щели большого шкапа» обернутов. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты в коммунальной квартире», «Человек, улетевший в свою картину» и весьма провокативная инсталляция «Мы – свободны» («We Are Free», 2015) в итальянской галерее An Gimignano, – все эти инсталляции зачинают один и тот же дискурс на тему модусов бытия

мира в его неразрывной связи с бытием человеческого сознания», говоря в терминах экзистенциальной философии Хайдеггера. По сути своей все кабаковские инсталляции репрезентируют в визуально-художественном поле хайдеггеровские экзистенциалы: «бытие-в-мире», «бытие-с-другими», «бытие-к-смерти», «страх», «решимость» и др.

«Жили мы в коммунальной квартире, и все ходили в один туалет... Господи! Как построить и сохранить стену между собой и другими, и чтобы 'они', эти другие, только показывались над краем этой стены, но не прыгали ко мне сюда, вовнутрь отгороженного от них пространства?» (Из аннотации к выставке 2004 года «Туалет»)

Если говорить о культурологических «корнях» искусства Ильи Кабакова, то нельзя не вспомнить, что как художник он в 1960–1970 годы начинал с развития обериутской тематики, тогда глубоко упрямой в недрах советских спецхранов и архивов.

Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, –
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут⁵³.

Однако Кабакова интересует не только сам «человек» и его страх, но, в равной степени, и его место в социуме и возможность выхода за его пределы – прорыв того, кто принадлежит «наличному», в иное бытийное пространство. Работая со зрителем, Кабаков во всю мощь демонстрирует «игру мыслителя с системой мысли». При этом неподготовленный зритель оказывается в роли интеллектуальной «жертвы». Он духовно мельчает, переключает свое сознание с оценки системы на постижение составляющих ее структур. «Тотальная инсталляция», заманив такую «жертву» в свое нутро, – например, в плохо освещаемый коридор коммунальной квартиры, – «обрабатывает» ее там, чтобы она «одомашнилась», превратилась в одну из ее составных частей: предмет столовой, туалета, багаж «красного вагона» или в одну из составляющих мусорной кучи. Индивидуальность «жертвы» значения не имеет и никак не учитывается: «Все – только люди, то есть обитатели той или иной коммуналки. <...> И неважно, что один говорит про колбасу, а другой видит свечение небесных сил, – это всё только текст. <...> Они как бы все в большой общей помойке»⁵⁴. Даже в первой кабаковской инсталляции на тему альтернативной истории искусства, посвященной художнику Розенталю (Штедель музей во Франкфурте-на-Майне, 2001), пожертвовавшему искусом модернизма во имя соцреалистической nirваны, – «Жизнь и Творчество Шарля Розенталя (1898–1933)», – акцент делается не на психологическом портрете личности, а в первую очередь, на пред-

ставлении идеи. Это акцентируется в развернутой рецензии, посвященной данной экспозиции: «Критики считают проект Кабакова этапным для современного искусства, а Шарля Розенталя – ‘идеальным художником’, вобравшим в себя эстетические взлеты и падения XX века. Что же касается зрителей, то некоторые из них вообще не поняли, при чем тут Кабаков, если работы написаны Розенталем? Впрочем, автор проекта предусмотрел и такую реакцию. ‘Если во что и должен верить зритель в инсталляции, так это в идентичность вещей и, естественно, в “идентичность” автора, их изготовившего’, – пишет он в книге ‘О тотальной инсталляции’», – замечает О. Козлова в эссе «Повесть об идеальном художнике»⁵⁵. Выставка работ Шарля Розенталя – пример идеальной инсталляции, воссоздающей атмосферу ретроспективы малоизвестного художника. Типичная музейная экспозиция: классическая развеска, классическая подсветка... Только те, кто знаком с теорией Кабакова об инсталляции, понимают, что «музейное» пространство экспозиции (с красными стенами, пилонами, старыми рамами) встроено в современное стерильное помещение музея Штедель.

Придуманый Кабаковым Шарль Розенталь родился в городе Херсоне в 1898 году. Он был восьмым ребенком в бедной еврейской семье. Его отец-фотограф зарабатывал на хлеб, делая портреты соседей, Шолом ретушировал фотографии. Когда он подросток, его отправили к состоятельным родственникам в Санкт-Петербург. С 1914 года Розенталь учился в Училище технического рисования барона Штиглица, а в 1918-м отправился в Витебск учиться у Шагала, а затем у Малевича. В отличие от реальных учеников мэтра, Шолом не стал верным последователем супрематизма и в 1922 году уехал в Париж. В Париже Шолом стал Шарлем. Жизнь его окончилась трагически и нелепо: в апреле 1933 года на Монмартре художника сбил автомобиль. Наследие Розенталя – около 70 картин, более 80 рисунков, а также скульптуры, объекты, записи; всё пережило войну и спустя несколько десятилетий предстало перед зрителем. Факты жизни своего персонажа Кабаков проиллюстрировал фотографиями и даже личными вещами художника. В том же 1933 году на Украине родился Илья Кабаков, придумавший Шарля Розенталя и заявивший о своем преемстве.

В первом зале выставлены парящие под потолком планеры и объект «Крылья», которые напоминают о раннем авангарде, Татлине и конструктивистах. Тема «белого» в творчестве юного Шолома отсылает не только к Малевичу, но и к самому Кабакову и его «коллегам по андерграунду» – Булатову, Васильеву, Штейнбергу. Вообще, прием «воспоминаний о будущем» пронизывает весь проект Кабакова. Кульминация ретроспективы – два гигантских холста 1930-х годов «Всадники» и «Аукцион», шедевры «романтического реализма».

Вдохновленный Жерико, Шарль и тут «оригинален». Его произведения, как замечает Козлова, – это уже «концептуальные объекты». Перед каждой картиной пульт со множеством кнопок, около каждой кнопки – текст. Нажимая на кнопки, зритель включает размещенные за холстом лампочки, высвечивающие того героя картины, к которому этот текст относится. В этом намеке «Розенталя» на жанр диарамы прочитывается будущий механизм «кликания» компьютерной мышкой на онлайн ссылку. Тем самым шедевры Розенталя 30-х годов являются «прогоинтернетными» проектами. «Победа над реализмом» – так можно назвать заключительный акт драмы, разыгрываемой Кабаковым-Розенталем. Белая пустота, с которой некогда начинал Шолом-Шарль, вновь торжествует. Напомним, что и ранние альбомы Кабакова заканчивались белым листом – символом смерти персонажа. В наше «постаутентичное» (по определению Гройса) время, когда культура насквозь цитатна и прямое авторское высказывание невозможно, псевдавтор оказывается фигурой едва ли не более подлинной и уж наверняка – более идеальной.

За годы совместной работы Ильи и Эмилии Кабаковых множество самых разных метафизических концептов было визуализировано в тотальные инсталляции – «The Grand City», «Where Is Our Place?», «MANAS», «The Ship Of Tolerance» и др. Во всех инсталляциях задействованные жанры искусства, будь то живопись, музыка, скульптура, по существу только означены, превращены в элементы, лишённые своей природной сущности. При этом попадающий в пространство их действия зритель оказывается «жертвой» своеобразной «идеологической обработки». Эмилия Кабакова в своих комментариях особенно выделяет один аспект: кабаковские инсталляции абсолютно *не депрессивны*. Даже в инсталляции «Туалет» негативный шок зрителя гасится абсурдистской иронией. Художники, хотя и манипулируют зрителем-«жертвой», но достаточно гуманно, стараясь не травмировать его психику. Более того, на примере инсталляции «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» в коммунальной квартире, можно даже утверждать, что их искусство вполне оптимистично, ибо манифестирует идею возможности личной свободы.

Говоря о себе, Илья Кабаков особо подчеркивает свою инаковость, отчужденность от советского социума:

«Нельзя было жить в Советском Союзе и не дистанцироваться от общего одичания. Ирония – это была дистанция. Читая книги, ты смотрел на окружающее с точки зрения прочитанного. К этому могло быть разное отношение – либо этнографическое, когда ты чувствовал себя посланцем английского географического клуба в Африке, который смотрит на жизнь людоедов. Либо гневное отношение: ‘За что мне такая собачья жизнь?!’ Это отчаяние. И еще было третье – ощущение себя маленьким человечком Гоголя. Несмотря на то, что тебя давят, у тебя есть твои идеалы, шинель, твоё пишущее самосознание.

С одной стороны, ты – наблюдатель, с другой стороны – ты пациент. <...> Во время закрытых, изоляционных систем, какой была советская, более успешно сопротивляются ситуации интровертные люди. В их воображении существует библиотека, в которой они постоянно перелистывают страницы. У них также невероятно развито воображение – это тот ресурс, с которым интроверты ежедневно имеют дело. И наконец, рефлексия – интроверт постоянно оценивает всё происходящее с многочисленных точек зрения. <...> Да, я остаюсь, конечно, тем же самым человеком – я же до [55] лет прожил <...> в Советском Союзе, а там [– на Западе,] я работаю. Очень смешно всё это. Я принадлежу к тому типу, который ни там, ни здесь. Сегодня огромное количество подобных существ»⁵⁶.

Вместе с тем Илья Кабаков – пример человека, которому удалось, наконец, проломить потолок в комнате своей советской коммуналки и улететь. На Западе, как он считал, ему посчастливилось «застать самый прекрасный период в жизни западного мира искусства – с конца 80-х до 2000 года. Это был чистый, незамутненный расцвет музейного и выставочного дела в Европе и Америке. Я попал к своим. Счастлив я был безмерно – как музыкант, который переезжает из одного концертного зала в другой и везде дает концерты. <...> Я был Синдбадом-мореходом, который должен был рассказать Западу про эту страшную яму, из которой я смог принести какие-то сигналы и рассказы. Я думал, что этой злости, отчаяния и тоски мне хватит на всю мою жизнь, но так вышло, что вывезенный мной с родины бидон очистился, и теперь мне больше нечего рассказать»⁵⁷.

И хотя Кабаков утверждал, что после краха СССР его «бидон» пуст, интерес в мире к концепту «коммунальность» ничуть не угас. Скорее, напротив: благодаря его международной репрезентации брендом «Ilya & Emilia Kabakov», он стал узнаваемым везде. В настоящее время репрессивная коммунальность является, например, нормой практически любого исламского социума, а значит, доброй трети всего современного мира.

В последние годы жизни Ильи Иосифовича «Ilya & Emilia Kabakov» совершили явно провокативный поворот от инсталляции к станковому искусству. Они выступили в традиционном амплуа живописцев, от которого Кабаков в предыдущие десятилетия своей художественной деятельности демонстративно дистанцировался. Первая грандиозная выставка их живописи «A Return to Painting. Eine Rückkehr zur Malerei. 1961–2011», состоявшаяся в начале 2012 года в Шпренгелъ музее (Ганновер, ФРГ), привлекла к себе большое внимание зрителей и прессы. Зимой 2015 года в нью-йоркской Pace Gallery также была открыта экспозиция новых живописных работ «Ilya and Emilia Kabakov: New Paintings». Здесь, как и во всех своих предыдущих экспозициях, поднимающих проблему «альтернативной истории современного искусства», Кабаков выступает как мыслитель-постмо-

дернист, убедительно демонстрируя, как в контексте актуальной парадигмы постмодерна спокойно, без идеологических конфликтов уживаются все художественные стили Новейшего времени – романтизм, модерн, авангардизм, модернизм и соцреализм. В его художественной философии все они – дети одной семьи, и каждому в «супертотальной» кабаковской инсталляции Великого Храма Искусства отведено почетное, но строго определенное место. Как гласит латинская пословица: *Memoria est signatarum rerum in mente vestigium* (Память – это след вещей, закрепленных в мысли).

Последняя крупномасштабная инсталляция Ильи и Эмили Кабаков визуализировала мистический концепт «Странный город». Она была представлена 6 мая 2014 года под монументальными стеклянными сводами парижского «Grand Pale» в рамках 6-й выставки «Монумента». 22 июня 2014 года министерство культуры Франции и дирекция «Grand Pale» в специальном коммюнике подчеркивали исключительный успех экспозиции, которую увидели 145000 любителей современного искусства. По утверждению куратора выставки Жан-Убера Мартина (Jean-Hubert Martin), «...Реализация 6-го выпуска ‘Монументы’ была доверена Кабаковым, в частности, потому, что они известны своими удивительными инсталляциями. Гигантский объем Большого дворца размером в 13500 м² Кабаковы структурировали архитектурными и художественными формами, своего рода материализацией идей и ощущений».

«Странный город» в Большом дворце, поясняет Эмилия Кабакова, –

это: «как бы создание такого утопического города. Или даже не утопического, а пространства искусства в пространстве искусства, в художественном пространстве. Это – культурное пространство <...> Человек заходит и знакомится с этим прекрасным пространством Гран пале. Дойдя до первой стены, он видит справа купол (Купол – это гигантская опрокинутая поляя конструкция, оживляющая объем Большого дворца космической музыкой и переливами цвета и света. – *M.V.*). Купол тоже отбрасывает нас к определенным культурным референциям прошлого. Это идея Скрябина, ‘музыка и цвет’, каждый звук может быть увиден в цвете. Есть люди, которые ‘видят’ звуки в цвете. <...> Там невероятные возможности для изменения цветов (несколько миллионов нюансов). Для этой выставки была подобрана специальная программа. А изначально этот купол создавался для оперы французского композитора 20-х годов Оливье Мессиана ‘Святой Франциск Ассизский’. Затем посетитель видит перед собой очень странные ворота, ведущие в никуда. Это такой обломок ворот, или обломок этого города. Через них можно пройти. И многие действительно там проходят. Наверное, посетители привлекает возможность пройти через художественную историческую развалину. Когда же стоишь перед воротами, видишь как бы несколько входов. Перед тобой сужающийся проход. Проходишь через первые белые стены, оказываешься внутри огромного пространства. Над тобой очень кра-

сивая прозрачная стеклянная конструкция купола Гран пале. И читается параллель между этим куполом и тем, который поставили мы. Они корреспондируют, это идея 'корреспонденций' с самим зданием и теми объектами, которые мы построили. Архитектура проекта тоже запараллеливается. Поставленные нами арки 'корреспондируют' с арками Гран пале. И тут у вас возникает выбор, как в русской сказке: пойдешь налево, пойдешь направо, пойдешь прямо... И человек выбирает, куда ему идти»⁵⁸.

Завершают выставку две капеллы – белая и темная, с картинами Кабаковых.

«Посетитель попадает в пространство, которое как бы наполнено содержанием европейской культурной фантазии, мечтаний, утопических идей, – объясняет Э. Кабакова. – ...И, в конце концов, мы выходим через ворота в конец жизни. Или приходим в них в самом начале. И так далее. Но, выходя из этого пространства, опять оказываешься в этом белом городе, и над тобой опять купол Гран пале. То есть по мере посещения чередуются входы и выходы из помещений, из темноты на яркий свет, в реальность Гран пале (который тоже, на самом деле – фантазия) и в реальность этого города.<...> очень много комментариев, особенно от русских зрителей, что якобы Кабаков себя и свою жену увековечил там в образах. Но на самом деле эти люди не понимают, что это – концепт, Это – концепт 'темного' и 'светлого'. Как бы нашего прихода в этот мир и ухода. Где мы видим более темное, где мы видим более светлое? Это такая фантазийно-религиозная, концептуальная идея. А фотографии... – неважно, кто изображен! Неважно, какой event. Важно, что-то значительное в нашей жизни произошло. К концу жизни мы начинаем думать: что же было важно? И в памяти возникают события, лица».

В той же публикации Нины Карель Эмилия Кабакова размышляет о культуре «меж границ», о культуре иммиграции.

«Эмигрант остается эмигрантом! Поэтому он 'висит' как бы между двух культур. И особенно, если он культурный эмигрант. Это очень сложно – поменять культурное пространство, поменять свои привязанности, свои корни. Ведь это вырванные корни, они болтаются в воздухе. Они висят в каком-то невероятном фантазийном пространстве. Что спасает Илью и меня – это то, что мы, конечно, не очень-то люди реальности. Мы всегда фантазируем. Это имеет большое значение в нашей жизни. Нам очень повезло. В том смысле, что мы оказались в арт-мире с самого начала. <...> Мы как-то особенно в реальность не впадались. Это были годы, когда мы очень много работали, ездили. Сейчас мы стараемся сократить деятельность. Возраст уже такой. А тогда арт-мир был невероятно активен и очень романтичен. Я бы даже сказала, более идеалистичен. Это полностью соответствовало нашим понятиям об искусстве, нашим понятиям о том, что мы хотим делать. То есть, дело было не столько в деньгах (сколько мы заработаем), а дело было в каком-то содружестве художников, кураторов выставок и музеев. Даже, я бы сказала, некоммерческих пространств. Мы невероятно много сделали за эти годы. Мы 26 лет работаем вместе, мы сделали колоссальное количество

работ, колоссальное количество выставок. И, практически, <...> очень многое бесплатно делалось. Это были некоммерческие пространства. Ты был счастлив тем, что можешь реализовать свою фантазию, реализовать художественные замыслы. Особенно для Ильи это было важно».

По сути, выставка инсталляций Ilya and Emilia Kabakov «В будущее возьмут не всех. Ретроспектива» стала для Кабаковых итоговой. Она была организована в рамках совместного сотрудничества трех музеев: лондонского Tate Modern, Эрмитажа и Третьяковской галереи. Впервые экспозиция была показана в Tate Modern в 2017 году, и ее открытие совпало со столетием Русской революции, что выглядело весьма символично, т.к. в своем искусстве Илья Кабаков отразил, в частности, новейшую историю России и ее переход из прошлого столетия в нынешнее. В целом же выставка была задумана как тотальная инсталляция «Жизнь художника»: она охватывала все сюжеты и темы, с которыми Кабаков работал на протяжении долгих лет.

Брюль

ПРИМЕЧАНИЯ

1. С биографией художников и целым рядом их проектов и инсталляций можно ознакомиться на сайте «Илья и Эмилия Кабаков»: URL: <http://www.ilya-emilia-kabakov.com/portfolio>, а также Центра современного искусства «Винзавод»: URL <http://www.winzavod.ru/kabakov/kabakov.html>
2. Кинхольц (Kienholz) Эдвард (1927–1994), американский художник, работавший в жанре инсталляции вместе с женой Нэнси. Христо (Christo), он же Явашев (Yavashhev) Христо (род. 1935), американский художник и скульптор болгарского происхождения, прославившийся вместе с женой Жанной-Клод де Гийебон работами, в которых «упаковываются» различные объекты – от пишущей машинки до Рейхстага и целого морского побережья. Ольденбург (Oldenburg) Клас (род 1928), американский скульптор шведского происхождения, классик поп-арта, работает вместе с женой Косье ван Брюгген.
3. Супруги Герловины Римма Анатольевна и Валерий Маркович, американские художники, последовательные представители московского концептуализма.
4. «Комар и Меламид» – американские художники Комар Виталий Анатольевич (1943) и Меламид Александр (Альберт) Данилович (1945). До 2003 г. работали совместно. Эмигрировали в 1978 году в США.
5. *Ерофеев, А.* Комар и Меламид: URL: <http://www.moscowart.net/rus/artist.html?id=Komar%26Melamid>
6. В 1968–1974 годах И. Кабаков создал 10 альбомов для серии «Десять персонажей».
7. *R.F.F.A., New York, «Ten Characters»*, April 30 – June 4, 1988: URL: <http://www.feldmangallery.com/pages/exhsolo/exhkab88.html>. В этой галерее Илья Кабаков выставлялся также в 1990, 1992 и 1994 годах.
8. *Игуменов, Валерий.* Кабаков как бренд: URL: <http://www.forbes.ru/-slideshow/53790-kakbakov/slide/1>
9. Миллиардер Роман Абрамович и основатель московского арт-центра

- «Гараж» Дарья Жукова купили уникальную коллекцию работ Ильи Кабакова 29 января 2013 года. URL: <https://lenta.ru/news/2013/01/29/kabakov/>
10. *Игуменов, Валерий*. Кабаков как бренд. Указ. ресурс.
11. Skate's. The Art Investor's Service: URL: http://os.colta.ru/art_times/auctions/details/3039/
12. См., например: http://www.art-report.com/de/kuenstler/Ilya_Kabakov/91
13. Штейнберг Эдуард Аркадьевич (1937–2012), художник-постконструктивист, представитель культуры советского андеграунда. В 1960–1970-х годах тесно общался с И. Кабаковым, участвовал вместе с ним в групповых выставках, в т.ч. зарубежных. С конца 1980-х годов жил в Париже и Тарусе. В музее г. Висбаден (ФРГ) хранятся 83 работы художника, полученные в дар от его вдовы.
14. Немухин Владимир Николаевич (1925–2016), художник-нонконформист, один из виднейших представителей культуры советского андеграунда. С конца 1980-х годов и по 2005 год большую часть времени жил в Германии.
15. *Алексеев, Вадим*. «Я давно уехал в себя». «Независимая газета». – 2004.02.04.: URL: http://www.ng.ru/saturday/2004-04-02/15_shteynberg.html
16. *Уральский, Марк*. «Избранные, но незваные»: Историография независимого художественного движения. – СПб.: Алетейя, 2012.
17. *Игуменов, Валерий*. Кабаков как бренд. Указ. ресурс.
18. *Бобринская, Е. А.* Концептуализм. – М.: Галарт, 1994.
19. *Уральский, Марк*. «Немухинские монологи»: Портрет художника в интерьере андеграунда. – СПб: Алетейя, 2011.
20. Ратинген (*Ratingen*) – небольшой немецкий городок под Дюссельдорфом, в земле Северный Рейн-Вестфалия, где с конца 1980-х по 2004 год подолгу жил и работал В.Н. Немухин.
21. *Кабаков, Илья*. 60–70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. – М.: НЛО, 2008. С. 147
22. Тупицын (Tupitsyn), Виктор Григорьевич (1945), философ, математик, историк искусства, представитель культуры андеграунда. С 1975 г. в эмиграции, живет в США, работает в содружестве с женой Маргаритой Тупицыной (1955), историком искусства и куратором. Оба они являются активными пропагандистами искусства московских концептуалистов в целом. См., например, *Кабаков, Илья, Тупицына, Маргарита, и Тупицын, Виктор*. Разговор об инсталляциях: URL: <http://conceptualism.letov.ru/Ilya-Kabakov-Tupitsyn-ob-installatsiyakh.html>
23. *Деготь, Е.* Илья Кабаков: «Сейчас экстраверты командуют парадом, но так будет не всегда»: URL: <http://os.colta.ru/art/names/details/3023/>
24. В 1993–1994-х годах в кельнской Кунстхалле состоялась выставка под названием «От Малевича до Кабакова. Русский авангард в 20 веке». См. каталог *Russische Avantgarde im 20. Jahrhundert: Von Malewitsch bis Kabakov*. München: Prestel, 1993.
25. Матюшин Михаил Васильевич (1861–1934), художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда 1-й пол. 20 века. Композитор футуристической оперы «Победа над Солнцем» (1913), прославившей Казимира Малевича.
26. Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), художник. Один из крупнейших представителей русского авангарда, родоначальник конструктивизма. Проект памятника III Интернационала (1919–1920) Татлина с вынесенной

наружу несущей конструкцией стал одним из важнейших символов мирового авангарда и своеобразной визитной карточкой конструктивизма.

27. Castello Spagnolo, L'Aquila – Italy. «Alternative attuali II: 2. Rassegna internazionale di pittura, scultura, grafica: omaggio a Magritte, omaggio a Mirko, omaggio a Baj: retrospettive antologiche» (Current Alternatives II: 2nd International Survey of Painting, Sculpture and Graphic Art: Hommage to Magritte, Hmmage to Mirko, Hommage to Baj: Anthological Retrospectives), August 7 – September 30, 1965. Catalogue.

28. Апресян, А.Р. История концептуального искусства на Западе: URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3469; Эстетика московского концептуализма// Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2001. – №3. С. 81-108.

29. Кошут (Kosuth) Джозеф (1945), американский художник, один из пионеров концептуального искусства.

30. Кошут, Дж. Искусство после философии / Пер. с англ. А.А. Курбановского // Искусствознание. 2001. № 1: URL: <http://flying-fruitfox.livejournal.com/13331.html> и <http://flying-fruitfox.livejournal.com/15708.html>

31. Хьюблер (Huebler), Дуглас (1924–1997), американский художник-концептуалист; в 1922-м выслан из СССР. Жил во Франции; Берри (Barry), Роберт (1936), американский художник, представитель аналитического искусства и концептуализма; Вейнер (Weiner), Лоуренс (1942), американский художник и скульптор, представитель концептуализма.

32. Гройс, Б. «Московский романтический концептуализм». Журнал «А-Я» (Paris). 1979. № 1. С. 3-11; см. также: «Московский концептуализм 25 лет спустя». URL: <http://www.conceptualism-moscow.org/page?id=1563>

33. Илья Кабаков об особенностях «национальной» культуры: URL: http://rupo.ru/m/2372/ilyya_kabakow_ob_osobennostyah_natsionalnoy_kuly.html

34. Уральский М. Избранные, но незванные. С. 442.

35. «Концептуализм в Советском Союзе – это вещь не случайная, он соприроден нашей социальной сфере, где место предметности очень маленькое. Мы, собственно, живем в концептуальном пространстве.» – Бакштейн, И., Кабаков, И., Монастырский, А. Триалог о комнатах. Сборники МАНИ. – Вологда: 2010. С. 248.

36. Кабаков, И., Гройс, Б. Диалоги (1990–1994). Ad Marginem: Москва, 1999; Die Kunst der Installation. – München – Wien: Hanser Verlag (Edition Akzente), 1996; Groyis, Boris. Ilya Kabakov. The Man Who Flew into Space from His Apartment. London: Afterall Books, 2006.

37. Миловзорова, Н. «Илья и Эмилия Кабаковы: ‘Такое внимание к внезапно появившемуся персонажу пугает’». Gif.ru

38. Кабаков, И., Тулицын, В. Разговор о коммунальности (Н.-Й., 1989): URL: <http://conceptualism.letov.ru/Viktor-Tupitsyn-Ilya-Kabakov-o-kommunalnosti.html>

39. Бобринская. Е. А. Концептуализм. С. 132.

40. Речь идет о визуализации темы «ангела», например, в работе Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела». Инсталляция в городской среде. Амстердам, Нидерланды, 2010.

41. Кабаков, И., Тулицын, В. Разговор о коммунальности. Указ. ресурс.

42. Кабаков И., Тулицын В. Разговор о коммунальности. Указ. ресурс.

43. Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Что такое философия? М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998. С. 59.

44. Двери, по словам Эмилии Кабаков, были куплены в Германии.
45. По утверждению Эмилии, комментарии давали сами художники.
46. *Хмельницкий, Д.* Концептуализм глазами реалиста. «Знамя». 1999. № 6. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/1999/6/hmelnic.html>
47. *Кабаков, И., Гройс Б.* Диалоги (1990–1994).
48. *Гройс, Борис.* Пленники универсализма: еврейские художники советской эпохи. В каталоге выставки «Современники будущего: еврейские художники в русском авангарде. 1910–1980». Под ред. Е. Алленовой, А. Извекова, С. Кроутер. – М.: 2015: URL: <http://www.lechaim.ru/4470>
49. *Кабаков, И.* О тотальной инсталляции. München: Cantz, 1995.
50. Советы старейшин: Илья Кабаков, художник: URL: <https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/ilya-kabakov-hudozhnik>
51. *Кабаков И.* О тотальной инсталляции. Цит. по *Монастырский, А.* Словарь терминов концептуальной школы. М.: Ad Marginem, 1999. С. 86.
52. Там же. С. 173-174.
53. Из стихотворения Николая Макаровича Олейникова (1898–1937), поэта, близкого к обериутам, писателя и сценариста, расстрелянного в эпоху «Большого террора».
54. *Кабаков, И.* О тотальной инсталляции. С. 220.
55. *Козлова, Ольга.* Повесть об идеальном художнике. «Итоги». 2001. № 9. (06.03.01). URL: <http://www.itogi.ru/archive/2001/9/121369.html>
56. Советы старейшин: Илья Кабаков, художник.
57. Там же.
58. Здесь и ниже: *Карель, Нина.* «Станный город» Ильи и Эмилии Кабаковых в Париже увидели 145000 посетителей: URL: <http://ru.rfi.fr/frant-siya/20140605-monumentu-kabakovykh-v-parizhe-uvidei-145-000-posetitelei>

Сергей Манукян

Очерки подлых времен*

Очерк 2. ИГРЫ ПРИБЛИЖЕННЫХ

...Крутованов с Маленковым на сестрах были женаты, вот тот его и поддерживал перед Сталиным. Понимаешь, Сталин через Маленкова–Крутованова держал под надзором Берия, а Лаврентий через Крутованова контролировал Абакумова. Этот подлюга, Крутованов, и свалил Виктор Семеныча, думал сам стать министром, да ему Лавруха хрен задвинул – матерьяльчики у него были, ну, он Сталину доложил, и Крутованов в подвал ухнул. Маленков понимал – остался теперь Берия на свободном поле, конец теперь. На уши встал, а отмазал Крутованова у Сталина, его и выпустили через год, на прежнее место вернули...

А. и Г. Вайнеры. «Петля и камень на зеленой траве»

Старость не радость – говорит поговорка. Вождь устал, неожиданно много отдыхал, подолгу не появлялся на «службе» в Кремле; его дачи, удобно устроенные лучшим архитектором (Мержанов¹ уже семь лет в Сибири), были кстати. С 2 августа до 2 декабря 1950 года недавно отметивший свое семидесятилетие великий вождь Иосиф Сталин вообще никого не принимал; за полный год допустили всего пятьсот человек, в то время как десять лет назад, в 1940-м, посетили его две тысячи. В таком возрасте от всего устаешь. От великих планов и маленьких дел. Даже от убийств.

Руководители нового поколения, с благословения генералиссимуса Иосифа Сталина вышедшие после Великой победы в мировой войне на большую политическую арену, были свергнуты и казнены. «Ленинградцев» – Вознесенского, Кузнецова и других – обвинили, кроме всего прочего, чуть ли не в сепаратизме. Георгий Маленков и Лаврентий Берия в мощном тандеме вернули свои былые позиции, однако до конца не понимали, что «Ленинградское дело» стало своего рода репетицией перед серией новых процессов, в жернова которых могут попасть они сами. Но пока их ситуация устраивала – тем более, судьба подкинула в их пользу еще один шар.

В начале июля 1951 г. в ЦК партии поступило заявление старшего следователя следственной части по особо важным делам МГБ СССР

*Продолжение. Начало см. НЖ, № 311, июнь 2023.

подполковника Михаила Рюмина, в котором он писал о неблагоприятном положении дел в Министерстве и, невероятно, обвинял в этом своего непосредственного начальника – министра госбезопасности Виктора Абакумова. Такой «сигнал» устраивал Берию и Маленкова, которым ошалевший от очередного возможного предательства Сталин поручил разобраться; они возглавили специальную комиссию ЦК по расследованию деятельности Абакумова. Шанс избавиться от всесильного фаворита вождя расследователи не упустили. 11 июля 1951 года было выпущено постановление ЦК партии «О неблагоприятном положении в Министерстве государственной безопасности СССР», в котором отмечалось:

«...В процессе проверки комиссия допросила начальника следственной части по особо важным делам МГБ т. Леонова, его заместителей тт. Лихачева и Комарова, начальника Второго Главного управления МГБ т. Шубнякова, заместителя начальника отдела Второго Главного управления т. Тангиева, помощника начальника следственной части т. Путинцева, заместителей министра государственной безопасности тт. Огольцова и Питовранова, а также заслушала объяснения т. Абакумова.

Ввиду того, что в ходе проверки подтвердились факты, изложенные в заявлении т. Рюмина, ЦК ВКП (б) решил немедленно отстранить т. Абакумова от обязанностей министра госбезопасности и поручил первому заместителю министра т. Огольцову исполнять временно обязанности министра госбезопасности. 4 июля с. г.»

Проверка установила «неоспоримые факты», которые сводились к тому, что арестованный в ноябре 1950 года «еврейский националист» врач Этингер при допросе, «без какого-либо нажима», старшему следователю МГБ Рюмину признался, что, «имея террористические намерения», пять лет назад смертельно залечил А. С. Щербакова². Рюмин доложил об этом министру Абакумову, а тот в присутствии следователей признал показания преступника Этингера надуманными, которые могут привести МГБ черт знает в какие дебри, и приказал дальнейшее следствие по этому делу прекратить. Кроме того, министр, зная о плохом состоянии здоровья Этингера, заключил его в холодный и сырой карцер, где тот вскоре и умер (концы в воду?).

Получалось, что министр помешал вскрыть существующую и глубоко законспирированную группу врачей-убийц. А ведь такое было в недавнем прошлом – отравившие «по заданию иностранной разведки» Куйбышева, Горького и других врачи-злодеи Левин³, Плетнев⁴...

«Среди врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии и правительства.» И хуже всего, министр не доложил об этой «чепухе» наверх – партии и правительству. Скрыл. Бывший

министр государственной безопасности был немедленно исключен из рядов партии, уволен и, естественно, арестован. Его подчиненные Леонов и Лихачев, «способствовавшие» Абакумову, были сняты с должностей, заместители Огольцов и Питовранов – за то, что не сигнализировали, отделались выговорами. Развернулась новая кампания по выявлению «врагов». Самый близкий к Сталину из чекистской верхушки в течение пяти послевоенных лет Абакумов на этом этапе проиграл.

Бравый генерал-полковник Виктор Абакумов на фотографиях 1944 года снят в форме с папиросой в зубах в разных ракурсах, в свой карьерный пик – начальник «СМЕРШа» НКВД СССР. В романе «Момент истины. В августе 1944-го» писатель В. Богомолов не называет имени этого высокого генерал-полковника, самого молодого из трех наркомов НКВД и НКГБ, стоящего навтыжку перед Сталиным⁵. После войны он Берию и Меркулова подмял, сам стал наркомом-министром НКГБ. Абакумов любил жизнь, шашлыки, фокстрот и больше всего – свою трудную работу, но последняя оперативная комбинация ему не удалась.

Виктор Семенович Абакумов (1908–1954) – один из руководителей органов государственной безопасности СССР. Родился в Москве. Сыну больничного рабочего-истопника и швей-санитарки-прачки образование особо не давалось, учился в 4-классном городском училище – и на этом всё. В 1921 г. подростком пошел служить санитаром во 2-й Московской бригаде частей особого назначения (ЧОН). Пробыл здесь два года – что-то не сложилось с особыми частями с первого раза, и дальнейшие десять лет в биографии Виктора значатся специальности то складского упаковщика, то сторожа-вохровца. В 1930 г. юноша по-пролетарски мудро вступает в партию и получает первую командную должность, но опять – по части посылторга. Казалось бы, крути посылки, принимай, отправляй, считай-учитывай – глядишь, обошли бы все дальнейшие жизненные перипетии. Ну, кто бы стал сажать и тем паче расстреливать простого работника московского Главпочтамта – даже если бы он, нарушая правила, вернул гражданину Бендеру уже оформленную бандероль «Наркому финансов», чтобы тот вложил забытую баночку с вареньем из райских яблочек для любимого дядюшки?..

Так кто же знает наперед свою судьбу, тем более тогда, в период Великой Реконструкции жизни, когда всё – и труд, и диктатура – было за пролетариатом? Витя Абакумов пошел по комсомольской линии и пришел в 1932 году в карающий орган рабоче-крестьянского государства – ГПУ. Практиканту, затем оперуполномоченному, очень помогали его статный внешний вид, высокий рост, длинные руки и сила в них. Не хватало иногда мозгов. В 1934 г. оперуполномоченный

3-го отдела экономического управления НКВД СССР (ранее ОГПУ) В. С. Абакумов попался на использовании конспиративных квартир для встреч с женщинами, и его перевели в Главное управление исправительно-трудовых лагерей. В ГУЛАГе он оставался не очень долго. В 1937 г. Абакумов – оперуполномоченный 4-го, секретно-политического, отдела ГУГБ НКВД СССР, где начальником был Богдан Кобулов, которого Берия с собой привез в Москву; в 1938 году – начальник отделения 4-го (секретно-политического) отдела 1-го управления НКВД, позже – 2-го отделения 2-го (секретно-политического) отдела ГУГБ. Пришедший в конце декабря новый нарком Л. Берия признал подходящий статус сотрудника и назначил его исполнять обязанности начальника управления НКВД по Ростовской области. Обязанности новоназначенец исполнял с особой жестокостью, что было оценено наверху.

С февраля 1941 г. Абакумов – заместитель наркома внутренних дел СССР и доверенное лицо наркома Берии. Особость Абакумова по-настоящему определилась с июля 1941 года, когда Виктор Семенович стал параллельно руководить особыми отделами. Эти не совсем понятные учреждения имели ауру таинственности и железной строгости аж до самого конца советской страны. Фактически особые отделы – это государственная безопасность во всех силовых, военных и полувоздушных структурах: в армии, флоте, милиции, пограничных и внутренних войсках. 19 апреля 1943 г. особые отделы были выведены из НКВД и преобразовались в Главное управление контрразведки СМЕРШ под руководством Абакумова. Последний при этом стал заместителем наркома обороны СССР, то есть Сталина. Руководить военной контрразведкой во время войны с правом и обязанностью докладывать лично Сталину было чрезвычайным правом в пользу генерал-полковника.

Надо сказать, и по воинским званиям главный контрразведчик прошелся блестяще: от младшего лейтенанта госбезопасности в декабре 1936 г. до комиссара ГБ 3-го ранга (равнозначно генерал-лейтенанту в армии) в июле 1941 г., при этом скакнул два раза через звание: из лейтенантов – сразу в капитаны и из капитанов, минуя майора, – в старшие майоры госбезопасности (равно армейскому комбригу или генерал-майору). В феврале 1943 г. Абакумов получил комиссара ГБ 2-го ранга (равно генерал-полковнику), в июле 1945 г. три звезды на погонах уже означали, как и в армии, генерал-полковника. В пять военных лет начальника СМЕРШа уместились сотни операций, как боевых на фронте и в тылу, так и совсем не боевых, например депортация народов СССР. «Почетный работник» ВЧК-ГПУ имел на парадном кителе семь боевых орденов (три боевого Красного Знамени, два ордена Суворова I и II и Кутузова I степени, один Красной Звезды) и четыре медали (за оборону Москвы, Сталинграда

и Кавказа). В основном, высокие награды получены за «образцовое» выполнение особых заданий Верховного главного командования Красной армии и «за очистку тыла фронтов Красной армии». Как минимум два ордена Абакумов получил за незаконную депортацию народов и массовые репрессии.

Контрразведчики СМЕРШа переиграли на оперативной шахматной доске своих коллег из НКГБ, ведомства В. Меркулова. Поэтому последний и уступил весной 1946 года свое место более толковому молодцу с гордой выправкой. Сталин не ошибся в выборе (на ближайшие пять лет): его беспокоила возможная фрonda в лице прославленного в войну генералитета, а Абакумов всё делал, как надо.

В 1946 году поплатились военачальники – авиаторы и трофейщики, затем генералы и адмиралы – шпионы и антисоветчики. Рутинная работа, начиная от многосуточных прослушиваний и до наружных слежек, и «уличные» операции сотрудников МГБ носили ювелирный – в первом случае, и «боевой», гангстерский характер – во втором. Казалось бы, происходит ретроспектива 1937 года, но в каком-то новом, «тихом» ракурсе. Сам министр уверовал в свою безопасность и возможности при Сталине и с некоторым пренебрежением и даже с презрением относился к другим советским вождям. Его заместитель генерал Питовранов вспоминал, что как-то при упоминании МИДа его шеф вспылил: «Ты не только не умеешь работать и писать, но еще и разбалтываешь разным вышинским и громыкам то, что не следует. Об этом должен знать только я. Моя фамилия Абакумов».

Совсем забылся генерал-полковник – «разный там Вышинский» Андрей Январьевич, министр иностранных дел СССР, всего десять лет назад как генеральный прокурор Союза пустил под пули десятки тысяч человек, уничтожил почти всю военную и партийную верхушку, всю ленинскую гвардию, – да что там! В далеком 1917 году как прокурор одного из районов Петрограда выписал ордер на арест самого Ульянова-Ленина. Одних маршалов загнал в могилу целых трех (из пяти), командармов первого ранга – десятков (генералов армии – почти всех), а командармов 2-го ранга (генералов-полковников), равных по воинскому званию теперешнему министру МГБ, – еще больше. Когда «мавр» сделал свое дело, Сталин перевел Андрея «Ягуарьевича» во внешние дела, не менее спокойные, но более деликатные. Сталин работал с кадрами.

Абакумов отлично сфабриковал «Ленинградское дело», где попадали в беду уже не военные (те, прибитые, тихо сидели в своих штабах и на дачах), а партийные руководители самого высоко-го ранга, но споткнулся...

В 1949 г. министр государственной безопасности встречался со Сталиным двенадцать раз, каждый месяц – «дело», год был успеш-

ным; следующий год – шесть встреч – пошли полным ходом финишные расправы, и министр со своим аппаратом сделал много: были нейтрализованы тысячи «врагов народа», сотни казнены – маршалы, генералы, первые секретари, члены ЦК и Политбюро. Рвения у «государева ока» хватило, а вот чего не хватило? – Интуиции, холодной ясности ума? Думаю, и того, и другого было достаточно, а не хватило железному министру... чувства юмора, начитанности, веселой широты сознания – она помогает иногда разобрататься в реальной обстановке, осмотреться. Как и ранее не хватило такого юмора Ягоде и Ежову. А ведь большим был жизнелюбом Абакумов – женщин любил, танцы, при своей громоздкости – фокстрот и прочее, шашлыки из «Арагви» почитал. А почитал бы еще шедевры Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», в начале 30-х напечатанные (и как бы после войны уже запрещенные, но шеф тайной полиции мог бы их достать). Великий комбинатор и жизнелюб Остап Ибрагимович Бендер много интересного рассказывает про «Быстроупак» (упаковщик в посылторгах – основная дочекистская специальность Абакумова) и про то, что «ГПУ приходит само за вами», а главное, что все великие комбинации, особенно «черные», кончаются плохо. Никакие должности не спасают, разве что только оправдомы остаются, но не из домов на Котельнической набережной, тут не проскочишь. Никакой миллион не спасет, даже отправленный на имя наркома финансов СССР в помощь советскому народу, минутная слабость тов. Бендера...

А вот рукопись романа «Мастер и Маргарита» самого таинственного советского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова обязан был министр прочитать просто по службе. Лично я, автор этого невеселого повествования, будучи еще студентом экономического вуза, в самом начале перестройки прочитав только что вышедшую в нескольких изданиях книгу, посчитал ее веселой, наполненной великолепным юмором. Хотя женщины убеждали, что книга эта – о любви, большинство верило, что о Христе, об истории... Я же перечитывал и смеялся каждый раз, как в первый. Беседа на скамейке на Патриарших прудах, случай с буфетчиком и «осетриной второй свежести», коты с примусами... Послушал бы Абакумов Мастера – и понял бы, что «срезать ниточку, на которой висит твоя жизнь, может только тот, кто подвесил», рано или поздно! Сообразил бы. Но не сообразил.

Ближайший сотрудник наркома, Михаил Рюмин, 1913 года рождения, был антиподом своему шефу: во-первых, мал ростом, во-вторых, был сыном богатого отца (что скрывал). Всё остальное – «неоконченное» образование, патологическая нелюбовь к книгам и, наоборот, тяга к «выпить-закусить», надменность и жестокость – их очень сближало. Не знаю, как у Рюмина было с юмором, но чувство

самосохранения – развитым. Путь Рюмина в госбезопасность так же, как и у шефа, пролегал через хозяйственную науку: более десяти лет он проработал в должности счетовода и главного бухгалтера в разных мирных учреждениях. С сентября 1941 г., проучившись в школе НКВД, он стал сводить балансы в следственных кабинетах. За три года, с декабря 1941 г. до марта 1944 г., Рюмин дорос от младшего лейтенанта государственной безопасности до майора. В 1945 году рвание следователя (он и сам избивал подследственных и умело фальсифицировал дела) заметил Абакумов и забрал его к себе в Москву.

Когда в середине 1951 г. из-за нескольких оплошностей (в том числе – утери уголовного дела в транспорте) следователь-бухгалтер попал в опалу; тогда он, всё тщательно обдумав, 2 июля очутился с «заявлением» в приемной секретаря ЦК ВКП (б) тов. Маленкова, где и пробыл шесть часов.

Георгий Максимилианович Маленков сильно струхнул в 1946 году, когда в марте Сталин ввел его в состав Политбюро партии, а через месяц с небольшим, в связи с начавшимся «делом авиаторов», так же без вопросов вывел и еще выгнал из секретарей ЦК. Маленкову, который в течение длительного времени курировал народный комиссариат авиационной промышленности, сильно досталось, позиции его ослабли: «Маланья», как его за глаза называли, знал, что в МГБ выбивают показания против него, а абакумовские следователи Герасимов и Лихачев распускают слухи, что «Маленков погорел». Через полтора-два года он вернулся в верха, восстановил свои позиции, но всё могло повториться, потому что наверху были «ленинградцы» во главе с Ждановым, да и Абакумов совсем обнаглел, даже друга Берию оттеснил, его назначенцев из своих заместителей убрал, советоваться с ним почти перестал. Подвернулся случай: умер Жданов; не без Маленкова у вождя созрело решение расправиться с Кузнецовым, Вознесенским и другими питерцами – членами русского «национал-шовинистического крыла» партии. На плаву оставался лишь Абакумов.

Несколько часов бывший бухгалтер, он же – садист-следователь, в тот день сочинял вместе с писаками Маленкова заявление-донос на имя Сталина, больше десяти раз переписывали. И баланс сошелся, сальдо стало положительным, а «остатки пошли», как выражаются профессионалы-бухгалтеры. В заявлении было описано почти всё, что через несколько дней вылилось в постановление ЦК.

– Вах, – сказал товарищ Сталин, – простой человек, а насколько глубоко понимает задачи органов госбезопасности. А министр не в состоянии разобраться.

Сталин уставал, и больше всего – от непонимания цели и задачи дня и в целом будущего даже своими самыми приближенными колле-

гами по партии. Он всё больше отдыхал, ходил, думал. В декабре 1950-го после длительного пребывания на даче Сталин вернулся в Москву и целых три месяца 1951 года не принимал министра Абакумова. Последний вошел в кремлевский кабинет только 6 апреля; финальная встреча – скорее прощание – произошла 5 июля 1951 года. Сталин с заявлением уже был знаком, и днем раньше бывший министр стал никем.

Тринадцать лет назад, в 1937-м, майским днем, перед Сталиным стоял так же чудовищно расстроенный величественный маршал Советского Союза Тухачевский. Хозяин спрашивал, знает ли он, за что его понизили и отправляют на Волгу командовать округом? Тот ответил, что – нет; на что удивленный генсек раскрыл некоторые подробности и заверил, что это – временно... Через месяц Тухачевского арестуют в Куйбышеве, привезут в Москву и вскоре, после пыток, расстреляют.

Времена изменились, и предисловий уже не было. Подполковник Рюмин стал заместителем министра государственной безопасности СССР (министром назначили С.Д. Игнатъева) и начальником следственной части МГБ СССР. А бывший министр Абакумов загремел в подвалы Лефортово, и теперь Рюмин пытал его. Там бывший министр узнал, что существуют методы и инструменты выбивания показаний, о которых он и не слышал.

Ученые уверяют, что систематическое образование и особенно чтение книг, в первую очередь художественных, серьезно развивают аналитический ум и память. Как раз с этим у Абакумова были проблемы. В марте 1949 г. Абакумов уволил из своего министерства высокопоставленного чекиста генерала Петра Кубаткина. Похожая биография, почти копия: родился в 1907 г., русский, из рабочих, образование низшее, член партии с 1930 г., примерно в это же время начал карьеру в органах государственной безопасности – начиная, как и его будущий шеф, с младшего лейтенанта ГБ, так же в 1939 г. служивший начальником областного УНКГБ и доросший до начальника главного управления центрального аппарата министерства. Так же семь орденов и четыре медали. Но в июле 1949 г. министр Абакумов пустил своего коллегу по «Ленинградскому делу» – отдал на закланье, и в октябре 1950 г. генерал-лейтенанта Кубаткина расстреляли «за сокрытие преступных намерений и развал работы». Не сообразил Абакумов, не смоделировал, не насторожился, что следующий – он сам. Впрочем, он лишь «выполнял приказы». В своем последнем слове на суде накануне расстрела в 1954 г. Абакумов настаивал: «Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял».

Бывший министр был жизнелюбом, физически сильным человеком и поэтому не признался в том, чего не делал, и не подписал себе «смертный» приговор. Через несколько месяцев следствия министр

стал инвалидом. В камерах «работали» с ближайшими коллегами и соратниками Абакумова – Леоновым, Лихачевым и Комаровым⁶. У этих генералов и полковника – единая дата смерти, в этот год погибли после приговоров и сам министр Виктор Абакумов, и его патологически глупый, хотя и с оконченной восьмилеткой, подчиненный полковник Михаил Рюмин. «Мы били, бьем и ни от кого не скрываем!» – любил говорить следователь Рюмин. В Сухановской тюрьме он с подручными верзилами избивал заключенных или резиновой дубинкой до крови, или пинками в живот.

По делу В. Абакумова были арестованы и несколько других высокопоставленных гэбистов, но они, находясь от года до двух лет под следствием, затем были выпущены на свободу и прожили долгую и, думаю, спокойную жизнь. Среди них: С. И. Огольцов (1900–1977) – в 1945–1952 гг. первый заместитель, заместитель по общим вопросам наркома (министра) государственной безопасности СССР, генерал-лейтенант, в 1953 г. находился под арестом за фабрикацию ряда дел; Е. П. Питовранов (1915–1999) – в 1946–1950 гг. начальник 2-го Главного управления МГБ СССР, в 1951 г. – заместитель министра госбезопасности, генерал-лейтенант, находился под арестом с октября 1951 по ноябрь 1952 г.; Н. Н. Селивановский (1901–1997) – в 1946–1951 гг. заместитель министра государственной безопасности СССР, генерал-лейтенант, был под арестом с ноября 1951 по март 1953 гг.; Ф. Г. Шубняков (1916–1998) – в 1949–1950 гг. заместитель начальника, в 1951 г. – начальник 2-го Главного управления МГБ СССР, полковник, в 1951–1953 гг. находился под арестом.

С новым министром и с грубым, ловким Рюминым раскрутилось новое дело – возможно, самое масштабное в послевоенные годы, если на божий свет выволокли имена «убиенных» врачами-евреями Жданова, а также Калинина, Щербакова... Двадцать лет не произносились имена сгинувших Плетнева и Левина («убийц» Куйбышева и Горького). Существовал «заговор» – и не только «сионистский», Сталин был уверен в этом, – а Министерство Страху должно было доказать это на деле.

В августе 1951 г. Сталин назначил себе очередной отдых с выездом и не появлялся в кремлевском кабинете до начала февраля 1952 года. В этой пятимесячной пустоте безвластия раздухарились его кунаки – члены партийного олимпа и кандидаты на оный. В конце 1951 года, в купе с делом врачей, вождя очень волновало разоблачение в Грузии «мегрело-националистической группы». За дело («Мегрельское», или «Мингрельское», дело) взялся полковник Рюмин. Вскоре были арестованы сотни человек, в том числе второй секретарь ЦК КП(б) Грузии М.И. Барамия, прокурор республики В.Я. Шония, министр внутренних дел Грузинской ССР А.П. Рапава и его заместитель К.А. Бзиава, многие – мингрелы по национальности. Сталин

лично следил за ходом следствия и советовал министру Игнатьеву и Рюмину: «Ищите Большого мингрела». Самым высокопоставленным в окружении вождя грузином был только Лаврентий Павлович Берия, мегрел⁷ по отцу и матери.

В октябре 1952 года произошло важное событие: после почти тринадцатилетнего перерыва в Москве собрался XIX съезд коммунистической партии Советского Союза – так ее стали называть после съезда: исчезла буква «б» – «большевиков» – в названии. Утверждается, что Сталин тянул со съездом (который по уставу должен собираться не реже одного раза в четыре года и который планировался на конец 1947 года) в связи с желанием расправиться с законспирированной оппозицией и послевоенными крупными врагами внутри аппарата власти. И за предшествующие годы он того добился.

Доверив отчетные доклады своим подручным, сам Сталин «отметился» с короткой семиминутной речью в последний день съезда. Однако неожиданно 16 октября на Пленуме ЦК партии он выступил с полуторачасовой речью, без бумажек и перерывов, – и именно это выступление следует считать последним в жизни «великого» государственного деятеля XX века. (В 1949 г. американский журнал «Таймс» объявил его «человеком года».) Сталин начал с того, что полного единства в партии нет, не всё так гладко. Он говорил и не сбивался. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал, – всё привело сидевших в оцепенение...

«Немощный» вождь вдруг гневно, зло и неуважительно обрушился на своих самых близких «партайгеноссе» – давнишних коллег Молотова, Ворошилова, Кагановича, Микояна. В страшной тишине зала Вождь предлагал отпустить его с поста Генсека, потому что стар, не видит бумаг, тяжело... Но окаменевшие «кролики» поняли *замысел* великого Удава (вспоминается Ф. Искандер) и утопили в овациях решение не отпускать вождя и учителя. На что тот, немного постояв у трибуны, махнул рукой и сел (обиженный или умиротворенный?) на свое место. Иного бы «народ не понял». А народ безмолвствовал. И великая драма большой страны продолжалась.

«Органы» госбезопасности продолжали искать «Большого мингрела».

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мирон Иванович Мержанов (Мигран Оганесович Мержаниянц; 1895–1975), известный советский архитектор – настолько известный, что его называли личным архитектором товарища Сталина. Родился в Нахичевани-на Дону. Позднее его семья переехала в Славянск. Здесь он закончил классическую гимназию, где проявил способности, особенно в рисовании. В 1931 г. был назначен главным архитектором хозяйственного управления ЦИК

СССР. В 1934–1941 годах по проектам архитектора были построены десятки правительственных зданий, многие дачи Сталина. Был репрессирован, но остался жив.

2. А.С. Щербаков (1901–1945) – с 1938 г. первый секретарь МК и МГК ВКП (б), с 1941 г. – секретарь ЦК ВКП (б).

3. Л.Г. Левин (1872–1941), терапевт, один из основателей кардиологии в СССР; в 1938 г. получил 25 лет тюрьмы по делу «антисоветского правотроцкистского блока», погиб в заключении.

4. Д.Д. Плетнев (1870–1938), терапевт, консультант Лечебно-санитарного управления Кремля, расстрелян по делу «антисоветского правотроцкистского блока».

5. Роман начал печататься с 1974 года. Естественно, имена трех наркомов цензура не пропустила бы, все трое оказались «врагами народа» и были после войны расстреляны.

6. А.Г. Леонов (1905–1954), в 1946–1951 гг. – начальник следственной части по особо важным делам МГБ СССР. В 1951 г. арестован, расстрелян. М.Т. Лихачев (1913–1954), в 1946–1951 гг. – заместитель начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР. В 1951 г. арестован, расстрелян. В.И. Комаров (1916–1954), в 1946–1951 гг. – заместитель начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР. В 1951 г. арестован, расстрелян.

7. Мегрелия, или Мингрелия – историческая западная область Грузии с выходом к Черному морю. Мегрелы (мингрелы) – грузинский этнос, традиционно проживающий на этой территории.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

На смерть Ольги Раевской-Хьюз 1932–2023

Ольга Петровна Раевская-Хьюз скончалась 3 августа 2023 года. Как сообщил ее муж, она умерла у себя дома в Беркли, Калифорния, вскоре после недавно перенесенной операции.

Ольга родилась в Харькове в 1932 году. В моем представлении образ ее не вяжется с женщиной, перевалившей за девяносто. Зато отчетливо вырисовывается в памяти аккуратной одетая девочка с косичками и с милой улыбкой, от которой на щеках у нее делались ямочки. Такой я увидела ее в 1946 году в стенах Русской гимназии, возникшей в послевоенном Мюнхене, – и были мы одноклассницами.

Гимназия помещалась в Доме «Милосердный самарянин», расположенном вблизи живописной реки Изар в зеленой части города, Богенхаузен. Там размещалась не только гимназия; Дом служил приютом для десятка, а может быть и более, русских семей, в том числе семьи Раевских, состоявшей из Оли и ее родителей. Раевские занимали одну из небольших комнат на третьем этаже. А школа была на втором. Всех учеников она вместить не могла, поэтому занимались в две смены. Мы, старшие, учились во второй. Олечка всегда сидела за партой в первом ряду, ближе к доске; у нее было слабое зрение и она носила очки, что – странно подумать – было тогда среди нас довольно большой редкостью. Она казалась моложе своих соучениц, уже мнивших себя почти взрослыми девицами. И держалась она особняком; не приходила на танцульки, не участвовала в импровизированных походах, не состояла, как многие из нас, в русских скаутах-разведчиках. Зато ее присутствие было заметно в мероприятиях, проводившихся в рамках РСХД – Русского студенческого христианского движения.

Вышло так, что в нашем классе оказались две Раевские, причем они не состояли друг с другом в родстве. Катя, с которой я сидела за одной партой, была из тех самых Раевских, героев Отечественной войны 1812-го, а Олины предки были преимущественно духовного звания, отец ее был врачом. Во время войны семья из Харькова попала в Прагу, а после поражения Германии – в Ульм. Как недавние советские граждане, они подлежали насильственной репатриации, за ними активно охотилась советская репатриационная комиссия. Позже Оля вспоминала: «Уехали мы из Ульма неожиданно и буквально в чем стояли. Добрый друг, узнавший, что моему отцу опасно оставаться в городе, пришел к нам с билетами на поезд, и в тот же

вечер мы втроем уехали в Мюнхен, где было менее опасно.»* Там им посоветовали обратиться за помощью к энергичному священнику из Эстонии, отцу Александру Киселеву, которому удалось выхлопотать у американских оккупационных властей пустое здание, частично пострадавшее от бомбежек, чтобы поместить в нем бездомных русских. Там семья доктора Петра Николаевича Раевского нашла надежное убежище и была обеспечена пропитанием, получая в это голодное время спасительные пайки от международной организации помощи беженцам. Здесь Петр Николаевич сразу включился в разветвленную деятельность Дома: он поставил на ноги амбулаторию и организовал под крышей Дома курсы сестер милосердия. Мать Оли пела в церковном хоре домово́й церкви, оказывала помощь тут и там.

Оля была у нас первой ученицей. Не помню, чтобы у нее с кем-то сложилась закадычная дружба, зато, одинаково приветливая со всеми, она охотно помогала другим решать алгебраические задачи и делилась своими аккуратными конспектами уроков – так как по многим предметам у нас еще не было учебников, мы делали записи со слов учителей. Олечка и меня не раз выручала своими конспектами.

Но вот жизнь нас разметала по разным континентам: Раевские уехали в Америку, мы – в Африку, хотя позже и я оказалась в США. Но в Америке мы жили на противоположных берегах континента: Оля – в Калифорнии, я – в Нью-Йорке, потом в Вашингтоне, – и свиделась мы вновь лишь полвека спустя. Впрочем, нет: была одна краткая встреча на съезде Американской ассоциации славистов, проходившей на Гавайских островах, но тогда нам и поговорить как следует не удалось. Другое дело – трехдневная встреча в Нью-Йорке, устроенная бывшими учениками по случаю пятидесятилетия основания давно переставшей существовать Русской гимназии. Юбилей этот собрал наших однокашников из разных концов Старого и Нового Света. Прилетела из Калифорнии и Оля.

Девочка Оля, теперь сидящая женщина с короткой стрижкой, просто, но со вкусом одетая, обладала к тому времени солидной репутацией в академическом мире. Сдав незадолго до отъезда из Мюнхена выпускные экзамены и получив признанный баварским Министерством образования аттестат зрелости, Оля продолжила свое обучение в Калифорнии, окончив два факультета университета в Беркли: в 1954 году она получила степень бакалавра по биологии; проработав несколько лет по этой специальности, изменила направление и поступила в аспирантуру на соискание сперва магистерской, потом докторской степени по русской литературе. Диссертацию на тему искусства в творчестве Бориса Пастернака Ольга писала под

* *Ольга Раевская-Хьюз.* «В доме 'Милосердный самарянин'», в «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции». М.: «Русский путь», 2006. С. 143.

руководством профессора Глеба Петровича Струве. В аспирантуре Ольга встретила своего будущего мужа. Потомственный американец, Роберт Хьюз, влюбленный в русскую поэзию, тоже был учеником Струве, впоследствии обретя известность как исследователь творчества Владислава Ходасевича. Скрепленный общими интересами, брак оказался долгим и счастливым.

В течение многих лет, до самого выхода на пенсию, – сперва как аспиранты, потом как профессора, – Ольга и Роберт оба преподавали в Беркли русский язык и литературу на кафедре славянских языков, оба были известны среди славистов своими публикациями. Диссертация Ольги о Пастернаке вышла книгой на английском языке под названием «The Poetic World of Boris Pasternak» (Princeton, 1974). Далее, вместе с Лазарем Флейшманом, Ольга и Роберт приняли участие в сборнике «Русский Берлин» (Париж, 1983; Москва, 2003), посвященном творчеству русских, населявших Берлин в ранний период эмиграции, в 1921–1923 годы. Ольга была соредактором сборника. В декабре 2002 года супруги приняли участие в посвященной этой теме научной конференции, которая состоялась в Москве в Библиотеке-Фонде «Русское Зарубежье». До этого Ольга была одним из редакторов трехтомника материалов конференции, посвященной тысячелетию крещения Руси.*

Важный вклад Ольга Раевская-Хьюз внесла и в изучение творчества писателя Алексея Ремизова. В 1986 году выходит под ее редакцией и с ее вступительной статьей ранее не собранная автобиографическая книга Ремизова «Иверень» (Berkeley). Ряд статей, связанных с Ремизовым, Ольга публикует в «Вестнике Русского христианского движения» (Париж). К моменту нашей встречи в Нью-Йорке Ольга уже работала над следующей книгой – «Встреча с эмиграцией: из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов» (М., Париж: «Русский Путь»; УМСА-Press, 2001). Сюда вошла, в частности, и переписка с Ремизовым и его супругой. Особенно ценна переписка Алексея Ремизова с философом Борисом Вышеславцевым, опубликованная Раевской-Хьюз в «Вестнике», с ее комментариями. (2005/2006. № 190)

Кроме того, что Ольга часто печаталась в «Вестнике», она также входила в его редакционную коллегию, сотрудничая с главным редактором Никитой Алексеевичем Струве. Вот почему, когда в Москве была создана Библиотека-Фонд «Русское Зарубежье», одним из учредителей которой был Струве, он обратился к ней с просьбой помочь комплектованию библиотеки эмигрантскими изданиями, недоступными российскому читателю. Ольга, естественно, ответила согласием. А когда ее спросили, не знает ли она кого-то, кто бы мог заняться этим на Восточном побережье, Ольга, помня о нашей недавней встрече в

* *Slavic Cultures in the Middle Ages*, 1993; *Russian Culture in Modern Times*, 1996.

Нью-Йорке, предложила мою кандидатуру. Так родился Комитет «Книги для России», в котором мы с Ольгой сотрудничали самым тесным образом в течение 20 лет.

К моменту образования Комитета мы обе уже были на пенсии. Помня о призыве А. Солженицына не дать пропасть воспоминаниям отдельных людей, мы занимались не только сбором и доставкой в Россию книг, но также выискивали архивные материалы, а позже и произведения искусства художников-эмигрантов, как и выставочные экспонаты для музея Дома Русского Зарубежья. Ольга была хорошим организатором. Недаром она годами успешно совмещала академическую деятельность с работой старосты в своем православном приходе в Беркли, а в качестве долголетнего председателя благотворительного Кулаевского фонда в Калифорнии несла ответственность за справедливое распределение помощи различным русским организациям.

Одним из аспектов моего сотрудничества с Ольгой явилось создание двух сборников: «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции», в котором одна из глав принадлежит ей самой («В Доме ‘Милосердный самарянин’»), и «Наставникам, хранившим юность нашу...», посвященном гимназиям и внешкольному воспитанию в эмиграции. Название, заимствованное у Пушкина, было предложено Олей. Как и «Судьбы поколения», книга вышла в твердой обложке в издательстве «Русский путь» (Москва, 2017).

К сожалению, здоровье не позволило Ольге быть на презентации наших книг в Москве. Зато она часто вспоминала, каким незабываемым событием явилась наша встреча в 2005 году в стенах Дома по случаю десятилетия его существования. Тогда собрались вместе Ольга и Роберт Хьюз, Никита Алексеевич Струве с женой, прибывшие из Парижа, из Вашингтона вместе со мной прилетел ныне покойный член нашего Комитета Никита Валерьянович Моравский... Всё проходило в удивительной атмосфере оптимизма, веры выхода России на новый путь из тисков навязанного ей социализма. Тогда, почти в состоянии эйфории, ничто не предвещало возможности нового трагического поворота в ее истории.

Вспоминаю мой последний разговор с Олей по телефону: мы обе были в ужасе от войны с Украиной и недоумевали – как такое немыслимое могло произойти...

Людмила Оболенская-Флам

Редакция «Нового Журнала» выражает глубокое соболезнование проф. Роберту Хьюзу в связи с кончиной его жены Ольги Петровны Раевской-Хьюз. Трудно переоценить ее вклад в культуру русской эмиграции. Мы навсегда сохраним добрую память о нашем верном друге и долголетнем авторе. Упокой, Господь, ее светлую душу!

Редакция «Нового Журнала»

ОБ АВТОРАХ

АРКАТОВА Анна (Рига). Поэт, прозаик. Окончила филфак Латвийского ГУ и Литературный институт им. Горького (Москва). Работала преподавателем словесности, редактором. Стихи и проза публиковались в литературных журналах, а также интернет-изданиях. Вела авторскую колонку в журналах «Psychologies», «Медведь» и других. Автор девяти поэтических сборников и книги прозы «Птица» (2022). Куратор авторского проекта «Египетские ночи» (Литературные импровизации).

БРЕЙТЕР Полина. Прозаик. Родилась в Сибири, выросла и жила в Одессе. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского университета, защитила кандидатскую диссертацию по математической лингвистике. Преподавала в школе и в пединституте. По материалам многолетней переписки с Борисом Чичибабиным подготовила публикации для «Нового Журнала» и «Звезды» и книгу «Уроки чтения» (2013). Автор книг «Октава», «Бирюзовый дождь» и «Исповедь счастливого человека». Финалист Литературной премии им. Марка Алданова. Живет в Нью-Йорке.

БЫЧКОВ Сергей Сергеевич (1946, Ереван). Писатель, историк Церкви, доктор исторических наук. Окончил филфак МГУ, преподавал. Кандидатскую защитил в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН), докторскую – в РАГС. Принимал участие в издании Библиотеки всемирной литературы (в 200 тт.). Занимается книгоиздательской деятельностью. Подготовил и издал 8 томов двенадцатитомного Собрания сочинений Г.П. Федотова. Автор книг «Русская Церковь и императорская власть» (1998) и «Большевики против Русской Церкви», а также «Святые земли русской», «Страдный путь архимандрита Тавриона» и др. В 2005 году по его сценариям были поставлены телефильмы «ВЧК против патриарха Тихона», «Живое слово отца Александра Меня» и «Завтра меня убьют» (о ходе расследования убийства протоиерея Александра Меня).

ВОЛОСЮК Иван (1983, Донецкая область). Поэт. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Волга», «Новая Юность», «Юность», «Новый берег», «Интерпоэзия», «Новый Журнал». Стихотворения переведены на итальянский, испанский, французский, болгарский, сербский и румынский языки. Живет в Балашихе, Москва.

ВУЛЬФИНА Лариса (г. Чехов). Историк, искусствовед, коллекционер. Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор статей в

журналах и научных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиграции, книг «Москва как место проживания. Д.П. Сухов. Архитектор. Реставратор. Художник» (в соавторстве), «Неизвестный Ре-Ми» о художнике Н. Ремизове. Член корпорации «Нового Журнала». С 2007 года живет в Филадельфии.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг прозы «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», «Музейна крыса», др.; две книги переведены на английский язык. Номинирован на «Русского Букера» в 1994, шорт-лист премии Андрея Белого (2004), лауреат премии им. Марка Алданова (2012). Живет в Израиле.

ГЕРРА Ренэ. Доктор филол. наук, литературовед, издатель, собиратель и исследователь культурного наследия Зарубежной России. Основатель изд-ва «Альбатрос» (Франция); выпустил более 40 книг писателей первой и второй волн русской эмиграции. Автор, соавтор и составитель многочисленных книг о писателях и художниках-эмигрантах, в т.ч. «Русское искусство в изгнании в Париже 1920–1970», «Русское искусство в изгнании во Франции», «Они унесли с собой Россию...», «Младшее поколение писателей Русского Зарубежья», «Культурное наследие Зарубежной России» (2020) и др. Автор более 400 научных и публицистических статей по культуре русской эмиграции. Президент-основатель Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Царскосельской художественной премии, Литературной премии им. Антона Дельвига и др.

ГОРСКИЙ Игорь (Гороховский, 1960, Киев). Коллекционер. Иммигрировал с семьей в США в 1979 году. Получил инженерное образование в Технологическом институте (Rochester). Работает международным консультантом по фармацевтическим технологиям более 40 лет. Автор и соавтор свыше 50 статей по разработке и оптимизации фармацевтических процессов, двух книг о валидации процессов по производству внутривенных лекарств; один из авторов процесса по производству одной из вакцин против вируса Covid-19. Приглашенный специалист-комментатор ТВ-канала RTVi (Нью-Йорк) по проблемам фармацевтики. Коллекция Горского содержит уникальные автографы, архивные рукописи и прижизненные издания украинских и русских писателей XX века, в том числе уникальное собрание материалов, связанных с жизнью и творчеством Максимилиана Волошина.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, литературовед. Член редколлегии «Нового Журнала». Эмигрировала в конце 1970-х. Автор книг на русск. и англ. языках, в их числе сборники поэзии, прозы, книги по литературоведению. Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology», Собрания сочинений Юрия Мандельштама (в 3-х тт.) и сборника Ю.Мандельштама «Эссе. Литературная критика. Письма. 1939–1940» (2022), а также книги «Литература русской диаспоры. Пособие для ВУЗов» (2020). Была гл. редактором ж. «Поэзия: Russian Poetry. Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad. Past and Present» (США). Лауреат Национальной литературной премии им. Шекспира за мастерство перевода (2013). Живет в Филадельфии.

ДУБРОВСКАЯ Алла. Прозаик. Родилась в Чите, детство и юность провела в Царском селе и Ленинграде, в настоящее время живет в США. Автор трех романов, многочисленных рассказов и мемуарной прозы, печатавшихся в журналах «Крещатик», «Звезда», «Волга», «Интерпоэзия», «Октябрь», «Новый берег» и др. Лауреат Литературной премии имени Марка Алданова (повесть «Аэродром», первое место, 2022).

ЖУК Вадим (1947, Ленинград). Поэт, актер, режиссер, драматург. Создатель и худрук театра-студии «Четвертая стена». Снимался у А.Сокурова, И. Масленникова, В.Хотиненко, А. Борщевского и других. Автор четырех сборников поэзии. Печатался в журналах «Знамя», «Арион», «Звезда», «Октябрь», «Новый мир». Лауреат Литературных премий «Петрополь», «Царскосельская» и других.

КРАВЧЕНКО Оксана Анатольевна (Славянск, Украина). Литературовед, доктор филологических наук, доцент. Окончила Донецкий национальный университет. Автор научных статей о творчестве Н. Гоголя, А. Белого, Вяч. Иванова, монографии об эстетических закономерностях художественного творчества и наследии М.М. Бахтина, а также монографии «Категория возвышенного: эстетика и поэтика». Живет в Дублине.

МАНУКЯН Сергей Ишханович (1961, Баку). Публицист, историк, экономист. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Опубликовал более двухсот социально-экономических статей, статьи и очерки по военной истории, также – литературные очерки. Автор книг «Боевые награды Второй мировой войны», «ФБР. Не секретные материалы», «Полет и кара. История одного падения», др. Публикации в журналах: «Наука и техника» (Харьков), «Знамя», «Литературная Армения». С 1989 года живет в Харькове.

МАРК Григорий (Ленинград). Поэт. Автор книг стихов «Гравёр», «Среди Вещей и Голосов», «Оглядываясь Вперед», «Глаголандия», двух книг прозы. Печатался в ж. «Арион», «Время и мы», «Грани», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Континент», и др. Переводы публиковались в «Glas», «Modern Poetry in Translations» (UK), «Przekladnic» (Польша) и др. Живет в Бостоне.

МАРКИНА Анна (1989). Поэт. Окончила Литературный институт им. Горького. Стихи, проза и критика публиковались в «Дружбе Народов», «Волге», «Звезде», «Prosodia», «Интерпоэзии», «Юности», «Новом Береге», «Крещатике» и др. Автор книг стихов «Кисточка из пони», «Осветление», «Мышеловка» и повести для детей «Сиррекот, или Зефирова Гора». Лауреат премии «Восхождение» Русского ПЕН-Центра, финалист Григорьевской премии, Волошинского конкурса, премий имени Левитова, «Нонконформизм», «Болдинская осень» и др. Главный редактор журнала и издательства «Формаслов». Живет в Люберцах.

ОБОЛЕНСКАЯ-ФЛАМ Людмила Сергеевна (1931, Рига). Публицист, радиожурналист. Внучка литератора и правоведа Петра Якоби. В 1944 году вместе с семьей оказалась в Германии. После войны окончила Русскую гимназию в Мюнхене, вступила в НТС. В 1970-х гг. работала на радиостанции «Голос Америки»; проработала на радио около 40 лет, пройдя путь от диктора до начальника отдела. С 1997 года два десятилетия возглавляла общественный комитет «Книги для России» (США). Автор книг «Вики, княгиня Вера Оболенская» (1996, 2005), «Правовед П. Н. Якоби и его семья: воспоминания», «Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции», «Vicky. A Russian Princess in the French Resistance» (2022). Публиковалась в изданиях эмиграции «Новый Журнал», «Русская Мысль», «Русская Жизнь», «Посев».

ПАНН Лиля (Москва). Критик, эссеист, публицист. Окончила школу № 313, где литературу преподавал Юлий Даниэль. По образованию – инженер радиосвязи и радиовещания. В США с 1977 года. Печатается с 1989 года в газетах и журналах эмиграции «Новое русское слово», «Русская Мысль», «Новый Журнал», «Интерпоэзия», а также в российских «Независимая газета», «Звезда», «Знамя», «Новый мир» и другие. Автор книги «Нескучный сад. Поэты, прозаики» (Hermitage Publishers, 1998).

ПОМЕРАНЦЕВ Игорь (1948, Саратов). Поэт, журналист. С 1953 года жил в Украине (Черновцы, Киев). Окончил романо-германский факультет Черновицкого университета. Работал учителем сельской

школы, техническим переводчиком. Эмигрировал в 1978 году, жил в Германии, Англии, Чехии. В радиожурналистике с 1980 года (Русская служба Би-Би-Си, Радио Свобода). Автор книг лирики, прозы, эссе, в том числе «Альбы и серенады. Проза» (Лондон), «Те, кто держали нас за руку, умерли. Избранные стихи» (Москва), «КГБ и другие стихи» (Москва), «Поздний сбор», «Вы меня слышите?» (Meridian Czernowitz), «Мое первое бомбоубежище» (Киев).

ПОПОВ Вячеслав (1966). Поэт. Окончил филологический факультет в Тартуском университете. Публиковался в «Знамени». В 2022 году стал лауреатом Малой премии «Московский счет» за лучшую поэтическую дебютную книгу («Там», 2021). Живет в Москве.

САЛИМОН Владимир (1952) Поэт. Автор многих книг, лауреат Новой Пушкинской премии (2012) и других, в том числе Европейской премии Римской академии. В 1990-е годы возглавлял литературно-художественный журнал «Золотой век» (1991–2001). Живет в Москве.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Прозаик, публицист, литературовед. Окончил МИТХТ. Автор книг о московском литературно-художественном андеграунде «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незваные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог: Портрет художника в стиле коллажа». В 1980-х участник литературно-художественной группы «Мансарда», московского Клуба поэтов. Печатался под псевдонимом «Николай Марин», с 1999 года публикует стихи и прозу под своим именем, в том числе в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия), «Новый Журнал» и др. Автор многочисленных исследований и книг по культуре эмиграции, в том числе «Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции», «Лев Толстой и евреи. По дневникам, переписке и воспоминаниям современников». С 1992 г. живет в Германии.

ХВИЛОВСКИЙ Эдуард (1946, Одесса). Поэт. Окончил филологический факультет Одесского университета. Двадцать пять лет работал учителем в средней школе. Публикации в журналах «День и ночь», «Новая Юность», «Невский журнал», «Текстура», «Новый Журнал». Автор трех поэтических сборников, последний – «Избранные стихотворения» (2017). Живет в Нью-Йорке.

ХОДОС Алла (Минск). Поэт. Окончила филфак Минского университета. Работала учителем в школе и социологом. С 1996 года живет в

Калифорнии. Автор нескольких книг стихов и прозы. Последняя книга стихов «Летучий Сан-Франциско» (2021). Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Крещатик», «Дружба народов» и других. С 2011-го по 2018 г. издавала международный альманах «Образы жизни» (совместно с М. Золотаревской), в 2022-м издала сборник «Ниша. Литературное пространство».

ЧИГРИН Евгений. Поэт, эссеист, автор 12 книг стихотворений. Публиковался во многих литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на европейские и восточные языки. Лауреат премии ЦФО России в области литературы и искусства (2012), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2013), Горьковской литературной премии (в поэтической номинации, 2014), Всероссийской литературной премии им. Павла Бажова (2014), Общенациональной премии «Золотой Дельвиг» (2016), Оренбургской областной премии имени Сергея Аксакова (2017) и других. По итогам 2021 года получил Международную литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя журнала «Новый Свет» (Канада). Живет в Москве.

ШАБАЛИН Сергей (1961, Москва). Поэт, эссеист, переводчик. Окончил нью-йоркский художественный колледж Center for the Media Arts. По профессии – художник-дизайнер. Автор трех сборников стихов. Лауреат журнала «Новая Юность» (2009). Член СП Москвы. Публикации в журналах: «Континент», «Новый Журнал», «Время и мы», «Новая Юность», «Слово/Word», «День и Ночь», «Арион» и др. Эмигрировал в 1977 году. Живет в Нью-Йорке.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin; Mr. Alexandr Neratov;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”;

Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. A. Moussaian;

Friends: Ms. C. Raeff; Ms. P. Breyter; Mr. G. Mesniaeff; V. Lvoff.

It requires the support of loyal friends for year 2024:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW

1216 Broadway, 2nd floor

New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2023 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.
Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2024

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 27.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте

www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review

1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

www.newreviewinc.com

newreview@msn.com
